ISSN 0130 – 6545

12. 1985

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ с 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

12 декабрь 1985

Содержание

ДЖЕЙМС ОЛДРИДЖ — Правдивая история Лилли Стьюбек *(Роман. Перевод с английского Ларисы Огульчанской)* 3

Из поэзии Ганы

КОБЕНА ЭВИ АКВА, АТУКВЕЙ ОКАЙ *(Перевод с английского и вступление Е. Витковского)* 108

ИБРАГИМ аль-КУНИ — Рассказы *(Перевод с арабского И. Ермакова)* 113

МАНУЭЛЬ КОФИНЬО — Любовь в тени и под солнцем *(Роман. Окончание. Перевод с испанского Юрия Павлова)* 120

Критика

М. ТУГУШЕВА — Замыкание разомкнутого круга? *(К вопросу о «женской» литературе)* 175

Отклики, встречи, впечатления

Париж, 9 мая 1985 года...

ВЕРКОР, ЭММАНЮЭЛЬ РОБЛЕС, АЛЕН БОСКЕ, ЖАН РУССЕЛО, ИВ БРУССАР, ЖАН-ЛУ ТРАССАР, РОЛЛАН ДЕСНЕ *(Вступление и перевод с французского Тамары Балашовой)* 182

Литературные портреты

ЛАРИСА ВАСИЛЬЕВА — Джеймс Олдридж — сын своего века 187

Наш календарь

К 80-летию Мулка Раджа Ананда

Е. ЧЕЛЫШЕВ — «Мне ближе всего горьковский гуманизм...» 192

Наши публикации

Субъективная хронология Юдоры Уэлти

ИОАКИМ БЭР — Голос памяти. ЮДОРА УЭЛТИ — Из книги «Истоки одной писательской жизни» *(Перевод с английского И. Дорониной. Послесловие Н. Анастасьева)* 195

Публицистика

Л. ТОДОРОВА — Против информационной агрессии 203

АНДРЕЙ ПЛАХОВ — Мы живем в одном доме... *(Заметки о XIV Московском кинофестивале)* 212

ПАМЯТИ ЛЬВА ЗАЛМАНОВИЧА ЭЙДЛИНА 211

Документальная проза

ГЕНРИХ БЁЛЬ — Письмо моим сыновьям, или Четыре велосипеда *(Перевод с немецкого Е. Кацевой)* 220

Антирубрика

ФРЭНК САЛЛИВЕН — Рассказы *(Перевод с английского Сергея Белова)* 231

Среди книг

Издано в СССР

ВЛАДИМИР ОГНЕВ — Ютославский рассказ сегодня *(Набросок сценария со счастливым концом)* ✦ Н. ПАВЛОВА — Швейцарская повесть в движении лет *(Современная швейцарская повесть)* 237

Издано за рубежом

И. БЕРНШТЕЙН — Древо желания *(Яромира Коларова. Хочу это дерево)* ✦ Н. МАТЯШ — Венеция Венеция... *(Пере Жимфере. Фортунь)* ✦ ХУАН РАМОН МАСОЛИВЕР — Venetia, Venecia... 241

Редакцию «ИЛ» посетили...

Фридрих Хитцер, Ангела Бауман, Кошка Хильдебранд 202

Из месяца в месяц 245

Содержание журнала «Иностранная литература» за 1985 год № 1—12 252

На 1-й и 4-й страницах обложки — работы никарагуанских художников МИРИАМ ГЕВАРЫ «Хлопковое поле» и КАРЛОСА ГАРСИА «Голуби».

© «Иностранная литература», 1985

ДЖЕЙМС ОЛДРИДЖ

Правдивая история Лилли Стьюбек

РОМАН

Перевод с английского ЛАРИСЫ ОГУЛЬЧАНСКОЙ

Я постараюсь как можно правдивее рассказать историю Лилли Стьюбек, словно она и в самом деле жила на свете.

1

Многие жители нашего городка называли маленькую Лилли сущей разбойницей, а когда она выросла, говорили, покачивая головой, что ее жизнь — сплошная трагедия, хотя трагедией у нас считали любую неприятность — от упущенной возможности разбогатеть до простого недоразумения или рождения внебрачного ребенка (это несчастье миновало Лилли). И почти в каждом доме полагали, что девушка сама определила свою необычную судьбу.

Я-то думал иначе — не потому, что был умнее других, а потому, что дружил с Лилли и знал ее лучше, чем кто-либо еще.

Стьюбеки въехали в наш провинциальный городок Сент-Элен, расположенный в штате Виктория, на разбитой телеге, которую тащила лошаденка, на удивление жалкая, косматая и грязнющая — ее можно было принять за доисторическое животное; восемь детей лежали на возу вповалку, точно куча дров. Моя мама говорила, что Стьюбеки прикатили к нам как цыгане, но они не принадлежали к этому бродячему племени, хотя у всех были вьющиеся волосы, дерзкие глаза и шоколадная кожа. Они походили на чужестранцев, и казалось, жизнь в неведомых краях наложила на них свой отпечаток. И говорили Стьюбеки порой не как настоящие австралийцы.

Стьюбеки направились в заброшенный дом, стоявший у излучины реки Муррей; участок, на котором они обосновались, у нас называли Мысом, потому что он напоминал небольшой полуостров; по его берегам росли ивы, а само жилище с придавленной крышей окружали высокие эвкалипты и персиковые деревья, совсем мертвые или наполовину засохшие. Дом принадлежал старой миссис Карсон — она про-

---

ДЖЕЙМС ОЛДРИДЖ — JAMES ALDRIDGE (род. в 1918 г.)

Английский писатель, публицист, общественный деятель. Лауреат международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами». В русском переводе выходили его романы: «Дело чести», «Морской орел», «Охотник», «Дипломат» (отмечен Золотой медалью Мира, 1953), «Герои пустынных горизонтов», «Последний изгнанник», новеллы. «Иностранная литература» публиковала его романы «Не хочу, чтобы он умирал» (1957, № 11), «Сын земли чужой» (1968, № 3—5), «Горы и оружие» (1975, № 1—3), книгу «Последний взгляд» (1978, № 12), рассказы, эссе, статьи.

Роман «Правдивая история Лилли Стьюбек» («The True Story of Lilli Stubeck») получен от автора в рукописи.

О творчестве Дж. Олдриджа см. в этом номере статью Л. Васильевой «Джеймс Олдридж — сын своего века», с. 187

водила свои дни затворницей в соседнем городке и последние десять лет на Мысе никто не жил, кроме бродяг, сборщиков фруктов и прочих скитальцев, которые постепенно разрушали строение: пустили на дрова почти все оконные рамы, двери, часть пола. Здесь было полным-полно мышей.

В первые пять дней после приезда дети Стьюбеков (четверо мальчиков и столько же девочек) сновали по улицам города, точно высматривая, что бы стащить, и о них сразу заговорили как о воришках, любителях покопаться в отбросах и попрошайках. Сам Мэтти Стьюбек был тертый калач, он сыпал остротами, вел себя нахально, вкрадчиво, просительно, подобострастно или дерзко в зависимости от того, чего хотел добиться. Он был по пояс своей молчаливой черноглазой жене — могучей женщине, которая могла приподнять мужа и хорошенько его встряхнуть, впрочем, родительская власть и авторитет Мэтти от этого ничуть не страдали. Он был похож на злобного юркого хорька, особенно когда щипался и раздавал затрещины; дети (даже старший сын-подросток) могли ожидать их в любое время. Миссис Стьюбек редко трогала детей, словно в семье царил неписаный закон — ругаться и бить имели право только мужчины. И в самом деле, девочки были молчаливые и редко вступали в разговор. Миссис Стьюбек не отличалась особой ловкостью, но могла больно схватить кого-нибудь за руку, шею или плечо, и этого дети опасались больше, чем неожиданных хлестких затрещин Мэтти.

Для нас оставалось тайной, на что существовали Стьюбеки. Шли тридцатые годы, наступил самый разгар Великого кризиса, захлестнувшего и Австралию. Найти работу было тяжело, а для бродяг вроде Мэтти — практически невозможно, разве что наймут на сезонный сбор фруктов. Тем не менее вид у Стьюбеков был прямо-таки цветущий. Они никогда не болели, хотя носили круглый год плохонькую одежонку и жили в тесном домишке с двумя каморками, продуваемыми сквозняками. Четверо мальчиков обычно слонялись по задворкам магазинов, гостиниц, баров, маслозаводика и скотобоен или возле железнодорожной станции и складов, где они копались в отбросах. Даже если бы Стьюбеки и получили работу, они бы не особенно утруждали себя — в этом были уверены все. Мэтти изредка приносил горожанам валежник (в те времена еще не топили углем).

Однажды Мэтти за бесценок предложил валежник моему отцу.

— Возьму, если порубишь длинные валежины,— сказал отец.

— Да ну их,— ответил Мэтти.

Стьюбеки собирали валежник на берегу реки, но никогда не пользовались топором. Они были плохими рыбаками, хотя жили у самой воды, зато обворовывали чужие ловушки для раков. Поэтому возле Мыса, где водилось много раков, ловушки никто не ставил, все знали: Мэтти их обязательно очистит. Всякий раз, отправляясь за ракáми, горожане старались так запрятать снасть, чтобы Стьюбеки не могли ее заметить.

Однако Мэтти обладал одним даром, который приводил в удивление жителей города и заставлял нас задуматься над тем, где он научился своему мастерству. Он плел чудесные железные решетки — в ту пору они украшали окна и двери почти всех домов Сент-Элен; собирая валежник, Мэтти снимал проволоку с глухого участка ограды, окружавшей ферму, где росли невысокие эвкалипты, потом он нагревал ее в переносном кузнечном горне; решетки получались красивые, но продавать их в наступившие тяжелые времена было совсем не просто.

— Сколько ты хочешь за нее, Стьюбек? — спросил однажды отец у Мэтти, зашедшего к нам предложить затейливую решетку для двери.

— А сколько дадите? — поинтересовался Мэтти.

— Два шиллинга.

— Да вы что? — возмутился Мэтти.— Вы же знаете, моя работа стоит гораздо больше.

— Проволока у тебя ворованная, да и решетка так себе,— бросил отец, хотя видел, что Стьюбек потрудился на славу.

— Вы не найдете такую решетку за два шиллинга.

— Ладно. Три.

— Не на того напали, мистер Кил,— сказал Мэтти.— Вещица сделана на совесть, а проволоку я взял в лавке у Хардинга всего два дня назад. Два шиллинга! — возмущался Стьюбек.— Вот уж не думал, что вы скупаете краденое.

Мой отец, выходец из Англии, отличался вспыльчивым нравом; он занимался адвокатской практикой, и его прекрасно знали в городе как человека безупречной честности; запросто попавшись в ловушку на скользком пути торговли, он принялся уверять Мэтти в том, что вовсе не собирался покупать его решетку, и в конце концов послал незваного гостя ко всем чертям.

— Все вы такие! — крикнул Мэтти с безопасного расстояния — он уже стоял у ворот.

Лилли была младшей в семье. Когда Стьюбеки приехали в город, ей исполнилось семь лет. А через несколько месяцев у миссис Стьюбек родился еще один ребенок — крохотный мальчик Джекки, у которого на каждой руке было по три пальца, я его и запомнил по этим трем пальцам — он отчаянно цеплялся ими за Лилли. Я редко встречал Джекки с матерью; малыша повсюду таскала с собой Лилли, которая, казалось, не замечала брата, пристроившегося у нее на бедре, хотя сама была еще слабенькая и с трудом его поднимала.

Но в моей памяти Лилли осталась не только заботливой нянькой. Она была самой ловкой и смышленой из четырех дочерей Стьюбеков (ее сестер звали Грейс, Элис и Пэнси); Лилли то вдруг появлялась невесть откуда, словно молчаливая дикая кошка, то столь же внезапно исчезала, даже глаза у девочки были кошачьи, с миндалевидным разрезом; такой я представляю ее себе гораздо отчетливее, чем с прижавшимся к ней малышом Джекки; Лилли всегда носила с собой сумочку, в которой хранила что-нибудь украденное, подобранное или подаренное, но что именно — я узнал намного позднее.

Появление Лилли в нашей школе стало довольно примечательным событием, так как в класс ее привел полицейский, когда занятия уже шли полным ходом. В начале учебного года Стьюбеки оставили детей дома, и через месяц на Мыс наведался сержант Коллинс; он забрал с собой двух девочек и одного мальчика; остальные дети сказали, что им уже исполнилось четырнадцать лет — в этом возрасте тогда заканчивали школу.

Лилли стояла возле двери класса словно маленькая русалка, вытащенная на белый свет из темной, зеленой воды. Выцветшее ситцевое платьице едва прикрывало ее гибкое загорелое тело. Лилли пришла босиком — обычное дело для мальчишек (я сам ходил без башмаков), но девочки, как правило, носили обувь. Вообще-то в босых ногах Лилли всегда было что-то вызывающее. Позднее мне стало ясно, что она не придавала значения одежде и вовсе не стеснялась своей наготы.

— Заходи, заходи, чертенок,— сказал сержант Коллинс. Он слегка подтолкнул девочку и ушел.

Лилли шагнула вперед, передернула плечами и смело стала разглядывать мальчиков и девочек, сидевших в классе. Все уставились на нее, а она вдруг состроила рожицу, скрючила пальцы, будто выпуская когти, оскалилась и зашипела, как разъяренная кошка.

Мы засмеялись.

— Прекратите! — приказала наша учительница.

Мисс Мак-Гилл — расплывшаяся старая дева лет сорока, с седыми, коротко остриженными волосами, говорила низким голосом, из-за

которого ее прозвали Гудилой. Она была превосходной наставницей, справедливой и строгой.

— Иди-ка сюда,— прогудела она.

Лилли не сдвинулась с места, и один из наших классных заводил крикнул:

— Она цыганка, мисс, и не знает английского.

— Не твое дело, Эндрю Оллен, веди себя тихо,— сказала мисс Мак-Гилл.

Крепко взяв Лилли за руку, учительница повела ее к парте, где сидела самая примерная ученица — Дороти Мэлоун.

— Завтра,— сказала мисс Мак-Гилл,— ты должна явиться с тетрадью, карандашом, ластиком, и никаких отговорок. Чего не терплю, так это отговорок.

Лилли не проронила ни слова, она весь урок наблюдала за нами, словно решая, как бы расправиться при случае с каждым поодиночке. На первой же перемене она подскочила к Эндрю Оллену и рванула с него рубашку через голову — на пол посыпались пуговицы.

— Я тебе еще покажу,— приговаривала она.— Еще покажу.

На другой день Лилли не пришла в класс, и снова за ней послали сержанта Коллинса. Мэтти пригрозили вызвать в суд, и он, влепив дочери затрещину, заставил ее отправиться в школу. Лилли явилась с пустыми руками, но Дороти Мэлоун на всякий случай принесла еще одну тетрадь, ластик, карандаш и молча вынула их из портфеля. Лилли взяла все это так же равнодушно, как брала любую подачку — ведь Дороти была дочерью преуспевающего агента фирмы «Шевроле и Мармон». Девочки надолго подружились; спокойная, добродушная Дороти в дальнейшем трогательно заботилась о Лилли, которая принимала подарки подруги как нечто само собой разумеющееся.

— Лилли,— обратилась к девочке мисс Мак-Гилл,— тебе, кажется, доставляет удовольствие притворяться кошкой. Поэтому для начала напиши: «Я не кошка». Мисс Мак-Гилл вывела это предложение на доске, чтобы Лилли переписала его в тетрадь.

Прошло десять минут, но Лилли даже не взялась за карандаш; мисс Мак-Гилл немного постояла возле нее в задумчивости. Учительница прекрасно знала силу колкостей и насмешек, потому что настрадалась от них сама. Знала она и как пользоваться этим оружием.

— Я думала, что ты уже умеешь писать, Лилли,— сказала она.— Придется тебе взять тетрадь и пойти в соседний класс к первоклашкам. Мисс Сингелтон научит тебя азбуке.

Все засмеялись. Мисс Мак-Гилл была уверена, что мы рассмеемся.

Лилли помедлила, посмотрела на Гудилу, словно прикидывая, как отомстить учительнице, и принялась выцарапывать: «Я не кошка»; по-моему, это был первый шаг Лилли по дороге знаний, которая отныне станет для нее увлекательной и сложной.

На перемене Лилли разметала по сторонам нескольких мальчишек и девочек, которые мяукали и дразнили ее: «Кис-кис», и впредь они не осмеливались повторять свои проделки. Странно, что именно те девочки, которые смеялись над новенькой и порой получали за это трепку, потом чаще всего стремились с ней подружиться.

Моя стычка с Лилли положила начало дружбе, длившейся до самого ее отъезда из нашего города. Однажды субботним утром она пришла к нам вместе с матерью. Я выполнял свою обычную работу по дому — выкапывал канавки вокруг розовых кустов, посаженных мамой, которая вдруг меня окликнула:

— Кит, к нам кто-то стучится. Обогни дом и скажи ради бога — пусть зайдут со двора. Не хочу возиться с парадной дверью.

Все наши знакомые и друзья прекрасно знали, что в субботу утром стучаться к нам в парадную дверь бесполезно, поэтому я заинтересовался, кто же это пожаловал. Было около девяти, и я представил

себе, что на улице стоит добрый дядюшка из Англии, карманы его битком набиты золотом, и он внезапно нагрянул в город, решив приятно поразить своих австралийских родственников. Но вместо него я увидел миссис Стьюбек в замызганной необъятной юбке. Она держала дырявую корзинку. Рядом стояла Лилли с маленьким Джекки, пристроившимся у нее на боку. На руке девочки висела сумочка. Лилли и брат были грязные с головы до ног.

— Ты кто? — спросила миссис Стьюбек.

— Кит,— ответил я.— Вам придется зайти со двора, миссис Стьюбек. Здесь не откроют.

Я пошел впереди нежданных гостей к задней двери и крикнул:

— Это миссис Стьюбек.

Я знал, что мама сказала про себя: «И чего ее принесло?»

— Здравствуйте, миссис Кил,— проговорила миссис Стьюбек, когда мама показалась в дверях.— Вам не нужно чего-нибудь постирать, почистить или убраться?

Мама плотно прикрыла за собой решетчатую дверь и ответила:

— Нет, миссис Стьюбек, спасибо. У меня нет работы.

— У вас большой дом, миссис Кил. Неужели не найдется какого-нибудь дела? Я выбью ковры за шиллинг.

— Их не надо выбивать, спасибо,— сказала мама, зная, что Стьюбеки никогда просто так не просили работу, наверняка что-то задумали.

— А может, выгрести золу из печи? — не отступала миссис Стьюбек; на моих глазах разгоралась схватка между напористой миссис Стьюбек и мягкосердечной миссис Кил. Моя добрая мама не могла противостоять бурному натиску гостьи, и та понемногу оттесняла ее в дом.

— Мне не нужны помощники! — с отчаянием в голосе проговорила мама, загораживая вход.

— Позвольте мне самой посмотреть,— настаивала миссис Стьюбек, взявшись за дверную ручку.

— Кит! — крикнула мама, теряя терпение.— Сходи за отцом. Он у соседей.

На самом деле отец работал у себя в конторе, и до центра города надо было бы пробежать целую милю, но я понимал, чего хотела от меня мама, и поэтому притворился, будто кинулся к соседям,— промчался через огород к воротам, затем сделал крюк по улице до парадной двери, а когда вернулся, миссис Стьюбек уже не было.

— Они в саду,— сказала мама.

В нашем большом саду росли апельсины, сливы, абрикосы, страстоцвет, персики, виноград, на грядках зрели овощи; отец первый в городе посадил нектариновое дерево — подарок скупщика цитрусовых, которому он помог выиграть тяжбу с одним фермером. Первые нектарины уже почти созрели, и я вдруг увидел, что Лилли сорвала дюжину экзотических плодов. Она опустила малыша на землю, а сама принялась запихивать фрукты в сумку.

— Зачем ты это сделала? — с ужасом спросил я.

Лилли сорвала последний нектарин и сунула его Джекки.

— У тебя еще полно,— ответила она и показала на соседнее персиковое дерево, сгибающееся под тяжестью плодов.

— Но это же персики,— возразил я.— А ты сорвала все нектарины.

Отец запретил прикасаться к ним. Они были редким лакомством, и их приберегали специально для праздничного стола.

Я попытался отнять сумку у Лилли, но она умела драться, больно царапалась и к тому же была девчонкой, против которой я не мог пустить в ход кулаки, поэтому она запросто свалила меня на землю.

— Ты что, дурак? — вскипела Лилли, отошла к персиковому дереву и принялась его обрывать.

— Кит, где ты?.— окликнула меня мама.

— Здесь,— ответил я и побежал к ней вокруг дома.

— Смотри, что она делает,— проговорила мама.

В противоположном конце сада миссис Стьюбек рвала сливы и бросала их в корзину, не обращая внимания на хозяйку.

— Мы за все заплатим, мэм,— сказала миссис Стьюбек моей беспомощной и растерянной маме, стоявшей рядом.

Я тоже растерялся, но была задета наша семейная честь, а главное — не мог я видеть свою маму такой беспомощной. Рядом оказался длинный шланг, подключенный к крану как раз возле персикового дерева. Я снова обежал дом, открыл кран, схватил шланг и направил струю прямо на Лилли, которая забралась на дерево.

— О господи! — вырвалось у Лилли, когда я окатил ее водой.

Я поливал Лилли, пока она не спустилась с дерева. Защищаясь от воды, она вытянула вперед руки и пошла прямо на струю, пытаясь выхватить у меня шланг. Я крепко держал его, но Лилли удалось направить струю в мою сторону. Конечно, Джекки, который сидел на земле, тоже вымок и заплакал. Лилли обзывала меня и пинала, а я старался ее оттолкнуть; мне это почти удалось, когда подошла ее мать. Я ухитрился окатить водой и миссис Стьюбек.

— Вот гаденыш! — крикнула она и больно меня ударила.

Я не стал дожидаться настоящей трепки и пустился наутек к задней двери. Тем временем мама перешла в наступление: она разыскала миссис Стьюбек, схватив первое попавшееся под руку оружие — большую метлу.

Нашествие закончилось отступлением непрошеных гостей. Лилли вся промокла и перепачкалась в грязи, она не на шутку разозлилась на меня. Взяв на руки малыша и прижимая к себе сумку с нектаринами, она крикнула на прощанье:

— Я тебе еще покажу, Кит Кил!

Обычно с этой угрозой покидали поле боя мальчишки, а не девчонки. Но я ничего не сказал ей вслед, так как знал, что Лилли обязательно выполнит свое обещание.

Вернувшись домой, отец пришел в ярость из-за сорванных нектаринов и сказал, что подаст на Стьюбеков в суд.

— За что? — удивилась мама.

— За ограбление с применением силы,— ответил отец.

— Чего же ты хочешь? — спросила мама.— Возмещения убытков? Или отправить миссис Стьюбек в тюрьму? Кит проучил их достаточно. Больше они не придут. На твоем месте я бы простила их.

Но отец был не такой человек, чтобы оставить в покое Стьюбеков, и, хотя я точно не помню, как это ему удалось, он не только запретил миссис Стьюбек приближаться к нашему дому, но и сумел взыскать с нее два шиллинга.

Босоногая Лилли дважды гонялась за мной по школьному двору, выкрикивая угрозы, и оба раза я убегал от нее, мне не хотелось драться с девчонкой. В третий раз Лилли сумела настигнуть меня, но я, изловчившись, крепко схватил ее за маленькие руки и не отпускал их, пока длился наш спор.

— В расчете,— сказал я.

— Нет, не в расчете,— возразила девочка.— Ты облил меня водой.

— А ты украла наши нектарины.

Лилли немного подумала и согласилась:

— Ладно. Пусти.

Я разжал руки. Она ударила меня по голени босой ногой и проговорила:

— Теперь в расчете.

Мы замерли на мгновенье: каждый из нас смотрел на противника, оценивая его силу и думая о том, чего ожидать от него в будущем. Лилли, по-моему, знала, что я не вредный. И мы одинаково ненавидели насмешки. Мы расстались как равные, только так и можно было ладить с Лилли.

2

Со дня своего приезда в Сент-Элен и до того времени, когда мисс Дэлглиш — самая богатая и образованная дама в городе — взяла Лилли к себе в дом, Лилли словно нарочно вела себя так, чтобы прослыть несносной девчонкой, хотя почти все, что она делала, было подсказано немудреным правилом: бери что плохо лежит, а если бьют, то давай сдачи. Но Лилли всегда строго отделяла себя от других членов своей семьи. Поэтому она, казалось, не замечала, когда дразнили сестер или отпускали шуточки в адрес родителей.

Стьюбеки по-разному распоряжались трофеями — не все они шли в общий котел, кое-какая пожива полностью принадлежала добытчику. Еду обязательно распределяли между членами семьи, как и деньги — мелочь, которая попадала в руки к Стьюбекам. Никто не смел отпить пахты по дороге с маслозаводика домой. «Порченое масло» (так Стьюбеки называли пахту, вероятно немало способствовавшую поддержанию их крепкого здоровья) считалось в семье лакомством, им оделяли каждого. Но вкусная падалица съедалась на месте. Однажды я увидел, как Лилли вытащила из мусорного ящика коробку воздушных пирожных (меренг), выброшенных из кондитерской, которая находилась через два дома от отцовской конторы со стороны двора. Лилли съела полдюжины твердых как камень шариков и предложила:

— Хочешь попробовать, Кит?

Я знал, где она раздобыла меренги, и вовсе не желал их пробовать. Но я также знал, что мой отказ обидит Лилли, она редко бывала такой щедрой, поэтому я взял одно пирожное.

— А свежие пирожные вкусные? — спросила Лилли.

— Ничуть не лучше,— соврал я, с трудом проглотив засохший яичный белок.

— Возьми еще,— предложила опять Лилли.

Но больше я не мог пересилить себя.

— Спасибо,— поблагодарил я.— Знаешь, не люблю я их.

Я был уверен: Лилли доест остальное сама, а не отнесет домой, чтобы поделиться с сестрами и братьями; я хотел уже отправиться своей дорогой, как вдруг к Лилли подскочила владелица кондитерской миссис Смолл и вцепилась в наполовину опустошенную коробку.

— Какая гадость! — закричала она.— Ты же взяла ее из мусорного ящика.

Миссис Смолл силилась вырвать у Лилли коробку с пирожными, но девочка замолотила босыми ногами по голеням кондитерши и кинулась наутек.

— Смотри, Кит Кил,— сказала миссис Смолл.— Я все расскажу твоему отцу. Ты ведешь себя отвратительно.

У меня хватило ума не спорить с миссис Смолл, и я понуро поплелся прочь, обидевшись на Лилли, которая предательски бросила меня одного, совершенно беззащитного перед грозной владелицей кондитерской — сама-то Лилли всегда умела постоять за себя.

Подобные происшествия случались с Лилли почти каждый день, и хотя девочка мстила обычно лишь за самые тяжкие обиды, зато она воздавала сторицей обидчику даже через полгода, если представлялся случай. Миссис Смолл получила-таки свое. Спустя несколько недель после стычки Лилли закрыла ее в магазине. Вечером, перед уходом домой, миссис Смолл обычно вставляла ключ в дверь кондитерской. Однажды Лилли увидела его и заперла дверь, потом пробежала несколь-

ко кварталов и бросила ключ в сад муниципального советника, который сторожила злая овчарка. Все это Лилли проделала незаметно, но миссис Смолл догадывалась, кто посмеялся над ней, и как-то раз, подметая тротуар перед домом, неожиданно хлестнула проходившую мимо Лилли метлой по ногам. На этот раз Лилли решила, что они квиты, и убежала, не пригрозив расплатиться с обидчицей.

Самой жестокой местью Лилли — в это дело даже вмешалась полиция — стала ее расправа над Поли Хаулэндом (по прозвищу Ролли-Поли[1]), отец которого владел аптекой и держал лошадей. Поли — крупный, толстый мальчишка, настоящий маменькин сынок — был старше Лилли на четыре года, а может, и на пять лет, в школе его ненавидели за то, что он обижал малышей и вечно их запугивал. Мы старались не попадаться ему на глаза, хотя иногда даже жалели своего мучителя,— по-моему, он самому себе был противен. Поли налетал неожиданно: то сорвет шапку, то поставит подножку, то толкнет или ударит, то примется смеяться над кем-нибудь из нас, то припомнит что-нибудь гаденькое о семье своей очередной жертвы. Лилли особенно доставалось от Поли Хаулэнда: неделями он дергал ее за волосы, задирал подол платья, дразнил цыганкой (чего она терпеть не могла) или, того хуже, обзывал почему-то «харкотиной».

Лилли пыталась ему отомстить — пинала его ногой и царапалась при каждом удобном случае, но Поли не оставлял ее в покое; казалось, наконец-то она встретила достойного противника, хотя все, кто знал Лилли, были уверены — она никогда никому не уступит. Однажды в пятницу мы собирались идти домой из школы. В это время Поли обычно совершал свои проделки, и Лилли, наверное, ждала его нападения. Она помахивала сумочкой, которую в конце недели приносила с собой в школу и наполняла после занятий добычей, извлеченной из мусорных ящиков. Поли выхватил у нее сумочку и поднял высоко над головой, дразня Лилли, точно собачонку. Неожиданно она вынула из кармана или откуда-то еще перочинный нож и открыла его.

— Отдай сумку! — потребовала Лилли.

Поли посмотрел на нож и засмеялся:

— Только тронь!

— И трону,— не испугалась Лилли.

Посыпались угрозы, за которыми обычно следует драка, и Поли пообещал:

— Попробуй только, я тебе...

Не успел он договорить, как Лилли кошкой прыгнула на него и ударила ножом в спину.

Пожалуй, не растерялась одна Лилли. Ошеломленный Поли выронил сумочку, Лилли подхватила ее и убежала. Рана была неглубокая, и Поли не сразу почувствовал боль. А почувствовав, побледнел и упал в обморок. Кто-то сбегал за учительницей, Поли подняли, рубашка его сзади пропиталась кровью; свидетели этой сцены заметили, что Лилли, ударив Поли, успела выдернуть нож и унести с собой.

Стьюбеки привыкли к визитам полиции. Сержант Коллинс приходил к ним почти после каждой кражи, совершенной в городе. Одного из братьев Лилли уже посадили в тюрьму — он очистил табачный киоск на вокзале. Но потасовки на стороне Стьюбеками не одобрялись, поэтому Мэтти избил дочь, а миссис Стьюбек заставила старшую дочь Грейс покусать Лилли, я сам видел на руках и ногах у нее следы зубов, продержавшиеся не одну неделю.

Неприятности Стьюбеков на этом не закончились, потому что весь город вскоре узнал о происшествии; обеспокоенные родители пожаловались директору школы, а мистер Хаулэнд обратился в полицию, и Лилли вызвали к мистеру Е. Бейдуэллу, городскому судье и члену парламента, представлявшему в Мельбурне наш штат.

---

[1] Коротышка Поли *(англ.). (Здесь и далее прим. перев.)*

Далеко не все осуждали Лилли, хотя она и была из семейства Стьюбеков. Многие в городе не любили Хаулэндов. Сестры Форчун[1]— старые девы по прозвищу мисс Счастье и мисс Несчастье,— у которых Лилли часто выпрашивала яйца, позвонив моему отцу, попросили его прийти в суд и проследить, чтобы интересы Лилли были соблюдены, а влиятельные Хаулэнды не повернули все по-своему.

Отец отнюдь не сочувствовал злополучным Стьюбекам, но он был страстным поборником равноправия граждан перед законом, особенно детей, и поэтому согласился помочь Лилли, хотя и знал, что его присутствие на суде будет расценено как неуместное вмешательство в дело простое и предрешенное. Он и не думал доказывать невиновность Лилли, которая призналась во всем, да и слишком много детей, включая его собственного сына, были свидетелями схватки на школьном дворе. Отец только хотел добиться справедливого приговора.

— Ты действительно видел, как они дрались? — допытывался он.

— Все видели,— ответил я.

— Я не спрашиваю о других, я хочу знать — ты видел, что там было?

Когда я проговорил «да» и принялся оправдывать Лилли, он оборвал меня:

— Я прошу рассказать, что произошло, а не почему.

— Мало ли что произошло,— возразил я.— Поли сам виноват.

— Прежде чем судить об этом, мне нужно знать факты. Так что же?

Я подробно описал.

— Хорошо,— проговорил отец.— Как ты думаешь, почему она так поступила?!

Я и сам настрадался от Поли, поэтому мне было что рассказать о нем, и на предварительном судебном заседании отец избрал наступательную тактику защиты. В ответ на каждое обвинение, выдвигавшееся против Лилли, он приводил примеры того, как Поли обижал детей, и требовал обуздать хулигана во избежание новых инцидентов.

В конце концов Лилли освободили на поруки с испытательным сроком в один год, а мистеру Хаулэнду посоветовали строже смотреть за сыном. Ни Мэтти, ни миссис Стьюбек не пришли на заседание, за что мой отец порицал их, хотя в глубине души был рад тому, что родители Лилли держались в стороне, так как их присутствие могло только ухудшить ее положение. Вечером отец вызвал к себе Мэтти и сказал, что Стьюбекам повезло, ведь Лилли не отправили в Бендиго, где находился приют. Но, казалось, возможная потеря дочери не обеспокоила родителей Лилли, и мой отец презрительно заявил, что помогать обитателям Мыса — пустая трата времени.

— Этой девочке на роду написано угодить за решетку,— сказал он и велел моей сестре, брату Тому и мне держаться подальше от Стьюбеков.— Они вечно будут попадать во всякие истории.

Тогда еще трудно было предположить, что судьба сведет нас с кем-нибудь из Стьюбеков, но неожиданно мне скоро довелось побывать в доме на Мысу. Однажды субботним утром, часов в шесть, я переправился через реку неподалеку от жилища Стьюбеков и стал ловить рыбу в своей излюбленной заводи. Около восьми напротив меня устроилась Лилли, у нее были две лески с крючками (наверняка краденые), намотанные на кору пробкового дерева, и жестянка с червями. Лилли приносила больше рыбы, чем отец и братья, потому что лучше знала реку, но к обеду поймала лишь одного окуня, а я — десять.

— Почему у тебя клюет, а у меня нет? — удивленно спросила Лилли, которая, обогнув заводь, подошла ко мне.

— Просто везет,— ответил я небрежно.

[1] Судьба *(англ.)*.

— Покажи, что ты делаешь? — не отставала она.

Я показал, как насаживаю приманку на крючок и куда закидываю удочку, но Лилли заявила, что делает то же самое, а рыба не ловится.

— Я же тебе говорю, мне просто везет,— раздраженно повторил я.— Ну, я пошел домой, а ты можешь ловить здесь, если хочешь.

— Уже поздно,— погрустнела Лилли.— Мать просила принести рыбы к обеду.

Для меня посидеть на берегу с удочкой было развлечением, но я понимал, что Лилли относилась к этому занятию всерьез. Она ловила рыбу, чтобы накормить семью.

— Бери моих окуней,— опрометчиво предложил я.

— А ты много поймал? — поинтересовалась Лилли.

— Десять штук.

— Хватит,— кивнула она, и, когда мы проходили мимо ее дома, Лилли спросила, не хочу ли я поесть рыбы.

— Ты что, приглашаешь меня в гости?

— Рыба-то твоя,— рассудительно проговорила Лилли, и я не понял — то ли по законам Стьюбеков я имел право на место за их столом, то ли внезапное дружелюбие Лилли объяснялось тем, что ей помог мой отец, то ли она пригласила меня к себе в дом, где чужих не привечали, так как просто мне доверяла. Я помнил о том, что отец запретил нам дружить со Стьюбеками, но в то же время знал: Лилли не понравится, если я откажусь от ее приглашения. Поэтому я робко попытался от него уклониться.

— А тебе не попадет от матери? — спросил я Лилли.

— Я скажу, что ты хотел сам приготовить рыбу, а мы избавим тебя от возни,— ответила она.

Я и впрямь часто пропадал на реке по субботам и питался наловленной рыбой. Но, честно говоря, дело было в другом: мне просто не терпелось узнать, что творилось в их таинственном доме.

— Ладно,— неосторожно согласился я.

— Побудь здесь,— попросила Лилли и, выхватив у меня связку рыбы, направилась в дом. Сначала все было тихо, потом я услышал, что между Лилли и матерью вспыхнул ожесточенный спор, наконец на пороге показался Джорди, один из старших братьев:

— Ну и дурак же ты, Кит. Думаешь, нам хватит десятка рыбешек?

Я ответил, что меня позвала Лилли.

— Тогда пусть отдаст свою долю тебе, ничего — переживет.

В тот раз я накрепко усвоил, что за любопытство приходится дорого платить. Мне пришлось отведать отвратительной стряпни, до сих пор помню ее вкус; после обеда у Стьюбеков я уже совсем по-другому взглянул на свое безмятежное детство и наше семейное благополучие.

Семья Стьюбеков, все одиннадцать человек, уселась вокруг большого стола, который был сбит из дверей, положенных на козлы в прокопченной кухне (мне удалось увидеть только ее). Стены повсюду были в сальных пятнах, каких-то потеках и чернильных каракулях. Неровную поверхность стола закрывали газеты, заляпанные жиром, все в черных кружках от закопченных кастрюль. Тарелки у Стьюбеков были самые разные — эмалированные, алюминиевые, фарфоровые с оббитыми краями. Мне досталась глубокая фарфоровая тарелка, треснувшая и не отмытая от застывшего жира. У каждого была ложка и нож, но о вилках в этом доме не имели понятия; посредине стола торчала засиженная мухами бутылка томатного сока, детям ее трогать не позволяли. Меня устроили рядом с Лилли на старенькой банкетке — из ее сиденья повыдергивали набивку; Лилли успела снять видавшее виды ситцевое платьице и была в одних трусиках, еще не вы-

сохших после купания и грязных. В ее плечо вцепился трехпалый Джекки, который уже начал понемногу ходить.

Скоро я понял: как ни сплотила Стьюбеков совместная жизнь, как ни объединяла их бедность (которую я не осуждал) и дружные родительские наставления Мэтти Стьюбека и миссис Стьюбек, все дети, кроме, пожалуй, Лилли и Джекки, оставались друг для друга чужими. Они вели себя словно тигрята в логове. Дочери и мать больше молчали, но каждый из Стьюбеков отстаивал свои особые права: они спорили не только о том, кому где сидеть, но и о том, кто из какой тарелки будет есть, кому можно говорить, а кто должен помалкивать. Даже старшие дети беспрестанно колотили, щипали, кусали и толкали друг друга. Это было своего рода ритуалом перед едой, и Лилли ожесточенно молотила кулаками и толкалась, наверное, даже больше других. Но все притихли, когда одна из девочек поставила на стол эмалированную миску с ломтями хлеба, а миссис Стьюбек подала рыбу.

Миссис Стьюбек сварила в кастрюле с пахтой десять моих окуней и окуня, пойманного Лилли. Мне достались две головы и желтая молочная жижа, в которой плавала луковица, от варева шел такой отвратительный запах, что я вынужден был дышать ртом.

— Покроши хлеб в суп,— посоветовала Лилли. Она схватила кусок хлеба и бросила в мою тарелку.— Давай ешь.

Оказавшись жертвой своего любопытства, я заталкивал ложку в рот с уверенностью, что больше не смогу проглотить ни капли. С грехом пополам я съел уху, но миссис Стьюбек швырнула в мою тарелку еще одну отвратительную разваренную луковицу, которую я все же поспешно запихнул в рот, чтобы скорее разделаться с едой. Обед закончился чаем. Мне досталась фарфоровая чашка без ручки, чай был слишком горячий и отдавал протухшей бараниной и прогорклым маслом.

За чаем начался новый ритуал, на этот раз его вершили не дети, а глава семьи — он поддерживал порядок за столом, вскакивал и раздавал колотушки, щипал и бил каждого, до кого мог дотянуться. Как и перед обедом, потерпевшие вскрикивали от боли и сыпали солеными словечками, но никто не жаловался и не хныкал.

В конце обеда Мэтти обратился ко мне заискивающим голосом.

— Кит, ты хороший мальчик,— начал он.

Я не поднимал глаз от тарелки.

— Может, у твоей сестрички найдутся туфельки для Элис?

— Не знаю, мистер Стьюбек,— ответил я.

— А ты глянь дома, вдруг отыщется какая-нибудь старая обувка. Сестренке она, поди, ни к чему.

— Поищу,— сказал я.

Мне было понятно, что Мэтти подговаривает меня просто-напросто украсть туфли.

— И старенькое платьице для Лилли.

Я взглянул на Лилли, державшую на коленях малыша Джекки. Она сидела как ни в чем не бывало, но, когда миссис Стьюбек впервые за обед открыла рот и неожиданно пророкотала, что не будет больше заваривать чай, Лилли ущипнула меня за ногу и шепнула:

— Удирай побыстрее!

Я встал, чтобы поблагодарить миссис Стьюбек, но Лилли толкнула меня в спину и велела поторапливаться. Она натянула платье уже на улице.

— Отец хотел усадить тебя за карты, и ты бы проторчал у нас целый день,— сказала она.

— Он играет в карты?

— Да, и братья тоже, но отец всегда выигрывает,— усмехнулась Лилли, и я покинул Мыс, размышляя, каково пришлось бы мне, если б я уселся за карты с человеком вроде Мэтти и его сыновей. Но,

побывав у Стьюбеков, я излечился от любопытства, поэтому попрощался с Лилли и поспешил домой в добропорядочный мир своего строгого, вспыльчивого отца и ласковой, заботливой матери. Я не стал лгать маме, будто приготовил и съел рыбу на берегу реки, а простодушно рассказал, что отдал улов Стьюбекам и пообедал вместе с ними.

— У них дома? — недоверчиво спросила мама.

— Конечно.

— О боже! — воскликнула она и задумалась на мгновенье. Я ожидал упреков, но мама грустно сказала: — Значит, Кит, теперь ты должен пригласить Лилли к себе!

Этого еще не хватало.

— Зачем? — удивился я.

— Надо быть учтивым,— ответила мама.— Особенно с такими людьми.

Она имела в виду бедняков вроде Стьюбеков, которые делились с другими последним куском хлеба. Но отец взорвался, когда услышал о решении матери.

— Не думаю,— сказал он,— что от нас требуется подобная щепетильность.

— Обязательно,— настаивала мама.

Отец в негодовании взмахнул руками.

— Стьюбеки придут лишь затем, чтобы попрошайничать! — предупредил он.

Именно так и поступила миссис Стьюбек, когда я наконец вынужден был пригласить Лилли к нам на субботний обед.

3

Миссис Стьюбек с Лилли стояли у задней двери, ожидая, когда им позволят войти, но на этот раз моя мама была настороже.

— Вот она и пришла, миссис Кил,— проговорила миссис Стьюбек.— Это Лилли.

— Здравствуй, Лилли,— сказала мама и подозвала меня.

— Здравствуйте, миссис Кил,— ответила Лилли.

Она была все в том же старом платьице, босая. Но я впервые увидел заколку в ее спутанных черных волосах.

Заметив, что мать держит решетчатую дверь на запоре, миссис Стьюбек попросила:

— Если вас не затруднит, миссис Кил, дайте мне пакетик муки, немножко картошки и соли. Или, может, что-нибудь еще, чего вам не жалко.

— Хорошо... Подождите минутку,— ответила мама и оставила меня одного, мы с Лилли смотрели через железную решетку друг на друга. Мама пошла на кухню, она вернулась с газетным свертком и миской картошки.

— Передай это миссис Стьюбек,— сказала она, открыв дверь ровно настолько, чтобы я смог выйти и положить сверток и картофель в проволочную корзинку миссис Стьюбек. Дверь за мной мама закрыла.

Даже не наказав на прощанье дочери вести себя как следует, зато посетовав: «Неужели, миссис Кил, это все, что вам не жаль для бедной женщины?» — миссис Стьюбек оставила Лилли со мной, и мы не знали, куда себя деть, пока будет готов обед. Выход нашла Лилли: она принялась гоняться за нашим псом Микки вокруг дома. Микки как и другие собаки, сразу полюбил Лилли, он преданно вилял хвостом и ластился к девочке. Сначала она бегала за Микки, потом он припустил за ней, а когда нас позвали обедать, пес последовал за Лилли в дом и сел под столом, облизывая ее грязные босые ноги.

У меня промелькнула мысль, не снимет ли она платье, но Лилли сидела спокойно, не сводя глаз с отца, будто только от него зависело, как нам себя вести. Когда он закрыл глаза и прочитал молитву, Лилли пришла в восхищение. А когда он разрезал говядину, которую готовили по субботам, и дал ей первый кусок (с овощным гарниром), Лилли набросилась на еду, не ожидая, пока остальные получат свою порцию.

Я толкнул ее локтем.

— Подожди,— шепнул я.

— Чего?

— Пока раздадут всем.

— А...

Положив вилку и нож на стол, она принялась наблюдать за нами, словно тигренок, выжидающий момент, когда можно будет кинуться на добычу. Сестра и брат с не меньшим любопытством смотрели на гостью; перехватив пристальный взгляд Тома, Лилли скорчила рожицу и послала ему одно из своих беззвучных кошачьих «мяу». Потом она шепотом спросила меня, нет ли у нас томатного соуса.

— У нас есть томатный соус? Лилли просит,— обратился я к маме.

— Ты прекрасно знаешь, Кит, что мы его не держим,— ответила мама.

Отец разрешал покупать только острый соевый соус, а не томатный, который считал грубой австралийской приправой.

— Томатного соуса у нас не водится, Лилли, и думаю, он тебе ни к чему,— проговорил отец.

Мы с интересом смотрели, как Лилли орудовала вилкой, ножом и ложкой, очищая тарелку. Она ела шумно, сосредоточенно и первая покончила с говядиной.

— Это все? Можно идти? — шепнула мне Лилли, расправившись с мясом и овощами.

— Еще будет десерт,— ответил я тоже шепотом.

— Что это такое?

— Сладкий пудинг.

— Кит,— обратился ко мне отец,— если вы с Лилли хотите что-то сказать друг другу, говорите погромче, чтобы остальные могли услышать.

— Она только спросила, закончился ли обед.

— Потерпи немного, Лилли,— сказала мама, она подала пудинг сначала гостье, и Лилли подождала, пока остальные получат свою порцию. Затем Лилли вновь ринулась в атаку и уничтожила пудинг задолго до того, как с ним расправился Том, наш главный обжора. Увлекшись едой, Лилли перепачкала пальцы и, не обращая внимания на чистую салфетку, положенную мамой рядом с прибором, откинула подол платья и вытерла руки о трусы. Заметив, что Микки по-прежнему лежит у ее ног, она сунула ему руку; тот дочиста облизал ей пальцы, и девочка радостно толкнула меня локтем в бок.

— Пора? — спросила она. Лилли привыкла выскакивать из-за стола прежде, чем Мэтти успевал до нее дотянуться.

— Подожди,— ответил я.

Лилли вертелась на стуле, лохматила шерсть на голове Микки и нетерпеливо толкала меня до тех пор, пока отец не просунул салфетку в кольцо из слоновой кости; мы последовали его примеру.

— Теперь пора,— проговорил я.

Отец не успел отодвинуть свой стул, как Лилли сорвалась с места и выскочила из столовой во двор, крикнув на ходу: «Микки, за мной!»

Лишь собрав со стола и пересчитав салфетки, сестра обнаружила, что одной из них не хватает.

Лилли незаметно засунула ее в трусики, и, хотя мама потихоньку

вздыхала, жалея о потере дорогой камчатной салфетки, она не попросила ни меня, ни отца заставить гостью вернуть украденное. Только за ужином мама не удержалась:

— Мне жаль эту девочку, ведь некому даже объяснить ей, что хорошо и что дурно.

Но Лилли суждено было вскоре встретиться с человеком, который захочет научить ее отличать хорошее от плохого и откроет ей иную жизнь, а Лилли одновременно и примет эту жизнь и отвергнет, яростно защищая себя, желая остаться самой собой, непокоренной Лилли Стьюбек.

4

Мисс Дэлглиш довольно сильно отличалась от прочих жителей нашего городка, хотя невозможно было представить себе Сент-Элен без этой странной, чопорной дамы и ее особняка, обнесенного высокой деревянной оградой. Старый мистер Дэлглиш, которого я помню смутно, принадлежал к известному роду пшеничных и шерстяных королей, Дэлглишей знали не только в Австралии, но и в Лондоне как поставщиков зерна, шерсти, шкур, кож, минеральных удобрений — словом, всего того, что приносило неплохие доходы фермерам в те времена, когда Австралия оставалась еще английской колонией.

Хотя мистер Дэлглиш принадлежал к богатому клану только по материнской линии, у него хватало денег, чтобы подолгу жить в свое удовольствие в Европе. Поэтому многие у нас недоумевали, почему он вместе с дочерью (ей было шестьдесят с небольшим, а ему — под девяносто) возвратился в родные места. Мистер Дэлглиш остался в моей памяти крепким прямым стариком с большим загривком, подпиравшимся высоким крахмальным воротничком. Несмотря на то что его состояние было нажито торговлей шерстью и пшеницей, а наш город находился в самом центре овцеводческого района Виктории, слывшего к тому же и житницей штата, мистер Дэлглиш не имел никакого отношения к некогда традиционному занятию предков. Он только следил за положением своих финансовых дел и дважды в неделю с чопорным видом, неторопливой походкой направлялся в один из местных банков, часть акций которого принадлежала ему, и утро проводил в кабинете, просматривая бумаги. Потом исчезал за высокой деревянной оградой своего дома и лишь изредка выходил на улицу посетить церковь или навестить Эаризов — еще одну состоятельную семью в нашем городе, которая владела пристанью на противоположной стороне реки. Чтобы доставить мистера Дэлглиша к себе и обратно, Эаризы заказывали «мармон» или «шевроле» у мистера Мэлоуна.

Мисс Дэлглиш была в Европе, когда умер ее отец; из Мельбурна приехали родственники, они устроили старому джентльмену пышные похороны, на которых присутствовали все видные граждане нашего города (в том числе и мой отец).

— Как ты думаешь, чему посвятит себя теперь мисс Дэлглиш? — спросила отца мама, когда они завели беседу о будущем пожилой леди.

— Старому Дэлглишу было далеко за восемьдесят, а ей за шестьдесят, поэтому вряд ли она займется серьезным делом.

— Но как же она будет жить одна в своем особняке?

— У нее есть миссис Стоун.

Говоря о Дэлглишах, мы всегда вспоминали о миссис Стоун, не покидавшей их более тридцати лет. В молодости она была то ли служанкой, то ли компаньонкой при мисс Дэлглиш и несколько раз ездила с хозяевами в Европу. Лишь одна миссис Стоун из всех жителей нашего городка была близка с владельцами особняка. Это была приятная, скромная, умная женщина; когда умер мистер Дэлглиш, ей уже перевалило за семьдесят, однако она выглядела по-прежнему бодрой и не жаловалась на здоровье. Муж миссис Стоун — Джеф Стоун —

служил одновременно садовником и конюхом у Дэлглишей, которые раньше держали собственный выезд, но Джеф погиб в первую мировую войну, мистер Дэлглиш продал экипаж и лошадей больше не заводил, а пользовался наемной коляской, потом машиной и дважды в неделю приглашал глухонемого Боба Эндрюса поработать в саду.

Миссис Стоун у нас называли экономкой, а за глаза — любовницей мистера Дэлглиша. Может, так оно и было, но миссис Стоун с ее поседевшими густыми волосами и кроткими голубыми глазами казалась такой славной и простой старушкой, что большинство горожан либо вовсе пропускало эти слухи мимо ушей, либо не принимало их всерьез. Дэлглиши занимали высокое положение и могли не обращать внимания на пересуды; богатство позволяло им жить на свой вкус. Особенно мисс Дэлглиш.

Все, что мы знали о ней, было отчасти сплетнями, отчасти правдой, но больше чем наполовину домыслом. Она носила длинные легкие платья, вошедшие в моду при Эдуарде VII[1] (летом из туссора[2]), остроносые туфли на устойчивом каблуке. На ее шее почти всегда красовались длинные агатовые бусы; мисс Дэлглиш обычно не выходила из дома без сумочки из мягкой кожи с черепаховой ручкой, и мы часто пытались угадать, что там лежало; спустя много лет я узнал от Лилли, что мисс Дэлглиш брала с собой какой-нибудь итальянский, немецкий или французский роман и карманный словарик.

Приверженность к европейской культуре выделяла мисс Дэлглиш среди нас куда больше, чем ее богатство, поэтому высокий деревянный забор вокруг дома не столько оберегал уединенную жизнь хозяйки, сколько служил границей разных миров — нашего и Дэлглишей. Мы знали, что у мисс Дэлглиш есть обширная библиотека с книгами на разных языках, прекрасные картины современных художников, скульптуры и другие ценные произведения искусства, редкое собрание оперных партитур, которые она выписывала, в частности, из-за океана. Но большинство книг и партитур ей присылали по почте из Мельбурна, словно наши книжный и нотный магазины не могли удовлетворить ее запросы, хотя там и был отличный выбор. Во всяком случае мисс Дэлглиш иногда оказывала их владельцам финансовую помощь, точно видела в этом свой гражданский долг.

Едва ли не каждый в нашем городе считал для себя лестным приветствие мисс Дэлглиш. Ее отец никогда не раскланивался первым, хотя с неизменно чопорной учтивостью отвечал на поклоны всем, даже детям. Пожилая леди, напротив, спешила поздороваться со знакомыми, произнося своим громким, строгим голосом «доброе утро», «добрый день» или «добрый вечер», но ни разу не сказала «спокойной ночи» тем горожанам, к которым была особенно расположена. «Так можно только прощаться»,— утверждала мисс Дэлглиш, а она ненавидела прощания. Если же мисс Дэлглиш произносила еще и ваше имя, вы чувствовали себя посвященным в рыцари.

До сих пор помню, как я был горд, когда однажды субботним утром хозяйка большого дома сказала: «Доброе утро, Кит»; она шла мне навстречу по главной улице такой же твердой походкой, какая была у ее отца.

— Доброе утро, мисс Дэлглиш,— ответил я и хотел проследовать дальше.

Неожиданно она положила руку мне на плечо, я удивленно обернулся и оказался прямо перед ней.

— Лучше зачесывать волосы на другую сторону,— посоветовала мисс Дэлглиш.— Тогда они не будут торчать.

Я был так польщен ее вниманием, что, вернувшись домой, сразу намочил голову, перенес пробор на другую сторону (девчоночью) и с тех пор не менял прическу.

---

[1] Эдуард VII (1841—1910)— английский король с 1901 г.

[2] Шелк типа чесучи.

Когда мисс Дэлглиш вернулась из Европы, сентэленцы строили разные домыслы, пытаясь найти ответы на два вопроса: какое состояние она унаследовала от отца и долго ли пробудет в городе. Размеры наследства так и остались тайной, во всяком случае, прошло полгода, а хозяйка особняка уезжать не думала, будто после смерти отца решила по какой-то причине окончательно поселиться в Сент-Элен. Но что это за причина, мы не знали, а миссис Стоун по-прежнему помалкивала насчет того, что происходило в доме Дэлглишей, впрочем, она никогда не отличалась словоохотливостью. Мы лишь удивлялись, от кого пожилая леди узнавала обо всем, что творилось в городе.

— Как вы можете оправдывать человека, который бьет свою жену? — спросила мисс Дэлглиш моего отца в тот день, когда он защищал в суде Джека Маклеиша.

— Но его судят не за это,— ответил отец, удивившись ее осведомленности.

— Ну и что? — недоумевала мисс Дэлглиш.— Он же отвратительный человек.

— Его дурные наклонности, мисс Дэлглиш, не имеют отношения к делу. Он предстал перед законом за неуплату долга и имеет право на защиту.

— Таких людей нельзя защищать,— не отступала мисс Дэлглиш; и хотя мой отец терпеть не мог, когда его поучали, он учтиво выслушал ее, потому что она была настоящей леди.

Порядки в доме Дэлглишей почти не изменились, только из больших ворот уже не выходил старый джентльмен, направляясь в банк или церковь. Пожилая леди носила теперь темные платья, сохранив в остальном прежние привычки и манеру держаться. Миссис Стоун продолжала покупать продукты, готовить, убираться, и казалось, что мисс Дэлглиш решила спокойно доживать свои дни в Сент-Элен вместе с домоправительницей.

Но почти через год после смерти старого джентльмена миссис Стоун заболела. Одни говорили, будто у нее что-то с почками, другие — будто у нее ревматизм; часто по утрам она уже не вставала с постели, поэтому мисс Дэлглиш пришлось искать прислугу. Пожилая леди не хотела брать никого из местных женщин, однако в конце концов пригласила миссис Питерс: ей надлежало приходить к девяти, убираться в комнатах, ухаживать за миссис Стоун, готовить обед и холодный ужин; в четыре часа миссис Питерс уходила. Дольше она задерживаться не могла, так как у нее была своя семья — муж, работавший механиком в гараже Мэлоуна, и двое взрослых сыновей. Главными достоинствами миссис Питерс были аккуратность и умение держать язык за зубами. Об этой худощавой женщине с тонкими губами поговаривали, будто ей глубоко безразлично все на свете, кроме собственных семейных забот. Как бы то ни было, мисс Дэлглиш взяла ее лишь на время.

Лилли свел с мисс Дэлглиш случай. Здоровье миссис Стоун не улучшалось, и пожилая леди не хотела оставлять ее одну. Однажды в пятницу миссис Стоун срочно понадобилось болеутоляющее лекарство. К сожалению, посыльного из аптеки не оказалось на месте, а прислуга уже ушла, поэтому мисс Дэлглиш открыла тяжелые деревянные ворота, высматривая мальчика или девочку, чтобы отправить к Хаулэнду за лекарством. Мимо проходила Лилли, и, хотя мисс Дэлглиш прекрасно знала, с кем имеет дело и что говорят о маленькой Стьюбек в городе, она предложила ей шиллинг, если та выполнит поручение.

— И еще один шиллинг за быстроту,— добавила мисс Дэлглиш.

Лилли исполнилось в ту пору одиннадцать лет. Она уже носила туфли, правда потрепанные, разбитые, но все-таки туфли. Лилли сбросила их, сунула под мышку вместе с аптечным пузырьком и по-

неслась по улице, прежде чем мисс Дэлглиш успела запереть массивные деревянные ворота.

Эти массивные ворота открывались только ключом; с улицы имелся звонок, но Лилли, возвратившись, не обратила на него внимания. Она проникла в сад своим путем, взобравшись на высокую деревянную ограду с соседского забора и спрыгнув вниз на клумбу.

— Как ты сумела войти? — удивилась мисс Дэлглиш, увидев Лилли у парадной двери.

— Через забор,— ответила Лилли.

— Мне это вовсе не нравится,— сказала мисс Дэлглиш.— Но ты вернулась очень быстро, поэтому получай свои два шиллинга.

Два шиллинга были для Лилли целым богатством, и она предусмотрительно спросила у мисс Дэлглиш, не надо ли еще чего-нибудь купить в городе.

— Благодарю, сейчас не нужно,— ответила мисс Дэлглиш.— Лучше приходи завтра после школы, вероятно, мне понадобится твоя помощь.

— Ладно,— согласилась Лилли.

— Только позвони у ворот. Через ограду больше не лазай.

— Можно нарвать гранатов? — спросила девочка перед уходом.

На краю сада мисс Дэлглиш росло четыре гранатовых куста, усыпанных плодами.

— Сорви один, но смотри не обломай ветки и не наступи на цветы.

Лилли была без своей сумки, в которую обычно складывала фрукты, поэтому она собрала гранаты в подол юбки; я встретил Лилли, когда она возвращалась домой, вспарывая на ходу острыми белыми зубами твердую кожуру граната и высасывая сок из спелых зерен. Лилли рассказала мне о поручении мисс Дэлглиш, а я спросил, что ей удалось увидеть за высокой оградой и в самом доме.

— Зачем это тебе? — спросила девочка.

— Всем интересно,— ответил я.

Мне хотелось услышать о статуях обнаженных мужчин и женщин.

— И не думайте вынюхивать что-нибудь у меня,— проговорила Лилли, и было неясно, то ли она хотела сохранить секреты мисс Дэлглиш, то ли просто не желала давать новую пищу для городских сплетен (правда, многие лавочники, снабжавшие Дэлглишей, бывали за высокой оградой).

На следующий день Лилли опять заглянула к мисс Дэлглиш, и та поручила ей повозить миссис Стоун по саду в кресле-каталке, только что доставленном из Мельбурна. Лилли провела час с миссис Стоун и с этого дня после школы обязательно приходила погулять с больной. Через несколько недель мисс Дэлглиш начала давать Лилли различные поручения — сбегать на почту, в банк (не с деньгами, а с письмами), в магазин — если миссис Питерс была слишком занята. За все это время я лишь один раз видел Лилли с добычей, украденной, вероятно, у мисс Дэлглиш. Как-то вечером в пятницу Лилли бежала на Мыс с двумя роскошными павлиньими перьями, такими нежными и хрупкими, что она не решилась спрятать их в свою сумочку, набитую фруктами.

— Где достала? — спросил я.

— Нашла,— ответила Лилли.

— Зачем они тебе?

— Не твое дело.

Позже она подарила одно перо Дороти Мэлоун, соседке по парте, и хотя Дороти не знала, где Лилли его взяла, ей было хорошо известно, что все свои богатства подруга добывала по-стьюбековски.

По мере того как состояние миссис Стоун ухудшалось, мисс Дэлглиш все чаще просила Лилли сделать что-либо по дому или в городе.

В конце концов мисс Дэлглиш пригласила для миссис Стоун постоянную сиделку из частной клиники, и Лилли помогала трем женщинам следить за тем, чтобы в последние дни ее жизни больная ни в чем не нуждалась.

Миссис Стоун умерла в субботу, в четыре часа утра. Похоронили ее в среду; мисс Дэлглиш шла за гробом твердым шагом и покинула кладбище сразу после того, как пресвитерианский священник мистер Армитидж закончил службу. Кроме мисс Дэлглиш, смерть экономки никого не касалась, вот почему она вернулась к машине, не сказав ни слова даже преподобному отцу.

С того дня, как Лилли стала выполнять поручения пожилой леди, весь город с любопытством следил за ними, недоумевая, как могло случиться, что мисс Дэлглиш взяла в помощницы именно дочь Стьюбеков. Но кого пригласит мисс Дэлглиш теперь на место умершей экономки? У нас в доме тоже задумывались об этом, как едва ли не повсюду.

— Ей придется нанять кого-нибудь вместо миссис Стоун,— сказала мама.— Не поручит же она вести дела миссис Питерс и Лилли Стьюбек.

— Там не так много дел,— заметил отец.— Нужно только обслужить мисс Дэлглиш.

— Однако она очень требовательна,— возразила мама.

В городе ожидали, что перемена в жизни мисс Дэлглиш хоть както отразится на ее привычках, ведь она осталась совсем одна. Но мисс Дэлглиш продолжала вести себя так, будто ничего не случилось, она явно была довольна миссис Питерс и Лилли и вовсе не собиралась отказываться от их услуг. Вскоре мы привыкли к тому, что после школы или во время летних каникул Лилли частенько забегала в ворота особняка или выбегала из них на улицу. Но никто не знал, каковы взаимоотношения между Лилли и мисс Дэлглиш, о чем они разговаривали, какие поручения хозяйки выполняла девочка (исключая беготню по городу). Сухопарая миссис Питерс продолжала хранить молчание, и все шло своим чередом до тех пор, пока Стьюбеки не исчезли из города.

Не кто иной, как мой брат Том, возвратившись домой с реки — он купался в заливчике около Мыса,— сообщил, что Стьюбеки покинули свое жилище.

— В доме пусто, лошадь, повозка и сами Стьюбеки куда-то пропали. Вся их семейка,— сказал он.

Эта весть никого не удивила, потому что Стьюбеки слыли бродягами, которые могли уйти из города так же внезапно, как пришли. Их старую, груженную доверху повозку видели на дороге в Бендиго, ближайший от нас большой город. Позже ее заметили еще в одном месте и в конце концов о ней забыли, потому что никто не интересовался Стьюбеками.

Но другая новость оказалась совершенно неожиданной («Поразительно!» — воскликнул отец); Стьюбеки оставили Лилли у мисс Дэлглиш.

5

Мисс Дэлглиш, в сущности, просто купила Лилли, уплатив за нее Мэтти Стьюбеку тридцать фунтов; вероятно, сделка не была такой откровенно грубой, как это может показаться на первый взгляд, однако деньги в ней действительно участвовали, хотя сперва мисс Дэлглиш намеревалась устроить все иначе. Это произошло накануне отъезда Стьюбеков, когда Лилли неожиданно сказала мисс Дэлглиш, что больше не придет к ней, так как завтра ее семья навсегда уезжает из Сент-Элен.

Я узнал о том, что случилось тогда, по наивным записям Лилли в ее черной тетради, о которой я еще расскажу позднее. И хотя Лил-

ли не записала тот разговор с мисс Дэлглиш дословно, содержание его, очевидно, передано довольно точно.

Мисс Дэлглиш спросила, куда они уезжают.

— Не знаю,— ответила Лилли.

Пожилую леди, высокочтимую Дэлглиш, не мог удовлетворить такой ответ.

— Но все-таки? Далеко вы едете? Что говорят родители? — продолжала допытываться мисс Дэлглиш.

— Почем я знаю,— повторила Лилли.

— Разве отец тебе ничего не сказал?

— Он никому не говорит о своих делах,— пожала плечами Лилли.

— Мне он скажет,— не отступала пожилая леди.— Передай своему отцу, пусть зайдет сюда нынче вечером. Я желаю знать, куда вы едете и как он намеревается поступить с тобой.

— Для чего это вам? — спросила Лилли.

— Неважно. Просто передай отцу, что я очень хочу его видеть.

— Здесь?

— Да. Вместе с твоей матерью.

— Они начнут выпрашивать еду или чего-нибудь еще,— предупредила Лилли.

— Ну и пусть.

— Вы скажете, что узнали о нашем отъезде от меня?

— Ну и что?

— Меня поколотят...

— Поколотят? Не будь глупенькой. Если ты не передашь, чтобы они пришли поговорить со мной, я позвоню мистеру Мэлоуну и приеду к вам сама.

— Ладно. Скажу,— согласилась девочка.

Вечером Мэтти вместе с миссис Стьюбек и Лилли, замыкавшей шествие, пропустили на кухню особняка для беседы с хозяйкой дома.

Это был странный разговор, потому что Стьюбеки никак не могли понять, чего добивается мисс Дэлглиш, да и сама она, казалось, определила это не сразу. У каждой стороны была своя цель. Стьюбеки хотели выпросить муку, сахар, деньги, поношенную одежду, а мисс Дэлглиш стремилась узнать, куда они решили уехать и надолго ли. Никто не уступал: мисс Дэлглиш не шла навстречу Стьюбекам, а они упрямо отказывались отвечать на ее вопросы.

Наконец мисс Дэлглиш не выдержала:

— Хорошо, мистер Стьюбек, отправляйтесь куда хотите, но будет лучше, если Лилли останется у меня.

— Зачем? — удивился Мэтти.

— Она мне нужна.

— Зачем? — переспросил Мэтти.

— Я уже вам ответила. Она мне нужна. Я стану следить, чтобы она исправно посещала школу, хорошо себя вела и была прилично одета.

— Вы хотите сказать, что она поселится у вас? — уточнила миссис Стьюбек.

— Именно это я и хочу сказать. Я отведу ей комнату наверху.— (В Сент-Элен было не много двухэтажных домов.) — Лилли поживет со мной, пока вы не вернетесь.

— Но для чего она вам, мисс? — упорствовал Мэтти.— Почему вы скрываете это от меня?

— Все очень просто! Она станет выполнять разные несложные поручения. Будет рядом со мной, когда понадобится. Утром приготовит завтрак, а по субботам поможет миссис Питерс. Я хочу, чтобы она жила здесь, вот и все.

Пока еще Лилли никто ни о чем не спрашивал, взрослые словно

не замечали девочку, даже когда Мэтти Стьюбек принялся торговаться с пожилой леди.

— Лилли нужна нам самим, мисс Дэлглиш,— проговорил он.— Она у нас самая ловкая.

Мэтти намекал на то, что Лилли лучше всех умела отыскивать добычу в мусорных ящиках и подбирать то, что плохо лежит, и мисс Дэлглиш прекрасно его поняла.

— Лилли больше не будет заниматься прежними делами,— твердо сказала она.

— А как же мы? — спросила миссис Стьюбек.— Мы дорожим своей девочкой, мэм.

Пожилая леди уже догадалась, чего хотят от нее Стьюбеки, она попросила Лилли пройти в залу и посидеть там.

— Зачем? — спросила Лилли, не двинувшись с места.

— Тебе что сказали! — прорычал Мэтти, замахиваясь на дочь.

Лилли закрыла за собой дверь, и пожилая леди спросила:

— И насколько же вы дорожите ею, миссис Стьюбек?

— Она хорошая девочка,— сказал Мэтти.

— Я знаю. Но если дело лишь в этом, тогда согласитесь, что ей лучше будет со мной. Она сможет зарабатывать кое-какие деньги и посылать вам.

— А сколько?

— Неважно сколько. Я дам ей все, что она заслужит, и прослежу, чтобы вы получили свою долю.

Мэтти принялся объяснять, что они, наверное, станут кочевать с места на место и поэтому ненадежно пересылать деньги по почте — их могут украсть. В любом случае ему надо знать, на какую сумму он может рассчитывать. Вот если бы мисс Дэлглиш дала ему кое-что сейчас...

Мэтти замолчал, недоговорив, и мисс Дэлглиш сама пришла ему на помощь:

— Сколько, мистер Стьюбек?

— Пятьдесят фунтов на руки — это все, что я прошу. Зато ничего посылать не придется. Пятьдесят фунтов по справедливости, мисс Дэлглиш. Лилли — хорошая девочка, чистоплотная, самая чистюля у нас.

— Вы хотите сказать, что оставите ее у меня, если я заплачу пятьдесят фунтов? Я правильно вас поняла?

— Если вы желаете заполучить Лилли, это будет по справедливости, мисс Дэлглиш.

— А вы что думаете, миссис Стьюбек?

— Лилли — моя дочка, мэм, это самое меньшее, на что мы можем согласиться, если вы хотите взять ее к себе.

— Я дам двадцать пять фунтов и ни пенни больше,— сказала мисс Дэлглиш.— Но и такая сделка довольно постыдна.

— Остальные деньги вы дошлете по почте? — спросил Мэтти.

— Нет. Я же сказала, что больше ничего не дам.

— Этого мало, мисс Дэлглиш,— пожаловался Мэтти.— Ведь Лилли скоро станет нашей опорой, и потом она присматривает за Джекки.

— Я обещаю вам тридцать фунтов, мистер Стьюбек, но при непременном условии: вы навсегда оставите Лилли у меня и откажетесь от всяких претензий на нее.

Мэтти полюбопытствовал, что означает слово «претензии».

— Это означает, что, если вы вернетесь сюда и опять потребуете денег,— сказала мисс Дэлглиш,— я просто верну вам девочку.

— А откуда вы знаете, что она захочет тут жить? — поинтересовался Мэтти.

— Спросите ее сами,— ответила мисс Дэлглиш и позвала Лилли, которая подслушивала у двери разговор взрослых.

Лилли потихоньку вошла и встала между Мэтти и мисс Дэлглиш, поглядывая своими кошачьими глазами то на отца, то на пожилую леди.

Мэтти грубовато толкнул дочь, словно предупреждая, чтобы она не городила чепуху.

— Ты хочешь остаться с мисс Дэлглиш, Лилли? Ты хочешь остаться здесь, в этом большом доме, и помогать ей? — пристал он к дочери.

Лилли продолжала смотреть то на отца, то на мисс Дэлглиш, не произнося ни слова.

— Ну? — спросил Мэтти и снова толкнул дочь.

— А что она говорит? — показала Лилли на мать.

— Лучше будь хорошей девочкой и не лезь куда не просят,— пригрозила миссис Стьюбек.

— На сколько я должна остаться? — спокойно спросила Лилли.

— Неважно на сколько,— сказал Мэтти.— Твое дело отвечать, дурочка.

Лилли понимала, что и мисс Дэлглиш и родители ждут от нее решения, и хотела этим воспользоваться.

— Я буду теперь вашей дочкой? — спросила она у мисс Дэлглиш.

— Нет, не будешь,— твердо ответила пожилая леди,— но я стану относиться к тебе так, словно ты родной мне человек.

— Если вы не желаете, чтобы я была вашей дочкой, тогда зачем берете к себе?

— У тебя есть мать,— сказала мисс Дэлглиш,— и я не стремлюсь занять ее место. Но если ты поселишься здесь, то поможешь мне и миссис Питерс по дому, а я помогу тебе с учебой и послежу, чтобы ты хорошо одевалась, словом, позабочусь обо всем.

— Но вы должны разрешать мне делать все, что я захочу.

Мэтти влепил Лилли затрещину, она потерла ухо, однако упорно продолжала стоять на своем.

— А на реку меня будете пускать? — обратилась девочка к мисс Дэлглиш.

— Это зависит от обстоятельств,— осторожно ответила мисс Дэлглиш.— Но если ты боишься меня или не доверяешь мне, то лучше не оставайся.

— Я вас ничуть не боюсь,— храбро проговорила Лилли.

— Наглая девчонка! — процедил Мэтти и снова ударил дочь.

— Довольно,— остановила его мисс Дэлглиш.— Я не стану тебя бить, Лилли, но ты должна меня слушаться. Больше я ничего тебе не обещаю. Понятно?

— Да,— кивнула Лилли.

— Ну так как? — Мисс Дэлглиш посмотрела на Мэтти.

— Идет,— проговорил он.— Пусть живет тут, если хочет.

— А ты что скажешь, Лилли?

— Я не против,— великодушно согласилась девочка, и, прежде чем Мэтти успел востребовать деньги при Лилли, мисс Дэлглиш попросила его прийти завтра утром после одиннадцати, чтобы окончательно все уладить.

— Только никому не говорите, что мы уезжаем,— попросил Мэтти.— Не люблю, когда другие суют нос в мои дела. Еще помешают уехать.

— Никто вам не помешает, мистер Стьюбек. Ваш отъезд никого не касается. В том числе и меня.

— Лилли будет ночевать у вас? — поинтересовалась миссис Стьюбек.

— Если она не против.

— Может, вы дадите нам чуточку муки и сахара? — попросила миссис Стьюбек.— А еще немного картошки и мыла?

— Что ж, хорошо,— сказала мисс Дэлглиш.— Лилли, ты знаешь,

где хранятся продукты. Дай своей матери все, что она просит, и можешь переночевать здесь, если хочешь.

Она оставила Стьюбеков на кухне одних, на что не решился бы в городе никто другой; на дне старой глубокой корзины миссис Стьюбек было припасено достаточно пустых жестянок и разных коробок для муки, сахара, соли, перца, картошки, чая, печенья, джема и хлеба.

— До свиданья, мам,— сказала Лилли, в то время как миссис Стьюбек продолжала шарить голодным взглядом по полкам с продуктами.

— До свиданья, Лилл,— ответила миссис Стьюбек и, сняв яркую желтую брошь, с которой никогда не расставалась, прицепила ее к платью дочери:

— Это моя самая лучшая брошка, смотри не потеряй.

Лилли проводила родителей и уже по-хозяйски закрыла за ними большие ворота, точно вступила во владение домом.

Она больше не видела никого из своей семьи вплоть до того дня, когда двое Стьюбеков вновь пришли в город и потребовали, чтобы Лилли вернулась на Мыс.

6

Сначала никто не верил, что Лилли осталась жить в городе, все думали, что на другой же день ее посадят на поезд и отправят вслед за родителями. Но при виде мисс Дэлглиш и Лилли, шедших по улице к магазину Уильямса, где продавали готовое платье, нам стало ясно, что Лилли и в самом деле никуда не собирается уезжать. Зайдя в этот старый респектабельный магазин, самый большой в городе, мисс Дэлглиш сразу спросила мистера Уильямса, и он спустился к ней из своей конторки, прилепившейся под потолком, куда тянулись струны, по которым хозяину отправляли наверх цилиндрические пенальчики со счетами или выручкой.

— Доброе утро, мистер Уильямс,— приветствовала его мисс Дэлглиш.

— Доброе утро, мисс Дэлглиш,— раскланялся мистер Уильямс, с любопытством разглядывая девочку.— Здравствуй, Лилли.

Владелец магазина слыл человеком общительным и приветливым, однажды братья Лилли украли у его сына велосипед, но мистер Уильямс был не из тех, кто вымещал зло на невиновном ребенке.

Лилли не ответила на его приветствие. Она, видимо, пришла сюда помимо своей воли и, казалось, думала только о том, как поскорее улизнуть.

— Мне надо кое-что купить для Лилли,— обратилась мисс Дэлглиш к мистеру Уильямсу,— но я не знаю ее размеров. Пришлите, пожалуйста, девушку, которая занимается детской одеждой, я дам ей список того, что нам требуется.

— Позвольте взглянуть на список,— попросил мистер Уильямс.

— Лучше я поговорю с одной из ваших девушек.

— Хорошо, мисс Дэлглиш. Но у нас может не оказаться нужного вам товара. Мы ждем очередную партию одежды для девочек на следующей неделе.

— Если чего-нибудь не будет, то мы заглянем в другой раз, мистер Уильямс.

— Джоуни, подойди-ка сюда, пожалуйста,— сказал он, и к ним присоединилась Джоун Коллингвуд, дочь местного почтальона. Мистер Уильямс попросил ее обслужить мисс Дэлглиш и, заговорщицки подмигнув Лилли, словно они с ней знали, что все непременно будет в порядке, вернулся в свою контору.

Длинный список одежды стал для нас окончательным свидетельством того, что мисс Дэлглиш взяла на себя заботы о Лилли. В нем

значились не только платья, кофты, фартуки, нижнее белье, халаты, обувь, чулки, но и два комплекта школьной формы, состоявшей из темно-синей жакетки, платья с квадратным вырезом и белой блузки,— через несколько недель Лилли предстояло впервые переступить порог средней школы.

Лилли не проронила ни слова, пока мисс Дэлглиш и продавщица выбирали ей форму. Лилли не казалась угрюмой или подавленной, она была просто безразличной; мисс Дэлглиш сама решала, подходит ли девочке обувь, одежда, какого цвета взять хлопчатобумажные платья.

— Пришлите все завтра к одиннадцати,— сказала мисс Дэлглиш владельцу магазина, который снова спустился к ним и разглядывал отобранную одежду, лежавшую на прилавке.

— Вы нашли все, что хотели, мисс Дэлглиш?

— Более или менее,— ответила она и, поблагодарив мистера Уильямса, а также Джоун, добавила: — Пойдем, Лилли.

Мисс Дэлглиш и Лилли покинули магазин, вернулись домой и плотно закрыли за собой большие деревянные ворота, словно давая понять, что они не собираются никому растолковывать, почему пожилая леди вдруг решила оставить Лилли у себя, изменив свою привычную жизнь.

Сейчас это может показаться странным, но тогда все в городе одобрили поступок мисс Дэлглиш, взявшей Лилли на воспитание. Видимо, многие в Сент-Элен считали, что девочке будет гораздо лучше у пожилой леди, чем у ее нечистых на руку родителей, и никто не сомневался в благородстве побуждений мисс Дэлглиш, несмотря на необычность ее шага.

Однако на многие вопросы, не дававшие нам покоя, мы не могли найти ответа. О чем договорились мисс Дэлглиш и Стьюбеки? Кем стала Лилли? Служанкой? Компаньонкой? Почему мисс Дэлглиш взяла ее к себе? Лишь после смерти мисс Дэлглиш я, пожалуй единственный в городе, узнал ответы на некоторые из этих вопросов, потому что прочитал дневник Лилли. Не стану забегать вперед и объяснять, как он попал ко мне, скажу только, что причина, заставившая девочку завести его, довольно примечательна.

В первый же месяц Лилли обнаружила, что мисс Дэлглиш ведет подробнейшие записи о ней. Не пропуская ни дня, пожилая леди скрупулезно заносила в дневник все, что думала о Лилли. Догадавшись, что девочка нашла и прочитала эти записи, мисс Дэлглиш начала запирать ящик письменного стола на ключ; тогда Лилли решила завести собственный дневник. Она использовала для этого школьную тетрадь, которую открывала от случая к случаю; первые суждения Лилли были довольно наивными, потом стали серьезнее. Дневник проливает свет на многие события, о которых иначе я бы не узнал.

Но он попал ко мне гораздо позднее. А в то время нам было лишь известно, что Лилли осталась у мисс Дэлглиш. Это беспокоило многих горожан, но отнюдь не мисс Дэлглиш и Лилли. Судьба соединила их друг с другом и тем самым предначертала «трагедию» Лилли.

7

Вероятно, дальнейший ход описываемых событий будет неясен, если не сказать о различных причинах, соединивших мисс Дэлглиш и Лилли, и тут я опять вынужден обратиться к записям Лилли, ибо одиннадцатилетняя девочка очень точно определила, чем был вызван необычный поступок мисс Дэлглиш и чего сама она хотела от жизни на новом месте.

Лилли знать не знала, сколько времени пробудет у мисс Дэлглиш. Сначала она просто радовалась, что освободилась от прежних забот. Когда-нибудь она снова вернется к родителям. А пока слишком

многое привлекало ее в этом богатом, старом доме, и Лилли не могла удержаться от соблазна поселиться в нем. Однако у мисс Дэлглиш были гораздо более серьезные планы. Она давно искала такую спутницу жизни, как Лилли. Пожилая леди видела в ней не только компаньонку и послушную девочку на посылках, но и новую Галатею [1]. Мисс Дэлглиш хотела воспитать эту здоровую, сильную девочку надежной помощницей, которая не покинет ее до последних дней,— не то что миссис Стоун, умершая слишком рано и не сумевшая полностью выполнить свой долг перед хозяйкой.

Мисс Дэлглиш взяла к себе Лилли еще и по другой причине.

Даже ребенком Лилли ни у кого не выпрашивала ласку и не ждала сочувствия. Мисс Дэлглиш нравилась эта черта еще не сформировавшегося характера, ей как нельзя больше подходила такая компаньонка-служанка. Пожилая леди сама не терпела сентиментальности. Конечно, поначалу им и без того было не до сантиментов, они сумели лишь приспособиться друг к другу, оставаясь совершенно чужими, правда, им приходилось кое в чем идти на уступки, когда дело касалось одежды, учебы и поведения Лилли. Однако ни искорки взаимного тепла не рождалось в их душах, и первые шаги к сближению с обеих сторон были довольно осторожными.

Пожилая леди и Лилли не собирались менять свои привычки. Чего бы ни добивалась мисс Дэлглиш от воспитанницы, девочка решительно отстаивала свою самостоятельность, и я думаю, что именно ее непокорность определила их дальнейшие отношения как противоборство, выстоять в котором стало для Лилли целью на многие годы. В Лилли Стьюбек всегда таилось нечто неподвластное для мисс Дэлглиш, нечто такое, чем Лилли никогда не поступалась, и это так или иначе оказало влияние на всю их совместную жизнь.

А в тот вечер, когда Лилли впервые ночевала на новом месте, пожилая леди помогла ей постелить постель в комнатке наверху, дала хлопчатобумажную блузу вместо ночной рубашки и отослала вымыть лицо и ноги. Лилли подумала, что мисс Дэлглиш говорит глупости, но воду она любила и купалась с удовольствием, поэтому соблаговолила ополоснуть ноги. Зато от блузы наотрез отказалась, так как привыкла спать в одних трусиках. Когда мисс Дэлглиш велела их снять, Лилли твердо заявила:

— Ни за что на свете!

Лилли отнюдь не была скромницей, днем она могла спокойно разгуливать чуть ли не нагишом, но тут она заявила, что спать без трусов неприлично. Лилли не пожелала надеть и ночную рубашку, купленную позднее специально для нее; она выслушивала наставления мисс Дэлглиш, но упорно стояла на своем и продолжала спать в одних трусиках.

В конце концов Лилли пришлось смириться с тем, что мисс Дэлглиш интересуется ее внешним видом и поведением. Так как у Стьюбеков никто на это не обращал внимания, Лилли двойственно относилась к советам пожилой леди: с одной стороны, девочке было приятно, что о ней заботились, с другой — не нравилось, когда мисс Дэлглиш указывала, что и как носить. Споры из-за ночной рубашки оказались пустяком по сравнению с тем, что произошло на следующее же утро, в первый день нового учебного года, когда мисс Дэлглиш поднялась наверх и стала наблюдать за Лилли, надевавшей школьную форму.

Пожилая леди осмотрела свою воспитанницу с головы до ног, поправила галстук, подтянула пояс (в те времена его носили чуть ниже талии), одернула платье, блузку, но все-таки что-то ее не устраивало. Наконец мисс Дэлглиш поняла, в чем дело. Она попросила миссис Питерс принести из спальни щетку, заколки и, приказав де-

[1] Изваянная Пигмалионом статуя прекрасной девушки, которая была оживлена Афродитой и стала возлюбленной скульптора.

вочке не вертеться, причесала ее вьющиеся черные, как у цыганки, волосы, аккуратно убрав их за уши.

Никто прежде не одевал Лилли, она не помнила, чтобы мать хоть раз поправила на ней платье. Утренний туалет поразил Лилли, она стояла расслабленная, испытывая неизведанное ранее удовольствие, и, пока мисс Дэлглиш возилась с ее волосами, перебирая густые пряди, девочка не отрываясь смотрела в зеркало и казалась себе куклой, с которой играют, странной куклой в чьих-то чужих руках.

— Ты должна причесываться каждый день, Лилли, утром и вечером,— проговорила пожилая леди.

— Зачем? — спросила девочка.

Мисс Дэлглиш не стала объяснять Лилли, почему волосы необходимо держать в чистоте и красиво укладывать. Она лишь сказала:

— Ты скоро будешь взрослой и должна научиться следить за собой.

Лилли промолчала, но, выйдя из дома, взлохматила волосы, так как знала, что в школе обратят внимание на ее новую прическу. Она остановилась на полдороге, сняла черные панталоны и спрятала их в кустарнике возле дома миссис Ройс, предпочитая вовсе обойтись без этой части форменной одежды, нежели терпеть тугие резинки.

Мы заметили перемену в Лилли, которая была такой необычно опрятной и нарядной, что лишь прежняя боязнь получить немедленный отпор удерживала нас от насмешек; только Дороти Мэлоун ласково сказала:

— Какая ты сегодня красивая, Лилли.

Отсутствие форменных панталон у Лилли видела половина школы, поэтому ее вызвала к себе наша старшая преподавательница мисс Хейзл, она знала историю Лилли и понимала, что к этой девочке нужен особый подход, хотя бы ради мисс Дэлглиш.

— Почему на тебе нет панталон, Лилли? — спросила она.

— Я их потеряла,— ответила девочка.

— Это не ответ. Где они?

— В кустах возле дома миссис Ройс,— сказала Лилли, не умевшая долго отпираться.

— Сходи за ними, пожалуйста,— проговорила мисс Хейзл,— нельзя посещать школу в таком виде.

— Они мне мешают.

— И все-таки пойди и надень.

— Сейчас?

— Да, сейчас. Если я увижу тебя снова без панталон, придется позвонить мисс Дэлглиш.

— Ей все равно.

— Нет, не все равно. А теперь ступай и сделай, как я сказала.

Лилли отыскала в кустах панталоны, вышла на дорогу и тут же их надела. В это время ее увидела старая миссис Ройс, владелица местной газеты; Лилли очень насмешила почтенную даму, рассказавшую об этом случае мисс Дэлглиш. Над историей с панталонами подшучивали в городе, поэтому, когда мисс Дэлглиш в ответ на свои расспросы услышала от Лилли, что та не собирается их носить, пожилая леди решила проявить настойчивость.

— Все девочки ходят в школу в панталонах,— твердо сказала мисс Дэлглиш.

— А я не хочу и все равно буду ходить в своих трусах,— не сдавалась Лилли.

— Ты нарушаешь правила!

— Нет! — упорствовала девочка.

— Я тебя накажу.

Лилли по привычке вспомнила о щипках, укусах и тумаках в доме на Мысу, хотя и догадывалась, что вряд ли стоит ожидать трепки от мисс Дэлглиш.

— Как? — спросила она.

— Не разрешу купаться в реке.

Лилли понимала, что этого ей запретить никто не может.

— Я буду носить трусики,— повторила Лилли.

Мисс Дэлглиш пошла на компромисс: она отвела Лилли в магазин мистера Уильямса и купила ей черные трусы, после чего среди школьниц даже установилась своеобразная мода — они стали носить трусы вместо форменных панталон, хотя без тугих резинок чулки теперь частенько сползали.

Вот так пожилая леди и ее воспитанница привыкали друг к другу, так складывались их непростые отношения; порой обе делали вид, будто не замечают разногласий. Например, мисс Дэлглиш вручила девочке ключ от ворот и запретила лазить через ограду, но Лилли предпочитала поступать по-своему, и пожилая леди пригрозила, что будет за это лишать ее десерта на ужин. Однако Лилли и прежде обходилась без десерта, поэтому наказание не возымело на нее никакого действия, и все осталось по-прежнему.

Жизнь в особняке мисс Дэлглиш текла по давно заведенному распорядку, и Лилли пришлось приспосабливаться к нему, хотя она продолжала уходить и возвращаться, когда ей вздумается. Она вставала на заре, и ей не составляло никакого труда развести на кухне огонь в плите для мисс Питерс. У себя на Мысу Лилли привыкла разжигать печь. А здесь ее буквально зачаровывали небольшая электроплитка (одна из первых в городе) и электрический чайник, поэтому Лилли сама с удовольствием готовила себе чай и яичницу, прежде чем приходила миссис Питерс и спускалась завтракать мисс Дэлглиш. Лилли торопливо ополаскивала свою посуду под струей холодной воды, пока миссис Питерс не попросила ее оставлять тарелку и чашку грязными, потому что их все равно приходилось перемывать.

— Ни в коем случае,— твердо возразила мисс Дэлглиш.— Научите Лилли как следует мыть посуду, миссис Питерс, и пусть она сама убирает за собой.

— Она все перебьет,— проворчала миссис Питерс.

— Не думаю,— проговорила мисс Дэлглиш.

Разговор происходил при Лилли, которая после этого исправно мыла посуду и не разбила ни одной тарелки или чашки за все время, пока жила у мисс Дэлглиш.

Особенно ужасали пожилую леди манеры Лилли за столом, точнее, ее гримасы, когда она ела или очищала языком зубы от остатков пищи.

— Сходи ко мне наверх и принеси большое зеркало с туалетного столика,— сказала мисс Дэлглиш девочке в конце первой же недели.

Лилли вернулась с зеркалом, и мисс Дэлглиш поставила его перед ней.

— Теперь посмотри, как ты ешь и как ужасны твои гримасы.

— Не все ли равно,— буркнула Лилли.

— Для меня не все равно, потому что я за тебя отвечаю,— сказала пожилая леди.— Ты должна научиться хорошим манерам не ради себя, а ради окружающих.

Лилли ела перед зеркалом, пока не научилась следить за собой, и тогда мисс Дэлглиш решила, что можно его убрать.

Но труднее всего Лилли избавлялась от привычки подбирать все, что плохо лежит; она вела себя в городе точно ковбой в прериях. Лилли продолжала заглядывать в мусорные ящики, и тут мисс Дэлглиш ничего не могла поделать; только зачем Лилли теперь это было нужно?

Лилли знала лазейки каждого двора; однажды, когда я уже заснул (а спал я на веранде), Лилли разбудила меня, толкнув локтем в бок.

— Проснись, Кит,— шепнула она.— У меня есть кое-что для тебя.

— Что? — пробурчал я спросонок.

— Смотри,— проговорила Лилли и положила возле меня свою сумку. Внутри что-то зашевелилось. Что-то живое.

— Забери сумку,— ответил я.— Это кошка.

— Нет, не кошка, а два кролика.

— Кролики?!

В нашей стране (занимавшей целый континент), битком набитой кроликами, никому бы и в голову не пришла сумасбродная мысль посадить в сумку двух ушастиков и притащить их среди ночи своему другу.

— Ты совсем с ума сошла,— сказал я.— Зачем мне кролики?

— Но это же не простые кролики!

И в самом деле, Лилли украла из ящика на веранде Данунов двух черепаховых кроликов[1]; Дануны жили на противоположном конце города, и все у нас потешались над их непонятным пристрастием к редким животным. Лилли некуда было деть кроликов. Она не могла отнести их к мисс Дэлглиш или к миссис Питерс, и, хотя я был польщен тем, что Лилли мне доверяла, запросто предложив подарок, я отказался от него.

— Меня же спросят, как они ко мне попали. Ведь всем известно, что черепаховые кролики есть только у Данунов. Лучше отнести их обратно.

Лилли никогда не возвращала ценную добычу, поэтому она просто выпустила кроликов у реки, где их через два дня нашли борзые мистера Сноудона и разорвали на месте. Никто и представить себе не мог, кому понадобилось красть кроликов с веранды Данунов, тем более что Стьюбеки давно покинули город. Кое-кто подозревал Лилли, но, казалось, зачем ей кролики? Многие, включая мою маму, отказывались верить этим домыслам и даже защищали Лилли.

— Она живет у мисс Дэлглиш. К чему ей воровать?— удивлялась мама, и, хотя я знал правду, мне было приятно, что она защищает Лилли, поэтому я соглашался с ней.

— Если во всех кражах подозревать Лилли, почему бы сразу не засадить ее в тюрьму.

— Да, но...— протянул отец.

Он знал, кто стащил кроликов. И Дануны знали. Они позвонили мисс Дэлглиш, и та, хотя и выгораживала свою воспитанницу, все-таки решила с ней поговорить.

— Это ты украла черепаховых кроликов у Данунов? — спросила она у Лилли, пригласив ее в библиотеку, где велись все неприятные разговоры.

— Нет,— коротко ответила девочка.

— Правда?

— Да.

— Ну хорошо, я подтвержу миссис Данун, что ты не брала кроликов. Я знала, что ты тут ни при чем, и сказала об этом.

Лилли была разочарована. Почему мисс Дэлглиш сразу ей поверила, а не стала приставать с расспросами? Лилли просто привыкла сначала врать и лишь потом, если уж припрут, сознаваться. Но сейчас на нее никто не давил, и поэтому сознаваться вроде было необязательно, хотя вообще Лилли не любила лгать.

— Я взяла их,— сказала девочка, увидев, как мисс Дэлглиш записала что-то в своей тетради с черной обложкой.

— Ах, Лилли, ведь ты только что уверяла меня в обратном.

— Подумаешь, кролики,— возразила Лилли.

— Но зачем они тебе? Почему ты их украла?

— Это не кража,— возмутилась Лилли.— У Данунов сотни кроликов.

— Какое тебе дело до того, сколько у них кроликов? К тому же

[1] Редкая порода кроликов коричневого цвета.

это вовсе не обычные кролики, а ценные, черепаховые. Ты не имела права даже к ним прикасаться.

— Я взяла только двух.

— Но почему, зачем?

Лилли попала в ловушку. Спросите у заядлых грибников, почему они ищут грибы, у золотоискателей — почему они охотятся за золотом, у игроков в гольф — почему они гоняют свой маленький мячик по огромному полю; Лилли никогда не задумывалась над тем, почему она берет чужое, но защищалась с редким, почти фанатическим упорством.

— Вам меня не переделать,— сказала она с вызовом.

— Но я должна повлиять на тебя, Лилли, тебе просто нельзя вести себя по-прежнему.

— Вам меня не переделать,— повторила Лилли.

— Я сумею добиться своего.

— Как?

Мисс Дэлглиш, слегка подтолкнув Лилли к стулу, усадила ее и нависла над девочкой.

— Я буду доказывать тебе, что воровать бессмысленно. Ведь по натуре ты вовсе не воришка. Это надо хорошенько понять. И больше ничего.

— Все берут то, что им надо.

— Даже если все и берут то, что им надо, в чем я сомневаюсь, тебе-то это зачем? Ты же сама не любишь поступать так, как все, и характер у тебя независимый. Значит, ты не права.

Эти слова поставили девочку в тупик. Она ожидала нагоняя, а выслушала нотацию, выслушала от пожилой леди, которая, видимо, сумела хорошо изучить свою воспитанницу, хотя и отвергала ее житейскую философию.

— Что же вы теперь собираетесь делать?— спросила Лилли, пытаясь увести разговор в сторону и опасаясь новых проницательных высказываний мисс Дэлглиш.

— Я отдам Данунам деньги за кроликов и извинюсь за тебя.— Мисс Дэлглиш не отводила взгляда от лица Лилли, будто надеялась увидеть понимание в ее глазах.— Мне бы хотелось, чтобы ты сама извинилась перед Данунами, но ты ведь к ним не пойдешь. Или все-таки пойдешь?

— И что мне им сказать?

— Что ты взяла кроликов не подумав (наверное, так оно и было) и что больше это не повторится.

— Не буду я им ничего такого говорить,— дерзко ответила Лилли.— Я не люблю Данунов.

— Тогда я навещу их вместо тебя, Лилли. От правды тебе никуда не деться. Да и я не позволю.

— Мне можно идти? — спросила Лилли.

— Да, но что с твоей формой?

Сзади на складке нового платья уже появилась небольшая прореха, а на поясе — чернильное пятно; Лилли не обращала внимания на такие мелочи.

— Сними платье, я его заштопаю. Сама ведь ты не умеешь. Правда? — спросила мисс Дэлглиш.

— Нет.

— Тогда придется тебя научить. Завтра отдашь пояс миссис Питерс, а сейчас надень голубое платье и принеси мне тетради с домашним заданием.

— Нам ничего не задавали.

— Нет, задавали. И захвати учебники.

Образование Лилли считала сугубо личным делом. Она была очень способной девочкой, многое схватывала на лету, но не желала прислушиваться к преподавателям, полагая, что нечего им совать нос

в ее дела. В начальной школе учителя почти сразу перестали обращать на Лилли внимание. Про себя они называли ее «цыганкой» и, зная условия жизни на Мысу, а также сплетни, ходившие по городу о Стьюбеках, не ждали, что Лилли станет выполнять домашние задания, никого даже не интересовало, запоминает ли она что-нибудь на уроках. Прошел год учебы (когда девочку опекала Гудила), и Лилли просто оставили в покое, махнув на нее рукой, поэтому учителя понятия не имели об истинных знаниях маленькой Стьюбек, хотя и находили их вполне достаточными, чтобы переводить ее из класса в класс.

Но в средней школе все пошло по-иному. Разные предметы вели разные учителя, и каждый из них по-своему относился к Лилли; одни преподаватели (по английскому, французскому, истории, рисованию) ожидали от нее средних успехов, другие (по физике, химии, математике, географии) — думали, что в лучшем случае она будет еле тянуть. Но все требовали, чтобы Лилли хотя бы частично выполняла домашние задания, и мисс Дэлглиш об этом знала. Твердым шагом, сумка в одной руке, зонтик от солнца — в другой, она направлялась вверх по улице к зданию средней школы, чтобы побеседовать с директором и старшей преподавательницей мисс Хейзл,— вот почему пожилая леди была вполне осведомлена о делах Лилли, которой не оставалось ничего иного, как уж лучше самой признаться в том, что она знает и чего не знает, ибо мисс Дэлглиш не соглашалась ни на какие компромиссы, когда речь шла об учебе Лилли.

— Мне трудно серьезно помочь тебе с математикой и прочими естественными науками,— сказала мисс Дэлглиш,— но с другими предметами я справлюсь. Еще я буду заниматься с тобой французским и английским и надеюсь, что ты отнесешься к урокам с необходимым прилежанием.

Мисс Дэлглиш установила несколько правил, которым должна была следовать Лилли.

— После школы,— объясняла она,— ты обязана сразу возвращаться домой и приходить прямо ко мне в библиотеку. Там мы решим, какими предметами займемся. Прежде всего тебе надлежит выполнять домашние задания. Держать тебя в четырех стенах я не собираюсь, и все же сначала надо приготовить уроки, а уж потом развлекаться. В свободное время ты можешь читать или слушать граммофон — словом, делать все что захочешь.

И Лилли принесла учебники и призналась, что по английскому ей задали сочинение, а по французскому — проспрягать глаголы. Сочинение нужно было написать на тему «Мои летние каникулы», что, по мнению мисс Дэлглиш, было совсем нетрудно.

— Расскажи о реке, о том, как приятно в ней плавать, и о том, как ты ела помидоры с поля мистера Хислопа. Обо всем, что делала летом, и напиши целую страницу, Лилли, а не половину, как в прошлый раз. Теперь назови глаголы, которые вы проходите.

Лилли, не желавшая говорить по-французски, указала на глагол «parler» — его требовалось проспрягать в настоящем времени.

— Parler,— нежно проррассировала мисс Дэлглиш, будто осторожно сорвала маленький чудесный цветок; казалось, она продолжала рвать прелестные цветы, произнося на безупречном французском: — Je parle, tu parles, il parle, nous parlons, vous parlez, ils parlent. Так просто. Проспрягай этот глагол письменно и заучи, а я проверю.

Лилли отвели небольшой письменный стол в библиотеке, она села за сочинение и спросила себя на языке Стьюбеков, на черта ей это нужно. Что мешает выскочить из дома, перелезть через ограду и спуститься на Мыс? Из всего, что осталось в прошлом, Лилли больше всего скучала по реке, особенно после уроков, в те часы, когда прежде у нее были свои основания не торопиться домой к родителям. На реке было чудесно, даже если паводок и бурное течение не позволяли купаться.

— Пиши, Лилли,— послышался голос мисс Дэлглиш.— Не теряй времени, бери ручку и принимайся за дело.

— Я думаю,— ответила девочка.

— Нет. Ты витаешь в облаках.

Девочка взяла ручку и через пять минут исписала полстраницы: «Летом мы всегда ходим купаться на Мыс. Я так каждый день. А когда и два раза. Мы дурачимся с мальчишками и топим друг друга. Кидаемся грязью. Домой нам обычно идти не хочется». И так далее и так далее.

Отложив ручку, Лилли бросила тетрадку через стол мисс Дэлглиш.

— Ты ведешь себя невежливо. Встань и подай мне тетрадь.

Лилли повиновалась. Тихая и молчаливая, стояла она перед мисс Дэлглиш, пока та читала.

— Это не сочинение,— заключила мисс Дэлглиш,— а перечень событий. В сочинении не только описывают, что произошло, но и делятся своими впечатлениями, чувствами. Опиши, как ты осторожно спускаешься к реке, чтобы не наткнуться босыми ногами на колючки. Что ты ощущаешь, когда ныряешь, плаваешь, играешь, какой ты видишь воду. Расскажи о реке — какая она неторопливая и спокойная летом, быстрая и полноводная зимой. Как тебе грустно, когда нельзя купаться. Вот что такое сочинение, Лилли. Поэтому, пожалуйста, начни его снова и постарайся написать целую страницу.

Но терпение Лилли уже иссякло.

— Вы не имеете права заставлять меня! — зашипела она по-кошачьи, выскочила из библиотеки и очутилась за оградой прежде, чем мисс Дэлглиш успела подняться со стула.

Было еще светло; пробежав по улице и переулкам к реке, Лилли без сил упала на берегу. Потом она бродила по отмели, расставляя вешки, чтобы увидеть завтра, насколько поднимется вода. Она прыгала с камешка на камешек на мелководье, оплетала ноги ивовой лозой, а под конец направилась на Мыс к своему прежнему жилищу, теперь совсем пустому, если не считать кучи старых газет и прочего хлама, оставленного Стьюбеками.

Ничто в доме не вызвало у Лилли трогательных воспоминаний, даже колченогая банкетка. Она вспомнила, что как-то спрятала коробку спичек между кирпичами дымохода. Выйдя из дома, Лилли отыскала спички, сунула в старую печь газеты, хворост и подожгла.

— Вот заметят в городе дым и начнут гадать, кто это тут поселился,— сказала Лилли вслух.

Озадачив горожан, она увидела, что уже смеркалось, пора было возвращаться «домой». Лилли была храброй девочкой, но оставаться впотьмах одной на реке было жутковато. Лилли верила в водяных, поэтому поспешила кратчайшей дорогой назад к высокой ограде особняка. Лилли вскарабкалась на нее и с удивлением оглядела дом под старыми эвкалиптами, освещенный электрическими огнями и утопавший в пышной зелени парка. Из комнат доносились музыка и страстный тенор.

— Она завела граммофон,— сказала себе Лилли и, свесив ноги с ограды, заслушалась голосом Энрико Карузо, который пел «Vieni sul mar»[1].

Лилли и не думала тайком пробираться в дом. Спустившись с ограды, она прошла через заднюю дверь прямо на кухню, где принялась жарить яичницу из двух яиц, и тут появилась мисс Дэлглиш. Лилли ждала от нее оплеухи или подзатыльника — словом, какого-то наказания за свою выходку. Некоторое время они молча смотрели друг на друга, словно две черепахи из-под панцирей.

— Что ты тут делаешь, Лилли?

— Яичницу.

[1] «Приди на море» *(итал.)*.

— Твой ужин в холодильнике.
— Мне хочется яичницу.
— Нельзя питаться только яйцами.
— Я не люблю холодное мясо, салат и всякую ерунду.
— Но это полезно.

Мисс Дэлглиш сняла сковородку с плиты и вывалила ее содержимое в мусорное ведро.

— После ужина поднимись в библиотеку, надо закончить уроки.
— Я уже кончила.
— Неправда, Лилли. Но речь идет не о сочинении, я была не права, разругав его. В следующий раз, перед тем как ты сядешь за сочинение, мы составим план. А сейчас выучи французский и можешь завести граммофон.

Лилли любила слушать граммофон, какую бы пластинку ни ставила мисс Дэлглиш, но сейчас девочка прекрасно понимала, что за удовольствие придется платить, ибо это предусмотрено воспитательной системой мисс Дэлглиш, поэтому Лилли делала вид, будто музыка ее не интересует, как обычно не признавала свою вину, пока ее не вынуждали обстоятельства.

— Куда ты ходила?
— На Мыс.
— В следующий раз, перед тем как убежать на реку, обязательно переоденься.

Мисс Дэлглиш посадила пенсне на переносицу и ужаснулась:

— О боже, посмотри на себя!

На школьном платье, туфлях и чулках Лилли засохла грязь, руки были в золе от старой печки, лицо испачкано сажей.

— Не смей ни к чему прикасаться, пока не вымоешь лицо и руки! — не выдержала мисс Дэлглиш.— Немедленно отправляйся в ванную. Туфли и чулки оставь там.

Лилли облегченно вздохнула, хотя и не чувствовала себя особенно виноватой. Она прошла в ванную и громко запела «Vieni sul mar», только слова повторяла те, которые слышала от отца:

Ах, эти черные глаза,
Не удивляться им нельзя.
«Ты ошибался»,— говорят они мужчине.
Ах, эти черные глаза...

Я хорошо помню, какой была Лилли в ту пору и какими вопросами я задавался насчет нее, ответы на которые получил лишь много лет спустя.

Пожилая леди предложила Лилли на выбор: обедать дома или брать еду с собой в школу. Однажды я наблюдал, как ела Лилли. Она вынула чудовищный сандвич, приготовленный ею самой: между толстыми ломтями белого хлеба с маслом лежала холодная яичница, густо сдобренная томатным соусом.

— Неужели вкусно? — удивился я.
— Пальчики оближешь,— ответила Лилли.— Больше всего люблю такие сандвичи.

Она всякий раз приносила в школу хлеб с яичницей, но как-то вынула вместо обычного бутерброда два аккуратных сандвича с мясом, кружочками помидора и огурца, явно приготовленные не самой девочкой. Лилли выбросила овощи, а мясо съела.

— Где же твоя яичница с соусом? — удивился я.
— Мне запретили ее есть. Мисс Дэлглиш отобрала бутылку с соусом, хотя он был мой собственный.
— Где ты его достала?
— Купила,— ответила Лилли.

Я понял, что она имела в виду, а через два дня Лилли опять принесла томатный соус и стала сдабривать им аккуратные сандвичи с мясом.

— Мисс Дэлглиш отдала бутылку? — поинтересовался я.

— Нет. Я раздобыла новую и припрятала ее,— призналась девочка.— Уж очень я люблю томатный соус, Кит! Только его бы и ела.

Я часто видел, как Лилли уплетала свои сандвичи, облизывая перепачканные пальцы, и, хотя я был не старше ее, уже тогда из любопытства или, быть может, беспокоясь о будущем Лилли, я спрашивал себя, сумеет ли она когда-нибудь прижиться у мисс Дэлглиш. Лилли приходила на занятия в самых дорогих форме и туфлях, какие только мог предоставить магазин мистера Уильямса, но школьная одежда была для нее такой же постылой, как тюремный халат для заключенного. Одним словом, Лилли не хотела полностью приспосабливаться к внезапным переменам в своей жизни: я знал, что между ней и мисс Дэлглиш ни на день не прекращалось противоборство, будто каждая из них задалась одной целью — в конце концов победить.

8

Мы видели, как мисс Дэлглиш влияла на Лилли: ведь девочка целыми днями была с нами — в школе, на улице, на реке. Однако от нашего взора ускользало то, что и Лилли, в свою очередь, влияла на мисс Дэлглиш; мы поняли это слишком поздно. Нам трудно было представить себе, как они жили вместе в особняке изо дня в день, из месяца в месяц,— мисс Дэлглиш, стремившаяся переиначить Лилли на свой лад, и младшая Стьюбек, которая упорно сопротивлялась ей, хотя и становилась совсем другим человеком.

Но кое-что о них все-таки становилось известно. Так, мы знали, что мисс Дэлглиш была строга с воспитанницей, но знали мы и то, что девочка не особенно этим тяготилась. Суровая мисс Дэлглиш, наверное, понимала, что Лилли нуждается в ласке и тепле, которых сама она дать не могла. Поэтому она купила девочке шотландского терьера по кличке Тилли.

Со временем он стал удивительно похож на свою маленькую хозяйку. Это был выносливый песик, по-собачьи преданный Лилли. Нравом он обладал независимым и даже стал своего рода городской знаменитостью, поскольку часто убегал из особняка и бродил по улицам на своих коротких лапах, перевертывал мусорные бачки, гонялся за кошками; сразу было ясно, кого песик любил, а к кому питал неприязнь, причем свое дружелюбие терьер выражал с каким-то особым достоинством, словно давая понять, что не нуждается в чужой снисходительности. Тилли был благородной собачкой и кусал только тех, кто норовил поддеть его ногой — маляра Джека Саута, полицейского сержанта Джо Коллинса, торговца зерном и другими сельскохозяйственными товарами Дормэна Уокера и аптекаря мистера Хаулэнда (отца Поли). Тилли никогда не трогал детей и, хотя они любили поиграть с ним, предпочитал держаться от них подальше. Тилли часто заглядывал в церкви, в суд, мэрию, раз или два появлялся в школе, к вящему удовольствию всех учеников, кроме маленькой Стьюбек, которая с позором отправляла его домой. Гуляя с Лилли, терьер был благовоспитан, послушен, скромен, хотя на самом деле притворялся паинькой только ради своей хозяйки. Тилли ходил с ней на реку, плавал и нырял вместе с нами; он не пасовал при встрече с большими собаками, но тотчас давал деру, если его заставали на чужом дворе,— песик знал почти все закоулки в городе. Мы хорошо изучили характер Тилли, точно такой же, как у его хозяйки.

Мы привыкли к младшей Стьюбек, для нас она по-прежнему была крепкой, ловкой, озорной девчонкой, и мало кто заметил, каким образом она превратилась в одну из первых учениц. Лилли держалась независимо с преподавателями и, казалось, приобретала свои знания самостоятельно, без их помощи. Поэтому она оставалась загадкой для учителей, но они уже заговорили о ней с уважением и даже

стремились найти подход к Лилли, хотя их и раздражала ее независимость. В школе, вероятно, не знали о том, что по вечерам Лилли продолжала учебу в библиотеке мисс Дэлглиш; пожилая леди с увлечением занималась со своей одаренной воспитанницей, и Лилли схватывала на лету все, чему ее должны были научить в классе. Наверное, это и входило в планы мисс Дэлглиш, более того, домашние занятия по-французскому, английскому и истории уже знаменовались существенными успехами, хотя в школе девочка не стремилась щегольнуть своими знаниями. Если ее вызывали, она отвечала коротко и по существу, но от себя ничего не добавляла, и я не припомню случая, чтобы Лилли сама о чем-нибудь спрашивала учителей.

Обнаружив, что Лилли много читает, мисс Ярдли — она преподавала у нас английский и была особенно внимательна к Лилли — захотела выяснить, какие книги маленькая Стьюбек брала из библиотеки мисс Дэлглиш, но не сумела вызвать ученицу на откровенность и решила посетить дом пожилой леди, чтобы все разузнать самой. Мисс Ярдли осмотрела библиотеку и побеседовала с мисс Дэлглиш, однако учительница совершила ошибку, сообщив на другой день в классе о своем визите.

— Лилли, недавно ты прочитала две книги Генри Хендела Ричардсона [1],— начала мисс Ярдли.— Пожалуйста, расскажи, о чем они и что ты о них думаешь.

— Откуда вы это знаете? — спросила Лилли.

— От мисс Дэлглиш.

— Вы не имеете права выспрашивать про меня!

— Но это для твоей же пользы, Лилли. Я хотела узнать у мисс Дэлглиш, что ты читаешь, и только. В конце концов, ведь речь идет об английской литературе, а это мой предмет.

Вообще-то Лилли хорошо относилась к мисс Ярдли и никогда ей не грубила, но девочку привела в негодование сама мысль о том, что учительница расспрашивала о ней; да как она посмела?! Сама Лилли не разбалтывала секретов пожилой леди и справедливо считала, что и мисс Дэлглиш должна отвечать ей тем же. Посторонним незачем знать, что происходит за высокой оградой особняка.

— Мисс Дэлглиш зря рассказала обо мне,— твердо сказала Лилли.— То, что я делаю дома, вас не касается, мисс Ярдли.

— Извини, Лилли, но я и не думала шпионить за тобой, поверь мне.

И хотя мисс Ярдли не повторяла своего визита, да и в черной тетрадке он даже не упоминался, однако я уверен, что Лилли и мисс Дэлглиш поссорились из-за него, ибо через несколько дней пожилая леди пришла в школу, чтобы при закрытых дверях переговорить с мисс Ярдли и другими преподавателями, после чего никто из них уже не проявлял любопытства к тому, чем Лилли занимается дома.

Мы никогда по-настоящему не знали, как мисс Дэлглиш и Лилли разрешали свои споры, кто из них бывал прав, кто виноват, как они могли уживаться, несмотря на огромное различие в привычках и убеждениях. Никто (даже Дороти Мэлоун) не слышал, чтобы они излагали свои взгляды на жизнь, хотя таковые безусловно имелись, а поскольку единственным судьей, определявшим, что хорошо и что плохо, что есть добро, а что — зло, для горожан был священник, настало время, когда мисс Дэлглиш пришла к выводу, что Лилли пора присоединиться к прочим детям, которые внимали проповедям в надлежащем месте.

Не думаю, чтобы Лилли знала, какую веру исповедовали ее родители. Но мисс Дэлглиш в силу своего шотландского происхождения была пресвитерианкой, и однажды утром она прошествовала на воскресную службу вместе с Лилли, которая шла в чистом ситцевом платье, черных дорогих туфлях, яркой жакетке, соломенной шляпе с широкой лентой вокруг низкой тульи и коротких белых перчатках.

[1] Псевдоним австралийской писательницы Э. Ф. Л. Ричардсон (1870—1946).

Я тоже шел в церковь с братом Томом и не мог сдержать удивление, когда здоровался с пожилой леди и ее воспитанницей.

— Ты идешь в церковь, Кит? — спросила мисс Дэлглиш.

Вопрос был ни к чему, ведь мы были в своих лучших костюмах.

— Да, мисс Дэлглиш,— ответил я.

— Хорошо. Тогда пойдемте вместе,— сказала она.

— Но мы не в пресвитерианскую церковь,— объяснил я.— А в англиканскую (отец позволил нам выбрать церковь по своему усмотрению).

— Вот как,— проговорила мисс Дэлглиш. На ней была широкополая шляпа и черное шелковое платье, длинное, блестящее, окаймленное тонкими кружевами; ее агатовые бусы сверкали на солнце.

— Может быть, сегодня вы все же составите нам компанию?— предложила пожилая леди.— А то Лилли будет скучно одной.

Только мисс Дэлглиш могла остановить нас воскресным утром посреди главной улицы, чтобы пригласить в чужую церковь.

— Я и так не пропаду,— пробурчала Лилли.

— Мы не против, мисс Дэлглиш,— вступил в разговор Том, считавшийся в семье чуть ли не святошей.

— Вы-то не против, но не будут ли против ваши родители?— с запоздалым сомнением в голосе проговорила мисс Дэлглиш.

— Не будут,— ответил я.

Мы вошли в неказистую церквушку под железной крышей и сели на скамью в седьмом ряду; прихожане принялись украдкой посматривать на нас и перешептываться.

— Что теперь делать, Кит? — спросила Лилли.

Лилли никогда не посещала богослужений, да и мне было не по себе в пресвитерианской церкви. Я хорошо помню ту воскресную проповедь, потому что она была обращена прямо к Лилли. Его преподобию мистеру Армитиджу, коротышке-шотландцу, пришлось взобраться на ящик из-под фруктов, иначе прихожане не увидели бы его из-за кафедры, зато голос у него был громкий, резкий, и хотя вначале он «вразумлял» паству словами из «Послания к коринфянам»: «Мы как сор для мира, *как* прах, всеми *попираемый* доныне»,— очень скоро священник обрушился с беспощадной бранью на современную молодежь. В последнее время горожане страдали от бесчисленных мелких краж — видно, их совершали некоторые доведенные до отчаяния молодые безработные; поэтому, с одной стороны, преподобный отец заклеймил тех, кто рылся в помойках, воровал и вообще покушался на чужую собственность, а с другой — осудил греховную наготу и распущенность девиц вроде Лилли, которые, совлекши с себя добрую половину одеяний, купались в реке и скакали там с юными отроками даже в святое воскресенье.

— Не обращай на него внимания,— шепнул я Лилли.

— А я и не обращаю,— ответила она.

Лилли не захотела петь вместе со всеми, правда, я думаю, что она и не знала псалмов, а когда с прихожан стали собирать пожертвования, она не отдала шиллинг, полученный от мисс Дэлглиш, хотя та строго приказала:

— Положи деньги на блюдо, Лилли.

— Ни за что,— отрезала девочка.

Я понял, что больше в церкви ее не увижу, и удивился, встретив Лилли в следующее воскресенье у ворот дома мисс Дэлглиш, где она, нарядно одетая, как и в прошлый раз, поджидала меня и Тома.

— Я с вами,— проговорила она.

— Только больше мы не пойдем к пресвитерианам,— предупредил я.

— Я тоже. Хочу посмотреть вашу церковь, Кит. Может, там лучше.

В городе не было принято, чтобы девочки и мальчики ходили

в церковь одни, без взрослых, поэтому я стеснялся, а Лилли — ничуть. Мы отправились в англиканскую церковь, находившуюся на противоположном конце города, прихожане снова нас разглядывали, правда, на сей раз все обошлось довольно благополучно, ибо в проповеди говорилось о надежде и милосердии, но когда дело дошло до молитвы, Лилли не захотела опуститься на колени.

— Стань на колени,— подсказал я.

— Ни за что,— ответила она шепотом.

Это не было демонстрацией вольнодумства, просто Лилли считала, что будет выглядеть смешно, да и не в ее характере было просить о чем-либо на коленях. Тут на нас зашикали, кто-то даже толкнул Лилли в спину, но она осталась сидеть на скамье, гордо выпрямившись.

В следующее воскресенье я уже не встретил Лилли, но мне сказали, что ее видели у методистов. В конце концов Лилли должна была бы пойти в католическую церковь, тем более что ее подруга Дороти Мэлоун была католичкой; однако Лилли не мог привлечь католицизм, слишком суровый к мирянам, а главное — конфессиональные барьеры в нашем городе имели такую силу, что преодолеть их не решалась даже она. Католичкой же Лилли не была, это она знала точно.

Лилли все-таки ходила в церковь, иначе ей не разрешалось бы встречаться по воскресным дням с Дороти, и хотя Лилли бывала в церкви не каждую неделю, иногда ее видели у англикан, которые привлекали девочку, вероятно, тем, что Евангелие у них трактовалось помягче и грубости было поменьше. Однако Лилли никогда не преклоняла колен в молитве, никогда не пела псалмов, ни разу не пожертвовала хотя бы пенни. Словом, Лилли оставалась самой собой, то есть язычницей, ее голова была полна странных суеверий: западные ветры, считала она, высевают на теле прыщи, рыба, выпрыгнувшая из воды, сулит беду, восемь сорок[1] — к удаче, лай собаки во время еды — к болям в животе, а если притронуться к крупу лошади и она пустит ветры, то заболеешь чахоткой. Лилли знала десяток подобных примет.

В конце концов мисс Дэлглиш удовольствовалась малым — время от времени Лилли ходила в англиканскую церковь. Но пожилая леди упорно заставляла девочку читать Библию, и Лилли восхищалась этим сводом священных текстов.

— Мне кажется, мисс Дэлглиш просто не знает, что там написано,— сказала мне Лилли в одно из воскресений.

Я мог только догадываться, что интересного нашла Лилли в Библии, кроме разных чудес, рассказанных языком, который был ей близок. Не думаю, что, читая Библию, она пыталась обрести веру, Лилли и не искала ее; в дальнейшем она открыто порвала с церковью, потому что обрела духовную опору совсем в другом.

Именно близость Лилли к природе позволила мне кое-что понять в жизни ее души. Наш городок раскинулся среди пшеничных полей, апельсиновых рощ и виноградников; он как бы находился на острове между Малым и Большим Мурреем, по берегам которых росли стройные эвкалипты. Свои, неповторимые звуки витали окрест, такие же неповторимые, как наши эвкалипты, апельсиновые рощи и пшеничные поля; летом, сидя на приступке у двери, выходящей во двор, можно было услышать дыхание города, крики детей, играющих на песчаных площадках, а когда с теплого неба мягкой, розовато-лиловой дымкой опускался вечер, до нас доносились голоса лета: лай собак, стрекот цикад за медленной рекой, заглушаемый настойчивым, неистовым ревом миллиона лягушек. Я любил внимать звукам уходящего дня и долго думал, что никто, кроме меня, ничего вокруг не замечает, пока однажды вечером по дороге с Мыса Лилли не сказала мне:

[1] «Сороками» в Австралии называют слейтовых птиц с черно-белым оперением.

— Ты слышал, как закрываются на ночь помидоры?

— Разве это можно услышать?

— А ты попробуй.

Мы как раз остановились на поле мистера Хислопа, где росли помидоры: они занимали участок в пять акров между рекой и железной дорогой вдали от центра города; здесь нам никто не мешал наслаждаться чудесным, спокойным вечером.

— Только присядь на корточки,— посоветовала девочка.

Я присел рядом с Лилли и весь превратился в слух.

— Ничего не слышу.

— Тсс... слушай,— прошептала Лилли.

Я последовал ее совету и на сей раз уловил какое-то странное многозвучие, мягкий шорох, будто в тысячах растений что-то дрогнуло и замерло настолько неуловимо, что, если бы вечер не был так безмятежно тих, я бы ничего не расслышал.

— Это закрываются лепестки у цветков,— пояснила девочка.— Рано утром их тоже можно услышать, только тогда они слабо поскрипывают.

— Черт побери,— вырвалось у меня.

— И эвкалипты можно услышать,— продолжала Лилли,— когда у них сворачивается и отслаивается кора, только надо правильно выбрать время.

— Как же это ты заметила? — спросил я.

— Не знаю. Просто услышала однажды. Можно многое услышать, если вечером приложить ухо к земле. Она полна голосов.

Я понял в тот вечер, что Лилли словно выросла из почвы, пробилась из-под асфальта и уличной грязи, она прямо-таки родилась от земли, как древняя гречанка, еще не знавшая верховного божества.

Именно этого мисс Дэлглиш не могла истребить в Лилли или изменить своим воспитанием, однако ей удалось улучшить речь девочки и ее выговор. С языка Лилли по-прежнему то и дело срывались грубые выражения, но мисс Дэлглиш неустанно ее поправляла, пока та не стала говорить «знаю», а не «знамо дело», «правда», а не «помереть мне на этом месте»; особенно я запомнил, как у Лилли вдруг вырвалось «лови!» вместо привычного «саль». Играя в салочки, мы то и дело повторяли «саль», что почему-то раздражало мисс Дэлглиш, которая целых два года журила за это свою воспитанницу, пока та, погнавшись однажды за кем-то на Мысу, не крикнула: «Лови его!» Мы рассмеялись, но словечко показалось забавным и прижилось у нас. Только Лилли говорила его теперь взаправду, а мы — в шутку. Нельзя сказать, чтобы она сознательно избавлялась от уличного жаргона, это происходило постепенно, само собой, хотя в другом языке — во французском — Лилли даже стала для нас примером.

Некоторое время его преподавал нам настоящий француз — мсье Анри Данжу. Школьники звали его просто Анри, поскольку он был иностранцем и, следовательно, забавным чудаком, что вполне оправдывало нашу бесцеремонность. Приземистый, крепко сбитый мсье Данжу ездил на гоночном велосипеде с легкими бамбуковыми ободами и узким седлом. Француза поддразнивали не только дети, но и добрая половина взрослых, дни учителя превратились в каждодневную борьбу с насмешками над его ломаным английским и со множеством издевок. На них он отвечал чем-то вроде: «Visez mon cou!» — что, по нашему разумению, означало: «Берите меня за горло». Мы считали это выражение безобидным французским ругательством, но Лилли обозвала нас дураками.

Он говорит: «Baisez mon cul! Поцелуйте меня в зад!» — пояснила Лилли.

Мы были посрамлены. Возможно, другие девочки, хорошо знавшие французский, тоже понимали, что́ именно говорил мсье Данжу,

но только Лилли отважилась на объяснение; с этих пор мы стали с уважением относиться к учителю, который сумел постоять за себя и отомстить обидчикам крепким словцом, то есть вполне по-австралийски. Нам было ясно, почему Лилли так поступила. Ей хотелось, чтобы мы знали: и мсье Данжу не остается у нас в долгу. Лилли терпеть не могла, когда над кем-нибудь издевались. Сама она никого не обижала, но и не позволяла насмехаться над собой, а это иногда бывало непросто, ибо в те времена грубые острословы ходили в Австралии чуть ли не в больших умниках. Как бы то ни было, мсье Данжу не выдержал здешней жизни. В конце года он исчез из Сент-Элен вместе со своим велосипедом, и мы больше о нем не слышали, однако выражение «Baisez mon cul», благодаря Лилли, обогатило наш лексикон.

Лилли по-разному относилась к жителям города — к кому с симпатией, к кому с неприязнью — и не скрывала этого, но редко когонибудь осуждала вслух. Как и мисс Дэлглиш, Лилли, казалось, знала обо всем, что происходило в Сент-Элен, она знала, кто злословит за ее спиной, кто ей сочувствует, а кто попросту к ней безразличен. В городе многие давно поняли, что того, кто рискнет сказать Лилли что-либо обидное в лицо, ожидает неминуемая расплата. Она всегда рано или поздно сводила счеты со своими врагами, и тем не менее сплетни, ходившие о ней, были самые чудовищные.

Однажды я слышал, как Боб Саммерфилд — завзятый мотоциклист и юный сердцеед — по-моему, он видел в Лилли лишь то, что хотел увидеть,— так вот, однажды я слышал, как Боб утверждал, будто застал Лилли — в ее-то четырнадцать лет! — с сигаретой за китайской прачечной. Это было уже чересчур. Ведь курящая девушка сразу попадала у нас в особую категорию; если же ее замечали с сигаретой за прачечной, то ей приписывались все мыслимые пороки, а уж если такое говорилось о четырнадцатилетней школьнице, то она неминуемо оказывалась прямо-таки блудницей.

Я не стал спорить с Бобом, поскольку не любил совать нос в чужие дела, а кроме того, знал, что Лилли сама сумеет защититься. Вскоре она услышала об этой сплетне, но возмутила ее не столько глупая клевета, сколько то, что Боб сплетничал за ее спиной. Если бы Лилли захотела выкурить сигарету во дворе прачечной, она и не подумала бы прятаться от посторонних глаз, но Боб явно врал, и Лилли решила отомстить обидчику. Боб ездил на великолепно ухоженном мотоцикле марки «BSA» с карбидными лампами и однажды утром обнаружил, что карбидный патрон отвинчен, а сам карбид брошен в бензобак.

Боб догадался, кто это сделал, и пожаловался на Лилли мисс Дэлглиш, которая отчитала свою воспитанницу. Лилли, конечно, во всем призналась и объяснила пожилой леди, почему она так поступила. Тогда мисс Дэлглиш сказала Бобу, что он вел себя постыдно.

— Лилли не ходит по притонам,— заявила она.— Это плод вашей грязной фантазии.

— Но... я только пошутил,— запинаясь, оправдывался Боб.

— Вам следовало бы знать, что шутить над Лилли неумно. Ничем не могу вам помочь.

— Но она сломала мой мотоцикл,— возмутился Боб.— И испортила бак.

— Вы виноваты сами,— твердо ответила мисс Дэлглиш.

— Ну хорошо, я с ней поквитаюсь.

— Не советую,— предупредила пожилая леди.— Если вы не прекратите распространять о девочке грязные слухи, я привлеку вас к суду за клевету. Только посмейте сказать хоть одно лживое слово.

Боб понимал, что потерпел фиаско. Сражаться против таких двух людей, как мстительная Лилли и богатая, влиятельная мисс

Дэлглиш, было ему не по силам, поэтому он с тех пор помалкивал, а бензобак купил себе новый.

Мисс Дэлглиш и Лилли всегда защищали друг друга. Я не слышал, чтобы кто-нибудь в городе посмел непочтительно отозваться о мисс Дэлглиш или посмеяться над ней при Лилли, однако порой к девочке приставали с расспросами о пожилой леди. Лилли уклонялась от ответов, а если это не помогало, то начинала откровенно грубить. Однажды к Лилли привязалась миссис Элли, известная в городе сплетница, женщина сентиментальная и религиозная, любившая «заботиться» о делах ближних своих; она посоветовала девочке быть внимательнее к своей благодетельнице.

— Лилли, почему ты не зовешь мисс Дэлглиш тетей?

— Какая она мне тетя,— огрызнулась Лилли.

— Правильно, но ей бы конечно понравилось, если бы ты ее так называла.

Миссис Эллис повезло, так как Лилли считала ее скорее пустомелей, чем злостной сплетницей.

— Ничего-то вы не знаете,— презрительно усмехнулась девочка.

Смеялась Лилли редко, а если улыбалась, улыбка у нее была легкая, мимолетная, губы у Лилли оставались строгими, хотя сама она была раскованной, быстрой, с дерзким взглядом, проворными руками, непокорными красивыми волосами, а вот по-настоящему улыбалась она, помнится, только Дороти Мэлоун, песику Тилли и порой мне, когда мы гуляли вдвоем.

Так взрослела Лилли.

9

К пятнадцати годам Лилли уже пользовалась уважением в нашей школе и слыла очень умной девочкой. Она была также одной из самых лучших учениц, тем более что имела в своем распоряжении отличную библиотеку и любила читать; кроме того, ей во многом передался интерес мисс Дэлглиш к музыке и изобразительному искусству. Кстати, мы об этом знали, однако никто не видел, чтобы Лилли читала какую-нибудь книгу, кроме учебников, или слушала музыку. Просто мы об этом знали, вот и все, и некоторые девочки даже побаивались Лилли, но вовсе не из-за того, что она была известна своим умением расправляться с противниками, а потому, что втайне Лилли была очень образованна, хотя и не щеголяла своими знаниями.

Лилли оставалась все такой же молчаливой и неприступной, но теперь исходившая от нее решимость покарать любого обидчика не так бросалась в глаза. Да и обижали Лилли все реже и реже, потому что большинство горожан уже признавало в ней воспитанницу мисс Дэлглиш. О Лилли почти перестали судачить и обращаться с ней как с побирушкой и нищенкой из семьи Стьюбеков. Девочка уже не воровала и не копалась в отбросах, но мы иногда видели, как она бесцельно бродит по ночному городу, порой вместе с Тилли; казалось, ее неодолимо тянуло на пустыри и окраины подышать, как в старые времена, воздухом свободы. Лилли больше не лазила через ограду, а выходила через тяжелые ворота; если пожилая леди и узнавала о ночных прогулках, то, видимо, смотрела сквозь пальцы на то, что прежние привычки Лилли еще напоминали о себе.

Сплетни о Лилли, наверное, затихли бы вовсе, если бы на нее не заглядывались мальчики и мужчины. Даже в детстве замарашка Лилли отнюдь не казалась гадким утенком и не походила на сорванца-мальчишку. А в свои пятнадцать лет она уже привлекала к себе внимание мужской половины города. Лилли превратилась в красивую девушку с быстрыми, как у зверька, глазами, строгими бровями и ловким телом, почти бесплотным оттого, что она совсем о нем забывала. Движения у Лилли были свободные, даже небрежные, поэтому тот, кто стремился завоевать ее, полагал, что игра стоит свеч, нужно

только выиграть, а сдержанность Лилли лишь повышала ставки. Лилли никогда не выглядела невинным младенцем. И поэтому мужчине могло прийти в голову, будто она и впрямь легко лишится невинности, если сама этого захочет. Лилли была очень женственной, но не казалась пугливой, забитой, излишне застенчивой или, наоборот, коварной. И наши ловеласы находили, что она просто-напросто завлекает их в свои сети.

Разумеется, мужчины у нас были самые разные: ласковые и грубые, добрые и злые. Ласковые и добрые смирялись с заведомым поражением, не делая даже попытки приблизиться к Лилли, зато грубые и злые были уверены в успехе. О Лилли уже болтали, что, дескать, пора ей показать, откуда берутся детишки, и того, кто обуздает воспитанницу мисс Дэлглиш, ждала слава героя. Но лишь двое городских сердцеедов пытались подступиться к Лилли. Одним был шестнадцатилетний ученик нашей школы Тод (Теодор) Доркинг, вторым — Филип Энсти, местный агент по продаже недвижимости.

Тод был настолько же общителен и легкомыслен, насколько Лилли сдержанна и, пожалуй, даже замкнута. В школе гордились Тодом: учился он хорошо, великолепно играл в футбол и стал чемпионом по плаванию среди юношей штата Виктория. Высокого роста, крупный, Тод был, наверное, тяжеловат для своих лет, однако внешность имел мужественную и с годами обещал превратиться в типичного австралийца. Мы любили Тода, хотя знали о его жестокости. Например, на футбольном поле он отлично умел, не нарушая правил, сбить соперника с ног, да к тому же с таким расчетом, чтобы всерьез вывести его из игры. Поднимая упавшего, он обычно еще и посмеивался:

— Не зевай.

Но уследить за Тодом было трудно, ибо он любил действовать исподтишка.

С Лилли он вел себя обходительно, вежливо, и, хотя в детстве был самым обычным, послушным ребенком, Лилли он рассказывал, будто лет в одиннадцать слыл отчаянным сорвиголовой: воровал апельсины и гранаты из сада мистера Смита, выпускал кур из курятника мистера Досона и порубил топором живую изгородь у соседей. Все это было неправдой и говорилось лишь для того, чтобы показать, будто Тоду безразлично, что Лилли раньше воровала и частенько рылась в мусорных ящиках. Дескать, сам был таким. Лилли равнодушно выслушивала юношу, потому что вообще умела слушать людей, однако чем больше она противилась его натиску, тем упорнее Тод искал ее расположения, но выказывал он себя при этом отнюдь не с лучшей стороны, словно полагая, будто именно грубость или низость могут открыть ему путь к сердцу Лилли.

Тод ошибался, думая, что близок к успеху. Ошибался настолько, что на школьном вечере по случаю окончания учебного года попытался поцеловать Лилли. Нас было четверо или пятеро, мы вышли из актового зала на галерею, которая огибала школьный двор. Мы уселись как обычно на железные перила и слушали, болтая ногами, как Маджери Рэнкин играла на фортепьяно. Потом на перилах остались только Тод и Лилли. Тод имел на то свои причины, а Лилли просто заслушалась музыкой. Неожиданно Тод обнял Лилли за шею.

— Ну как насчет этого? — проговорил он.

— Ты о чем? — спросила девушка.

— Сама знаешь о чем,— ухмыльнулся Тод.

— Нет, не знаю.

— Перестань ломаться,— бросил Тод, он грубо стащил Лилли с перил, облапил и попытался поцеловать. Мы как раз вернулись из зала и стали свидетелями завязавшейся борьбы. Было уже темно, но я разглядел, как Лилли пригнулась и бросилась на Тода словно тигрица. Она вцепилась в его короткие волосы, потянула голову вниз за перила и сбросила Тода на землю. Все это произошло в один миг. Мы рассмеялись, но я заметил, что зубы Лилли зловеще блеснули.

— За что ты его? — спросили девочки.

— Просто так,— ответила Лилли, направляясь в зал.

Утром о происшествии узнала вся школа, а через день — и весь город. В пересудах больше доставалось Лилли, чем ее обидчику. Тода, хорошего парня и спортсмена, любили и уважали в Сент-Элен, а если он поссорился с Лилли, то не иначе как по ее вине. Обсуждая эту историю, кое-кто не преминул вспомнить семейство Стьюбеков и беспризорное детство Лилли. Обычно над таким смешным, пустяковым столкновением двух подростков в городе позубоскалили бы, да и только, но речь шла о Лилли, а ее не щадили.

Случай с Филипом Энсти был совершенно иным, впрочем, для Лилли он тоже закончился печально. Филип Энсти, тридцати с небольшим лет, преуспевающий агент по продаже недвижимости, выглядел точно так, как и должен был выглядеть красавчик, отпрыск давным-давно захиревшего английского аристократического рода. Яркие голубые глаза выделялись на его мертвенно-бледном лице с прямым носом и хорошо вылепленными скулами. Это был хладнокровный, сдержанный человек, настоящий джентльмен, хотя и вынужденный поселиться в Австралии. Жена Энсти, австралийка, была старше его лет на восемь; он появился в городе десять лет назад и основал агентство по продаже недвижимости на деньги супруги. Некогда это была розовощекая блондинка с фигурой Венеры, но со временем лицо ее приобрело красный цвет, а тело — расплывчатые формы, приличествующие почтенной матроне. В Сент-Элен прекрасно знали, что Энсти срывал цветы удовольствия где только мог, и я, повзрослев, когда при мне говорить об этом уже не стеснялись, слышал, будто он оказывал известное внимание дамам, которые состояли в счастливом браке, словно оправдывая тем самым собственную неверность. Но чаще ему приходилось отправляться в захолустье, где женщины много работали, чувствовали себя одиноко и были забыты мужьями. Поговаривали, что любой жене фермера грозила опасность, если Энсти заглядывал к ней по делам.

С женой Джонни Салливэна, владевшего цитрусовой плантацией под Нуахом, дело у Энсти зашло, пожалуй, слишком далеко. Обманутый муж задал ему трепку посреди главной улицы Сент-Элен и приказал неверной супруге убираться вон из дома. После этого Энсти стал героем сочных мужских шуточек, его благословляли на новые победы, хотя и считали простофилей из-за того, что он так глупо попался. Однако жена отнеслась к измене Энсти иначе: многие годы она сквозь пальцы смотрела на похождения своего супруга, а теперь решила с ним разойтись.

Кстати, в нашей семье оживленно обсуждали эту размолвку, потому что сначала миссис Энсти обратилась к отцу с просьбой заняться ее делом, а когда он отказал (так как не вел бракоразводных дел), уже сам Энсти попытался уговорить отца взять на себя его защиту и тоже получил отказ. Не знаю точно, может быть, на отца повлияли улики, представленные ему миссис Энсти, я склонен думать, что так оно и было, ибо на суде в соседнем Бендиго фигурировал дневник Филипа Энсти, найденный его супругой, в котором тот описывал свои многочисленные победы. Особенно гнусными были в дневнике те места (отец прямо-таки бушевал от ярости, когда газеты опубликовали их), где упоминалась Лилли.

Что касается Лилли, то дневник не хвастал победами, а рассказывал лишь о замыслах сластолюбца. Описания вожделенных прелестей Лилли были отвратительны, и местная пресса не рискнула опубликовать большую часть из них, но по судебным отчетам, появившимся в газетах, стало ясно: дневниковые заметки о пятнадцатилетней школьнице оказались столь непристойными, что судья Р. Б. Мэтьюс даже прервал их оглашение на процессе.

Лилли была совершенно не виновата. Она писала в своей черной тетради, что ни разу не обменялась с Филипом Энсти даже словом,

тем более что ей не нравилось, как он смотрел на нее. И все же вновь на нее пала тень. Каким образом эта пятнадцатилетняя девочка могла внушить столь грязные мысли женатому мужчине?

Миссис Энсти получила развод, и в городе почти перестали судачить о женщинах, упомянутых в злополучном дневнике, но только не о Лилли. Более ранимая девочка не решалась бы поднять глаз, проходя по улицам после такого скандала, и многие ожидали увидеть Лилли смущенной и растерянной. Однако она вела себя по-прежнему и не обращала внимания ни на любопытные взгляды, ни на шепот позади себя. Если мужчины проявляли интерес к соблазнительной школьнице, она либо игнорировала их, либо глядела так грозно, что никто не осмеливался ни на пошлость, ни на искренний комплимент. Мисс Дэлглиш ничем не могла помочь своей воспитаннице, ибо враг был невидим, и хотя она, как и все друзья Лилли, возмущалась случившимся до глубины души, говорить об этом с девочкой не могла. Сам я ждал и надеялся, что Лилли сожжет дотла дом Филипа Энсти, но она не отомстила ему. Лилли уже стала взрослой.

Она обещала превратиться в очень интересную молодую женщину и казалась взрослее своих сверстниц. Лилли была самостоятельной девушкой, такой же упорной, волевой, такой же серьезной, неулыбчивой и загадочной, как и в детстве. И хотя Лилли быстро расцвела, она, казалось, не искала радостей, которые сулила девичья красота. Она уходила в школу и возвращалась прямо домой, будто ничто другое ее не интересовало; она прекрасно училась и часами просиживала в библиотеке мисс Дэлглиш за книгами и тетрадями. Почерк у нее остался детским — крупным, округлым и на первый взгляд говорил о простодушии Лилли, но стоило вникнуть в написанное, как становилось ясно, что человек она отнюдь не простой.

Но к чему она стремилась? Какие строила планы?

Об этом мы часто говорили, но никогда не расспрашивали саму Лилли. Даже Дороти Мэлоун не пробовала узнать у подруги, что она собирается делать после учебы. Останется ли в Сент-Элен с мисс Дэлглиш, или та пошлет ее в Мельбурнский университет? Мы не сомневались в том, что Лилли блестяще сдаст выпускные экзамены, и почему бы ей тогда не поступить в университет — ведь мисс Дэлглиш считалась одной из самых богатых жительниц города и могла помочь своей воспитаннице. О сокровенных желаниях Лилли мы и не догадывались. Она хорошо училась и много работала просто потому, что была старательной по натуре. За этим не скрывалось ни определенных намерений, ни серьезных целей, поскольку никаких целей Лилли перед собой и не ставила.

Мы могли только предполагать, что происходило в особняке, хотя и догадывались, что жизнь Лилли текла там размеренно, без осложнений. Каждое субботнее утро она выходила из больших ворот вместе с мисс Дэлглиш, и они молча направлялись в центр города. Лилли обычно несла покупки и лишь изредка переговаривалась с пожилой леди, когда нужно было что-то решить. Мисс Дэлглиш указывала, что и где купить. До сих пор почти все для Лилли они приобретали в универсальном магазине мистера Уильямса, но теперь нередко заглядывали в магазин готового платья мисс Томпсон, считавшийся моднее и престижнее. Большую часть дня Лилли ходила в школьной форме, хотя ей шли нарядные и в то же время очень скромные платья, в которые одевала ее мисс Дэлглиш. Кстати, та, если и гордилась результатами своих усилий, то вида не показывала. Все это было само собой разумеющимся и не стоило внимания. Их жизнь в особняке по-прежнему была окутана тайной и оставалась для города загадкой.

Лилли вела себя вежливо и непринужденно с каждым, кто был приветлив с ней, но ее сдержанность не позволяла ей сходиться с людьми поближе. Она не любила много болтать и обычно лишь отвечала на вопросы собеседника. Лилли была довольно откровенна со мной, Дороти Мэлоун и даже кое с кем из учителей, которые теперь

обращались с ней точно со взрослой, почти как с равной. Поэтому она никогда не чувствовала себя одинокой, отрезанной от других людей. Тем не менее между Лилли и нами всегда существовала невидимая граница, и, когда она возвращалась домой и закрывала за собой большие ворота, мы думали, что там, за глухими стенами, и протекала ее настоящая жизнь, жизнь, о которой мы очень мало знали.

Как-то я спросил у Дороти Мэлоун, ссорятся ли по-прежнему Лилли и мисс Дэлглиш.

— Право, не знаю,— ответила девушка.

Я был уверен: даже со мной она не стала бы обсуждать, что происходит в особняке, но ее это тревожило, поэтому ей очень хотелось поговорить с кем-нибудь о подруге, и я как их приятель вполне мог рассчитывать на откровенность.

— Кажется, Лилли и мисс Дэлглиш нашли общий язык и больше не ссорятся. Но они поразительно равнодушны друг к другу. Так было всегда, я знаю, только временами я спрашиваю себя, Кит, что ждет Лилли?

— А я, думаешь, не спрашиваю? Потому и решил с тобой поговорить.

— У них какие-то странные отношения, правда, посторонним это незаметно.

— Плохие?

— Кто их знает. Но когда я прихожу туда, меня не покидает ощущение, будто Лилли нуждается в защите, хотя вроде бы и незачем ее защищать. Просто я чувствую, что должна быть рядом с ней.

— Думаешь, мисс Дэлглиш донимает ее?

— Что ты! Конечно, все это только догадки, но, по-моему, Лилли живет какой-то своей жизнью, и вот эту ее жизнь я и должна оберегать, хотя ничего о ней не знаю. Я чувствую, что Лилли нужна моя поддержка.

— Ты же сказала, что они не ссорятся.

— Нет... я сказала, что не знаю. Кто из нас точно знает чего-нибудь, Кит? Они как будто все время спорят, только молча. Ты сам увидишь.

Дороти Мэлоун слышала, что меня собираются пригласить в следующее воскресенье на чай к мисс Дэлглиш. Ей сказала об этом Лилли. Однако приглашение последовало вовсе не от Лилли. Мисс Дэлглиш позвонила моей маме и спросила, не смогу ли я прийти в воскресенье к ним на чай.

— В котором часу? — поинтересовалась мама, удивившись, почему обращаются к ней, а не ко мне.

— В пять.

Мама изумилась. Обычно в Австралии в это время устраивали званый обед, но мисс Дэлглиш скорее всего имела в виду «чай» по-английски.

— Я поговорю с Китом,— ответила мама,— если он соберется к вам, то скажет об этом Лилли.

— Нет, прошу вас, позвоните, пожалуйста, мне сами,— настаивала мисс Дэлглиш.

— Хорошо,— согласилась мама.

Она была поражена звонком мисс Дэлглиш, хотя ей и льстило ее внимание. Мама спросила, почему это мисс Дэлглиш приглашает именно меня.

— Потому что я вежливый, воспитанный мальчик и вид у меня такой, будто я только что вымыл лицо и руки,— пошутил я.

— Не смейся, Кит. Что произошло?

Я на мгновение задумался.

— По-моему, мисс Дэлглиш считает, что Лилли пора общаться с мальчиками ее возраста.

— Тогда зачем мисс Дэлглиш позвонила мне?

— Наверное, боится, что Лилли не одобрит ее затею.

— Почему?

— Потому, что «чай» придумала мисс Дэлглиш, а не Лилли.

— Странно.

Мама позвонила мисс Дэлглиш и поблагодарила за приглашение, а в пятницу настал мой черед удивляться.

— Ты придешь к нам в воскресенье? — спросила меня Лилли.

— Да,— ответил я.— Меня пригласила мисс Дэлглиш.

— По моей просьбе,— сказала Лилли.

В воскресенье я надел свой лучший костюм, начистил ботинки, однако наотрез отказался от предложенного мамой букета роз. Я вошел в высокие ворота (левая створка была приоткрыта) и направился по длинной дорожке между кустарником и цветами к парадному входу. Едва оказавшись по другую сторону ограды, я принялся настороженно оглядываться вокруг. Глухонемой Боб Эндрюс поддерживал сад в прекрасном состоянии: благоухали розы, кустились хризантемы и рододендроны, пестрели цветами клумбы, сбоку и позади дома росли апельсиновые деревья, а рядом — персики, абрикосы, мандарины, сливы, грейпфруты. Возле самой ограды спели страстоцветы и гранаты, их саженцы, насколько я помню, купила Лилли; особняк имел необычный вид, и я смотрел на него как на архитектурное чудо. Это был крытый черепицей кирпичный двухэтажный дом с окнами в свинцовом обрамлении на нижнем этаже (хотя для крыш в то время использовали в основном рифленое железо и почти все здания строили из дерева); обширный сад выходил на другую улицу, поэтому казалось, что у дома два фасада.

Я постучал в дверь и услышал собачий лай.

— Замолчи, Тилли,— прикрикнула Лилли, открывая старую дубовую дверь.

— Здравствуй, Лилли,— проговорил я.

— Здравствуй,— ответила она.— Входи.

Лилли была в твидовой юбке и джемпере «фар-айл»[1] — я знал, что он дорогой, но, непонятно почему, вдруг почувствовал себя слишком разодетым, хотя не мог же я прийти сюда без пиджака.

— Дороти уже здесь,— предупредила Лилли, однако я тут же забыл о ее подруге, потому что с любопытством рассматривал залу, устланную коврами, где стояла одна из тех статуэток, о которых часто злословили в городе. Это была стройная обнаженная девушка, балансировавшая на валуне, будто вот-вот взлетит в небо, в порыве отчаяния она стиснула голову руками. Я едва не опрокинул ее, отпрянув от Тилли, который решил обнюхать мои блестящие ботинки и не переставал ворчать, пока Лилли опять не прикрикнула на него.

— К нам редко приходят гости,— пояснила девушка.

В зале стоял полумрак, поэтому рассмотреть ее было трудно, но все же я заметил вазу с цветами (потом я разглядел, что она стоит на подставке из венецианского стекла) и три большие картины неизвестных мастеров, о которых я знал лишь то, что это «постимпрессионизм», «абстракция» и «французская школа».

— Ничего особенного,— бросила Лилли, когда я задержался перед полотнами.

— А мне интересно,— тихо ответил я.

— Не теряй попусту время,— поторопила Лилли, и вместе с окончательно признавшим меня Тилли — он подпрыгнул к моей руке, ожидая ласкового шлепка,— мы вошли в комнату, которую я принял за гостиную.

Она была большая, квадратная, в дальнем конце стоял сервированный стол овальной формы, накрытый тонкой камчатной скатертью, на которой красовались китайский фарфоровый сервиз, десертные ножи, вазы с конфетами и пирожными. Меблировку гостиной составляли также сервант, маленькие столики, кресла с подголовниками и вы-

[1] Трикотажное изделие с пестрым рисунком, часто в мавританском стиле.

сокие светильники — все из красного дерева. Две обнаженные девушки из черного гранита, застывшие на скромных пьедесталах, дополняли убранство. На полу лежал шелковистый персидский ковер, а над камином висел большой, написанный маслом портрет старого мистера Дэлглиша в сорочке со стоячим воротничком. Фотографии, картины и objets d'art[1] занимали стены; мне показалось, что вся гостиная напоминала салон в стиле «ар-нуво»[2].

— Добрый день, Кит,— поздоровалась пожилая леди.

— Добрый день, мисс Дэлглиш,— ответил я.

Французские каминные часы пробили пять.

— Ты пунктуален,— отметила мисс Дэлглиш,— и это просто замечательно для мальчика твоего возраста. Терпеть не могу, когда опаздывают.

— Старался изо всех сил,— сказал я и рассмеялся. Мне было здесь хорошо, как дома.

— Привет,— весело поздоровался я, увидев улыбающуюся Дороти.

Заговорщицки кивнув, она продолжала улыбаться; по-моему, ни у кого в нашем городе не было такой улыбки. Она приветствовала меня, дружески подбадривала, помогала преодолеть стеснительность— ведь Дороти считалась своей в доме мисс Дэлглиш, а я пришел сюда впервые.

— Садись вон там,— указала мисс Дэлглиш на тяжелое викторианское кресло,— это единственное мужское кресло в гостиной, в нем любил отдыхать мой отец.

Я утонул в огромном кресле и принялся наблюдать за Лилли и мисс Дэлглиш. Я встречал их вместе только на улице и, естественно, не знал, о чем они беседовали, как жили в доме за высокой оградой; впрочем, всегда было заметно, что отношения у них непростые, и уже через две минуты я почувствовал, что Лилли и мисс Дэлглиш не отказались от прежней борьбы: Лилли неизменно отстаивала независимость, и власть мисс Дэлглиш распространялась на нее лишь настолько, насколько позволяла сама девушка. Я думал, что уж сегодня-то Лилли будет сдержанна, но по непринужденности, с какой она бросила на кушетку свое гибкое тело, я понял — это ее место, ее дом.

Мисс Дэлглиш поинтересовалась, как поживают мои родители.

— Когда соберешься уходить, Кит,— сказала она,— пожалуйста, напомни, чтобы я передала фрукты для твоей мамы.

— Спасибо, мисс Дэлглиш,— ответил я.

— Лилли позовет меня к чаю, а сейчас я ненадолго покину вас,— проговорила мисс Дэлглиш, вставая с кресла.

Я тоже поднялся.

— Скажи Тилли, пусть идет со мной,— обратилась к Лилли мисс Дэлглиш,— а то он начнет таскать со стола бутерброды.

— Ступай, ступай, Тилли! — приказала Лилли.— Ступай в другую комнату.

Песик продолжал лежать возле Лилли, и она легонько пнула его ногой. Но Тилли не слушался, тогда Лилли взяла его за ошейник и подтолкнула к мисс Дэлглиш, которая, не оглядываясь, направилась к выходу. Через открытую дверь я мельком увидел библиотеку; когда Тилли выскочил из гостиной, пожилая леди затворила дверь, и мы остались одни.

Я все еще не мог освоиться, и Лилли постаралась подбодрить меня:

— Не дергайся, Кит. Ты пришел на обычный чай.

— Мама думала, что на самом деле у вас будет обед.

— Только не сегодня,— ответила Лилли.— По воскресеньям мы обедаем поздно.

---

[1] Произведения искусства *(франц.)*.

[2] Стилевое направление в европейском и американском искусстве конца XIX — начала XX в.

Я бы, пожалуй, слегка растерялся в обществе двух девочек, но они облегчили мне жизнь, непринужденно болтая то со мной, то друг с другом. Нам было о чем поговорить: приближались экзамены, и мы стали оживленно обсуждать, нужны ли они или лучше их отменить. Я терпеть не мог экзаменов, а для обеих девушек они были словно свежий ветер в знойный день. После грядущих испытаний нам оставалось проучиться еще год, и я догадался, что Дороти хочет коснуться наших планов на будущее. Именно тогда она впервые сказала о том, что собирается постричься в монахини.

— Ты — в монахини? — удивился я.

Дороти была веселой толстушкой, которая выглядела так, словно мечтала лишь о замужестве и детях. Ее плотно сбитое тело, казалось, было предназначено для счастливого материнства, поэтому все мы считали, что Дороти вскоре выйдет замуж за приличного молодого человека и наживет с ним в благополучии с полдюжины ребятишек.

— Да, в монахини,— рассмеялась Дороти.— А почему бы и нет, Кит?

— Откуда я знаю. Просто не могу представить тебя монахиней.

И тут я вдруг понял, что ошибался. Хотя Дороти и была сотворена для счастливого материнства, она же больше других девушек в нашем городе подходила для непорочной жизни и служения господу. Я уже не сомневался, что Дороти Мэлоун станет настоящей монахиней.

— Я почему-то так и думала, что ты пострижешься,— проговорила Лилли.— С тех пор как мы дружим, я...

— По-моему, ты молодец,— подхватил я.— Когда же ты хочешь уехать?

— В конце будущего года,— ответила Дороти.— Когда закончу школу.

— А что говорит твоя мама? — спросила Лилли.

— Она рада, папа тоже рад, только сестра считает, что это ужасно, и то лишь потому, что сама она влюблена в Джека Данлопа и ждет не дождется, когда выйдет замуж. Как по-твоему, получится из меня монахиня, Лилли?

— Ты будешь замечательной монахиней,— сказала Лилли то, что думал и я.— Но тебя постригут наголо.

— Ну и пусть,— проговорила Дороти.— Никто не увидит.

Я ждал, что теперь Дороти спросит, как Лилли собирается распорядиться своей судьбой, и чувствовал, что этот вопрос прямо-таки вертелся у Дороти на языке, однако она так и не посмела его задать, и, зная, что девушки великолепно понимали друг друга, я решил: раз уж Дороти сдерживает любопытство, мне тем более следует помалкивать.

Мы продолжали говорить о школе, о спорте и книгах (я недавно открыл для себя Дюма, Лилли прочитала «Отверженных», а Дороти увлеклась Джеффри Фарнолом[1]), но тут каминные часы пробили шесть. Лилли встала и открыла дверь в библиотеку.

— Я поставлю чайник,— сказала она мисс Дэлглиш.

Лилли ушла на кухню готовить чай.

— Иди сюда, Кит,— позвала мисс Дэлглиш.— А ты, Дороти, помоги Лилли.

Дороти согласно улыбнулась.

— Хорошо, мисс Дэлглиш.

Я прошел в библиотеку. Это была небольшая комната. Ее стены закрывали книжные полки, а в центре вплотную друг к другу стояли два стола: большой кабинетный стол красного дерева и стол поменьше с ящиками по обеим сторонам (на нем были сложены учебники Лилли). Возле окна я увидел граммофон со стопкой пластинок, к стене был придвинут широкий кожаный диван.

[1] Фарнол Джеффри (1878—1952)— английский писатель.

— Ты, наверное, любишь читать, Кит? — спросила мисс Дэлглиш, впрочем, ее вопрос походил скорее на утверждение.

— Да.

— Лилли говорила, что ты довольно много читаешь.

— Стараюсь.

— Значит, книги ты бережешь и не бросаешь их куда попало.

— Конечно.

— В таком случае можешь взять две любые книги, кроме тех, что стоят за стеклом на верхней полке. Не думаю, что тебе понадобятся справочники.

Я бросил взгляд на многотомное издание Британской энциклопедии и десятитомный лексикон религии и этики.

— Можешь не торопиться с выбором,— подбодрила меня мисс Дэлглиш.

Она склонилась над черной тетрадью, тогда я еще не знал, что это дневник, который сыграл важную роль в жизни Лилли. Надев очки, пожилая леди взялась за перо, а я принялся рассматривать полки.

Книги были аккуратно подобраны по разделам: поэзия, драматургия, мемуары, проза и томики в дешевых переплетах. Эти томики в мягких белых обложках мисс Дэлглиш привезла из Германии, тут было около дюжины романов, выпущенных на английском языке издательством «Таухниц». Дальше шли французские, итальянские и немецкие романы, а на противоположной стене я увидел толстые словари. Целую секцию занимали произведения австралийских писателей, на просторных стеллажах помещались большие альбомы по живописи или с видами иностранных городов. Возле окна и на каминной полке стояли бюсты, две небольшие витрины были заполнены инкрустированными блюдами, серебряными шкатулками, бронзовыми и фарфоровыми статуэтками. Рассматривая библиотеку, я кое-что узнал о мисс Дэлглиш и, пожалуй, довольно много о Лилли.

Поглощенный мыслями о Лилли, я скользил взглядом по полкам, а не выбирал книги; мне было приятно, что мисс Дэлглиш допустила меня в библиотеку, однако я решил не злоупотреблять ее расположением и остановился на самых дешевых, простеньких изданиях «Таухница». Я снял с полки два романа: первый назывался «Город в горах» Эптона Синклера, второй — «Эрроусмит» Синклера Льюиса.

— Чай готов,— донесся из гостиной голос Лилли.

— Можно посмотреть, что ты выбрал? — попросила пожилая леди. Я показал книги; мисс Дэлглиш пристально взглянула на меня.

— Кем ты собираешься стать, Кит? — поинтересовалась она.— Юристом, как твой отец?

— Нет, мисс Дэлглиш.

— Так кем же?

— Я хочу работать в газете, если возьмут.

— Ты твердо решил?

— Вполне.

И вдруг мисс Дэлглиш удивила меня.

— Как ты думаешь, что будет делать Лилли после школы? — спросила она тихо и, мне показалось, даже с тревогой в голосе.

Помедлив немного, я ответил:

— Не знаю. Может, поступит в университет.

— Ты так считаешь?

— Кому же там учиться, как не ей,— проговорил я.

— А что потом? Зачем ей университет?

— Я и в самом деле не знаю,— признался я.

— Думаешь, она будет учительницей?

— Ну, это не для Лилли,— ответил я сразу.

— Кем же тогда?

Я опять сказал, что не знаю; у меня было странное ощущение, будто мисс Дэлглиш пытается в чем-то себя оправдать. У женщин в

то время было мало шансов приобрести иную профессию, кроме учительской, реже они становились врачами. Но Лилли не имела склонности ни к педагогике, ни к медицине.

— Вот видишь,— удовлетворенно проговорила мисс Дэлглиш, словно победила в споре со мной, и я подумал, что это был один из наиболее убедительных доводов в ее безмолвной полемике с Лилли.

— Чай стынет! — крикнула Лилли в открытую дверь.

— Идем, идём...

Мисс Дэлглиш поднялась, и я направился вслед за ней в гостиную.

— Можешь разливать,— сказала она Лилли, которая сняла подушечку с серебряного заварного чайника и разлила чай в изящные чашки из полупрозрачного китайского фарфора.

Сандвичи были тоненькие, вилочки для пирожных — серебряные. Мисс Питерс приготовила восхитительные пирожные, наконец хозяйка дома сняла белую салфетку с большого торта и торжественно объявила:

— Сегодня Лилли исполняется семнадцать лет, и миссис Питерс испекла по этому случаю праздничный торт.

Лилли опустила голову.

— Ну и ну! — воскликнула Дороти.— Как нехорошо.

Лилли казалась смущенной.

— Я не хотела вам говорить.

— Ты должна была сказать,— совсем погрустнела Дороти.

— Какое это имеет значение,— возразила Лилли.

— Никакого,— согласилась мисс Дэлглиш.— Лилли не позволила мне сообщить о причине нашего торжества заранее, но я настояла, чтобы она объявила об этом здесь, за столом.

Мы пожелали имениннице счастья, но Лилли не поблагодарила нас — она сидела молча, не отрывая глаз от тарелки.

— Лилли не хотела справлять день рождения,— добавила мисс Дэлглиш, и снова у меня возникла мысль, будто она защищается, а Лилли, не вымолвившая ни слова, нападает на нее.

Я будто услышал отголоски бесконечных, запутанных, тщательно скрываемых споров, и меня интересовало, касались ли они будущего Лилли. Думая об этом и наблюдая за пожилой леди и ее воспитанницей, я в конце концов решил, что Лилли мечтает поступить в университет, а мисс Дэлглиш ее туда не пускает. У меня уже не оставалось в этом сомнений, и я догадался, что́ имела в виду Дороти, когда говорила мне о секретах подруги и о своем желании поддержать ее. Конечно, она поддерживала стремление Лилли поступить в университет, в этом я вместе с Дороти был полностью на стороне младшей Стьюбек. Но только прочтя записи Лилли в черной тетради, я обнаружил, что наоборот — мисс Дэлглиш собиралась послать Лилли в университет, а та не хотела уезжать в Мельбурн, и мне кажется вполне естественным, что Лилли стремилась сама решить свою судьбу, поэтому с одними предложениями пожилой леди она соглашалась, а другие отвергала напрочь.

— Очень вкусный торт,— нарушил я тягостное молчание.

— Я передам это миссис Питерс. Она будет рада,— откликнулась мисс Дэлглиш.— Лилли, наполни, пожалуйста, чайник и подай гостям чистые чашки.

Девушка повиновалась; напрасно я думал, что она обиделась на мисс Дэлглиш, лицо Лилли оставалось спокойным — очередная загадка для меня. Всегда ожидаешь от нее одного, а она поступает по-иному.

— Я принесу тебе подарок завтра,— пообещала Дороти.

— Нет, ни в коем случае,— отрезала Лилли.— Мне ничего не нужно.

— Но это же невежливо,— возразила Дороти.

— При чем тут вежливость? Давай не будем больше об этом говорить.

Мы посмеялись над кое-кем из знакомых, поговорили о последнем пожаре, пока не пришло время прощаться.

— Лилли, принеси корзину для Кита и цветы для Дороти,— приказала мисс Дэлглиш.

Лилли сходила на кухню и вернулась с корзиной фруктов и пышным букетом хризантем. Она протянула мне фрукты (точно такие же зрели в нашем саду), а цветы отдала подруге.

— Спасибо, что навестили нас,— проговорила мисс Дэлглиш.— Надеюсь, скоро вы придете к нам опять.

Мы поблагодарили хозяйку дома; Тилли принялся лаять, почуяв, что гости собираются уходить. Лилли решила взять его с собой и сказала об этом мисс Дэлглиш.

— Я провожу Дороти,— добавила она.

— Хорошо, только захвати ключи и запри за собой ворота.

Мы вышли из особняка, Лилли заперла ворота на замок, и мне показалось, будто перед нами упал мост через глубокий ров и мост этот поднимется вновь, лишь только мы ступим с него на землю.

— Тебе понравилось у нас, Кит? — спросила Лилли, когда мы остановились, перед тем как разойтись в разные стороны.

— Все было чудесно. Честное слово,— ответил я.— Наконец-то увидел ваши статуи.

— Не говори никому о том, что я собираюсь принять постриг, ладно? — предупредила Дороти.

— Кит умеет молчать,— сказала Лилли, и я любил ее в это мгновение.

Любил как друга. Ведь мы и были всего лишь друзьями, и слова Лилли, произнесенные в тот вечер, подтверждали, как мы доверяли друг другу.

— Спокойной ночи, Кит,— попрощались со мной девушки.

— Спокойной ночи,— ответил я и направился домой, раздумывая о Лилли.

Несомненно, ее ожидала нелегкая судьба, но всякий раз при встрече с Лилли мне казалось, что счастье вот-вот ее обласкает. Конечно, усилия мисс Дэлглиш и стремление Лилли сохранить независимость принесут благие плоды на радость им обеим.

Однако мои надежды не оправдались, ибо примерно через неделю после дня рождения Лилли в Сент-Элен возвратились Стьюбеки, и жизнь ее пошла по иному руслу, словно она оказалась не в силах поступить вопреки велению собственной совести, совести Лилли Стьюбек, оставшейся верной себе.

10

Первым о близком приезде Стьюбеков сообщил Лилли ее давний недруг Поли Хаулэнд.

— Я видел твою старуху в Нуахе! — крикнул он Лилли через улицу.— Она хочет забрать тебя.

Мальчишка Поли Хаулэнд превратился в расплывшегося молодого человека и помогал отцу управляться с аптекой. Поли старательно разыгрывал из себя славного, общительного парня, достойного всеобщего уважения, но мы не то чтобы презирали, нет, скорее жалели его, ибо родители изуродовали любимое изнеженное чадо, которое с удовольствием делало людям мелкие пакости.

— Ты слышала, Лилли? — прокричал он вдогонку девушке, не обратившей на него никакого внимания.

Поли знал, что Лилли больше не мстила своим обидчикам, но, когда она остановилась на миг и обожгла его взглядом, он струсил, глупо рассмеялся и поспешно скрылся в аптеке. Лилли промолчала.

Она верила и не верила Поли. В последние годы до нас доходили слухи о том, будто Стьюбеков видели в близлежащих или отдаленных городках, но еще никто не приносил таких вестей из соседнего Нуаха.

Словом, Лилли не удивилась, когда однажды часов в восемь вечера зазвенел колокольчик, и, распахнув створки больших ворот, она увидела свою мать вместе с Джекки. Было уже темно, и Лилли не могла как следует рассмотреть поздних гостей, но она сразу поняла, кто к ней пожаловал.

— Нам нужна Лилли,— проговорил Джекки, не отводя взгляда от силуэта девушки, открывшей ворота.

— Это я,— послышалось в ответ.

Лилли писала в черной тетради, что никогда не обижалась на родителей, которые не только оставили ее у мисс Дэлглиш, но еще и потребовали за это деньги. Лилли воспринимала своих родителей такими, какими они были, и не считала, что они обошлись с ней жестоко или дурно. Их поступок вполне соответствовал укладу семьи Стьюбеков, и Лилли просто смирилась с тем, что они оставили ее у мисс Дэлглиш на несколько лет, ни разу не поинтересовавшись, как она живет, и, возможно, даже ни разу о ней не вспомнив. Теперь же, когда мать с младшим братом вернулись в Сент-Элен, Лилли встретила их довольно равнодушно.

— Впусти нас,— потребовал Джекки.

— Что ж, входите,— пригласила Лилли и широко распахнула ворота.

Стьюбеки прошли в сад, и Лилли со стуком захлопнула тяжелые створки. Она колебалась: провести их в залу через парадный вход или же через заднюю дверь на кухню. Лилли направилась ко входу со двора; открыв металлическую дверь, она пропустила гостей в ярко освещенную кухню и, окинув их взглядом, ужаснулась.

Лилли помнила мать полной высокой женщиной в необъятных одеждах; у миссис Стьюбек было крупное загорелое лицо, сильные руки, железная хватка, властные манеры и громкий голос, вполне подходивший ее осанистой фигуре. А гостья, вошедшая на кухню мисс Дэлглиш, выглядела так, будто тело ее совсем затерялось в изорванной одежде, некогда приходившейся ей впору. Лицо ее, еще несколько лет назад округлое, пышущее здоровьем, теперь поблекло, кожа на щеках обвисла; она по-прежнему хищно обшаривала взглядом стены и углы кухни, но в глазах ее поселилась какая-то пугающая пустота. Миссис Стьюбек с трудом переставляла ноги.

— Я больна, Лилли, мне надо присесть.

Мать во всем теперь подчинялась Джекки. Ему уже исполнилось десять лет; это был малорослый, щуплый, но жилистый на вид мальчуган, загорелый до черноты, с уродливыми трехпалыми руками, походившими на рачьи клешни. Джекки казался очень подвижным, хотя его неестественно большие глаза говорили о том, что живет он впроголодь.

— Привет, Лилли,— поздоровался брат.

— Привет, Джекки,— ответила Лилли, заметив, что ее тоже рассматривают; она догадывалась, как удивляется мать,— ведь перед миссис Стьюбек стояла взрослая семнадцатилетняя дочь, почти молодая женщина, вежливая, опрятно и хорошо одетая, в ней трудно было узнать дерзкую, озорную девчонку, закрывшую пять лет назад за своими родителями тяжелые дубовые ворота.

— Где хозяйка? — спросила миссис Стьюбек, словно не заметив, как изменилась Лилли.

— Сейчас придет.

— Ты не дашь нам чая и чего-нибудь поесть? — умоляюще проговорила мать.— Мы целый день ничего не ели.

Лилли приготовилась было дать отпор возможным притязаниям матери, но быстро поняла, что перед ней сидит лишь жалкое подо-

бие некогда грозной миссис Стьюбек, поэтому разговаривать нужно с Джекки.

— Зачем вы пришли, Джекки? — обратилась она к брату.

— За тобой.

Лилли все еще рассматривала гостей, но как бы издалека. Она погрузилась в свои мысли.

— Где же хозяйка? — снова встрепенулась мать.— Я хочу поговорить с хозяйкой...

Миссис Стьюбек и босоногий Джекки расположились на кухне так, будто собрались остаться здесь навсегда. Они сидели за столом, не отрывая взгляда от Лилли, которая включила электрический чайник и вышла в залу позвать мисс Дэлглиш.

— Пришла моя мать. Она на кухне.

Мисс Дэлглиш спустилась в кухню и увидела Стьюбеков.

— С чем пожаловали, миссис Стьюбек? — спросила пожилая леди.

Миссис Стьюбек посмотрела на Джекки, словно поручая сыну вести все переговоры, особенно с мисс Дэлглиш.

— Нам нужна Лилли,— тихо, но решительно ответил Джекки.

Мисс Дэлглиш даже не взглянула на него.

— Ну так как? — обратилась она к миссис Стьюбек.

— Мы хотели повидать Лилли. И поесть. Мы ничего не ели целый день.

— Лилли вас накормит,— сказала мисс Дэлглиш,— но если вас послал мистер Стьюбек, то передайте ему, что Лилли не вернется к вам, это мое последнее слово.

И вдруг Лилли, резавшая хлеб и мясо, увидела нечто странное. Ее мать заплакала. Она часто моргала, из глаз лились крупные слезы, руками она беспомощно теребила волосы.

— Мы остались без Мэтти,— всхлипнула миссис Стьюбек.— Потому и пришли за тобой, Лилли.

— А где же ваш муж?

— В Квинсленде,— ответила миссис Стьюбек.

— Лилли незачем отправляться с вами в Квинсленд,— отрезала мисс Дэлглиш и покинула кухню.

Миссис Стьюбек повернулась к дочери:

— Ты ведь не знаешь, какая у нас беда...

И Лилли услышала сбивчивый рассказ о том, что позднее стало известно жителям Сент-Элен, я же излагаю злоключения Стьюбеков по дневниковым записям Лилли и по истории, которую поведал мне маленький Джекки.

Для семьи настали черные дни, когда Мэтти посадили в тюрьму за грабеж. Покинув Сент-Элен, Стьюбеки почти пять лет кочевали из города в город и так добрели до Таунсвилла, расположенного на севере штата Квинсленд. Там Мэтти вместе со старшим сыном Бобом попытались очистить гостиницу; без оружия они проникли внутрь здания со двора через окно небольшого служебного помещения, где хранилась дневная выручка — несколько фунтов; коробка с деньгами всегда стояла на конторке.

Кража была мелкой, но Стьюбеков застал на месте преступления сторож, который спал в соседней комнате. Когда он попытался задержать похитителей, кинувшись на них с ручкой от кирки, Боб отнял ее у старика и сбил его с ног. При падении сторож ударился головой о конторку и почти сразу умер. На шум прибежали владельцы гостиницы, они схватили Мэтти, но Бобу удалось бежать.

Боб скрылся, а Мэтти судили за соучастие в тяжком преступлении и приговорили к пожизненному тюремному заключению — наказание по тем временам довольно мягкое, ибо за убийство в Австралии обычно отправляли на виселицу.

Полтора года бродили Стьюбеки по Квинсленду и Новому Южному Уэльсу без Мэтти и Боба, постепенно семья распалась: сначала

ушел Джорди, потом одна из дочерей обвенчалась со старателем, который добывал опалы; другой сын (уже взрослый) тоже покинул мать, Элис стала подругой неудачливого боксера. Она исчезла вместе с ним после кулачного поединка на ярмарке, а забеременевшая Грейс укрылась в маленьком провинциальном городке, чтобы избавиться от плода.

В конце концов с матерью остался только Джекки; попрошайничая или пробавляясь мелкими кражами, они скитались по Новому Южному Уэльсу, перебивались кое-как, пока не заболела миссис Стьюбек. Беспомощная мать и сын брели, толкая перед собой тележку; тяжелобольная женщина и десятилетний мальчик с уродливыми руками видели спасение только в Лилли — самой умной и жизнеспособной в их многочисленной семье.

11

Стьюбеки снова поселились на Мысе, об этом быстро узнал весь город. Ноги как бы сами привели миссис Стьюбек на прежнее место; к счастью, старый дом оказался незанятым. Он даже находился в лучшем состоянии, чем раньше, потому что последний его обитатель — Том Джонсон, безработный, бродячий плотник,— вместе с двумя детьми подправил фасад, используя отслужившие свое рамы, двери и доски от других обветшалых домов. Он замесил речную глину и сделал на кухне гладкий прочный пол. Том был масоном; когда местные «вольные каменщики» подыскали ему жилье получше и работу, он покинул Мыс.

Итак, миссис Стьюбек и Джекки вернулись назад; по улицам Сент-Элен, по задним дворам магазинов, кондитерских и мясных лавок, маслозаводика и сыроварни принялся шнырять десятилетний побирушка — юркий трехпалый Джекки с тележкой на велосипедных колесах. Горожане, которые узнали о судьбе Мэтти и болезни миссис Стьюбек, жалели несчастную женщину. Мы понимали, каково ей было жить в старом доме на Мысу; неаккуратные, бестолковые мать и сын могли опять превратить его в грязную развалюху.

Еще больше любопытства и пересудов вызывала в городе Лилли. Как отнесется она к матери и брату?

Лилли вполне представляла себе, что ее ожидает, когда отправилась в дом на Мысу; она увидела там знакомую с детства грязь и голые стены, ни мебели, ни какого-либо имущества не появилось, если не считать одеял, кастрюль и сковородок, привезенных братом на тележке. В комнате на полу валялся грязный матрац — на нем подолгу отлеживалась мать, на кухне стояли ящики из-под фруктов, служившие столами и стульями. В хижине имелась лишь одна лампа «молния», дров не хватало, как не хватало и еды, которую мать и сын выпрашивали (или ее приносила Лилли). Добытчиком в доме был Джекки, а миссис Стьюбек могла только сварить картошку, поджарить лук да поддержать огонь в печи, неизменно жалуясь, что Джекки приносит слишком мало дров.

Несколько дней Лилли раздумывала над тем, как ей поступить, и однажды вечером перебралась на Мыс, захватив кое-какую одежду в старом кожаном чемодане мисс Дэлглиш. На следующее утро Лилли пошла на главную улицу искать работу. На ее счастье, городской фотограф Джек Бейли рассчитал свою помощницу, и Лилли заняла ее место. Перемены, происшедшие в жизни Лилли, были такими же неожиданными и резкими, как и те, что некогда свели ее с мисс Дэлглиш; мы удивлялись, что мисс Дэлглиш не удержала свою воспитанницу, но еще удивительнее казалось нам решение Лилли. В нашей семье, как и почти во всех других домах, много говорилось об этом.

— Не понимаю, зачем Лилли переехала на Мыс? — недоумевала мама.— Разве мисс Дэлглиш не в силах что-нибудь предпринять?

— А что именно? — спрашивал отец.— Мисс Дэлглиш остается только одно — взять на себя уход за миссис Стьюбек и Джекки, но тогда ей пришлось бы нести этот крест до самой смерти; не думаю, чтобы мисс Дэлглиш сумела справиться с такой обузой, как трое Стьюбеков.

— И все же Лилли поступила слишком опрометчиво. Просто голова кругом идет.

— А что ей было делать? — вопрошал мой отец.— Кто-то же должен присматривать за матерью и братом, кормить их.

— По-моему, мисс Дэлглиш могла бы найти какой-то выход, чтобы Лилли закончила школу.

— Чем тут поможешь? Разве что нанять кого-нибудь для ухода за миссис Стьюбек, но на это в городе никто не согласится.

— Ты говорил с девочкой, Кит? — обратилась ко мне мама.

— С Лилли?

— Ну да, с Лилли.

— Нет, не говорил. Мы не виделись с тех пор, как она ушла из школы.

— Все это неправильно,— стояла на своем мама.

Мы тоже так считали, но ничем не могли облегчить участь девушки. Однажды мисс Хейзл, старшая преподавательница, навестила Лилли на Мысу. Учительницу потрясла развалюха, в которой ютились Стьюбеки, но Лилли заявила, что ее дела никого не касаются. Мисс Хейзл была не в силах ни помочь Лилли, ни предложить какой-то выход, поэтому, вернувшись с Мыса, она обратилась к мисс Дэлглиш. Но та сказала лишь, что решение Лилли было добровольным, а кроме того, сама она (то есть мисс Дэлглиш) вряд ли сможет что-нибудь изменить. Мисс Хейзл сообщила потом Дороти Мэлоун, что пожилая леди, несомненно, очень переживает уход воспитанницы и даже не хочет об этом говорить.

— Они обе слишком упрямые,— поделилась со мной Дороти,— ничего тут не поделаешь. Они поэтому и расстались друг с другом. Из-за упрямства.

И снова город сгорал от любопытства, наблюдая за Лилли. Теперь ее видели в новой роли — помощницы городского фотографа, впрочем, для недоброжелателей она опять превратилась в прежнюю Стьюбек — «цыганку» и побирушку. Каждое утро Лилли проходила по главной улице к ателье Джека Бейли и продавала пленку, принимала ее для проявления и печати, оформляла заказы на фотографии свадеб, крестин и прочих торжеств, а после обеда шла вместе с хозяином (он один в Сент-Элен носил бороду) в темную комнату, где училась проявлять и печатать снимки. Лилли получала двадцать пять шиллингов в неделю, которых троим Стьюбекам едва хватало, чтобы не умереть с голоду.

Лилли оставалась чистой и опрятной, хотя было совершенно непонятно, как ей это удавалось при жизни на Мысу; у нас даже гадали: надолго ли ее хватит? Миссис Стьюбек на улицах города больше не появлялась, будто раньше ее удерживали на ногах заботы, а теперь, когда Лилли взяла их на себя, силы у матери совсем иссякли. Джекки по-прежнему всюду сновал с тележкой; Лилли закрывала на это глаза, потому что Стьюбеки не могли прожить без его добычи: старой картошки, яиц, мясных обрезков, дров, прокисшей пахты, за которыми некогда охотилась и сама Лилли.

Однажды вечером на Мыс пришел сержант Коллинс, он спросил у Лилли, почему Джекки не учится, ведь ему исполнилось десять лет. На другой день, вручив брату карандаш и тетрадь, Лилли отвела его к Гудиле, которая еще преподавала в начальной школе. Лилли строго наказала ему оставаться в классе и не убегать с занятий. Но Джекки был вольной пташкой, после первого же урока он выпорхнул на свежий воздух и принялся слоняться по закоулкам. На сле-

дующее утро Лилли снова пришла с ним в школу, однако мальчик опять сбежал с уроков, и она махнула рукой на брата, а тот спокойно продолжал бродить по улицам со своей тележкой до тех пор, пока его не вызвали в городской суд.

После возвращения на Мыс Лилли вела безнадежную борьбу с нуждой, потому что на свой заработок могла купить только немного еды и керосина для лампы; близились холода, а в доме не было даже кроватей — лишь матрац и два одеяла на полу, мать и брат встречали зиму без теплой одежды. Веника, чтобы подмести пол, и того не было. Брату не хватало силенок натаскать достаточно дров, чтобы поддерживать в печке огонь. В довершение ко всему Лилли приходилось ухаживать за матерью, которая редко чувствовала себя сносно,— тогда она готовила обед и приносила воду с реки, но чаще миссис Стьюбек беспомощно сидела у очага или лежала на матраце.

При нынешнем социальном обеспечении, здравоохранении и благотворительности трудно представить себе то время, когда в Австралии всего этого не было и в помине; в нашем городке имелось лишь несколько женских обществ при церквах, которые раздавали беднякам старую одежду и жестянки с постным томатным супом. Хотя миссис Стьюбек болела уже давно, она, как, впрочем, и другие Стьюбеки, никогда не обращалась к врачу. Откуда взять деньги, чтобы заплатить за визит, да и какая от него польза? Но Лилли отвела мать в городскую больницу, где несколько раз в неделю принимали пациентов два местных доктора. Лилли, работавшая с одним выходным, отпросилась на полдня, потеряв в зарплате; доктор Келли осмотрел миссис Стьюбек и нашел, что у нее плохо с печенью и увеличена селезенка; он выписал лекарство и посоветовал больной не вставать с постели.

Многих из нас восхищало мужество Лилли, заботившейся о Джекки и матери, но, когда наши дамы выражали ей свое сочувствие или начинали ее расспрашивать, она отвечала им резко и односложно. Кстати, мы заметили, что Лилли начала вновь дерзить окружающим — это была первая перемена в ней, бросавшаяся в глаза. Помощь благотворительниц Лилли принимала без особой признательности. Мы наблюдали возрождение прежней Лилли, хотя за годы жизни с мисс Дэлглиш она стала достаточно вежливой и гораздо более терпимой к людям.

Непостижимой оставалась для нас мисс Дэлглиш. Мы не догадывались, что произошло между ней и Лилли, хотя и были уверены — ни одна из них не поступится своими принципами. Они прожили вместе шесть лет, и в городе считали их чуть ли не родными, однако лишь после ухода Лилли мы по-настоящему поняли, как они были близки и необходимы друг другу. Все в Сент-Элен говорили о том, что Лилли многим обязана мисс Дэлглиш и должна быть ей благодарна. Однако надо было хорошо знать обеих, чтобы уяснить себе, почему Лилли решилась переехать на Мыс и почему мисс Дэлглиш отнеслась к этому с кажущимся спокойствием. На самом деле, мы стали свидетелями очередного эпизода их упорной борьбы.

Нам было грустно смотреть, как субботним утром мисс Дэлглиш шествует в одиночестве по улице. Ее размолвка с Лилли казалась нам «трагедией». И тем не менее мы полагали, что все для них закончится благополучно, подобно тому, как завершались семейные ссоры в нашем городке,— либо Лилли вернется к мисс Дэлглиш, либо та найдет способ помочь Стьюбекам.

12

Однажды воскресным утром мы увидели, как мисс Дэлглиш спускается на Мыс с Тилли на поводке. До сих пор она ни разу не бы-

вала в доме Стьюбеков; пожилая леди застала Лилли во дворе, девушка стирала в эмалированном тазу, поставленном на ящик.

— Я привела Тилли,— проговорила мисс Дэлглиш; песик взволнованно прыгал у ног Лилли и радостно лаял.— Тебе надо было сразу взять его с собой.

Лилли наклонилась и ласково погладила Тилли по носу.

— Ему нельзя здесь оставаться. Мне некогда за ним смотреть.

— Тебе придется его взять,— настаивала мисс Дэлглиш.— Я собираюсь уехать из города, а миссис Питерс с ним не справится.

— Вы надолго уезжаете? — спросила Лилли.

— Я пробуду в Европе не меньше года,— сообщила пожилая леди,— и было бы жестоко держать Тилли все это время под замком. Позаботься о нем.

— Ладно,— согласилась Лилли.

— Почему ты в школьной форме? — поинтересовалась мисс Дэлглиш.

— Чтобы не трепать платья.

— Мне хочется зайти в дом,— сказала мисс Дэлглиш, хотя уже по виду Лилли, лачуги и двора она с беспощадной ясностью поняла, как живут Стьюбеки.

Лилли догадывалась, что увиденное коробит мисс Дэлглиш, и твердо сказала:

— Я не хочу, чтобы вы входили в дом.

— Почему?

— Потому что бедность омерзительна.

— Я предпочитаю увидеть все своими глазами,— ответила мисс Дэлглиш и переступила порог.

К этому времени Джекки успел раздобыть сломанное кресло, две табуретки и стол, сбитый из сосновых досок, но в спальне на полу валялся только матрац, никакой мебели не было. Лилли попыталась навести в доме порядок (разложила продукты по ящикам, развесила на гвоздях одежду), но все равно грязный пол на кухне и запачканные стены обеих комнат неприятно поразили мисс Дэлглиш. Миссис Стьюбек сидела возле печи в провалившемся старом кресле; увидев гостью, она с трудом поднялась.

— Присаживайтесь, мэм,— указала больная женщина на одну из табуреток.

— Нет, нет, спасибо. Я сейчас уйду.

Мисс Дэлглиш шагнула вперед, обвела взглядом жилище и вернулась к двери.

— Вам немного лучше? — спросила она миссис Стьюбек.

— Я не могу ходить,— пожаловалась больная.— Пришлось все свалить на Лилли.

Внезапно миссис Стьюбек встревожилась:

— Вы не собираетесь забрать Лилли?

— Конечно нет. Я только привела собаку.

— Не надо забирать дочку, мэм,— умоляюще проговорила миссис Стьюбек.— Вы ведь не обидите нас, правда?

— Я пришла сюда не за вашей дочерью.

— Я умру без Лилли,— жалобно сказала миссис Стьюбек и заплакала.

— Никто не собирается отнимать у вас дочь,— с раздражением повторила пожилая леди и вернулась во двор к Лилли, которая так и не захотела пойти с ней в дом.

— Это ужасно,— сказала она Лилли, продолжавшей стирать.

— Я же просила вас не заходить к нам,— ответила девушка.

— Ты губишь себя,— не выдержала пожилая леди.— Растрачиваешь свою жизнь.

— Вы правы,— согласилась Лилли.

— Ни мать, ни Джекки не стоят твоей жертвы.

— Ну и пусть,— спокойно проговорила Лилли, наблюдая за песиком, который вырвался на свободу и носился по берегу реки, обнюхивая мусор. Неожиданно возле дома показался Джекки с тележкой: в ней лежали поленья и сучья, украденные или подобранные где только можно.

— Добрый день, мисс Дэлглиш,— поздоровался Джекки с пожилой леди — запросто, будто со своей старой знакомой. На нем были рваные короткие штаны, которые держались на подтяжках, прикрепленных к поясу загнутыми гвоздями. Он разгуливал босиком, ноги мальчика не знали, что такое носки и ботинки; Джекки напоминал забавного щенка, застывшего на задних лапках перед большой собакой.

— Ступай прочь,— сердито бросила мисс Дэлглиш.

Только прочитав в дневнике Лилли об этом визите, я понял, как мисс Дэлглиш относилась к Джекки и его матери. Они просто не существовали для нее или не имели права существовать, мисс Дэлглиш не желала впускать их в свою жизнь и считала, что она и Лилли могут со спокойной совестью предоставить больную женщину и ее калеку-сына самим себе. С таким же равнодушием мисс Дэлглиш взирала на всех жителей Сент-Элен.

Я хочу напомнить (об этом писала Лилли в дневнике), что мисс Дэлглиш, владевшая солидным состоянием, вела обычный для людей ее круга образ жизни, следуя простой и жестокой логике богачей, тогда как мотивы поступков Лилли были более сложными и запутанными. На первый взгляд девушка возвратилась на Мыс по вполне понятной причине: она не могла оставить больную мать на попечение десятилетнего Джекки, который сам нуждался в присмотре. Но дело было не только в этом, ибо уход Лилли был своеобразным протестом против всех попыток мисс Дэлглиш полностью подчинить ее себе.

Мисс Дэлглиш попрощалась с Лилли и размеренными шажками направилась по пыльной дороге обратно в город.

Лилли смотрела ей вслед, пока она не скрылась из виду. Потом девушка спустилась к излучине, где мы обычно купались летом, и села на берегу, рассматривая разбухшую зимнюю реку, серую и бурную. Лилли долго оставалась у самой воды, там ее и нашел песик. Она гладила Тилли, пока это ему не надоело и он не убежал прочь. Тогда Лилли вернулась домой, где ее ждала стирка — полный таз штанов, чулок, лифчиков, рубашек и сваленного в кучу рваного шерстяного белья; она старательно приобщала мать к гигиене.

Пожалуй, этот день стал для Лилли особенным, он завершал целый период в ее жизни, поскольку после отъезда мисс Дэлглиш началось неуклонное отступление Лилли в борьбе с нищетой. В недели и месяцы, предшествовавшие неожиданному возвращению мисс Дэлглиш из Европы, ее воспитанница все заметнее превращалась в прежнюю Лилли, которая жила в городе сама по себе, не с ним, но и не против него, всегда начеку и всегда одна. Перемены в облике Лилли бросались в глаза. Поизносилась одежда, да и как было оставаться опрятной в доме без электричества, воды, туалета, без платяного шкафа, где кухонька донельзя замызгана, а во дворе грязь. Денег на хорошее мыло не хватало, да и выстиранные вещи гладить было нечем, поэтому Лилли носила мятые платья. Обувь расползалась с пугающей быстротой, а юбки и свитера поневоле покрывались пятнами от грязи на кухне или во время работы в фотолаборатории.

Нет, Лилли не опустила руки. Она вела себя так, будто дела ее шли нормально, а сама она никогда не жила у мисс Дэлглиш в других условиях,— словом, никаких жалоб, никаких признаков раскаяния. В то же время Лилли отнюдь не была смиренной нищенкой. Напротив, она, как и в детстве, не стеснялась брать все, что ей могло пригодиться, не стеснялась и принимать подарки, впрочем, Лилли

принимала их без особой благодарности или признательности. Это, пожалуй, более всего огорчало тех, кто ждал от нее благородных страданий или служения высоким идеалам. Лилли брала все, что давали, и даже «спасибо» не говорила. Поэтому в городе многие смотрели на нее как на отщепенку, достойную не сочувствия, а презрения. Недаром она слыла «цыганкой».

А тут еще Джекки. Его вновь дважды водворял в школу сержант Коллинс, на третий раз миссис Стьюбек вызвали в городской суд. Вместо матери на заседание явилась Лилли, которая пообещала заставить брата учиться и не пропускать уроки. Однако несколько недель спустя на Мыс снова пришла повестка; теперь Лилли предупредили: если Джекки не будет ходить в школу, суд может принять постановление об опеке, а значит, мальчика отправят в Бендиго, где находился приют, уж там за ним присмотрят.

— Вы все поняли, Лилли? — спросил судья Бейдуэлл.

— Да, сэр,— ответила она.— Поняла.

— Его увезут из Сент-Элен.

— Я знаю.

— А тебе понятно, Джекки? — обратился он к мальчику.

Тот молча кивнул.

— Простишься с домом, если не будешь ходить в школу. Надо ее посещать, вот и все. Ясно?

— Да, сэр,— выдохнул Джекки.

Не знаю, как удалось девушке убедить брата. Но я уверен — она не била его, не щипала подобно Мэтти и не вцеплялась в него железной хваткой, как миссис Стьюбек. Я никогда не слышал, чтобы брат с сестрой спорили — они, казалось, всегда прекрасно ладили друг с другом. На сей раз Лилли сумела уговорить Джекки, и он прекратил прогуливать занятия, хотя вряд ли чему-нибудь научился в школе.

Это тоже разочаровало тех горожан, которые надеялись, что годы, проведенные с мисс Дэлглиш, не прошли для Лилли бесследно. Они ждали, что Лилли превратит брата из побирушки в эдакого пай-мальчика, который, несмотря на бедность, вырастет благонравным и учтивым. Но Лилли ничего подобного делать не собиралась, и теперь ее винили за каждый проступок Джекки. Миссис Стьюбек в расчет не принималась, ибо о ней думали, что она уже не жилец на белом свете.

Помнится, я тоже был недоволен тем, что Лилли не пытается уберечь брата от незавидного удела, который, судя по всему, его ожидал. Я любил Джекки, потому что любил Лилли, точнее, я любил его за ту же, что и у нее, неукротимую волю к жизни.

В отличие от остальных Стьюбеков Джекки был заядлым рыболовом; в последние дни лета я показал ему места, где хорошо клевало, научил насаживать наживку и закидывать леску. Через несколько уроков Джекки настолько преуспел, что уже не отставал от меня; иногда он устраивался рядом и начинал рассказывать о своих приключениях, пережитых по пути из Квинсленда в Сент-Элен. Тогда я и услышал историю о том, что натворил Мэтти и как его судили.

Джекки вовсе не страдал из-за своих трехпалых рук. Они были тонкие, слабые, с узкими запястьями, однако его худые пальцы отличались необычайным проворством, и я не мог отвести от них взгляда, когда Джекки насаживал червяка, забрасывал леску или снимал с крючка пойманную рыбешку. Джекки редко сидел на месте, и беспокойный Тилли привязался к нему, охладев к своей прежней хозяйке, потому что окунулся в желанную стихию и стал верным другом уличного побирушки, делавшего все, что ему заблагорассудится. Шерсть у Тилли висела теперь грязными лохмами, нрав у него стал еще независимее. Лаял Тилли, если хотел лаять, и когда Джекки уходил на занятия, а Лилли была на работе, песик носился по всему го-

роду, но к четырем часам усаживался возле школьных ворот, поджидая Джекки. В общем, Тилли превратился в еще одного Стьюбека и так привык жить по-стьюбековски, что мы воспринимали его как полноправного члена этого поредевшего семейства.

Я даже не представлял себе, насколько ухудшилось положение обитателей Мыса, насколько трудно им было прокормиться на двадцать пять шиллингов в неделю, пока не узнал об этом однажды ночью, когда меня разбудила Лилли и попросила ей помочь.

Я всегда спал на веранде, даже зимой; около двенадцати я проснулся от тычка в бок.

— Проснись, Кит,— услышал я голос Лилли,— ну, проснись же, умоляю тебя. (Она все еще пользовалась выражениями из словаря мисс Дэлглиш.)

— Ты что? — возмутился я, вскочив от неожиданности.

— Я бужу тебя, а ты как бревно,— ответила Лилли.

— Тсс...— прошептал я.— Что случилось?

— Джекки попал в капкан, и я не могу его освободить.

— Где попал?

— У Кэрроллов.

Кэрроллы жили за ипподромом, дальше уже тянулась пустошь. До этого места было минут пять ходьбы; когда Лилли упомянула о Кэрроллах, я догадался, что Джекки попытался украсть цыплят.

— Что с Джекки?

— Я же тебе сказала,— нетерпеливо ответила Лилли.— Он попал в капкан для лис, и я не могу его освободить. Надо помочь, пошли скорее.

Моя одежда осталась в комнате. Я потихоньку открыл застекленную дверь, взял брюки, натянул их на пижаму, сунул босые ноги в ботинки и присоединился к Лилли, поджидавшей меня возле кровати.

— Скорее,— торопила она.— Ему больно.

— Ладно,— сказал я,— только, ради бога, не поднимай шума.

Мы прокрались на цыпочках по веранде, а на дорожке Лилли дернула меня за рукав и побежала; я испытывал безотчетную тревогу и страх, когда несся, задыхаясь, по вымершим улицам полночного города. Лилли протащила меня через живую ограду ипподрома, и мы, тяжело дыша, поползли вдоль сетки, которой был обнесен участок Кэрроллов.

— Джекки! — позвала Лилли.— Мы здесь.

В сетке была дыра, вернее лазейка, специально проделанная у самой земли, чтобы лиса могла ее отыскать. Эту лазейку и нашел Джекки. Он лежал на боку, я склонился над ним и заметил, что его левая рука попала в стальной капкан, прикрепленный цепью к заборному столбу.

— Как это тебя угораздило? — спросил я Джекки, пробуя разомкнуть створки капкана.

— Хотел пролезть к Кэрроллам, сунул руку, а там — ловушка.

Мальчик плакал, ему было очень больно.

— Я уже пробовала открыть,— проговорила Лилли, наблюдая, как я вожусь с капканом,— но ничего не вышло.

Лилли держалась спокойно, даже слишком спокойно, и, хотя я не ожидал от нее ничего другого, мне было ясно, что крепилась она ради брата.

Я видел подобные ловушки, но никогда ими не пользовался. Это был хитроумный лисий капкан. В отличие от кроличьего он захватывал только лапку зверька, чтобы не повредить ценной шкурки; правда, захлопывался лисий капкан с большой силой. Два зажима, образовывавшие цилиндр, и обхватывали лапку лисы. Рука Джекки очень плотно сидела в цилиндре, потому что была толще лисьей лапы. Я

попытался раздвинуть створки капкана, но пружина оказалась слишком тугой.

— Так не получится,— сказала Лилли.

Я попробовал оторвать цепь — так удобнее было бы возиться с капканом, но ее накрепко приколотили к столбу. Одна из собак Кэрроллов залаяла.

— Тише,— прошептала Лилли.

Я знал, что нужно найти запор, который держал зажимы, но в темноте ничего не было видно. Я наклонился пониже и принялся ощупывать ловушку, пока пальцы не наткнулись на стальную пластинку. Я поднял запор и попытался раздвинуть створки, но пружина не поддавалась.

— Скорее,— торопила Лилли.— Собаки всполошились, и Джекки совсем плохо.

— Мне не плохо,— возразил Джекки, но я понял, что долго ему не выдержать. Джекки был слабее, чем казался на первый взгляд.

— Я надавлю на пружину, а ты разводи створки,— попросил я Лилли.

Я наступил ногой на цилиндр и нажал на стальной язычок; пружина наконец поддалась.

— Открывай, только не прищеми пальцы,— приказал я Лилли.

— Не отпусти пружину,— предупредила она.

Я снова надавил.

— Тащи руку! — прикрикнула на Джекки сестра.

Джекки выдернул руку. Я убрал ногу, и капкан захлопнулся, зло щелкнув стальными челюстями.

— Покажи руку,— попросил я.

Даже в темноте я увидел, что она сильно порезана, помята и залита кровью. Джекки стонал, поддерживая ее здоровой рукой.

— Ему нужно в больницу,— сказал я Лилли.

— Не надо,— запротестовал Джекки.— Я потерплю.

— Слушай, Кит,— зашептала Лилли, потому что вновь забрехали собаки,— ты можешь поставить капкан как прежде?

— Наверное, смогу.

— Тогда поставь. Не хочу, чтобы Кэрроллы увидели его открытым.

— Почему?

— Они поймут, что здесь был Джекки.

— Только помоги мне,— сказал я Лилли.

Я с трудом взвел капкан, пружина дважды срывалась, и Лилли чуть не осталась без пальцев. Потом я сунул капкан под ограду и присыпал песком, уничтожив наши следы. Собаки лаяли взахлеб и могли разбудить Кэрроллов, жаждавших поймать злополучную лису; мы припустили вдоль забора и продрались сквозь кустарник к безлюдной дороге.

Джекки совсем ослабел.

— Нужно что-то сделать с его рукой,— сказал я Лилли.

— Хорошо. Только давай доберемся до дома.

Полубегом миновав улицы, мы наконец спустились по грунтовой дороге к реке; Джекки повис у нас на руках, я поддерживал его с одной стороны, Лилли — с другой, когда она открыла дверь на кухню, оттуда выскочил Тилли — он с лаем кинулся к Джекки, но Лилли, шлепнув песика, прикрикнула на него. Она зажгла керосиновую лампу и усадила брата на табуретку.

— Положи руку на стол,— сказала она.

При свете керосиновой лампы мы осмотрели руку, и, хотя она была покрыта грязью, я разглядел, что раны не слишком глубокие.

— Можешь пошевелить пальцами или кистью? — спросил я.

Стиснув зубы, Джекки согнул руку и пальцы — значит, кости были целы. Я ждал, что Лилли вскипятит воду, чтобы промыть раны,

однако Стьюбеки лечили по-своему. Девушка взяла луковицу, разрезала ее на две части и половинкой, как тампоном, тщательно очистила порезы, не обращая внимания на отнюдь не луковые слезы, бежавшие по чумазым щекам брата.

— Сейчас поищу, чем перебинтовать,— проговорила Лилли.

Она вышла в комнату (оттуда доносился храп миссис Стьюбек) и возвратилась с бумажным пакетом, набитым выстиранными лоскутами (только повзрослев, я догадался об их истинном назначении). Лилли аккуратно нарезала кружочками другую половину лука и разложила их на лоскутке, которым обернула руку Джекки, стянув тугим узлом концы повязки.

Лилли не говорила жалостливых слов, не утешала брата, и он переносил боль терпеливо, без хныканья.

— Иди спать,— сказала ему Лилли.

Джекки ушел, и я вдруг увидел в ее глазах слезы. Я знал, что она плачет от лука, но Лилли смутилась и, отвернувшись от меня, утерлась ладонью.

— Зачем он туда сунулся?

— Это тебя не касается, Кит,— отрезала Лилли, давая понять, что мне лучше не вмешиваться в их дела.

— Ладно. Ладно. Вы, наверное, совсем чокнулись.

— Они не имеют права ставить капканы в городе,— проговорила Лилли.

— Но Кэрроллы ставили его на лису.

— Ты думаешь? — с горечью спросила Лилли.

Нетрудно было догадаться, что произошло. Джекки, несомненно, не раз наведывался в курятник мистера Кэрролла, и, полагая, что цыплят таскала лиса, хозяин поставил капкан, чтобы ее поймать. Меня только удивило сначала, что Лилли помогала брату в этом деле, но я понял, как они нуждались, если уж Лилли отваживалась на ночные набеги во владения Кэрроллов.

— Ты никому не расскажешь, а? — спросила Лилли.

— Сама знаешь, что нет.

— Если кто-нибудь узнает, куда лазил Джекки, его увезут в приют. Все только и ждут этого.

Лилли была права.

— Ну кому я скажу? — успокоил я ее.

— У тебя кровь на пиджаке,— показала она,— и мать спросит, откуда пятно.

— Черт побери! — воскликнул я, придумывая, что бы сказать маме.

— Соври, что у тебя шла из носа кровь,— посоветовала Лилли.

Я искренне рассмеялся.

— Мне бы никогда в голову не пришло,— сознался я и внезапно услышал тихий плач из соседней комнаты.— Отведи Джекки в больницу,— снова сказал я.

— Только утром,— ответила она.— Если прийти сейчас, пристанут с расспросами.

— А как ты им объяснишь?

— Скажу, что он ставил капкан на кроликов.

— У тебя есть аспирин или какое-нибудь другое лекарство?

— Нет. Сейчас ему очень больно — лук печет, но потом станет легче. Спокойной ночи, Кит,— попрощалась со мной Лилли.

— Спокойной ночи, Лилли.

Она не поблагодарила меня, да я этого и не ждал; по дороге домой я думал о Лилли с каким-то новым восхищением, ведь раньше мне, как и многим другим, ее самопожертвование представлялось чем-то само собой разумеющимся. Удивительно, но тогда мы были чересчур уверены в ней, ничуть не сомневаясь в том, что она выполнит свой долг до конца. Однако эта вроде бы лестная для Лилли уве-

ренность оказывала ей плохую услугу, ибо мешала нам разглядеть, насколько тяжело было девушке управляться с больной матерью и братом.

Если бы Лилли просила о помощи или была бы признательнее за нее людям, то и город, возможно, проявил бы к ней больше внимания и участия, но она была слишком независима, слишком неприступна и поэтому не могла вызвать к себе сочувствия. Да она и не хотела его. Об этом я размышлял, ложась спать и спрашивая себя, надолго ли еще ей хватит сил.

13

Приблизительно в это время в нашем городе поселился человек, которому предстояло сыграть особую роль в жизни Лилли; они познакомились случайно на углу улицы близ фотоателье.

Незнакомца звали Авраамом Девлином. Уже его имя и фамилия говорили сами за себя. В фамилии «Девлин» было что-то ирландское и новозаветное, зато в ветхозаветном патриархальном Аврааме слышались отзвуки гневного библейского грома. Мне всегда чудилось, что Девлина мучили какие-то сомнения, а поэтому он был человеком мягким, порой беспомощным и наивным, хотя и обладал твердыми убеждениями.

Девлин приехал в Сент-Элен по приглашению местной газеты «Сентинл», которой требовался репортер; он мне показался не настоящим газетчиком, впрочем, теперь-то я знаю, какие они бывают разные, ибо позднее сам занял его место. Выглядел он довольно нелепо. Пиджак был ему не по росту, да и брюки коротковаты; Девлин поражал нас своей рассеянностью: иногда он приветливо раскланивался с вами и, видимо, помнил о вас решительно все, а в иные дни вовсе не замечал вас или даже не узнавал, хотя неизменно оставался вежлив и никому не причинял вреда.

Местные зубоскалы быстро поняли, что могут безнаказанно оттачивать на нем свое остроумие; они донимали Девлина своими шуточками над его длинными волосами, пыльными ботинками (на размер больше, чем надо), над его по-детски чистыми голубыми глазами, устремленными куда-то вдаль. Но это было лишь началом. Девлин приобрел подержанный велосипед, весьма нелепый на вид, под стать своему хозяину; я так и запомнил его с насосом в руках — Девлину то и дело приходилось накачивать шины, которые спускали и озорные мальчишки, и взрослые шутники.

— Кит, почему они не оставят в покое мой велосипед? — спросил меня однажды Девлин; он задержался на несколько минут в конторе моего отца и, выйдя на улицу, обнаружил, что шины опять сели.

— Кто их знает,— ответил я.

— Лет до десяти — это еще понятно, но потом уже глупо.

— Вас просто дразнят,— пояснил я.

— Нет, тут, видно, что-то другое,— не согласился Девлин и затем поступил так, как мог поступить только он. К углу веранды был прислонен велосипед Рона Харди — владельца магазина граммофонных пластинок. Девлин подошел к велосипеду и выпустил воздух сначала из задней, потом из передней шины, затем отступил на шаг, будто ожидая, что сейчас ему откроется некая тайна.

— Зачем вам это нужно? — удивился я.

— Хочу испытать, что при этом чувствуешь.

Услышав шипение, Рон Харди выбежал из своего магазина и увидел Девлина возле велосипеда с обмякшими шинами.

— Черт побери, Дев, зачем вы это сделали?

— Все в порядке, Рон,— успокоил репортер хозяина велосипеда.— Я их накачаю снова.

Девлин повернулся ко мне и потряс головой.

— Вот видишь,— проговорил он.— Никакого тебе удовольствия.

— Кому как,— возразил я.

Но этого Дев не в силах был постигнуть. Он никогда не понимал человеческой злобы. А газетчиком Дев был все же замечательным и умел в самом мелком, казалось бы, факте разглядеть значительное и важное событие. Помню его статью о самой большой отаре овец, которую однажды пригнали в город. Но написал Дев не обо всей отаре, а только об отбившемся ягненке, который, жалобно блея, метался по улицам в поисках матери; люди — чуть ли не половина города — травили его, пока не загнали во двор скотобойни к остальным овцам. Рассказ получился очень живой, грустный и написан был великолепно.

И все же главным, что определило репутацию Девлина в городе, оказалась «политика». Точнее, не «политика», а его «философия». Или даже «религия». Словом, то, во что Дев твердо верил. Во всяком случае, однажды субботним вечером он просто поразил нас, хотя странностям этого странного человека мы удивлялись постоянно.

По субботам в наш городок наезжали окрестные фермеры, и магазины на ярко освещенной главной улице были открыты до девяти часов. Почти все жители Сент-Элен и гости важно прогуливались по ней, останавливались потолковать с друзьями, заходили в ресторан; фермеры, отмахавшие свыше двадцати миль, с удовольствием опрокидывали стаканчик-другой в одном из уютных баров (правда, завсегдатаи-горожане тоже не упускали случая посидеть за бутылкой виски, точно и они проделали утомительный путь). Сент-Элен охватывало веселье, все стекались на веранды на главной улице. Единственным развлечением для нас в ту пору было кино, поэтому мы с удовольствием разглядывали гуляющую публику, витрины оживленных магазинов и слушали оркестр Армии спасения.

Я хочу заметить, что благополучие города целиком зависело от крупных и мелких фермеров: они разводили овец и сеяли пшеницу по обеим сторонам Муррея, в пойме реки держали стада коров, выращивали на юге цитрусовые, а на севере — виноград. Жители города в основном обслуживали сельское население и почти не были заняты в сфере производства. Словом, рабочий класс в Сент-Элен почти отсутствовал, если не считать десятка рабочих с маслозаводика, двадцати железнодорожников и еще двадцати человек, трудившихся на скотобойне, телефонном узле и электростанции, а также занятых на коммунальных службах при муниципалитете. Словом, для политической жизни и идеологических дискуссий у нас не хватало так называемой социальной базы.

Поэтому уличная толпа была просто ошеломлена, когда однажды в субботу Девлин поставил ящик на тротуар неподалеку от самой большой пивной напротив фотоателье, где работала Лилли, взобрался на него и начал произносить речь; такого еще в Сент-Элен не видели. Если бы Девлин просто заговорил посреди улицы, все решили бы, что парень хватил лишнего. Но так как он притащил ящик, да еще и поднялся на него, в нем сразу признали уличного оратора.

Трудно сказать, в чьих сердцах Дев надеялся найти отклик, невозможно было даже вообразить, чтобы кто-нибудь на главной улице заинтересовался его рассуждениями об «утопии». Я, как и все жители Сент-Элен, в конце концов услышал выступление Дева, но только позднее, когда отец объяснил мне подлинный смысл его речи, я понял, насколько серьезны были намерения этого человека, который искренне стремился увлечь нас историей утопических учений.

— Он считает себя новым Томасом Мором,— сказал отец.

Поскольку о Томасе Море мне было известно лишь то, что Генрих VIII отрубил ему голову, я начал расспрашивать отца, и тот рас-

толковал мне, что Мор придумал слово «утопия», которое в переводе с греческого означает «место, которого нет» [1].

— Томас Мор назвал «Утопией» фантастический остров в тропиках с идеальным самоуправляемым обществом, где все распределялось поровну и не было никакой собственности. Жаль только, что, придумав совершенное государство,— вздохнул отец.— Мор не рассказал, как его построить.

С искренней, страстной убежденностью говорил Дев о том, что стоит лишь захотеть — и наше общество станет обществом равных, что нам необходимо бороться за осуществление светлых идей, которые подарил миру сэр Томас Мор; и труд, и его плоды, утверждал великий мыслитель, должны распределяться одинаково между всеми, следует установить шестичасовой рабочий день, гарантировать право на образование, уничтожить эксплуатацию человека человеком, предоставить бесплатную медицинскую помощь, отменить преимущества в социальном обеспечении, унифицировать одежду, покончить с неравноправным положением женщины.

Первое же выступление Девлина — оно состоялось субботним вечером — было встречено громким хохотом. Через несколько минут толпа уже забавлялась вовсю; уличные остряки выхватывали отдельные слова из речи Дева и отпускали хлесткие шуточки насчет равноправия мужчин и женщин, в конце концов Девлина единодушно провозгласили будущим Правителем Сент-Элен.

— Да здравствует Дев! — буйствовали крикуны.

Их очень забавляло предложение Девлина одеваться одинаково, «навроде него самого»,— держались за животы насмешники.

Я пришел на главную улицу уже после того, как Дев закончил свою речь, и отправился было домой, но мне рассказали о выходке репортера, поэтому я заглянул в фотоателье расспросить Лилли, что же произошло на самом деле.

— Ничего особенного,— ответила она.— Просто Дев стоял на ящике и говорил, а над ним смеялись.

— Чего же он ожидал? — удивился я.

— По-моему, ему наплевать на то, что над ним смеются.

— Ты думаешь? А что он такого сказал?

— Не знаю,— равнодушно ответила Лилли,— что-то о Томасе Море.

Больше я ничего от нее не добился.

С тех пор Девлин выступал каждую субботу, и вскоре мы привыкли к его ящику и речам, понапрасну сотрясавшим воздух Никто уже не удивлялся чудачествам репортера, который стал еще одной достопримечательностью Сент-Элен, подобно оркестру Армии спасения; правда, Девлину непременно задавали несколько ехидных вопросиков да порой к нему приставали парни из соседней пивной — они спихивали оратора с ящика или передразнивали его, но он никому не мстил и не затевал ссор.

Неделю за неделей, вплоть до своего отъезда из Сент-Элен, Девлин знакомил нас с историей утопической мысли от «Города Солнца» Кампанеллы[2] до общины моравских братьев[3], левеллеров[4], диггеров[5], оксфордских проектов Колриджа и Саути[6], немецких пиетистов[7],

---

[1] Или «благословенное место».

[2] Кампанелла Томмазо (1568—1639) — итальянский философ, поэт, политический деятель; создатель коммунистической утопии Автор романа «Город Солнца» (1602), в котором выступил с программой всеобщего социального преобразования на основе общности имущества.

[3] Религиозная секта в Чехии, основанная в середине XV века; моравские братья отрицали государство, сословное и имущественное неравенство, проповедовали отказ от насильственной борьбы

[4] Радикальная мелкобуржуазная демократическая партия времен английской буржуазной революции XVII в.

гармонистов[1], перфекционистов[2], трясунов[3], эфратской общины[4] меннонитов[5], онайдской общины[6], Роберта Оуэна[7], Уильяма Морриса[8], анабаптистов[9] из Южной Дакоты, до современного брудерховского движения[10] Эвергарда Арнольда[11] и, наконец, до Нагорной проповеди.

Пожалуй, единственной постоянной слушательницей всех исторических и теоретических экскурсов Девлина оказалась Лилли; голос уличного оратора свободно проникал в фотоателье, а позднее, когда они стали друзьями, он и ей одной нередко рассказывал об утопии. Девлин был настоящим газетчиком и поэтому довольно быстро узнал о судьбе Лилли; по субботам после очередной вдохновенной речи он шел в фотоателье и разговаривал с девушкой. Точнее, не разговаривал, а пытался поговорить. Лилли вела себя с Девом так же сдержанно, как и с остальными, но по крайней мере никогда его не прогоняла. Вероятно, потому, что над ним постоянно издевались и подсмеивались, хотя его непротивление злу и нежелание постоять за себя скорее всего раздражали девушку.

Не знаю, о чем они разговаривали, скорее всего говорил один Девлин, а Лилли просто слушала его, как всегда, равнодушно, вежливо и слегка рассеянно. Дев вряд ли обходил молчанием свою прекрасную утопию, он был интересным собеседником и, обладая пытливым умом, разбирался в самых разнообразных областях знания. Лилли никогда не перебивала его, покоряя рассказчика своей загадочной невозмутимостью. Даже Джекки привязался к репортеру, раз или два мы видели, как Девлин подвозил его после школы домой на велосипеде.

Близкой дружбы между Девлином и Лилли в ту пору возникнуть еще не могло, потому что ей было не до этого. Она целиком ушла в заботы о матери, состояние которой ухудшилось, к тому же Стьюбекам приходилось совсем туго — они продолжали бедствовать, и в довершение ко всему над ними нависла угроза потерять крышу над головой.

Однажды вечером, когда мы сидели за ужином, раздался стук в заднюю дверь, и мама послала Джин посмотреть, кто там пришел.

---

[5] Представители крайне левого крыла революционной демократии в Английской буржуазной революции XVII в., выражавшие интересы деревенской и городской бедноты. Выделились из движения левеллеров.

[6] С. Т. Колридж (1772—1834), Р. Саути (1774—1843) — английские поэты, представители «озерной школы», увлекались мистикой. Познакомились и сблизились в Оксфорде.

[7] Мистическое течение в протестантизме конца XVII — начала XVIII в. Пиетизм отвергал внешнюю церковную обрядность, призывал к углублению веры, объявлял греховными развлечения.

---

[1] Религиозная секта, основанная в XVIII в. Георгом Раппом в Вюртемберге.

[2] Первые члены онайдской общины, основанной в 1847 г

[3] Религиозная секта, основанная в Англии в 1477 г. Ее члены давали обет безбрачия. Первоначально отправление обрядов сопровождалось ритуальными танцами.

[4] Община немецких баптистов, основанная в Эфрате (Пенсильвания) Джоном Конрадом Бэсселем в 1728 г.

[5] Последователи одного из течений в протестантизме, возникшего в XVI в. в Нидерландах на почве «мирного анабаптизма».

[6] Община перфекционистов, основанная Джоном Хамфри Нойесом в 1846 г. близ озера Онайда, Нью-Йорк.

[7] Роберт Оуэн (1771—1858) — английский социалист-утопист.

[8] У. Моррис (1834—1896) — английский художник, писатель. Социалистические взгляды выразил в социально-утопическом романе «Вести ниоткуда, или Эпоха счастья» (1891).

[9] Участники народно-радикального сектантского движения эпохи Реформации, осуждали богатство, призывали к введению общности имущества, образовали Мюнстерскую коммуну 1534—1535 гг. Отдельные элементы их учения перешли в догматику некоторых протестантских сект.

[10] Брудерховские братства — раннехристианские общины в Германии. Возродились в XX веке в Южной Америке, США и Англии.

[11] Эвергард Арнольд (1883—1935) — немецкий теолог, основатель одной из брудерховских общин.

— Это к тебе, Кит,— сообщила, вернувшись, сестра.— Лилли Стьюбек.

— Лилли? — удивился я.

— Да, Лилли.

Я открыл заднюю дверь.

— Кто вас лечит, Кит? — спросила Лилли, даже не поздоровавшись.

— Обычно мистер Диксон.

— Сходишь со мной к нему?

— Зачем?

— Матери совсем плохо, ей нужен доктор.

— При чем тут я? — попробовал отговориться я.— Сходи к мистеру Диксону сама.

— Он не поедет к нам, если я попрошу его.

— Почему?

— Потому что я уже была у домашнего врача Дороти Мэлоун мистера Форэна, но он велел везти мать в больницу. А как я ее привезу?

— Тогда ладно,— согласился я.

Пришлось обо всем рассказать маме, которая вышла к Лилли и предложила ей свою помощь.

— Хочешь, я спущусь к вам на Мыс, Лилли?

— Нет, нет, спасибо, миссис Кил. Мне нужен только доктор.

— Давай позвоним ему?

— Нет, не стоит.

— Хорошо, тогда с тобой пойдет Кит.

Я сомневался, что смогу быть полезен Лилли, но она надеялась на меня, и мы поспешили к доктору, жившему в нескольких кварталах от моего дома. Лилли всю дорогу молчала, да и я знал, что мне лучше помалкивать.

У ворот Лилли на мгновение остановилась:

— Как ты думаешь, он попросит деньги вперед?

— Кто его знает,— ответил я.— Обычно так не делается. Счет присылают потом.

— Это вам.

— Во всяком случае, давай попробуем его уговорить,— предложил я.

Доктор Диксон был довольно молод; у него были рыжеволосая жена и открытый «крайслер». Жил доктор в одном из самых новых городских домов. Я нажал у входа на кнопку электрического звонка, дверь открыла миссис Диксон. Она с любопытством посмотрела сначала на Лилли, потом на меня.

— Здравствуй, Кит. Что случилось?

— Можно поговорить с доктором Диксоном? — вежливо попросил я.

— Он допивает чай, но я позову его.

Миссис Диксон не пригласила нас в дом, и мы подождали у порога, пока доктор не вышел к нам с салфеткой в руках.

— Здравствуй, Кит. Зачем пожаловал?

— Это Лилли Стьюбек,— кивнул я в сторону девушки, раздумывая, как бы пояснее изложить суть дела.

— Вижу,— ответил доктор,— ну и что?

— Ее матери совсем плохо, и Лилли хочет, чтобы вы посмотрели миссис Стьюбек.

— Где сейчас больная?

— На Мысу.

— Что с ней, Лилли? — обратился доктор к девушке.

— Она часто теряет сознание, и мне трудно приводить ее в чувство.

— Кто наблюдает за ней?

— Я.

— Я имею в виду врача. Она ведь уже давно болеет, насколько мне известно?

— Да.

— Так кто же ее лечит?

— Я водила ее в больницу.

— А сейчас не можешь?

Лилли отрицательно покачала головой.

— Она не встает с постели. Очень ослабла.

— Ты пробовала вызвать «скорую помощь»?

Городская «скорая помощь», как и пожарная команда, состояла из добровольцев.

— Без осмотра врача машину не посылают.

Доктор Диксон вздохнул.

— А ты зачем здесь, Кит? — спросил он.

— Лилли решила, что вы не поедете на Мыс, если она попросит об этом сама.

— Думаешь, тебе удастся уговорить меня?

— Не знаю, мистер Диксон,— чистосердечно признался я.— Доктор Форэн уже отказал Лилли.

— Да? А я, по-твоему, соглашусь?

Я ничего не ответил, мы стояли молча у двери, и мне показалось, что Лилли вот-вот повернется и уйдет. Но я не сдвинулся с места.

— Ну, хорошо,— проговорил мистер Диксон,— залезайте в машину и ждите меня. Я допью чай.

Мы прождали его в «крайслере» минут десять; наконец доктор вышел из дома со своим черным чемоданчиком. Он сел в машину, включил мотор и, не говоря ни слова, поехал к Мысу; по дороге он лишь негромко посвистывал да посматривал на меня. Я все больше и больше понимал Лилли, которая сидела сзади рядом со мной.

Когда мы приехали на Мыс, уже стемнело. Доктор Диксон прошел на кухню и бросил взгляд на керосиновую лампу.

— А электричества нет? — спросил он.

— Нет,— ответила Лилли и приказала Тилли замолчать.

— Другая лампа у вас есть?

— Нет.

— Хорошо. Тогда давайте эту.

Я стоял в дверях, но заметил, что миссис Стьюбек лежала на некоем подобии кровати — старом пружинном матраце, водруженном на ящики,— все это, несомненно, раздобыл Джекки.

Сам Джекки, рука у которого была все еще перевязана, насаживал в кухне топор на топорище; когда лампу с кухни забрали, он вышел ко мне во двор.

— Как ты думаешь, Кит, что с ней? — спросил Джекки, словно я знал все на свете, потому что приехал с доктором.

— Не знаю,— ответил я.— Надеюсь, ничего серьезного.

— Она разговаривает сама с собой,— продолжал он.— Раньше с ней такого не бывало.

— Все будет хорошо,— пробормотал я.

— Но она даже не встает.

Болезнь матери протекала у Джекки на глазах, так как Лилли едва успевала справляться со своими заботами, он был предоставлен самому себе. Сейчас Джекки, как и всякий ребенок, нуждался в участии; я не очень-то годился в утешители, но никого другого рядом не было.

— Все будет хорошо,— повторил я, не найдя других слов.

— Ты в это веришь, Кит?

— Конечно.

— Она плачет и плачет.

— Потому что ей плохо.

— Может, она съела что-нибудь не то?

— Может, и так.

Джекки продолжал беседовать со мной, пока в дверях не показался доктор Диксон; он бросил свой чемоданчик в машину и спросил Лилли, где бы ему помыть руки.

— Я вам полью,— сказал Джекки.

Мальчик взял эмалированный таз, прислоненный к стене, плеснул в него воды из старой канистры, которая стояла у двери, и поставил таз на ящик. Лилли сходила на кухню за мылом и серым полотенцем; мы застыли, ожидая, что скажет доктор.

— Ее надо отправить в больницу,— сказал мистер Диксон.— Здесь ей ничем нельзя помочь.

— Вы можете вызвать «скорую помощь»? — спросила Лилли.

— Разумеется. Но больную необходимо привести в порядок. Она запущена.

— Вы хотите сказать, нужно ее помыть?

— Вот именно. Неужели ты так живешь, Лилли?

— Конечно.

— Боже мой! — воскликнул доктор.— Просто невероятно, что такое возможно в наш век, в нашем городе. Ты знал об этом, Кит?

— Да, мистер Диксон.

— Мисс Дэлглиш когда-нибудь заглядывала сюда? — поинтересовался доктор.

Лилли промолчала.

— И что же она сказала?

Лилли продолжала молчать; мистер Диксон и дальше расспрашивал бы девушку о пожилой леди, но я быстро прервал его, опасаясь, как бы Лилли ему не нагрубила. Мистеру Диксону не стоило совать нос в ее личную жизнь.

— Вы подвезете меня? — спросил я доктора.

— Разумеется, садись,— ответил он и пообещал Лилли поскорее прислать «скорую помощь».— Хотя одному богу известно, когда она приедет,— добавил он.— Попробую найти братьев Джексонов. Может, машина будет сегодня, а может, завтра утром. Но подготовь мать, Лилли. Надень на нее чистое платье. Оно у вас есть?

— Отыщем.

— Вот и прекрасно. Я осмотрю ее в больнице,— пообещал доктор.

Он на мгновение задержал взгляд на Джекки, покачал головой и сел в машину. Я был уже в «крайслере» На главной улице мистер Диксон притормозил, чтобы выпустить меня. Он поинтересовался, бывал ли кто-нибудь у Стьюбеков.

— По-моему, нет,— ответил я.— Разве только сержант Коллинс и мисс Хейзл, наша старшая преподавательница. Больше, пожалуй, никто.

— Невероятно! — удивился мистер Диксон.— И как только Лилли справляется с этим?

Я-то видел «как», но решил промолчать.

— Ей нечем вам заплатить, мистер Диксон,— сказал я, чтобы прекратить расспросы.

— Пустяки,— бросил доктор, постукивая пальцами по баранке.— Что-то надо предпринять.

Мне показалось, что доктор прикидывает, чем бы еще помочь Стьюбекам, и я уже хотел было предупредить его о том, чтобы он не ждал от Лилли признательности, так как она редко просила о помощи и, даже попросив, не благодарила за нее. Однако передумал. Трудно объяснить поступки Лилли постороннему; впрочем, мистер Диксон и сам, вероятно, заметил, что Лилли не сказала ему «спаси-

бо» за визит. Но у меня голова пошла кругом, когда я понял, что на самом деле задумал доктор.

— Этот дом надо снести,— проговорил он, как бы размышляя вслух.

— Неужели у вас поднимется рука? — возмутился я.— Им же негде жить.

— Тем не менее нужно принять меры, Кит. Эта хижина стоит уже лет двадцать, ее надо снести.

— Пока там живет Лилли, это невозможно.

— Стьюбеки подыщут себе другое жилье. На Мысу не место для Лилли, да еще с матерью и братом.

— Куда же им деваться?

— Не знаю, но там они не останутся.— Доктор повернул ключ зажигания.— Жить в этой развалюхе нельзя.

Конечно, доктор Диксон пользовался достаточным влиянием в городе, чтобы напустить на Мыс какую-нибудь санитарную инспекцию, и я понимал, что он исходил из самых добрых побуждений, не зная истинного положения Стьюбеков. Никто в Сент-Элен не догадывался, как тяжело приходилось Лилли. Я скрыл от нее свой разговор с доктором, не желая прибавлять ей новых хлопот и надеясь, что мистер Диксон ничего не станет предпринимать. Ведь и раньше многие жаловались на этот дом и его обитателей, но все оставалось по-прежнему.

Однако на сей раз я ошибся, и моему отцу пришлось сделать то, на что не решился я,— сообщить Лилли о поступившем насчет Мыса заявлении, которое могло повлечь за собой снос хижины. Отец предупредил об этом Лилли за обедом, у нас дома.

Собственно, это мама, узнав, что миссис Стьюбек в больнице, посоветовала пригласить Лилли к нам в гости. Она даже перенесла ради такого случая субботний обед на воскресенье, когда Лилли не работала.

— Надо позвать и Джекки,— предложил я.

— Что ж, пусть приходит.

— Только он трехпалый,— напомнил я маме, сомневаясь, сможет ли Джекки справиться с ножом и вилкой, и желая избежать неприятных сюрпризов.

— Ничего, справится,— ответила мама.

— Пожалуй,— сказал я.— Вообще-то он очень ловкий.

— Передай, пусть приходят в воскресенье.

Трудно было сказать, как встретит Лилли наше приглашение. Даровой обед был ей сейчас весьма кстати, но все зависело от настроения Лилли, а я не знал, какое оно у нее в эти дни. После школы я зашел в фотоателье. Лилли возилась со счетами. Она уже управлялась в ателье самостоятельно, прекрасно проявляла пленку и печатала снимки, поэтому Джек Бэйли все чаще оставлял ее одну, а сам объезжал фермы в поисках заказов. Я спросил, как чувствует себя миссис Стьюбек. Лилли ответила только, что в больнице за матерью хорошо ухаживают, и ни слова больше.

— Знаешь,— сообщил я Лилли,— моя мама приглашает тебя с Джекки в воскресенье на обед.

Она в упор посмотрела на меня, будто хотела что-то прочитать в моих глазах.

— По какому поводу?

— Просто так. Приглашает, вот и все.

Лилли продолжала смотреть мне прямо в глаза, и я постарался выдержать ее взгляд.

— Ладно,— проговорила она.— Приду.

— Только с Джекки,— напомнил я.

— Хорошо.

Я не очень-то радовался предстоящему визиту, как и много лет

назад, когда Лилли была у нас одна. В глубине души я даже надеялся, что она не придет. Но наступило воскресенье, и Лилли, войдя со двора, спросила, не опоздала ли она.

— У нас нет часов,— объяснила девушка.

Она пришла точно в назначенное время. На ней были хорошая твидовая юбка и джемпер «фэр-айл», но все это выглядело так, словно долго пролежало в сундуке. Особенно удивил нас Джекки, явившийся в черных рваных ботинках на босу ногу, однако рубашка и коротковатые брюки имели вполне приличный вид, хотя были поношены и измяты. Интересно, чью бельевую веревку очистил малыш Джекки?

— Здравствуй, Кит,— сказал Джекки.— Посмотри на мою руку.

Он закатал рукав, но повязки я не увидел. Длинные царапины доходили до самого локтя, ранки затянулись. Было похоже, что рука заживает; я спросил, зачем он снял повязку.

— Лилли сказала: так лучше,— ответил Джекки.

Пожалуй, все мы, сидя за столом, вспоминали о том, как обедала у нас маленькая Лилли. Но теперь мы больше обращали внимание на Джекки, чем на его сестру. Мама всем раздала салфетки; Джекки взял свою, развернул ее и положил на колени; мы поняли, что Лилли предупредила его, как себя вести. Он знал также, что следует подождать, пока отец прочитает молитву, знал и о том, что может приступить к еде лишь после того, как ее подадут всем. Незаметно наблюдая за Джекки, который орудовал ножом и вилкой своими тремя пальцами, мы почти забыли о Лилли — она держалась с достоинством и своими безукоризненными манерами невольно напоминала далекую мисс Дэлглиш.

Джекки, прошедший краткий курс домашнего обучения хорошим манерам, все равно походил на маленькую Лилли. Ел он торопливо, жадно, шумно и, хотя обращался с приборами довольно ловко, был неаккуратен: горошины падали у него на скатерть, а соус капал на брюки. Я оправдывал Джекки, вернее Лилли, тем, что у нее хватало более серьезных забот, да и у Джекки тоже, куда уж ему было изучать на грязной кухне правила хорошего тона.

Труднее всего оказалось поддерживать за столом общую беседу, гости в основном молчали, хотя мы и старались вовлечь их в разговор. Мама пробовала расспросить о здоровье миссис Стьюбек, но Лилли сказала лишь, что больной дают есть печенку и делают уколы.

— Сознание она больше не теряет,— добавила девушка.

Потом отец справился у Лилли, не слышала ли она о племянниках миссис Карсон, которой принадлежал дом на Мысу.

— Нет, я ничего о них не знаю, мистер Кил,— ответила Лилли.

— И ты не видела никого из Карсонов?

— Нет,— повторила девушка.

— Разве мистер Лэндсдаун, секретарь муниципалитета, не разговаривал с тобой?

— Нет. Не разговаривал.

— Но он обратился ко мне, потому что когда-то я помог миссис Карсон в одном деле. Она умерла несколько лет назад, и мистер Лэндсдаун сообщил, что муниципалитет желает выяснить, кому теперь принадлежит дом на Мысу.

— Никому,— сказала Лилли.— Его давно бросили.

— Ты права, но хозяин у него должен быть,— не унимался отец.— В общем, местные власти решили снести дом. Вот и ищут его хозяина.

Лилли на мгновение задумалась.

— Снести? — недоверчиво переспросила она.— Зачем?

— Разве вам не говорили? — удивился отец.

— Нет.

— Кто-то пожаловался, что вы живете в антисанитарных условиях.

— Кто?

— Понятия не имею.

Отец, конечно, знал, кто это был, но не хотел, чтобы доктор и Лилли ссорились.

— Это мистер Диксон,— вступил я в беседу.— Он сказал мне, что собирается подать такое заявление.

— Какое ему дело! — вскипела Лилли.— Мы годами жили на Мысу, и никто нас не трогал.

— В городе давно говорят о том, что пора сровнять ваш дом с землей,— мягко сказал отец.— Видимо, болезнь твоей матери подтолкнула доктора.

Лилли не запричитала: «Куда же нам деться?» — не запротестовала. Но я знал, о чем она думала. Я знал, что означал яростный взгляд ее кошачьих глаз. Если власти прикажут снести их дом, она попытается в отместку спалить полгорода. Я уже давно не видел ее лицо таким гневным.

— Нельзя же снести дом и оставить их без крова,— сказала мама.

— Если суд примет такое решение, то оно будет исполнено,— возразил отец.

— А разве нельзя этому помешать? — спросил я.

— Можно не допустить сноса или хотя бы отсрочить его. Но муниципалитет, вероятно, получит предварительное заключение, признающее дом непригодным для жилья.

— Когда же за нас возьмутся? —обратилась Лилли к моему отцу.

— Не знаю, Лилли. Этот вопрос пока обсуждается.

— А ты сумел бы спасти их дом? — спросил отца мой младший брат Том.

Это занимало каждого из нас, и хотя никто, кроме меня, не заглядывал в лачугу, все мы сейчас искренне желали, чтобы Стьюбеков оставили в покое.

— Есть только один способ спасти дом — доказать, что он пригоден для жилья,— заключил отец.

Лилли, как и я, понимала, что об этом не может быть и речи, но она не попросила отца ей помочь. Обед закончился рисовым пудингом, и Микки словно в знак давней дружбы положил голову на колени девушки. Наш песик состарился. Весь обед он проспал у камина, но, наверное, отдаленное воспоминание, связанное с Лилли, взволновало его. Гостья потрогала нос Микки, потрепала собаку за уши, потом ласково сказала: «Здравствуй, Микки. Ты меня не забыл?» Она разговаривала с песиком, и я видел вновь десятилетнюю Лилли, которая что-то нашептывала в собачье ухо; Микки благодарно лизнул ее руку.

Мы подождали, пока отец просунет в кольцо салфетку; Лилли тоже положила свою салфетку на стол, и Джекки последовал ее примеру.

— Я подумаю, как тебе помочь,— сказал отец Лилли на прощание.— Но многого не обещаю, понятно?

— Да,— ответила Лилли.

Она не поблагодарила его, зато, как обычно, без улыбки поблагодарила маму, которая дала гостям пакет с яйцами, маслом, чаем и сахаром, а также кое-какую поношенную одежду Тома для Джекки. Когда мы вышли на улицу, Лилли сердито дернула меня за рукав:

— Почему ты меня не предупредил, что доктор Диксон потребует в муниципалитете, чтобы снесли наш дом?

— Я не думал, что он говорил всерьез,— оправдался я.

— Как ты считаешь, твой отец что-нибудь может сделать?

— Он сам тебе скажет,— ответил я.

— До свидания, Кит,— попрощалась Лилли.

Джекки уже ушел вперед. Он ничего не унес из нашего дома, и это было большим достижением его сестры.

14

Приблизительно через неделю отец рассказал нам за обедом о том, что видел решение апелляционного суда о доме на Мысу. Суд признал «недопустимым снос здания без согласия домовладельца, если это здание не представляет опасности для жизни и здоровья людей или угрозы для соседних построек». Отец показал документ мистеру Лэндсдауну, секретарю муниципалитета, и тот сообщил ему поразительную новость.

— Мыс принадлежит теперь мисс Дэлглиш,— ошеломил нас отец.— Разыскивая Карсонов, судейские обратились в мельбурнскую нотариальную контору по регистрации земельных участков, и оказалось, что месяц назад мисс Дэлглиш купила Мыс у племянника бывшей владелицы.

— Но ведь мисс Дэлглиш в Европе,— удивился я.

— Вероятно, она оформила бумаги через мельбурнских юристов без своего здешнего поверенного мистера Стрэппа. В любом случае о сносе дома теперь не может быть и речи.

— Но к чему ей эта лачуга? — спросила мама.

— Трудно сказать,— ответил отец.— Несомненно, дом приобретен для Лилли.

— Ты сообщил ей об этом? — спросил я отца.

— Конечно.

— А что она?

— Сначала не знала, что и сказать. Она всегда не слишком разговорчива, а тут у нее словно язык отнялся. Потом она спросила, чего, собственно, мисс Дэлглиш от нее хочет. Зачем ей было покупать Мыс?

— Мне это тоже интересно,— вставила мама.

— Это еще не все,—продолжал отец.— Мисс Дэлглиш решила возвратиться в Сент-Элен.

— Так скоро?

Мисс Дэлглиш собиралась пробыть в Европе не меньше года, а прошло всего шесть месяцев, что-то заставило ее изменить свои планы.

— Наверное, и здесь не обошлось без Лилли,— сказала мама.

Мы с нетерпением ждали возвращения мисс Дэлглиш, а пока Лилли как бы получила передышку. Миссис Стьюбек лежала в больнице, одним ртом стало меньше, и по городу перестали ходить слухи о сносе дома на Мысу. Несомненно, у мисс Дэлглиш были свои виды на лачугу, раз уж она приобрела ее. Но какие? Может, она пожалела Стьюбеков и захотела привести их жилье в порядок? Или, наоборот, оно вызвало у нее такое отвращение, что она решила выселить оттуда Лилли? Все мы опять вернулись к разгадке их сложных и тонких отношений, но я-то знал, что многие годы удерживало вместе и одновременно разъединяло мисс Дэлглиш и Лилли. Теперь мы приглядывались к миссис Питерс, надеясь у нее найти ответы на наши вопросы.

Пока отсутствовала хозяйка, миссис Питерс следила за особняком. От городского почтальона, мистера Эдвардса, нам было известно, что мисс Дэлглиш присылала своей экономке письма из Франции, Италии, Австрии и Англии. Мы знали также, что миссис Питерс частенько наведывалась к Лилли в фотоателье и рассказывала о мисс Дэлглиш. Казалось, будто за высокой оградой особняка что-то накрепко связало этих трех женщин, и если Лилли нужно было выгладить блузку или платье, она обращалась к миссис Питерс, а не к Дороти Мэлоун, предлагавшей подруге свою помощь.

— Странно,— разоткровенничалась как-то Дороти,— но я думаю иногда, что Лилли все еще живет у мисс Дэлглиш. Там ее настоящий дом.

Тем не менее Лилли была очень внимательна и к своей матери. Медицинская сестра миссис Сингелтон рассказала моей маме, что, ко-

гда Лилли навещает больную, та часто плачет и умоляет не бросать ее и Джекки.

— Она не знает собственной дочери,— заметил я,— Лилли никогда не бросит их.

— Возможно, ты и прав,— ответила мама,— но миссис Стьюбек доводилось видеть, как поступают в подобных случаях другие дети.

— Только не Лилли,— возразил я.

Именно тогда определенное место в жизни Лилли занял Девлин. Теперь я догадываюсь, что она подружилась с ним, ожидая возвращения мисс Дэглиш. Девлину загодя отводилась роль союзника, защитника, противовеса. Это подтверждается не только тем, что я знаю об их отношениях, но и всеми последующими событиями.

Во всяком случае, в городе теперь видели, как вечерами Девлин ездил на велосипеде к Мысу, и кое-кто замечал, что возвращался он затемно. Вероятно, присутствие Джекки оберегало Лилли и Дева от грязных сплетен, а может, люди считали Девлина слишком безвредным или же думали, что Лилли не позволит ему ничего дурного. Однако поговаривать о них все же начали, и когда я поинтересовался у Дороти, что ей известно про Дева и Лилли, она сама была озадачена.

— Они какие-то странные,— сказала Дороти.— В прошлое воскресенье Дев, едва приехав, разделся и полез в реку.

— Но ведь сейчас зима и половодье,— удивился я.— Вода, наверное, ледяная...

— Я сказала то же самое, но Лилли, по-моему, считает это нормальным. А еще оказалось, что Дев не умеет плавать и надо присматривать, чтобы его не унесло течением.

Даже опытные пловцы не отваживались купаться у нас в зимнее половодье — не хотели рисковать и мерзнуть.

— Я обозвала Дева сумасшедшим и спросила, зачем он лезет в реку, а он ответил, что после купания чувствует себя заново рожденным. Это, мол, укрепляет нервную систему.

— А что Лилли?

— Ничего. Все, что делает или говорит Дев, кажется ей вполне естественным. По-моему, Кит, они очень хорошо понимают друг друга, ведь дело не в том, что они говорят, дело в их отношениях. Дев сидел с нами в грязной кухоньке, пил чай и слушал нашу болтовню. Лилли не обращала на него никакого внимания. Потом он вынул из кармана маленькую книжку, обернутую в газету, и сказал: «А теперь, девочки, я прочитаю вам «Вести ниоткуда» Уильяма Морриса» —и, не дожидаясь согласия, прочитал целую главу. Ты слышал об этой книге?

— Конечно.

Откровенно говоря, я впервые узнал о ней из уличного выступления самого Девлина.

— Там рассказывается о путешествии по Темзе.

— Не только,— возразил я.— После промышленной революции герой возвращается к природе и сельскому труду, чтобы самоусовершенствоваться.

— Откуда ты это знаешь?

Пришлось признаться, что от отца.

— Это моррисовский вариант «Утопии» и «Города Солнца».

— Мне было скучно,— продолжала Дороти,— а Лилли хоть бы что. Она выслушала Девлина, а потом просто сказала: «Пожалуй, тебе пора, Дев».

Дев ответил:

— Пожалуй.— И сразу уехал.

Я рассмеялся.

— Что тут смешного? — удивилась Дороти.

— Именно так я и представляю их вместе. Разве не смешно?

— Скорее не смешно, а странно.

— А разве они не странные?

— Верно. Между прочим, на Мысу Лилли совсем перестала читать, будто решила, что это ей теперь ни к чему. Но Девлина она слушает с удовольствием.

— Может, он каждый раз ей что-нибудь читает?

— Может быть. Интересно, что скажет мисс Дэлглиш, когда узнает об их дружбе? Вряд ли ей это понравится,— подумав, сказала Дороти.

15

Мисс Дэлглиш вернулась в конце весны мельбурнским поездом. Мистер Мэлоун подал «мармон» на станцию к пяти часам вечера. Мало кто видел пожилую леди, потому что она прошла прямо к машине и ждала там, пока мистер Мэлоун принесет багаж. Но все же кое-кому удалось разглядеть, что она слегка прихрамывала, опираясь на трость, а одна рука у нее, казалось, одеревенела. В таком возрасте апоплексические удары нередки, но в письмах к своей экономке мисс Дэлглиш на здоровье не жаловалась.

В городе мисс Дэлглиш больше не появлялась, даже по субботам не заглядывала в магазины, нарушив давнюю привычку. Миссис Питерс регулярно бывала у нее, и некоторое время ничего примечательного не происходило. Но однажды вечером в пятницу, когда я вернулся из школы, мама передала мне, что звонила мисс Дэлглиш.

— Она хотела повидать тебя завтра в десять утра.

— Зачем? — удивился я.

— Не знаю.

— Почему мисс Дэлглиш всегда говорит с тобой, ведь ей нужен я?

— Наверное, из уважения ко мне. Во всяком случае, я сказала, что ты с удовольствием придешь.

Я вздохнул. Мне не хотелось терять субботнее утро. Но все-таки я решил навестить мисс Дэлглиш, потому что был любопытен, и на другой день в десять утра уже стоял у больших ворот, дергая за шнурок звонка. Открыла мне миссис Питерс.

— Доброе утро, миссис Питерс,— поздоровался я.

— Здравствуй, Кит,— ответила экономка, и пока мы поднимались по тропинке к парадному входу, она сообщила мне, что мисс Дэлглиш пригласила к себе и Дороти Мэлоун.

— Только она придет после тебя. Вам назначено разное время.

Миссис Питерс зря ничего не говорила, поэтому я воспринял ее слова как вежливый намек на то, что мне не следует долго засиживаться у мисс Дэлглиш.

Хозяйка дома поджидала меня в гостиной. Она поздоровалась и предложила мне кресло, потом справилась о моих родителях и, наконец, заговорила о школе.

— Если я не ошибаюсь, через несколько месяцев вы закончите школу, Кит? — спросила она.

— Да,— подтвердил я.— Это последний год.

Мисс Дэлглиш тяжело опустила веки, и мне показалось, будто она опечалена тем, что Лилли потеряла столько времени; правда, я мог и ошибиться. Я внимательно смотрел на мисс Дэлглиш, и даже мне было ясно, что она постарела. Мисс Дэлглиш оставалась чопорной, аккуратной и собранной, но ее уже отметила печать увядания. Я впервые подумал о том, что и мисс Дэлглиш подвластна разрушительной силе времени.

— Я хочу побеседовать о Лилли,— начала мисс Дэлглиш, но умолкла, ибо в дверях показалась миссис Питерс, которая принесла на подносе чайник, чашки и булочки; мисс Дэлглиш подождала, пока миссис Питерс разольет чай и выйдет из комнаты.

— Ты часто видишь Лилли? — спросила пожилая леди.

— Довольно часто,— ответил я.— Только мельком.

— И на Мысу бываешь?

— Время от времени. Иногда колю́ там дрова.

— Ты знаешь, что я купила их дом?

— Об этом все знают.

— Бери булочки,— предложила мисс Дэлглиш.

Я понимал, что ей нелегко говорить о Лилли, поэтому ел булочку и ждал.

— Ответь мне, пожалуйста, Кит,— продолжала мисс Дэлглиш,— Лилли снова ведет себя как в детстве?

— Что вы имеете в виду?

Я слегка насторожился.

— Не волнуйся,— успокоила меня мисс Дэлглиш.— Я только хочу выяснить, как жила Лилли, пока меня не было.

Казалось, мисс Дэлглиш опять знала обо всем, что происходило в доме Стьюбеков. Причем не от миссис Питерс — в этом я был уверен.

— Заработка Лилли не хватает на троих,—сказал я,— им приходится добывать пропитание где только можно.

— Речь не об этом,— строго проговорила мисс Дэлглиш.— Скажи, не лазает ли она ночью по чужим дворам?

Прежде чем ответить, мне важно было понять, для чего мисс Дэлглиш расспрашивает меня: печется ли она о себе или о Лилли? Рядом со мной на стуле лежали две книги, которые я много месяцев назад взял здесь почитать; внезапно у меня возникло страстное желание оставить их на столе и вежливо попрощаться, чтобы избежать неприятной беседы. Я пожалел, что пришел. Заметив мое смущение, мисс Дэлглиш испытующе посмотрела на меня и поджала губы.

— Можешь держать при себе свои тайны, Кит. Я просто хочу знать правду, больше ничего.

— Почему вас так интересует жизнь Лилли? — спросил я.

— Это касается только нас обеих,— отрезала мисс Дэлглиш.

— Но вы же расспрашиваете меня, мисс Дэлглиш,— возразил я, удивляясь собственной храбрости.

— Мне надо выяснить, насколько она опустилась,— сказала мисс Дэлглиш.— По-моему, тебе это известно лучше, чем кому бы то ни было.

— Лилли — это Лилли,— уклончиво ответил я.

— Это не ответ, Кит. Ты просто уходишь от разговора.

Мисс Дэлглиш слегка стукнула тростью о пол, точно подчеркивая значимость своих слов.

Я понимал, что Лилли предавать нельзя, но одновременно не хотел огорчать и мисс Дэлглиш. Странное дело, я испытывал жалость к мисс Дэлглиш и поразился этому. Казалось, уж кто-кто, а она не нуждалась ни в чьем участии. Поразмыслив, я решил, что лучше всего говорить правду.

— Мне не хочется подводить Лилли,— начал я.— Ей было тяжело.

— Не забывай, что она сама избрала свой путь,— твердо проговорила мисс Дэлглиш.

Я ждал, что она скажет что-нибудь еще, но мисс Дэлглиш замолчала, и я спросил, что будет с домом на Мысу.

— Это зависит от обстоятельств,— ответила мисс Дэлглиш, она тоже ушла от прямого ответа.— Пока я ездила, там, вероятно, стало еще омерзительнее?

— Напротив,— возразил я.— В доме теперь немного уютнее.

— Как это им удалось?

— Они раздобыли пару старых столов, стулья и кровать для миссис Стьюбек. Лилли поддерживает чистоту.

— Может, ты скажешь, откуда взялись столы и стулья?

— Джекки притащил,— честно ответил я.

— Так я и знала,— покачала головой мисс Дэлглиш.— Со свалки.

— А что им оставалось делать? У них ничего не было. Только голые стены.

Но мисс Дэлглиш не желала слушать о том, как бедствовали Стьюбеки.

— Лилли по-прежнему дружит с тобой и Дороти?

— Да.

— Если я не ошибаюсь, твоя мама приглашала Стьюбеков на обед?

— Приглашала.

— Лилли вела себя хорошо, Кит?

— Конечно.

— А с мистером Девлином ты знаком?

— Да...

— О чем он говорит в своих выступлениях?

— Об утопии.

— Лилли часто с ним видится?

— Не знаю, мисс Дэлглиш.— Мне снова захотелось уйти, и я положил книги на стол.— Я принес книги, которые взял в день рождения Лилли. Извините, что задержал. Большое спасибо.

— Хочешь выбрать чего-нибудь еще?

— Нет-нет, благодарю вас, мисс Дэлглиш,— ответил я.

Между нами возникла стена отчуждения, и виновата в этом была Лилли. Пожалуй, мисс Дэлглиш поняла, что из меня многого не вытянешь. Или она и так уже узнала все, что нужно. Она меня больше не расспрашивала, но ей, по-моему, было приятно посидеть со мной, и мы немного поговорили о книгах. Мисс Дэлглиш посоветовала мне не терять времени на Арнольда Беннетта[1] и Герберта Уэллса, а почитать Уиллу Кэсер[2], Эдит Уортон[3] или немецких прозаиков вроде Томаса Манна и Лиона Фейхтвангера.

— Если тебя тянет к перу, старайся не думать как типичный англичанин,— посоветовала она. — Это сужает кругозор.

Я встал, чтобы откланяться. Мисс Дэлглиш тоже поднялась и, прихрамывая, проводила меня до парадной двери.

— Заходи ко мне, Кит,— пригласила она,— сейчас ты, наверное, очень занят — школа, уроки, но потом, когда будешь свободнее, можешь брать у меня книги. Тебе надо много читать.

Я поблагодарил ее на прощанье и вышел на улицу, размышляя о том, зачем она пригласила Дороти Мэлоун.

Мы с Дороти стали как бы связующим звеном между мисс Дэлглиш и Лилли, которой не терпелось узнать, о чем говорила со мной мисс Дэлглиш. Лилли разбудила меня в субботу ночью, когда я уже заснул на веранде; этот ночной визит сразу напомнил мне о прежней Лилли, проснулся я от тычка в бок.

— Мне надо поговорить с тобой,— прошептала девушка.

— Среди ночи?

— Сейчас только одиннадцать.

Прибежавший с ней Тилли прыгнул на кровать и ткнулся холодным носом в мое ухо.

— Я видела Дороти,— продолжала Лилли,— она сказала, что ты был у мисс Дэлглиш.

— Да, утром. Сегодня утром.

— Что ей надо было от тебя Кит?

Я сел и вдруг представил себе, какой скандал разразился бы в городе, если бы кто-нибудь увидел у меня Лилли. Я даже покраснел от смущения но Лилли подобные пустяки ничуть не беспокоили.

— Мисс Дэлглиш расспрашивала о тебе,— сказал я.

— И что же ее интересовало?

---

[1] Английский писатель (1867—1931), автор социально-бытовых романов.

[2] Американская писательница (1876—1947).

[3] Американская писательница (1862—1937).

Теперь мне не хотелось подводить мисс Дэлглиш, точнее, я боялся неосторожного слова, которое повредило бы ее отношениям с Лилли.

— Ничего особенного. Просто ей хотелось узнать, как вы живете на Мысу.

— Она пригласила тебя не из-за этого.

— В общем, из-за этого.

— Пускай, и все же на самом деле она хотела узнать что-то другое,— не отставала Лилли.

«Что ж,— подумал я,— если обе они желают побольше разузнать друг о друге, зачем скрывать правду?»

— Она спрашивала, не лазишь ли ты ночью по чужим дворам.

— А ты? Ты ей сказал?

— Нет. Сказал только, что тебе приходилось тяжело, вот и все.

Даже в темноте я увидел, что глаза у Лилли широко раскрылись.

— Зачем?

— Ну... потому что она беспокоилась о тебе.

Словно не услышав меня, Лилли спросила, не говорила ли мисс Дэлглиш о Мысе.

— Почему она купила его?

— Она ушла от этого разговора.

— А ты спрашивал?

— Конечно, но она отмолчалась.

— Мисс Дэлглиш справлялась о моей матери?

— Нет, но я уверен, что она и так все знает. Может, рассказала миссис Питерс. Или доктор Диксон. Или кто-нибудь еще. Ей известно обо всем.

— И больше вы ни о чем не говорили? — Лилли встала с кровати и взяла Тилли за ошейник.

Сначала я решил промолчать, но потом передумал — ведь она, как и мисс Дэлглиш, имела право знать все.

— Она расспрашивала о Девлине.

— О Девлине?

— Да.

— Что именно?

— Интересовалась, о чем говорит Девлин в своих выступлениях. По крайней мере, она так сказала.

— И что же ты ответил?

— Что он рассказывает об утопии.

Лилли немного помолчала, словно ожидая услышать что-нибудь еще, но мне нечего было добавить.

— И это все, что хотела узнать мисс Дэлглиш? На самом деле все?

— Не сомневайся.

— Хорошо. Тогда до свидания, Кит.

— А о чем она говорила с Дороти? — остановил я Лилли громким шепотом.

— Ни о чем. Абсолютно ни о чем,— ответила Лилли.

Дескать, не твоего ума дело. Но, встретив в понедельник Дороти, я решил, что это все-таки мое дело. Мы разыскивали друг друга, чтобы поделиться последними новостями.

Я подробно пересказал ей беседу с мисс Дэлглиш, а Дороти призналась мне, что пожилая леди расспрашивала ее в основном о том, как выглядит Лилли, и о Джекки.

— Она интересовалась, следит ли за собой Лилли, часто ли она моется, опрятные ли у нее платья. Еще она спросила, слушается ли Джекки сестру, не ссорится ли мать с Лилли. Мисс Дэлглиш допытывалась, что едят Стьюбеки, занимала ли деньги Лилли, не попрошайничала ли миссис Стьюбек до больницы. По-моему, мисс Дэлглиш надо было что-то разузнать, только никак не пойму что.

— Вот и я не пойму. Но что-то она задумала,— согласился я.

— Интересно, расскажут ли нам об этом когда-нибудь Лилли или мисс Дэлглиш? — вздохнула Дороти.

Мы с Дороти отметили, что Лилли не спросила, как выглядит мисс Дэлглиш. Ни слова об этом. Мы оба обратили внимание и на то, что мисс Дэлглиш прихрамывает и опирается на трость, но не сказали об этом Лилли.

— Мисс Дэлглиш на себя не похожа,— сокрушалась Дороти.— Что-то с ней происходит. И лучше не говорить об этом Лилли.

Я был уверен, что Лилли и так все узнает от миссис Питерс. Не меня и Дороти, а старую экономку расспросит девушка о здоровье мисс Дэлглиш. И снова я подумал о том, что во взаимоотношениях мисс Дэлглиш и Лилли существует некая закономерность и что их упрямый молчаливый спор, о котором мы на время забыли, продолжается.

16

Лилли начала догадываться о намерениях мисс Дэлглиш после того, как в понедельник утром на Мыс прибыли рабочие, которые врыли в землю четыре столба, протянули к Мысу провода от линии электропередачи, а к концу недели подсоединили дом к городской сети и поставили счетчик, чтобы Лилли знала, сколько нужно платить за электричество. Все это было сделано с ведома муниципалитета. О проводке позаботилась частная компания братьев Стак, которые, не спросив разрешения у Лилли (кстати, двери у Стьюбеков никогда не запирались), провели в комнаты свет и поставили на кухне трансформатор.

На следующей неделе плотник Парсон, опять-таки даже не спросив разрешения у Лилли, привез на грузовике брус и доски, настелил пол на кухне и покрыл его линолеумом, доставленным из магазина Купа. Неожиданно на Мысе появились табуретки, стол и буфет, затем две кровати, комод, кресло, кастрюли, сковородки, чайный и столовый сервизы, ножи, вилки, ложки, комплекты одеял, простыней, полотенец и умывальник с зеркалом. Почти каждый день, приходя с работы домой, Лилли обнаруживала все новые и новые подарки, которые с восхищением рассматривал Джекки; сама она принимала эту «манну небесную» с обычной сдержанностью.

Тем временем доктор Диксон перевез на своей машине из больницы миссис Стьюбек, и однажды вечером, спустившись на Мыс наколоть дров и посмотреть, как там идут дела, я увидел ее у печки в новом кресле. Я пришел на кухню за топором, но она не обратила на меня никакого внимания, даже когда я поздоровался. Миссис Стьюбек не повернула головы и в сторону Джекки, принесшего целое ведро пахты с маслозавода; она лишь с отсутствующим видом теребила желтую брошь, приколотую к платью у воротника,— Лилли вернула ее матери. Миссис Стьюбек то и дело жалобно всхлипывала; некогда загадочная и молчаливая, как все женщины у Стьюбеков, она сидела теперь, беспомощно сложив руки и тупо уставившись в пустоту.

— Вам плохо, миссис Стьюбек? — спросил я.

Она ничего не ответила, продолжая стонать и теребить брошь. Миссис Стьюбек совсем исхудала, но выглядела опрятно; на ней было новое платье, сшитое по фигуре. И туфли были новые, поэтому я подумал, что все это прислала пожилая леди. Обычно мать Лилли получала от сердобольных горожан лишь обноски.

И вот одним воскресным утром «мармон» мистера Мэлоуна доставил мисс Дэлглиш на Мыс, где она, по словам миссис Джонстон, дом которой стоял у железной дороги, а окна смотрели на жилище Стьюбеков, провела около получаса и уехала, забрав с собой Тилли.

Мы не ведали, о чем говорили мисс Дэлглиш и Лилли, лишь гораздо позднее я смог восстановить их беседу по записям в дневнике девушки. Важно, что Лилли в то время даже не догадывалась о том, чем были продиктованы поступки мисс Дэлглиш.

А объяснялось все довольно просто — мисс Дэлглиш вернулась из Европы, узнав, что дни ее сочтены.

Не только Лилли, но и никто в городе не подозревал о болезни пожилой леди, кроме ее врача, старого доктора Уоллеса, умевшего хранить тайны. Разумеется, близость смерти накладывала отпечаток на все, что делала мисс Дэлглиш, но в отношении Лилли она руководствовалась и другими, более сложными соображениями. Лилли по-прежнему ни о чем не знала. Поэтому ее разговор с мисс Дэлглиш был продолжением их старого запутанного спора.

В то воскресное утро мисс Дэлглиш без обиняков предложила Лилли:

— Я хочу, чтобы ты вернулась ко мне. Дом для твоей матери и брата будет приведен в порядок, расходы на питание и уход за ними я беру на себя. Если понадобится посторонняя помощь, я дам денег, чтобы нанять кого-нибудь, только позаботься об этом сама. Но я не желаю, чтобы ты здесь оставалась. Возвращайся ко мне и попробуй возобновить занятия, постарайся закончить школу вместе с Дороти и Китом, ну а уж если не сумеешь, то в следующем году.

Хотя черная тетрадь многое проясняла, однако Лилли никогда подробно не записывала в ней, что говорила сама. С мисс Дэлглиш она обычно не спорила, пока речь не заходила о жизненно важных для нее вопросах. Да и тогда Лилли не опускалась до мелочей и возражала, если не могла согласиться, лаконично, но упрямо. На этот раз она, видимо, только сказала мисс Дэлглиш, что не вернется к ней.

— Ты же можешь найти сиделку для своей матери,— не отступала мисс Дэлглиш,— брат твой вполне самостоятелен. Мне известно, что ты ходила по помойкам, Лилли,— продолжала она,— это скверно, ты сама понимаешь. Тебе не хватает денег, чтобы прокормить семью, разве я не права? Будет лучше, если ты переедешь ко мне и заживешь по-человечески.

— Мне и здесь хорошо. Ни менять что-либо, ни уходить отсюда я не собираюсь.

Мисс Дэлглиш попробовала поговорить с миссис Стьюбек, но та почти не слушала ее и лишь бормотала время от времени: «Да, госпожа», потом переводила страдальческий взгляд на дочь и жалобно спрашивала:

— Ты нас не бросишь, Лилли?

— Нет,— всякий раз успокаивала ее девушка.

— Вы не понимаете меня, миссис Стьюбек,— убеждала мисс Дэлглиш.— Я и не хочу, чтобы Лилли забыла вас.

— Да, госпожа,— опять пробормотала миссис Стьюбек, и по ее щекам покатились крупные слезы.

Убедившись в тщетности уговоров, мисс Дэлглиш раздраженно повернулась к Лилли:

— Это уж слишком! Просто глупо!

— Ничего не поделаешь,— ответила девушка.

— Надеюсь, ты передумаешь. А пока я возьму Тилли. Где он?

— Зачем вам собака? — удивилась Лилли.

— Наша соседка, миссис Эндрюс, завела кошек, и миссис Питерс никак не может прогнать их из сада; Тилли мигом с этим справится.

— Он убежит от вас,— предупредила Лилли.

— Я его приласкаю.

— Им теперь командует Джекки.

— Я куплю ему другую собаку.

Даже ради Джекки Лилли не хотела спорить с мисс Дэлглиш; она взяла старую веревку, которая служила поводком, и привязала ее к ошейнику Тилли. Джекки разговаривал во дворе с мистером Мэлоуном, который показывал ему свой «мармон».

— Куда вы ведете Тилли? — спросил Джекки у мисс Дэлглиш, когда она вышла из дома с песиком.

— Я куплю тебе другую собаку,— пообещала мисс Дэлглиш.— Тилли мне нужен.

— Но ведь он принадлежит Лилли,— возразил мальчик.

— Лилли разрешила мне взять его.

— Надолго? — не отступал Джекки.

Ничего не ответив, мисс Дэлглиш передала веревку мистеру Мэлоуну, и тот посадил собаку на переднее сиденье; удивительно, но Тилли охотно подчинился, словно его ожидала приятная прогулка. Тилли давно превратился в грязную собачонку со спутанной шерстью, он нетерпеливо прыгал в машине, точно возбужденный ребенок, который собрался на праздник со взрослыми.

Прощаясь, мисс Дэлглиш спросила о Девлине. Зачем он приходит сюда? Так ли уж это необходимо? Может, он легкомысленный человек?

— С Девлином все в порядке,— ответила Лилли.

— Я думала, ты умнее,— бросила гостья уже из автомобиля.

Более словоохотливый, нежели миссис Питерс, мистер Мэлоун рассказывал потом Дороти, что в дороге мисс Дэлглиш держалась с обычным достоинством, зато когда он открывал ворота, ему показалось, что глаза у нее заплаканы.

Если бы это было оперой, то теперь можно было бы почти предугадать, как проявит себя forza del destino[1] в следующем акте, по крайней мере по отношению к Лилли, ибо неделю спустя старая экономка сообщила мисс Дэлглиш, что через месяц навсегда уедет из Сент-Элен. Миссис Питерс собиралась в Нуах, находившийся в тридцати милях от нашего городка. Наступал конец ее многолетней службе у мисс Дэлглиш.

Причина была известна. Мистеру Питерсу, работавшему механиком у мистера Мэлоуна, предложили купить гараж в Нуахе; несмотря на возраст, он решил взять ссуду в местном банке и, добавив свои сбережения, купить гараж если не для себя, то для сына, который пошел по стопам отца. Питерсы намеревались поселиться в комнатах над гаражом. Разумеется, их связи с Сент-Элен, по крайней мере у миссис Питерс, обрывались. Она не могла пожертвовать интересами мужа и сына.

Миссис Питерс и мисс Дэлглиш настолько привыкли друг к другу, что, казалось, их разлучит лишь смерть. Многие в городе ломали голову над тем, кто заменит экономку.

— У нас подходящей замены не найти,— сказала мама отцу за обедом, услышав, что мисс Дэлглиш остается без прислуги.

— Почему же? — удивился он.

— Не знаю,— ответила мама,— только не найти. Ведь миссис Питерс ни разу словом не обмолвилась о своей хозяйке. Молчала как рыба.

— Неужели у нас нет женщины, умеющей держать язык за зубами? — возразил отец.

— Такой скрытной да еще и работящей, как миссис Питерс, нет. Она прямо была создана для службы у мисс Дэлглиш.

— Кто-нибудь да найдется,— не сдавался отец, и родители прекратили на этом спор, ведь никто из нас ничего не знал о планах мисс Дэлглиш.

---

[1] Сила судьбы *(итал.)*. Это выражение вошло в разные языки благодаря популярности оперы Верди «Forza del destino» (1862) на сюжет драмы А. Сааведры «Дон Альваро, или Сила судьбы».

У нее оставался еще месяц, чтобы подыскать себе прислугу, и несколько женщин в нашем городе желали получить освобождающееся место. Самой подходящей кандидатурой была овдовевшая миссис Смит, которая жила с незамужней дочерью. Она славилась своей чистоплотностью, никогда не сплетничала и считалась прекрасной матерью. Но миссис Смит была суетлива, а мисс Дэлглиш не переносила суеты. К пожилой леди охотно пошла бы и Эйми Лонгстрит — старая дева, долгие годы прослужившая компаньонкой у мисс Раунтри, которая владела тремя домами и прожила в одном из них до девяноста трех лет. Но Эйми трудно было представить рядом с мисс Дэлглиш. Длинная как жердь, с редкими, вечно растрепанными волосами, она всегда имела неряшливый вид, будто совсем забывала о себе в заботах о других. Еще две женщины метили в прислуги к пожилой леди, но они по той или иной причине тоже не подходили.

Дни летели за днями, и мисс Дэлглиш, казалось, перестала искать себе помощницу; теперь она жила почти затворницей, уже не выходила по субботам на прогулки, и ее редко видели в городе. Лилли продолжала работать в фотоателье, а миссис Питерс по-прежнему исчезала за воротами особняка в восемь утра и покидала его в половине пятого.

Наконец наступил день, когда миссис Питерс уехала из города, и было похоже, что мисс Дэлглиш решила отныне жить одна. Но на следующее утро ровно в восемь большие деревянные ворота открыла вместо миссис Питерс Лилли, которая оставалась в особняке до полудня, а потом ушла на Мыс. Через час она вернулась к мисс Дэлглиш и пробыла у нее до пяти вечера. Так продолжалось изо дня в день, и мы поняли, что Лилли стала новой экономкой пожилой леди. Неизвестно как и где, но соглашение между ними было достигнуто.

Кое-что я узнал от Дороти, а кое-что рассказала сама Лилли, но по-настоящему все прояснили последующие события. Вопрос был решен чисто по-деловому. Мисс Дэлглиш обязалась платить Лилли три фунта в неделю (в два с лишним раза больше, чем девушка получала в фотоателье) и оставила попытки переселить ее к себе. Со своей стороны, Лилли взялась выполнять обязанности миссис Питерс, но выговорила для себя время, которое могло понадобиться для ухода за матерью, а также разрешение ежедневно покидать на час в полдень особняк и ночевать на Мысу.

В конце концов мисс Дэлглиш и Лилли снова оказались вместе, но отныне на единственно возможном для девушки условии — мисс Дэлглиш платила ей, и плата была справедливой. Лилли согласилась на это, потому что тем самым обретала независимость, к которой она так стремилась. Однако, сама того не ведая, Лилли ухаживала теперь за двумя медленно умиравшими женщинами, которые нуждались в ней, ибо она всегда готова была противостоять любому злу, может быть даже смерти.

17

Их дни протекали теперь в постоянной борьбе между мисс Дэлглиш, которая пыталась возобновить старые отношения, и Лилли, которая стремилась вести себя сообразно своему новому положению. Она и прежде работала по дому, но по-настоящему уборкой, кухней, стиркой и глажением занималась миссис Питерс.

— Постельное белье надо отдавать в китайскую прачечную,— сказала мисс Дэлглиш, когда они с Лилли устанавливали новый уклад жизни в особняке.

Пока они договорились лишь о самом главном — о работе и жалованье Лилли, но не успели обсудить ее обязанности. Теперь им нужно было упорядочить свой быт до мелочей, и тут мисс Дэлглиш хотела все решать сама и по-своему.

— Зачем нам прачечная? — возражала Лилли.— Я буду стирать простыни и наволочки, как миссис Питерс.

— Но у тебя освободится время для других дел,— убеждала девушку пожилая леди.

— Для каких?

— Ты могла бы учиться, например совершенствовать свой французский.

— С этим покончено,— решительно сказала Лилли.

Мисс Дэлглиш пропускала мимо ушей все, чего не желала слышать, она не считалась ни с какими доводами, если была уверена в своей правоте.

— У тебя останется время для занятий,— твердила она.— Тебе не нужно выполнять все обязанности миссис Питерс. Я найму кухарку.

— Я буду готовить сама,— настаивала Лилли.— Мы же договорились.

— Но мы не договаривались о том, что ты будешь изнурять себя.

Лилли молча отвернулась. В дальнейшем она стирала и готовила без чьей-либо помощи. Но так как Лилли отказалась учиться, пожилая леди заставила девушку читать ей вслух по два часа в день, и Лилли отнеслась к этому с таким же равнодушием, с каким прежде принимала подарки мисс Дэлглиш — новые платья, чулки, туфли.

Лилли была предельно пунктуальной. Она приходила и уходила минута в минуту. Фактически она работала всю неделю, кроме воскресенья, по двенадцать часов в сутки, а ведь ей надо было еще ухаживать за матерью. Каждое утро Лилли одевала ее, разжигала печь, готовила завтрак, мыла посуду, убирала постели и оставляла обед, которым кормила мать днем. Миссис Стьюбек совсем ослабела, даже летом, беспомощная и полусонная, она целые дни просиживала в кресле перед горящей печкой. Иногда, когда Лилли уходила, больная принималась плакать, боясь, что дочь бросила ее навсегда, но ни разу миссис Стьюбек не пожаловалась на здоровье или одиночество.

Я теперь редко видел Лилли, так как мисс Дэлглиш позаботилась о дровах для Стьюбеков, поэтому мне незачем было спускаться на Мыс. Порой я встречал Лилли по субботам, когда она обегала магазины, делая покупки для себя и мисс Дэлглиш. На ее щеках полыхал румянец, она выглядела собранной и даже довольной, будто нашла себе наконец дело по душе. Она уже не казалась прежней замарашкой. Лилли опять носила чистые, глаженые платья. Ее волосы отливали мягким блеском. Лилли все больше напоминала мисс Дэлглиш, и не только своим поведением за столом; странно, что она даже ходила как пожилая леди — твердыми, уверенными шажками.

Лилли расцветала на наших глазах, меж тем пожилая леди заметно увядала. Однажды субботним утром мисс Дэлглиш все-таки показалась на улице вместе с Лилли. Держалась пожилая леди прямо, но опиралась на трость и двигалась очень медленно. Однако вид у нее по-прежнему был властный, будто вовсе не Лилли вела ее, а она — Лилли. Разговаривали они теперь редко, и Дороти (кроме нее и доктора Уоллеса, почти никто не наведывался в старый особняк) сказала мне, что мисс Дэлглиш и Лилли похожи на двух заключенных.

— Они точно скованы одной цепью, Кит,— рассказывала Дороти,— но все делается у них молча, без единого слова. А если они и разговаривают, то кажется, что главное как раз и остается невысказанным. Только друг без друга они не могут. Точно срослись.

Пожалуй, Лилли могла бы так жить бесконечно долго, если бы не заболела. Природа одарила ее крепким здоровьем, но Лилли слишком небрежно относилась к себе (до себя у нее просто не доходили руки); ее мог уложить в постель только серьезный недуг, однако все началось с пустяковой царапины.

Возле Мыса вечно валялись заляпанные илом обрывки колючей проволоки; однажды вечером Лилли заполняла кухонный бак водой, которую носила ведрами с реки, и случайно наступила на виток ржавой проволоки, оставленный схлынувшим паводком; Лилли глубоко поранила ногу и обрадовалась, что была без чулок. Она с детства привыкла к ссадинам, порезам и, едва кровь переставала течь, не обращала на них внимания. И на этот раз, обмыв ногу и остановив кровь, Лилли забыла о ране, только надела черные чулки, чтобы скрыть ее. Прошло несколько дней, Лилли продолжала работать, но нога начала опухать. Лилли убеждала мисс Дэлглиш, что скоро все заживет, но к концу недели уже не смогла ходить. В воскресенье она слегла в постель с высокой температурой, а ночью уже металась в бреду. В два часа ночи, когда я спал на веранде, меня разбудил Джекки, толкнув локтем.

— Лилли очень плохо. Она бредит и не приходит в себя.

Я хотел сначала поднять маму или сестру, но не решился тревожить их. Я еще не знал, насколько серьезно у Лилли разболелась нога, и подумал, что Джекки зря переполошился. Однако я быстро натянул брюки поверх пижамы, надел ботинки на босу ногу и поспешил на Мыс по темным улицам.

— Ты разбудил свою маму? — спросил я Джекки.

— Зачем? — удивился он.— От нее никакой пользы.

Джекки провел меня в комнату, которую занимал вместе с сестрой. Комната уже не зияла пустотой, теперь там стояли две кровати, комод, гардероб, на полу лежал коврик. Я включил свет.

— Лилли этого не разрешает,— предупредил Джекки.

— Наплевать,— ответил я и с тревогой посмотрел на девушку. Одеяло едва прикрывало Лилли, спавшую в одних трусиках. Я в первый раз увидел обнаженную девушку, поэтому покраснел и не мог отвести взгляда от ее груди; затем поспешно накрыл Лилли одеялом. Ее голова и плечи ходили ходуном, а тело дергалось в судорогах. Я попробовал заговорить с ней, но она ничего не слышала, лишь что-то бормотала сквозь стиснутые зубы и громко стонала. Ее глаза оставались закрытыми.

— У нее болит нога,— сказал Джекки.— Видишь, как разнесло.

Мне не хотелось откидывать одеяло, чтобы рассмотреть ногу, но Джекки сам приподнял его, и я заметил, что левая нога Лилли раздулась и стала лиловой от лодыжки до колена.

— Господи! — вырвалось у меня.— И давно это у нее?

— Два дня,— ответил Джекки.— А вчера ей сделалось совсем плохо.

Бесполезно было спрашивать у Джекки, ходила ли она к доктору или в больницу; я твердо знал, что Лилли необходимо срочно показать врачу и нужно не мешкая доставить его на Мыс. Я был настолько потрясен видом бредившей Лилли, что изо всех сил пустился вверх по холму к дому мистера Диксона. Было около трех часов ночи. Я долго нажимал на кнопку звонка, пока миссис Диксон не спросила из-за двери:

— Боже мой, да кто же это?

— Это я, Кит Кил, миссис Диксон.

— Что случилось, Кит? Мама заболела?

— Нет, миссис Диксон. Лилли Стьюбек плохо.

— Опять эта Стьюбек... Нет, Кит. Сейчас ночь.

— Ей совсем плохо,— не отступал я.— Срочно нужен врач.

Миссис Диксон раздраженно распахнула дверь и спросила, что же такое произошло. Я рассказал ей все, что видел.

— Подожди здесь, Кит,— проговорила миссис Диксон.

Через несколько минут, на ходу надевая халат, на пороге показался доктор Диксон; он обругал меня занудой и попросил описать симптомы, сомневаясь, что Лилли действительно серьезно больна.

— Расскажи подробнее.

Я повторил про бред, судороги и распухшую ногу.

— Омерзительное место,— пробурчал мистер Диксон. — Я же говорил, что там нельзя жить.

Доктор велел мне подождать и через пять минут вышел из дома с двумя чемоданчиками, один из которых протянул мне. Мы уселись в «крайслер».

— Не хлопай дверцей,— сказал мистер Диксон. — А то собаки поднимут весь город.

Он спросил, как я попал ночью на Мыс; пришлось признаться, что Джекки разбудил меня на веранде.

— На прошлой неделе этот чертенок пытался всучить жене мешок конских яблок для нашего сада, он стащил его ночью из конюшни мистера Стюарта. Если они держат навоз у себя на Мысу, то девушка могла подхватить столбняк, и тогда ей конец.

— Вряд ли она прикасалась к мешку,— сказал я доктору.

— Откуда тебе известно?

— Это забота Джекки, а не Лилли,— ответил я.

— Надеюсь. Похоже, что у Лилли заражение крови.

До сих пор не могу забыть эту поездку через спящий город. Мы разбудили собаку и раздавили заметавшуюся кошку, переходившую пустынную дорогу. Мне вдруг стало страшно среди темных и тихих улиц; я поверил, что Лилли может умереть. О столбняке, пока о нем не упомянул доктор, я не думал; в те времена столбняка панически боялись в нашем захолустье. Заразиться им было все равно что плыть по реке во время паводка или получить дозу яда от тигровой змеи. Столбняк означал неминуемую смерть.

Прибыв на Мыс, мистер Диксон не удивился тому, что миссис Стьюбек продолжала спать, а у постели больной сестры дежурил маленький Джекки. Врач отправил меня на кухню. Через несколько минут он вышел из комнаты и спросил у Джекки, где Лилли так глубоко порезала ногу. Узнав о колючей проволоке, врач осмотрел грязные трехпалые руки мальчика, повернув их ладонями вверх, и покачал головой.

— Она трогала навоз, который ты приносил моей жене?

— Лилли даже ничего о нем не знает,— ответил Джекки.

— Не лги. Возможно, у твоей сестры столбняк.

— Правда,— уверял Джекки. — Она его в глаза не видела.

— Хорошо. Будешь помогать мне, Кит,— распорядился мистер Диксон и попросил Джекки растопить печь, чтобы вскипятить воду.— Но только в чистой кастрюле.

Остальную часть ночи мистер Диксон провел в напряженной борьбе с опасным недугом, привычной для провинциального врача в те времена, когда еще не открыли антибиотиков, а случаи травматизма в нашем штате Виктория были нередки; я впервые понял, каким безвольным и слабым может стать человеческое тело и насколько тонка и непрочна нить жизни. За одну ночь гордая, неукротимая Лилли, моя сверстница, которую я помнил еще крепкой маленькой девочкой, превратилась в пленницу болезни. Какая-то могучая злая сила приковала ее к постели.

Мне пришлось держать Лилли за руки и голые плечи, пока доктор Диксон чистил скальпелем рану на распухшей ноге; Лилли, хоть и оставалась без памяти, кричала от боли, поскольку анестезирующих средств не было.

— Слишком далеко все зашло,— проговорил доктор, приказав мне сесть на здоровую ногу Лилли, а сам опять принялся орудовать скальпелем.

Я все-таки не был столь близок с Лилли, чтобы совсем расклеиться, но ее стоны и бред, а позднее записи в дневнике позволили мне увидеть Лилли в истинном свете — такую знакомую и незнакомую.

Передо мной лежала обыкновенная семнадцатилетняя девушка — полуобнаженная, очень больная; я слегка придавил коленями ее ноги.

— Навались всем телом,— приказал доктор Диксон,— постарайся, чтобы она не двигалась.

Лицо Лилли казалось совсем беззащитным, исчезло обычное выражение настороженности. Однако я знал, что, даже беспомощная, Лилли была полна жизни, а не смерти, и решил, что она не умрет.

Второй чемоданчик доктора Диксона был набит бинтами и ватой, он вытирал гной, стерилизовал рану и останавливал кровотечение. Занимался он этим бесконечно долго. Наконец доктор свернул огромный тампон, приложил его к ране и начал накладывать повязку. Я держал ногу Лилли на весу.

— Брось всю эту дрянь в печь и сожги,— велел доктор Джекки. На полу валялась грязная вата. — И вымой руки.

— Лилли поправится? — спросил Джекки, он был испуган и казался совсем маленьким.

Джекки пришел в комнату, услышав стоны сестры, и видел самую тяжелую часть операции.

— Вы ей не отрежете ногу?

— Надеюсь, все обойдется, Джекки,— успокоил его мистер Диксон и повернулся ко мне: — Ее нельзя оставлять здесь. Она нуждается в постоянном уходе.

— Вы можете позвонить мисс Дэлглиш? — спросил я.

— Сейчас еще ночь.

— Тогда рано утром.

— Хорошо. Но тебе придется посидеть с Лилли, Кит. Я немного почистил рану, и Лилли сейчас чуть лучше, но кто-то обязательно должен присмотреть за ней; на миссис Стьюбек нельзя положиться.

Казалось, Лилли стало легче, она утихла; на самом деле она просто выбилась из сил; Лилли вся горела и вздрагивала во сне.

— Хорошо, останусь,— согласился я, польщенный дружеским тоном доктора Диксона.— Это столбняк?

— Нет. Правда, сначала меня обеспокоили судороги. У Лилли сепсис в тяжелой форме, она может потерять ногу. Гангрена. Нужно перевезти ее в больницу или тщательно ухаживать за ней дома, а здесь некому заботиться о Лилли. Я поговорю с мисс Дэлглиш. Хочешь, я позвоню твоей матери и предупрежу, что ты на Мысу, или она знает?

— Нет, я ей ничего не сказал, но не беспокойте ее до восьми часов.

— Ладно. Возьми полотенце, намочи его в миске с водой и вытри Лилли лицо. Приведи ее немного в порядок. У тебя сейчас экзамены? Выпускные?

— Послезавтра. То есть завтра.

— Тогда смотри, сможешь ли ты подежурить, пока я кое-что утрясу утром. Ты здорово помог, Кит. Она твоя девушка?

Я замотал головой, и доктор Диксон рассмеялся.

— Честное слово,— убеждал я.— Между нами ничего нет.

— Значит, она девушка Девлина, нашего репортера?

Все знали, что Девлин каждый день приходил к Лилли. Над ними уже смеялись в городе.

— Пожалуй, она ничья,— сказал я.

— Пожалуй,— загадочно улыбнулся доктор и вышел из дома, а Лилли вдруг открыла глаза и, увидев меня, вроде бы удивилась, но тут же опустила веки и погрузилась в горячечный сон.

18

Мисс Дэлглиш приехала на «мармоне» с мистером Мэлоуном в половине девятого утра; еще не войдя в дом, она окликнула меня:

— Ты здесь, Кит?

— Да, мисс Дэлглиш,— ответил я.

— Где Лилли? — проговорила мисс Дэлглиш с порога.

— Тут,— указал я на комнату Лилли.

— Идите сюда,— велела пожилая леди мистеру Мэлоуну, а потом спросила: — Она очнулась?

— Еще нет. Только один раз открыла глаза.

— Тогда давайте побыстрее,— решила мисс Дэлглиш.— Мистер Мэлоун, вы сможете поднять Лилли и донести ее до автомобиля?

— Наверное, мисс Дэлглиш, но, по-моему, она без сознания.

— Лилли спит,— пояснил я.

Лилли дышала глубоко и устало, но уже не бредила, ее совсем недавно красное, горячее лицо побледнело, жар прошел.

— Надо завернуть Лилли в одеяло,— сказал я.

Мисс Дэлглиш лучше меня знала о привычках Лилли и, когда мистер Мэлоун взял больную на руки, аккуратно подоткнула одеяло со всех сторон.

— Куда вы уносите Лилли? Что вы делаете? — закричал Джекки, войдя в комнату.

— Лилли нужен уход,— ответила мисс Дэлглиш.— Ей нельзя оставаться здесь.

Хотя я заранее предупредил Джекки о том, что Лилли увезут, он уцепился за одеяло, когда мистер Мэлоун понес ее к машине.

— Не трогайте ее! — кричал Джекки, не отпуская одеяло.

— Быстрее,— торопила мисс Дэлглиш.— Кит, скажи ему что-нибудь.

— Так нужно, Джекки. Лилли придется увезти.

— Зачем? — удивился мальчик.— Я буду ухаживать за ней.

— Ты не справишься.

— Вы же ее везете не в больницу, а к себе.

Мисс Дэлглиш не обращала на Джекки внимания; когда мистер Мэлоун проносил Лилли через кухню, появилась миссис Стьюбек. Она проспала всю ночь и не знала, что произошло, и тут вдруг увидела бесчувственную, ослабевшую Лилли на руках у мистера Мэлоуна.

— Это же Лилли,— пробормотала миссис Стьюбек.

— Да, миссис Стьюбек,— ответил я.— Она заболела.

Миссис Стьюбек с неожиданной силой схватила меня за руку, и я вспомнил о ее расправах над дочерьми, когда доставалось и Лилли.

— Почему ее увозят? — спросила миссис Стьюбек.— Что случилось?

— Лилли заболела,— повторил я.— У вашей дочери заражение крови, и ее нельзя оставлять без ухода.

Я довольно долго не был на Мысу и, хотя знал о том, что миссис Стьюбек не в себе и очень ослабела, поразился, увидев ее теперь. Глаза миссис Стьюбек выкатились, под ними залегли темные круги, отчего дряблое лицо казалось почерневшим. На ней был просторный халат, но я все равно заметил, что она еще больше усохла и согнулась. Руки у нее исхудали и стали похожи, как и у Джекки, на клешни.

— А кто приготовит чай? — жалобно спросила она.

— Не знаю, миссис Стьюбек, Лилли не может.

— Ее везут в больницу?

— Не знаю,— ответил я.

Тем временем Лилли уже устроили на заднем сиденье «мармона». Я ждал, что мисс Дэлглиш попрощается с нами, но в дом она не вернулась. Она села рядом с Лилли, заботливо поддерживая ее. Неожи-

данно Джекки попытался остановить машину, с отчаяньем вцепившись в дверцу.

— Сейчас же отойди,— прикрикнула мисс Дэлглиш.

Она захлопнула дверцу и приказала мистеру Мэлоуну побыстрее трогать. Мы остались втроем на пороге кухни, провожая взглядом «мармон», который скрылся за холмом.

— Завтра ее привезут обратно? — спросила миссис Стьюбек.

— Она вернется, когда поправится,— пообещал я.

Миссис Стьюбек заплакала, и я на мгновение растерялся. До сих пор я думал лишь о том, как помочь Лилли, но теперь, когда ее увезли, мне стало нестерпимо жалко ее мать и брата.

Джекки ни на что не жаловался и о себе не беспокоился. Он решил (а я не посмел возразить) не ходить в школу.

— Надо сегодня за ней присмотреть,— сказал он, кивнув на мать.

— А справишься? — удивился я.— Что ты будешь с ней делать?

— Дам ей чаю и накормлю завтраком. Потом приготовлю обед. Она ничего не может делать, Кит. Только сидит целыми днями и ждет Лилли.

— Ну, Лилли теперь не работник,— сказал я.— За ней самой надо ухаживать.

— Ты думаешь, она не вернется? — спокойно спросил Джекки, засовывая в печь остатки грязной ваты.— Ей отрежут ногу, да?

Я сказал мальчику, что все будет хорошо, хотя понимал, что при гангрене надежда на благополучный исход была невелика. Миссис Стьюбек уже устроилась в кресле, не переодев длинную ночную рубашку. Она совсем забыла обо мне; когда я вышел из дома Стьюбеков, меня преследовал едкий запах жженой ваты. Мне предстояло рассказать родителям о событиях этой ночи и убедить маму, что помочь Лилли она ничем не может.

Раз уж за Лилли захлопнулись большие ворота, мисс Дэлглиш никому не отдаст ее, поэтому я не удивился, услышав от доктора Диксона, что мисс Дэлглиш дни и ночи проводит у постели Лилли, которая нуждалась в заботливом уходе. Рана должна была оставаться сухой и стерильной, а для этого приходилось часто менять повязку. Мисс Дэлглиш не могла теперь обойтись без помощницы и послала за миссис Смит.

Мисс Дэлглиш делала все, что было в ее силах. Жизнь в особняке снова вошла в прежнее русло, Лилли была окружена непрестанной заботой. Мисс Дэлглиш никого к ней не допускала.

— Не нужно ее беспокоить,— отвечала она на все просьбы.— Сейчас к ней никому нельзя.

— Наверное, Лилли очень плохо,— предположила Дороти,— иначе она позвала бы меня, чтобы спросить о матери и брате.

Моя мама пыталась хоть как-то помочь Стьюбекам, но этому воспрепятствовал отец.

— Только не ты,— предупредил он.

Отец с пеной у рта защищал в суде любого, кто пострадал от несправедливости, но оказывался самым заурядным обывателем, когда что-то нарушало покой его семьи.

— Я не желаю, чтобы ты брала на себя ответственность за Стьюбеков,— твердил он маме.

Однако нельзя было бросать их одних; несколько человек в городе беспокоились о Стьюбеках, но выход из положения оказался неожиданным и довольно странным. Заботу о Стьюбеках взял на себя Девлин, который переехал на Мыс. Несмотря на то что у нас посмеивались над ним, он продолжал делать свое дело с неослабевающим упорством, и мы скоро забыли о миссис Стьюбек и Джекки, нетерпеливо ожидая вестей о Лилли, оставшейся за высокой деревянной оградой.

Девлин приобрел подержанный мотоцикл с коляской, и нам нравилось смотреть ему вслед, когда он летел по улицам в седле старенького «BSA», вскинув голову и держа руки на руле, а коляска неслась рядом как бы сама по себе. Дев управлял мотоциклом крайне небрежно, и мы каждый раз ждали, что руль вот-вот вырвется у него из рук и мотоцикл выкинет какой-нибудь фортель. Девлин вперивался в дорогу, но это отнюдь не означало, что он действительно видел повороты или препятствия. Тем не менее ездил Девлин благополучно и, убежденный, что доберется до цели, и впрямь добирался.

До сих пор я не особенно много рассказывал о Деве, который стал частым гостем на Мысу. До болезни Лилли он бывал там по крайней мере раз в неделю вечером и почти каждое воскресенье. Мы привыкли видеть Лилли в коляске, а Джекки на заднем сиденье мотоцикла, несущегося в Нуах. Лилли и в помятой коляске оставалась сама собой. Она казалась отрешенной, такой же далекой от Дева, как дóма или на улице. Однако что-то объединяло всех троих, и Лилли, подобно брату, с удовольствием отправлялась на эти прогулки. В отличие от нас, она не боялась опасной небрежности Девлина за рулем, и это говорило о том, что она ему доверяла.

Девлина не было у Лилли в то воскресенье, когда она заболела, потому что он гостил у Джека Хейеса, птицеферма которого находилась в двадцати милях от нашего города; старина Джек был рационалистом, последователем Джозефа Мак-Кейба [1] и сэра Джеймса Фрейзера[2]. Они с Девлином любили поспорить о первобытных племенах, которым Фрейзер посвятил свою «Золотую ветвь». Дев считал, что первобытная община несет в себе черты утопии, которые он искал и нашел у Фрейзера. А Джек доказывал, что любая религия и ее обряды имеют в своей основе примитивный тотемизм, суеверия и социальное принуждение. Словом, Девлин пребывал в своей стихии, беседуя с товарищем в старой, крытой железом хижине, пропахшей грязными яйцами и птичьим кормом, и я не знаю, что было бы с Лилли, если бы он не философствовал в тот день, когда она металась в бреду. Как бы он поступил?

Прошла неделя, прежде чем Девлин решил переехать к Стьюбекам, и все это время люди, узнав о болезни Лилли, помогали ее матери и брату. У Лилли всегда были тайные доброхоты; обычно они передавали на Мыс кастрюли с едой или старую одежду, хотя поношенные блузки и платья, конечно, не могли избавить Стьюбеков от нищеты. В Сент-Элен было два благотворительных общества при разных церквах; некоторые женщины посещали Мыс (позднее я узнал от мамы, что их просила помочь Стьюбекам мисс Дэлглиш).

Однако никто в Сент-Элен не хотел жить со Стьюбеками под одной крышей; несмотря на перемены, Мыс по-прежнему считали у нас подозрительным местом. Да и Стьюбеки слыли «цыганами». Дороти Мэлоун переселилась бы на Мыс, если бы ей не запретили родители — ведь мы сдавали выпускные экзамены. Пока Девлин не перебрался туда, мы с Дороти почти каждый день навещали миссис Стьюбек и делали все, что могли: топили печь, мыли посуду, Дороти ухаживала как умела за миссис Стьюбек, даже умывала ее и причесывала.

Девлин избавил нас от угрызений совести; через несколько дней после его переезда на Мыс Джекки возобновил занятия — Девлин уговорил мальчика посещать школу, пообещав отвозить его туда на мотоцикле. Неизвестно как, но Девлин, не повышая голоса, сумел убедить миссис Стьюбек одеваться по утрам; он не только готовил завтрак и обед, но еще стирал и убирался. Дев оказался примерной

---

[1] Джозеф Мак-Кейб (1867—1955) — английский философ-рационалист.

[2] Джеймс Джордж Фрейзер (1854—1941) — английский ученый, исследователь истории религии.

домохозяйкой, хотя трудно было этого ожидать от такого вроде бы растяпы. Заботы о Стьюбеках полностью легли на его плечи, и с этих пор благотворительность кончилась, словно он освободил всех от прежних обязанностей. Никто не сомневался: раз уж Дев взялся за дело, то доведет его до конца.

Дороти и я расспрашивали теперь его о Лилли, ибо он знал о ней больше нас. А когда мы с Дороти звонили мисс Дэлглиш, она отвечала односложно:

— Лилли слаба и не может подойти к телефону. Если ей станет лучше, я сообщу. Не волнуйтесь, она ни в чем не нуждается.

— А как ее нога, мисс Дэлглиш? — интересовался я.

— Еще гноится, рана пока мокнет. Трудно сказать что-то определенное.

Вот и все, что нам удавалось выяснить. Но Дев отличался репортерским упорством. Он расспрашивал о Лилли доктора Диксона и новую прислугу мисс Дэлглиш миссис Смит. Он не отставал от аптекаря, у которого покупались лекарства и вата. От Дева мы знали, что Лилли до сих пор очень больна, подавлена, целые дни лежит неподвижно на спине и ест только легкую пищу, что мисс Дэлглиш спит с ней в одной комнате и что Лилли совершенно безразлична ко всему.

Конечно, я беспокоился о Лилли, которая была моим другом, но еще больше меня беспокоили теперь экзамены, а когда они кончились, мне захотелось отдыхать, купаться возле Мыса, и я лишь изредка вспоминал о Лилли, ненароком взглянув на дом Стьюбеков или услышав голос Джекки, купавшегося тут же. Мне казалось, что жизнь бесконечна, как австралийское лето, и в ней нет места смерти. Кроме того, это было мое последнее беззаботное лето, а вдобавок ко всему я влюбился в Норму Милтон, которая занимала все мои мысли. Но когда Девлин позвал меня с берега, я догадался, что он хочет сказать мне что-то о Лилли; поэтому я бросил Норму и побежал к Стьюбекам.

— Можешь навестить Лилли в воскресенье,— сообщил Дев.— Мисс Дэлглиш приглашает тебя и Дороти. Приходите вместе.

— А ты был у Лилли?

— Нет, мисс Дэлглиш не разрешила. Она очень упряма.

Это был самый сильный упрек, на который был способен Дев, ибо по-настоящему он никогда никого не упрекал.

— Наверное, Лилли чувствует себя получше,— предположил я.

— Она еще не встает,— ответил Девлин,— но самое страшное уже позади.

— Значит, ногу ей не отрежут?

— С ногой пока по-прежнему. Кит. Больше я ничего не знаю.

Вечером я позвонил Дороти, которая договорилась с мисс Дэлглиш, что мы придем в три часа дня.

— Она дала нам полчаса, Кит, но поговорить с Лилли по телефону не разрешила.

В три часа в воскресенье мы дернули за шнурок звонка, но ворота оказались открытыми. Мисс Дэлглиш, опиравшаяся на трость, уже поджидала нас у парадной двери. Чистый, веселый Тилли с лаем бросился нам навстречу.

— Добрый день, Дороти. Здравствуй, Кит,— поздоровалась мисс Дэлглиш.— Дай мне, пожалуйста, цветы, Дороти, я поставлю их в вазу.

Дороти принесла пышный букет, а я пришел с пустыми руками, потому что отказался взять корзинку с персиками, которую приготовила мама.

— У мисс Дэлглиш есть для Лилли все, что нужно,— сказал я.— И потом не знаю, можно ли ей персики.

Дороти неохотно рассталась с цветами. Мисс Дэлглиш проводила нас в гостиную и попросила немного подождать.

— Будьте поосмотрительнее,— предупредила она,— не говорите лишнего, если Лилли спросит о матери и брате. Я сказала ей, что уход за ними хороший. Мистер Девлин заверил меня, что на Мысу все в порядке. Этого вполне достаточно.

— А как ее нога? — спросила Дороти.

— Рана заживет не скоро, но Лилли не потеряет ногу.

— Слава богу,— сказала Дороти.

Я прислушивался к разговору и незаметно наблюдал за мисс Дэлглиш. Она держалась прямо и была оживлена, словно заботы о Лилли всколыхнули в ней скрытый запас сил, которые еще недавно, казалось, были на исходе. Она хорошо владела собой, выглядела помолодевшей и напоминала прежнюю мисс Дэлглиш, которая справлялась и с домом и со школьными проблемами Лилли. Словом, сама судьба была, видимо, на стороне мисс Дэлглиш. Но если бы я знал правду о ее здоровье, я бы, наверное, понял, что для мисс Дэлглиш настало последнее «бабье лето», которое всегда бывает слишком коротким.

— Ты хорошо сдал экзамены, Кит? — поинтересовалась мисс Дэлглиш.

— Не особенно,— неопределенно ответил я, потому что говорить об этом не хотелось.

Мисс Дэлглиш задала тот же вопрос Дороти, пока мы вслед за ней медленно поднимались наверх. Дороти улыбнулась мне:

— Я, как Кит, мисс Дэлглиш, боюсь сглазить.

— Вы молодцы,— твердо сказала мисс Дэлглиш.— У вас все будет хорошо.

Вид больной Лилли поразил меня; я, наверное, не удивился бы так, если бы пришел в особняк сразу после событий на Мысу. Правда, мисс Дэлглиш слегка подготовила нас к тому, что Лилли очень ослабела, но то, что я увидел, подтвердило мои самые худшие опасения.

Лилли лежала на спине. Даже на Мысу, когда она металась в бреду и горячке, Лилли оставалась жизнестойкой, какой я знал ее всегда. Теперь она казалась совсем сломленной. Она выглядела бледной, притихшей, и по ее позе было видно, насколько она ушла в себя. Когда ей приходилось трудно, Лилли неизменно отгораживалась от всего, будто то, что происходило, касалось только ее. И сейчас Лилли вела себя точно так же. На ней была белая ночная рубашка из тонкого батиста и кружевное фигаро; этот наряд был столь необычен для Лилли, что я не мог оторвать от него глаз, и лишь потом обратил внимание на саму девушку. В спальне стоял тяжелый запах йода и дезинфицирующих средств, здесь было прохладно и довольно темно, так как в те времена для восстановления сил рекомендовался полумрак, впрочем, занавески были слегка раздвинуты, и мягкий летний свет как бы еще больше сгущал больничную атмосферу, в которой безраздельно царил властный ангел — мисс Дэлглиш.

— Здравствуй, Лилли,— сказала Дороти, я пробормотал то же самое.

Прежде чем ответить, Лилли взглянула на мисс Дэлглиш, и сразу стало ясно, насколько она уже привыкла к тому, что мисс Дэлглиш следит за ней и прислушивается к каждому ее слову.

— Поговорите об экзаменах,— предложила мисс Дэлглиш.

К кому она обращалась? К нам или к Лилли? Судя по всему, к нам, и я уже догадался, что пригласила нас сюда мисс Дэлглиш, а не Лилли, которая лежала сейчас замкнутая, без кровинки в лице; она никого не хотела видеть, я это заметил сразу.

Дороти, как и я, чувствовала себя скованно. Она немного помед-

лила и торопливо заговорила, будто старалась скорее заполнить пропасть, возникшую между нами.

— Лилли, экзамены были жуткие. Я смогла ответить только на пять вопросов по математике и ни слова не прочитала о проекте объединенной Европы, который выдвинул Питт Уильям Младший[1].

Лилли продолжала молчать, переводя взгляд с меня на Дороти, эти быстрые, выразительные взгляды, казалось, заменяли ей слова.

Дороти слегка дотронулась до моей руки, точно напоминая, что нужно быть поделикатнее и, главное развлечь Лилли.

— Ну а ты как себя чувствуешь, Лилли? — спросила она и присела на кровать.

— Встань с кровати, Дороти,— встревожилась мисс Дэлглиш.— А то заденешь больную ногу.

— Ой, извините! — воскликнула Дороти.— Совсем забыла.

— Садитесь сюда,— указала мисс Дэлглиш на стулья по обе стороны от кровати.

Мы сели. Присутствие мисс Дэлглиш меня угнетало, но Дороти улыбнулась своей обычной улыбкой и опять спросила, как Лилли себя чувствует.

— Хорошо,— ответила Лилли и снова бросила пронзительный взгляд на подругу.— Лежу вот...

— Нам рассказывали про тебя такие ужасы,— сказала Дороти.

— Могу себе представить. Я-то ничего не помню.

— Что говорит доктор? — поинтересовалась Дороти.

И на этот раз, прежде чем ответить, Лилли посмотрела на мисс Дэлглиш.

— Мне придется остаться здесь, пока не заживет нога.

— Надолго?

— Не знаю...— Лилли нахмурилась, и мы поняли, что ей неприятно говорить о своей болезни.— Врач сам не знает.

— Нога болит?

— Нет.

— Тебе повезло, что Кит оказался рядом,— проговорила Дороти.

— Доктор Диксон мне все рассказал.— Лилли взглянула на меня и одним этим взглядом сказала все то, что никогда не произнесла бы вслух.

Я знал, что сама она не спросит о матери и Джекки, поэтому сообщил, что на Мысу полный порядок, а Девлин великолепно управляется с хозяйством.

— Да, знаю.

— Хочешь, мы с Китом поможем ему? — предложила Дороти.

— Не надо,— отказалась Лилли.— Там все хорошо.

Это было уж слишком, холодность Лилли задевала нас, особенно Дороти, которая была очень вежливой девушкой, но именно душевность, отзывчивость и бесконечная чуткость придали ей храбрости, которой мне недоставало.

— Мисс Дэлглиш, вы не могли бы оставить нас с Лилли наедине? Втроем нам легче разговаривать,— сказала она мисс Дэлглиш.

Пожилая леди замерла на мгновение, будто вдруг почувствовала себя лишней в нашей маленькой компании с ее полудетскими секретами, жестокой отчужденностью. Дороти не хотела обидеть мисс Дэлглиш, но так уж получилось.

— Хорошо, Дороти,— проговорила мисс Дэлглиш.— Надеюсь, вы не станете утомлять Лилли. Я выйду из комнаты, но только минут на десять.

Лилли проводила ее взглядом, и, когда мы освободились от тягостного присутствия мисс Дэлглиш, Дороти ласково сказала:

---

[1] Питт Уильям Младший (1759—1806) — премьер-министр Великобритании в 1783—1801 гг. и 1804—1806 гг. Один из главных организаторов коалиции европейских государств против революционной Франции.

— Мы ведь и вправду можем чем-то помочь.

Лилли слабо качнула головой:

— Нет, ничем вы помочь не можете. Мне ничего не надо.

Дороти не сдавалась. Она заявила, что снова придет и почитает что-нибудь Лилли, однако та промолчала, не возражая, но и не соглашаясь. Дороти заговорила о школе, учителях, одноклассниках, миссис Стьюбек и наконец неохотно призналась, что к осени уедет из Сент-Элен:

— Поеду в Каслмейн, в конгрегацию Сестер милосердия.

В кошачьих глазах Лилли промелькнуло осуждение, но она промолчала.

— Прости, Лилли. Не стоило об этом сейчас.

Я видел, что Лилли не хочет поддерживать беседу, но Дороти сумела ее разговорить.

— Я думала, ты год подождешь,— тихо произнесла Лилли.

— Я так и собиралась. Но в конгрегации меня готовят в учительницы и советуют не прерывать занятий.

Лилли попыталась приподняться.

— Значит, монахиней ты не будешь?

— Буду. Мне предоставили выбор между миссионеркой и учительницей, и я выбрала школу. Пока учусь, буду послушницей, а уж потом...

Лилли снова легла, а Дороти так погрустнела, что я понял — пора оставить их вдвоем, пусть пооткровенничают, ведь у каждой были свои секреты, которыми они могли поделиться только наедине, верные дружбе, зародившейся еще в первые дни их встречи в классе Гудилы.

— Оставляю вас с вашими радостями и печалями,— неуклюже пошутил я, вставая со стула. Ничего лучшего я придумать не мог.

Девушки не стали меня задерживать.

— А ты тоже уедешь, Кит? — спросила Лилли.

— Вряд ли. Да мне и незачем.

— Да...— протянула Лилли, а потом мечтательно и даже загадочно добавила: — Сейчас лето.

Говорить мне было не о чем, я подождал немного и попрощался:

— До свидания, Лилли.

Она молча посмотрела мне вслед и, только когда я уже закрывал дверь, отозвалась:

— До свидания, Кит.

Я постарался избавиться от неприятного ощущения, которое вызывала у меня странная атмосфера, царившая в комнате Лилли. Спальня показалась мне слишком стерильной и тесной, поэтому я облегченно вздохнул, перешагнув через ее порог. Спускаясь по лестнице, я увидел Тилли и очень обрадовался ему. От избытка собачьих чувств он подпрыгнул, норовя лизнуть мне руку. Я крикнул мисс Дэлглиш, что ухожу.

— Подожди минутку, Кит,— откликнулась она, выйдя в очках из библиотеки.— Зайди, пожалуйста, ко мне, нам надо поговорить.

Я прошел за ней в библиотеку. На письменном столе Лилли все еще лежали учебники и раскрытые тетради. После полутемной спальни мне приятно было побеседовать здесь с мисс Дэлглиш, хотя первый же ее вопрос меня озадачил.

— Скажи, Кит, мистер Девлин чистоплотен?

Мисс Дэлглиш указала на кожаный диван, приглашая меня сесть.

В последний раз я видел Девлина, голого по пояс, возле кухонной двери Стьюбеков. Он мылился, скреб себя щеткой, черпал пригоршнями воду и тер лицо столь истово, будто от этого зависела чистота всего мира, о которой он мечтал.

— Тут он просто фанатик,— ответил я мисс Дэлглиш.— Другого такого во всем городе не найти.

— Мистер Девлин хочет навестить Лилли, а я боюсь, чтобы он не нанес микробов из того ужасного дома. Слишком уж он неряшливый.

— Но это не значит, что Дев нечистоплотен,— возразил я.

— Доктор Диксон говорит, что они торгуют конским навозом.

— Это не Девлин, а Джекки,— уточнил я.

— Этот мальчик...— мисс Дэлглиш сняла очки.— На прошлой неделе он перелез через ограду, чтобы украсть Тилли. Место! — прикрикнула она на встрепенувшегося песика.

Но Тилли упрямо сидел у моих ног. Мисс Дэлглиш вздохнула и попросила меня оказать ей одну услугу.

— Принеси мне, пожалуйста, вещи Лилли.

— С Мыса?

— Да. Я могла бы обратиться к Дороти. Но мне не хочется, чтобы она ходила туда. И потом ей будет тяжело нести.

— Что надо взять? — поинтересовался я.

— Все,— ответила мисс Дэлглиш.— Так ты поможешь мне?

— А Лилли об этом знает?

— Почему ты спрашиваешь, Кит?

— Она мне ничего не говорила.

— Она многого не знает. Вещи могут понадобиться. Лучше, чтобы их принес ты, чем кто-нибудь другой.

— Девлину проще,— предложил я.— У него мотоцикл.

— Я не хочу обращаться к мистеру Девлину. Я прошу тебя.

На самом деле мисс Дэлглиш просила меня стать на ее сторону. Мне было ясно, что Лилли не вернется на Мыс. Пожилая леди завоевала определенные преимущества и не собиралась от них отказываться. Разговаривая наедине с мисс Дэлглиш, я не мог сказать ей «нет». Да, честно говоря, и не собирался. Я искренне полагал, что выберу сторону Лилли, если помогу ей остаться у мисс Дэлглиш. Лилли было лучше жить в старом особняке, с возвращением на Мыс она ничего не обретала, а теряла все. Я даже забыл о Джекки, миссис Стьюбек и Девлине, сидя в уютной богатой библиотеке мисс Дэлглиш.

— Хорошо,— согласился я.— Завтра вечером принесу вещи.

— Лилли будет рада,— сказала пожилая леди.

Я ушел из особняка подавленный. Побывав у Лилли, я живо представил себе, как она неделями лежала в своей постели беспомощная, в полузабытьи, а мисс Дэлглиш, почти не оставляя ее ни на минуту ни днем ни ночью, была при ней сиделкой, которая не только меняла грязные бинты, но и мыла Лилли, подкладывала под нее судно (которое я видел под кроватью), кормила ее, переодевала, причесывала, читала ей вслух. Мне казалось, что прикованная к постели Лилли полностью потеряла волю к жизни. Она впервые утратила свою независимость и не знала, как ее вернуть.

20

Я думал, что мисс Дэлглиш в конце концов победила, а Лилли проиграла в их противоборстве, и, с тех пор как они отгородились от внешнего мира в особняке, полном напряженной тишины и невысказанных разногласий, Лилли просто покорилась воле мисс Дэлглиш. Девушка ничем не возмущалась, не возражала пожилой леди, да она и не чувствовала себя жертвой. Даже Дороти Мэлоун заметила, как изменилась Лилли. В отличие от меня Дороти не видела в этом трагедии, однако после второго визита к Лилли она с уверенностью сказала:

— Лилли никогда не вернется на Мыс, Кит.

— Откуда ты знаешь? — удивился я.— От нее?

— Нет, конечно нет. Но знаю...

— Не считает же она, что Дев будет жить там вечно.

— Мне кажется, Лилли совсем не беспокоится о родных, это так непохоже на нее.

— Пройдет,— сказал я.

— Не думаю,— возразила Дороти.

В душе я согласился с Дороти и отдал свои переменчивые симпатии миссис Стьюбек, Джекки и Девлину, которым восхищался. Он помог мне собрать вещи Лилли, аккуратно сложенные в новом комоде, и, даже увидев, что я забираю все, не задавал вопросов и не пытался меня остановить. Я чувствовал себя виноватым перед ним и облегченно вздохнул, когда передал потертый кожаный чемодан (весь в наклейках из Карлсбада, Вены, Парижа, Зальцбурга, Инсбрука и Гармиш-Партенкирхена) мисс Дэлглиш, которая не предложила мне подняться к Лилли. Да я и сам не хотел больше видеть ее в нынешнем состоянии.

Мне не терпелось узнать, о чем разговаривали Лилли и Девлин, которому мисс Дэлглиш все-таки разрешила навестить больную. Кстати, Лилли не упоминает об этом в своей черной тетради. Я пошел на Мыс и, застав Девлина на кухне, спросил, как себя чувствует Лилли, но он лишь ответил:

— Она велела мне взять собаку.

— Тилли?

— Тилли.

— И ты его забрал?

— Конечно, забрал.

— Удивительно, что мисс Дэлглиш не возражала.

— Может, и возражала. Я не знаю, Кит, о чем они разговаривали до моего прихода, но когда я передал мисс Дэлглиш просьбу Лилли, пожилая леди поднялась наверх и через несколько минут вернулась с собакой. «Берите его»,— сказала она. Я так и сделал.

— Ну а Лилли, как она себя чувствует?

Девлин был похож на Лилли: невозможно было понять, что он думает или переживает, ведь он никогда ни с кем не откровенничал. Если Лилли порой выдавала себя вспышками гнева, то простодушный Дев всегда оставался для нас загадкой. По взгляду его голубых внимательных глаз я понял, что он не может ответить на мой вопрос, потому что сам не знает, как себя чувствует Лилли. Я лишь вытянул из него, что она до сих пор лежит в постели, хотя ей давно пора ходить.

— Что ты знаешь о Джозефе Пристли [1], Кит? — спросил Дев.

— Только то, что он открыл кислород. Ты об этом Пристли спрашиваешь?

— Да, он открыл кислород. Но Пристли известен и как натурфилософ. Он говорил, что совершенство тела проявляется в его движении. Лилли должна встать, ей больше нельзя лежать в постели.

— Может быть, мистер Диксон ей не разрешает?

— Я сказал ему, что он неправ.

— А он что? — рассмеялся я.

— Не хочу повторять,— серьезно ответил Дев.

— Ты сказал Лилли, чтобы она вставала?

— Конечно.

— А она?

Девлин отрицательно покачал головой.

— Лилли начнет ходить, лишь когда сама захочет.

Он спросил, слышал ли я об эвдемонизме Пристли.

— Нет,— сознался я.— А что это такое?

— Это учение о том, что человек может быть поистине счастлив только тогда, когда все вокруг него тоже счастливы. Так считали древние греки.

— Ну а при чем здесь Лилли?

---

[1] Джозеф Пристли (1733—1804) — английский философ-материалист, химик, общественный деятель.

Девлин недоуменно посмотрел на меня:

— Ни при чем.

— Я думал, это как-то связано с тем, что Лилли не встает.

— Нет, о ней я уже все сказал,— заключил Дев.

У него была особая манера перескакивать в разговоре с одного на другое. Ты считаешь, что он продолжает свою мысль, а он уже перешел к новой.

Со временем я проникся к Девлину не меньшим интересом, чем к Лилли; мы привыкли, что он живет на Мысу и заботится о Джекки и миссис Стьюбек, и я даже допускал, что ему суждено еще долго оставаться с ними, если Лилли не захочет возвращаться домой, когда выздоровеет, ведь и такое могло случиться. Но жизнь рассудила по-своему.

Я знал, что Лилли не изъявляла большого желания меня видеть, и не ходил к ней. Но Дороти и Девлин часто бывали в особняке, и я справлялся у них о Лилли, впрочем, в ту пору у меня хватало своих проблем. Я кончил школу, неплохо сдав экзамены, и после жаркого лета мне предстояло чем-то заняться, при условии, конечно, что я найду себе занятие. Большинство моих сверстников слонялось без работы, и я пока не был исключением. Великая депрессия находилась в самом разгаре, переживал ее и наш город. Поэтому мысли о Лилли отодвинулись на второй план, хотя я продолжал следить за развитием событий в доме мисс Дэлглиш, от которых было трудно полностью отвлечься, ибо «трагедия» приближалась к развязке.

Если я восхищался Девлином, то почти всех в Сент-Элен восхищала самоотверженная мисс Дэлглиш; таинственный особняк по-прежнему вызывал любопытство, поскольку о нынешнем состоянии Лилли известно было мало. Но тайна оставалась тайной, пока Лилли не встала с постели и не начала выходить на улицу. Нас с Дороти возмущало то, что в городе мало кто сочувствовал Лилли, правда, в этом была повинна она сама, ибо никогда не благодарила за участие. Чего же ей было ждать теперь? Кое-кто даже поговаривал, что Лилли нарочно не встает с постели, дескать, ей бы следовало вернуться на Мыс и ухаживать за матерью и братом. Там ее место. Словом, типичная Стьюбек — бродяжка и «цыганка».

Однажды я повстречал Дороти на пыльной дороге, ведущей к Мысу, и она рассказала мне, что Лилли уже потихоньку передвигается на костылях, во всяком случае может сделать несколько шагов. Лилли явно выздоравливала.

— Уж не собирается ли она вернуться на Мыс? — спросил я.

Дороти покачала головой.

— Вряд ли, Кит,— печально ответила она.— Лилли просто заточила себя в особняке.

Я и сам так думал, поэтому хорошо понимал, что имела в виду Дороти.

В тот день я шел на реку, стояла жара, почти сорок градусов в тени, но Дороти никогда не купалась, не носила открытых платьев. Она готовила себя к тому, что считала своим призванием, и поэтому одевалась очень строго. Сейчас она шла к миссис Стьюбек.

— Девлин говорит, что миссис Стьюбек довольно плоха,— сказала она.

— Лилли спрашивает о матери?

— Нет, но Девлин ей обо всем рассказывает.

— По крайней мере, о Джекки нечего беспокоиться,— уверенно сказал я.

Мне было известно, что Джекки по-прежнему ходит по помойкам и Девлин не останавливает его.

— Джекки похож на маленькую Лилли,— сказала Дороти.— Он сумеет позаботиться о себе. Меня тревожит миссис Стьюбек.

Я вышел на берег реки, разделся и плюхнулся в воду; в купаль-

не было человек пятьдесят, не меньше. Вдруг я увидел Дороти. Она бежала вдоль забора из колючей проволоки к воде и махала мне рукой.

— Вылезай быстрее, Кит! — крикнула девушка.— У Стьюбеков что-то случилось.

Я выскочил на берег и начал вытираться полотенцем, не желая натягивать брюки на мокрое тело, но Дороти не переставала размахивать руками:

— Брось ты свое полотенце!

Я побежал к дому Стьюбеков в одних трусах, и, когда догнал запыхавшуюся Дороти, она взяла меня за руку.

— Кажется, миссис Стьюбек умерла,— сказала она.

— А где Джекки? — спросил я первое, что пришло на ум.

— Разве он не на реке?

В купальне было полно девчонок, мальчишек, взрослых, но Джекки я там не заметил.

— Наверное, купается,— ответил я.— Неужели миссис Стьюбек умерла?

— Не знаю. Поэтому и прибежала за тобой.

Я не хотел смотреть на уродливый восковой лик смерти, но Дороти пристыдила меня, и я вошел с ней в пустую комнатенку. Привыкнув после яркого солнца к полумраку, я увидел, что миссис Стьюбек лежит вытянувшись на кровати, ее дряблые руки застыли поверх одеяла, тусклое желтое лицо окоченело.

— Она совсем холодная,— проговорила Дороти.

Я никогда не видел мертвецов, но слышал, как они выглядят, поэтому сразу выскочил из комнаты.

— Миссис Стьюбек умерла,— сказал я Дороти, которая вышла вслед за мной.

— Что же теперь делать?

— С минуты на минуту приедет Дев.

— Думаешь, надо его дождаться?

— Нет, пойду за доктором Диксоном,— решил я,— а ты побудь здесь и дождись Дева.

— А как быть с Джекки?

— Он не поможет. Оставь его пока.

— Он ведь купается.

— Ну и что? — зло сказал я, ибо смерть всколыхнула во мне злобу на все на свете.— Он и без нас все узнает.

— Ладно,— согласилась Дороти.— Только возвращайся побыстрее.

Я оделся и побежал по холму, а потом по главной улице к доктору Диксону; неподалеку от его дома я увидел Девлина на мотоцикле; он направлялся на Мыс. Я окликнул его и замахал руками. Но Дев проскочил мимо: его голова, казалось, сама по себе летела по воздуху, глаза были устремлены вдаль. Наверное, он уже видел цель, к которой мчал его мотоцикл.

На мой звонок дверь открыла миссис Диксон; сбиваясь от волнения и оттого, что никак не мог перевести дыхание (я всю дорогу бежал), я рассказал ей о смерти миссис Стьюбек и спросил: «Где мистер Диксон?»

— Миссис Стьюбек умерла? — переспросила миссис Диксон.

— Да. Я сам видел.

— Там кто-нибудь есть?

— Дороти Мэлоун,— ответил я.— И наверное, уже приехал Девлин.

— Ну, Кит, это опять ты? — грубовато проговорил доктор Диксон, показавшийся в дверях.

У меня немного отлегло от сердца. Доктор велел мне вернуться на Мыс и передать, что будет через час.

— Пусть спустят шторы и закроют дверь, чтобы в комнате было прохладней. Если ты там не нужен, иди домой. Нечего попусту болтаться.

Этого он мог и не говорить. Я припустил назад и, прибежав к дому Стьюбеков, увидел Девлина, который вел Джекки с реки.

— Девлин решил ему сразу сказать,— вздохнула Дороти.— Все равно не скроешь.

— Может, Дев и прав,— согласился я, передал ей слова доктора насчет комнаты, где лежала миссис Стьюбек, и подождал, пока она все сделает так, как надо,— мне не хотелось снова видеть покойницу. Джекки пришел в облепивших его длинных трусах, за ним плелся Тилли. Джекки спросил у Дороти, где Лилли.

— Она еще не может ходить, Джекки.

— Она не приедет сюда?

— Нет. Во всяком случае, сейчас.

Девлин уже все рассказал ему; Джекки ни о чем не спрашивал, не плакал, не ждал, что его пожалеют. Но подходить ближе к дому он не захотел.

— Я туда больше не пойду,— сказал Джекки, повернулся и побежал обратно к реке, по пятам за ним следовал Тилли.

Мы растерянно смотрели ему вслед, будто он взвалил свое горе на наши плечи.

— Бедный мальчик,— проговорила Дороти.— Он ничего не понял.

Я-то знал, что Джекки все понял, только он решил, что без сестры ему тут нечего делать.

— Как быть с Лилли? — спросил я Девлина.

— Я сообщу ей,— сказал он.— Тут я и без тебя справлюсь, Кит. Иди домой.

На реку мне уже возвращаться не хотелось, и я оставил Дороти с Девлином ждать доктора Диксона. Они стояли в сгущавшихся летних сумерках у входа в кухню. Им, как и Джекки, не хотелось заходить в дом. Я подумал, что у меня теперь тоже вряд ли когда-нибудь появится такое желание.

21

Пожалуй, многие у нас ломали голову над тем, как поступит Лилли, узнав о смерти матери. Дороти забрала Джекки к себе, поскольку он боялся спать дома без Лилли и сказал, что проведет ночь на берегу реки. Похоронами занялся Девлин, и вскоре стало ясно, что деньги на них дала мисс Дэлглиш. Однако никто не знал вероисповедания миссис Стьюбек. Кому заказывать панихиду? Миссис Стьюбек никогда не посещала богослужений, впрочем, вскоре после приезда Стьюбеков ее видели воскресным днем вместе с Лилли и малышом Джекки у входа в методистскую церковь; похоже, она молилась.

Мы по-прежнему ничего не знали о Лилли; Девлин только сказал, что разговаривал с ней и что они решили заказать панихиду мистеру Армитиджу, пресвитерианскому священнику. Наверное, так посоветовала мисс Дэлглиш.

Вряд ли кто-нибудь из бедняков в нашем городе мог рассчитывать на похороны, каких удостоилась миссис Стьюбек. Правда, день был жаркий, и за ее катафалком ехали лишь я на велосипеде, Девлин и босоногий Джекки с Тилли на мотоцикле, а также Дороти, Лилли и миссис Дэлглиш в «мармоне» мистера Мэлоуна. Лилли не вышла из машины на Мысу. Она, как и Джекки, даже не взглянула на застывшее лицо матери. Процессия, которую я замыкал, поднялась на холм, обогнула город, миновала песчаную арену ипподрома, за которой начиналось поле для игры в гольф, и наконец добралась до кладбища. У нас шутили, что три смертных греха в Сент-Элен можно похоронить в одном месте.

Мы все чего-то ожидали от Лилли. У входа на кладбище гроб сняли с катафалка четверо служащих похоронного бюро мистера Рэнсома, до могилы предстояло идти довольно долго. Мы все смотрели на Лилли, которая вылезала из машины. От помощи она отказалась и на тяжелых деревянных костылях последовала за гробом мимо могильных плит и зарослей колючей феникс-травы, которая круглый год цвела на кладбище. Лилли была в трауре (удивительно, как мисс Дэлглиш сумела за один день все устроить) и выглядела несколько странно: бледная, в черном платье, она еще больше походила на цыганку, чем прежде, когда была смуглой и здоровой. Пожалуй, из-за того, что резче обозначились ее темные кошачьи глаза и черные волосы. А еще в лице Лилли появилось что-то злое, будто она (как и я) злилась на смерть, на себя, на весь мир, даже на траву и на всех нас.

Мы стояли у открытой могилы, куда на веревках опускался черный гроб. Лилли, опиравшаяся на костыли, что-то быстро сказала Джекки, который держался рядом с сестрой, поставив одну босую ногу на другую. Мы чувствовали себя неловко — слишком разные собрались тут люди. Преподобный Армитидж, необычайно строгий к мирянам — живым и мертвым, наспех пробормотал заупокойную, точно молитва была здесь совсем ни к чему. Мисс Дэлглиш тяжело опиралась на трость, за ней стоял мистер Мэлоун, готовый в любую минуту ее поддержать. Дороти встала рядом со мной. Мы смотрели на Лилли. Она не плакала, была спокойна и, казалось, лишь ждала конца похорон, которые, собственно, никого из нас не касались. Лилли даже не обращала на нас внимания. И как только траурная церемония завершилась, она повернулась и заковыляла к машине; Тилли увязался было за ней, но она выбросила его из «мармона», равнодушно выпрямилась на заднем сиденье рядом с мисс Дэлглиш, и мистер Мэлоун повез их в особняк.

22

Через два дня после похорон в пять часов вечера Лилли приехала на Мыс с Девлином на мотоцикле. Она сидела в коляске, прижимая к груди костыли, а позади Девлина виднелся старый кожаный чемодан мисс Дэлглиш, в который я недавно складывал вещи Лилли перед тем, как отнести их в особняк.

Я ловил рыбу чуть выше Мыса вместе с Джекки. Он присоединился ко мне с Тилли. Мы поднялись, услышав треск мотоцикла, и узнали пассажирку.

— Это Лилли со своими костылями,— сказал Джекки.

Мы наблюдали, как она старалась выбраться из коляски, у которой не было дверцы, неловкий Девлин не сумел ей помочь, и Лилли просто-напросто вывалилась наружу и упала на спину. Я вздрогнул, а Джекки весело рассмеялся.

— Пожалуй, Лилли вернулась совсем,— сказал я.

— Наверно, удрала от пожилой леди,— предположил Джекки.

— Думаешь?

— Пожилая леди запирала ее у себя, Кит. И никуда не разрешала ходить.

Джекки казалось, что мисс Дэлглиш нарочно не пускала к нему Лилли. Я думаю, что только так он мог себе объяснить, почему сестра оставалась в особняке. Но меня интересовало, как все-таки Лилли освободилась от настоящих пут, которыми связала ее мисс Дэлглиш.

— Ты знал, что Лилли приедет? — спросил я Джекки.

Он снова взялся за удочку, будто приезд Лилли не был для него неожиданностью.

— Откуда? — удивился Джекки.

Я не поверил ему. Я полагал, что Лилли предупредила его о своем возвращении еще на кладбище. Она, видимо, снова решила посе-

литься на Мысу, когда стояла у могилы матери; я точно не знал, почему Лилли опять покинула мисс Дэлглиш, но было ясно, что смерть миссис Стьюбек так или иначе освободила ее из-под власти пожилой леди.

Мы с Джекки пришли к старой лачуге, но я не зашел туда. Во дворе суетился Девлин, он развел огонь в старом баке из-под машинного масла, в котором сжигали мусор. Лилли была в комнате матери. Я увидел ее через распахнутое окно, она сидела на кровати. Услышав, что брат разговаривает с Девлином, она позвала его:

— Иди сюда, Джекки. Ты мне нужен.

— Зачем? — подозрительно спросил Джекки.

— Это мое дело. Иди сюда.

— Зачем? — повторил мальчик.

— Джекки, иди сюда,— приказала строго Лилли, и на сей раз он повиновался.

Я хотел расспросить Девлина о том, что произошло между Лилли и мисс Дэлглиш, но вместо этого у меня вырвалось:

— Что это она делает?

— Хочет все сжечь,— пояснил Дев.

Тут Джекки выбросил из окна большой узел. В нем были новое платье миссис Стьюбек, туфли, замызганные шлепанцы, поношенная одежда, которую дарили ей городские благотворительницы. Я увидел тряпки из разорванного нижнего белья, чулки, темные платья, залоснившуюся черную соломенную шляпу с изжеванными полями. Это старье было донельзя перепачкано, как и две целые простыни, такие грязные и покрытые пятнами, что даже Девлин не сумел их отстирать.

Я не стал помогать Девлину, а он подцепил палкой вещи и швырнул их в огонь. На пороге кухни показалась прихрамывающая Лилли без костылей, она прислонилась к дверному косяку. Лилли держала в руках небольшую деревянную шкатулку.

— Брось-ка это в огонь, будь другом,— попросила меня Лилли, поскольку я оказался рядом; по тому, как она это сказала, я узнал в ней прежнюю Лилли.

Шкатулка была похожа на школьный пенал. Она закрывалась выдвижной крышкой. Как и тряпье, она была грязная, в пятнах. Я догадался, что в ней хранилось все самое ценное и дорогое, собранное миссис Стьюбек за ее бродячую жизнь. Мне не терпелось рассмотреть, что там внутри, поэтому я не сразу сжег деревянный ящичек, а, сдвинув крышку, начал выкидывать оттуда постепенно в огонь вещь за вещью.

Много я не узнал, но кое-что для меня стало ясно. Сначала я увидел судебную повестку. Изучать ее не было времени, но я догадался, что в моих руках оказалось официальное извещение о том, что Мэтти взят под стражу. В шкатулке хранились и письма, я развернул их перед тем, как кинуть в огонь. На пожелтевшей рваной бумаге разбежались слова, написанные детским почерком, которые почти невозможно было разобрать. Здесь лежало с полдюжины фотографий. На первой была изображена одна из дочерей миссис Стьюбек — Грейс, Пэнси или Элис, дурачившаяся с кавалером на берегу реки. Были еще фотография могилы и снимок молодого Мэтти, одетого жокеем, он восседал на хилой лошаденке. На фотографии с загнутыми уголками красовалась миссис Стьюбек в небрежно надетой шляпе, молодая, полная и очень похожая на цыганку. Последним попался старый снимок, скорее дагерротип, деревенского каменного дома не то в Ирландии, не то в Шотландии, не то в Уэльсе. Я не мог разобрать надписи на фотографии и сунул ее в пламя. Со дна шкатулки я вынул пачку пожелтевших бумаг, перевязанных тесемкой, на миг поколебался — хотел сказать Лилли, что это, может быть, сви-

детельства о рождении, но ведь она не желала ничего знать о деревянном ящичке, поэтому я бросил в огонь и его и бумаги.

— Все? — спросил Девлин у Лилли.

— Да,— ответила она.

Пламени уже не было видно; из бака валил едкий дым, и Девлин, который собирался сжечь простыни, ворошил горящие бумаги.

— Ты чего-нибудь поймал? — поинтересовалась Лилли, в то время как я отворачивался от дыма.

— Рыбин пять или шесть. Хочешь, отдам тебе?

Она качнула головой, повернулась к порогу и заковыляла обратно в дом.

— До свидания, Кит,— коротко сказала Лилли, как обычно, когда не желала со мной разговаривать.

— Пока,— бросил я и побрел по холму домой, размышляя о Лилли. Казалось, будто она вновь неожиданно вернулась к прежней жизни, но я-то знал, что это было не так, ибо не забывал о мисс Дэлглиш.

На следующий день Лилли как ни в чем не бывало принялась за домашние дела в особняке. Девлин — он опять переехал в свой пансион — по утрам сажал Лилли, которая пока не расставалась с костылями, на мотоцикл и доставлял ее к большим деревянным воротам. Он подкатывал к ним снова в пять вечера и отвозил Лилли обратно на Мыс, все шло своим чередом, будто никогда и не было иначе.

Переезд на Мыс стал для Лилли освобождением, хотя для мисс Дэлглиш он означал нечто совсем иное, ибо с той поры она начала таять прямо на глазах. Мы не сразу это заметили, потому что редко ее видели. А если и видели, то всегда с Лилли во время их утренних субботних прогулок. Лилли вскоре избавилась от костылей и ходила теперь с тросточкой, поэтому на первый взгляд казалось, будто это ради нее мисс Дэлглиш нарушила привычное уединение.

Надо было видеть, как они запирали за собой большие ворота и неторопливо шли (обе с тросточками) по магазинам, на почту. Казалось, для Лилли и пожилой леди никого не существовало на целом свете, кроме них самих, они были настолько неразлучны, что даже посторонним бросалась в глаза их необъяснимая зависимость друг от друга. Как правило, они молчали, а если и говорили, то почти одинаковыми голосами, потому что Лилли все больше и больше походила на мисс Дэлглиш. Трудно было сказать, кто кого вел. Они напоминали пару, танцующую фокстрот, одна исполняла роль кавалера, другая — роль дамы. Когда Лилли еще вовсю хромала, темп задавала мисс Дэлглиш. Но по мере того как девушка набирала силы, мы замечали, что мисс Дэлглиш уже не поспевала за ней. И Лилли подчиняла ее себе. Уже Лилли заглядывала в магазины и решала, что купить; и когда мисс Дэлглиш поняла, что ведущей ей больше не быть, она перестала выходить на субботние прогулки и впредь не покидала дом за высокой деревянной оградой.

Если бы мы догадывались, как плохи ее дела, то проявили бы к ней больше участия. Но, привыкнув к тому, что она ведет замкнутый образ жизни, мы по-прежнему думали, будто здоровье ее несокрушимо: никому и в голову не приходило, что силы ее на исходе; шли недели, и Лилли незаметно стала и экономкой, и кухаркой, и сиделкой мисс Дэлглиш. А когда девушка начала передвигаться без тросточки, слегка прихрамывая, временная прислуга, миссис Смит, обнаружила, что для нее нет работы в особняке. Лилли не нуждалась в ее помощи. И теперь только старый мистер Уоллес (врач мисс Дэлглиш) да Дороти Мэлоун знали, что происходит за высокой деревянной оградой. Больше туда никому приходить не разрешалось, и о Лилли мне рассказывала Дороти, всегда бравшая с меня обещание помалкивать.

— Я буду с тобой откровенна, Кит. Но Лилли никогда мне не простит, если по городу пойдут сплетни.

— Какие сплетни?

— Разные. О том, как они там живут.

— А как они живут? Что-нибудь изменилось?

— Как тебе сказать, мисс Дэлглиш почти не встает с кресла. Только по утрам сходит вниз, а по вечерам поднимается в спальню, на большее у нее не хватает сил. И целый день сидит в библиотеке.

— А что делает Лилли?

— Все. Приезжает в восемь утра, помогает мисс Дэлглиш одеться, готовит завтрак, обед, убирается, в общем, ведет хозяйство. Туда попадаешь, Кит, как в глухой колодец.

— Так было и раньше,— сказал я.

— Пожалуй. Но теперь они совсем отгородились ото всех, а мисс Дэлглиш не может и шагу ступить без Лилли.

Лилли еще не знала, что дни мисс Дэлглиш сочтены (я и сам узнал об этом от Дороти гораздо позднее), а пока, хотя мисс Дэлглиш становилось все хуже и хуже, Лилли готова была к болезни долгой и затяжной, но не ожидала скорой смерти. Впрочем, трудно сказать, о чем на самом деле думала или догадывалась Лилли, поскольку она не написала об этом в своем дневнике. В ту пору она вообще его редко открывала.

Мы поняли, что мисс Дэлглиш опасно больна, когда Лилли навсегда покинула Мыс и вновь поселилась в особняке. Такие переезды всегда знаменовали серьезные перемены в ее жизни, а нынешний, как рассказала мне Дороти, был вызван тем, что мисс Дэлглиш нельзя уже было оставлять на ночь одну. Она больше не могла спускаться на первый этаж, и Лилли попросила Девлина перенести вторую кровать из своей спальни (ее втащили наверх во время болезни Лилли садовник и доктор Диксон) в комнату мисс Дэлглиш.

Лилли стала полновластной хозяйкой в доме. Родственники мисс Дэлглиш жили далеко от Сент-Элен и не могли за ней ухаживать. До сих пор помню ее старого кузена с огромной лысиной, который как-то приезжал к ней из Мельбурна на голубом «роллс-ройсе». У нас любили поговорить о племянниках пожилой леди, их хорошо знали в светских кругах Сиднея, Мельбурна, Аделаиды, потому что они принадлежали к другой ветви родового древа Дэлглишей — более именитой и могущественной. Но племянники никогда не навещали мисс Дэлглиш. Главное место в ее жизни занимали теперь Лилли, доктор Уоллес и поверенный Дж. К. Стрэпп, который вел дела пожилой леди и поэтому часто мелькал у ворот особняка. Конечно, доктор Уоллес и мистер Стрэпп могли найти сиделку и прислугу для мисс Дэлглиш, но она, должно быть, решительно этому воспротивилась: хотела, чтобы за ней ухаживала одна Лилли. Девушка играла теперь роль, отведенную ей судьбой, а точнее, пожилой леди с самого начала. Она останется с мисс Дэлглиш до последнего часа, пока та будет в ней нуждаться.

Но Лилли снова доказала нам, что не совсем покорилась воле мисс Дэлглиш. Вскоре после ее возвращения в особняк мы увидели, что там поселился и Джекки. В конце концов он присоединился к двум женщинам за высокой деревянной оградой; ночевал Джекки, по словам Дороти, в спальне Лилли, а сама она перебралась в комнату к мисс Дэлглиш. Дотошные горожане и просто сплетники останавливали Джекки, чтобы разузнать о мисс Дэлглиш, но он приводил их в недоумение, отвечая на все вопросы одно и то же: «Ничего не знаю. Ни разу не видел пожилую леди». Мальчик теперь бегал на посылках — в магазины, в аптеку, на почту, в банк за деньгами. Сама Лилли перестала выходить на улицу даже по субботам. Она снова оказалась запертой в особняке, только на этот раз выполняя миссию, давно ей уготованную.

— Как это ужасно и грустно,— сказала мне однажды Дороти.— Мисс Дэлглиш просто впивается в Лилли глазами. Она с трудом двигается, и Лилли часами ей читает, граммофон перенесли в комнату мисс Дэлглиш, поэтому им есть чем заняться. Они по-прежнему кажутся удивительно чопорными, холодными, хотя, как всегда, прекрасно понимают друг друга и без слов. Правда, кое-что изменилось, Кит,— мисс Дэлглиш умирает, и Лилли об этом знает.

Я очень хорошо помню ту последнюю неделю, потому что она началась для меня с обычного, бесконечно долгого выступления Девлина на углу улицы о его любимой утопии. В конце концов он дошел до Нагорной проповеди, и, хотя я довольно хорошо знал Новый завет, мне никогда еще не приходилось слышать, чтобы кто-нибудь трактовал пятую главу Евангелия от Матфея так, как наш Дев. Для него она стала философской основой будущего утопического общества, которое можно легко построить. В этой проповеди Девлин видел прежде всего нравственные критерии новой социальной системы, и он подробно останавливался на каждом, словно со временем им неуклонно будут следовать где-то на земле. Ведь блаженны же нищие, ибо их есть Царство Небесное. Не это ли главная мысль утопии? Он говорил о том, что блаженны кроткие, алчущие и жаждущие правды, милостивые и чистые сердцем. Вот добродетели тех, кого можно назвать «солью земли». И разве не безупречен для идеального общества наказ Христа — «не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую».

Это были последние слова, произнесенные Девлином на углу улицы, его прервал Джекки, прибежавший с поручением от Лилли.

— Давай быстрее! — подтолкнул он и меня своими сложенными клешней пальцами.— Лилли велела тебя тоже привести, если встречу.

— Зачем?

— Откуда я знаю? Она просила поторопиться.

Я сел в коляску, Джекки устроился за спиной Девлина, и мотоцикл с ревом понесся по главной улице к особняку. У Джекки были ключи от ворот. Когда мы вошли в дом, повсюду горел свет.

— Мы здесь! — крикнул Джекки, подойдя к лестнице.

Лилли сошла вниз и рассеянно посмотрела на нас, словно мы тут были ни к чему. Очень аккуратная, с чистыми, тщательно уложенными волосами, она, казалось, заранее выбрала платье, туфли.

— Я хочу, чтобы вы перенесли мисс Дэлглиш вниз, в библиотеку,— проговорила Лилли.— Поднимитесь со мной.

— И ты иди с нами, возьмешь подушку,— сказала она Джекки наверху.

Мы повиновались, не задавая лишних вопросов, и, когда я следом за Лилли вошел в спальню мисс Дэлглиш, у меня возникло странное ощущение, будто этот дом стал теперь для Лилли своим. Оно не исчезло, даже когда я увидел мисс Дэлглиш, которая лежала на кровати, поблескивавшей латунью, среди множества вещей и вещиц, в окружении которых протекали дни богатой старой девы; она жила в своем замкнутом, неведомом нам мире. Здесь были в основном картины французских модернистов, японская живопись по шелку, дорогие безделушки, на каминной полке стояли маленькие скульптурки; на стенах висело множество фотографий улыбающихся девушек и молодых людей; они были сняты группками или поодиночке на городских площадях, на фоне альпийских пейзажей, на гостиничных балконах курортов, у минеральных источников, перед фасадами дворцов, среди древних развалин. Это была комната воспоминаний о Европе, но теперь она же служила больничной палатой, и я заметил, что Лилли весьма ревностно исполняла здесь свой долг. Мисс Дэлглиш выглядела чистой, опрятной, постель была аккуратно расправлена, лекарства находились под рукой, да и вся комната была тщательно прибрана. Из-под кровати виднелось судно, на столике лежали

стопкой книги, стоял граммофон, рядом — стул, на котором, вероятно, сидела Лилли, когда читала или меняла пластинки. У двери была еще одна кровать, аккуратно заправленная, накрытая белоснежным покрывалом; на ней спала Лилли.

— Как они похожи,— подумал я, глядя на Лилли и мисс Дэлглиш.

Я подошел к кровати ближе, чтобы присмотреться к мисс Дэлглиш, и меня поразил ее изнуренный вид; лицо заострилось, глаза стали непривычно большими.

Лилли собрала ей волосы в маленький пучок, отчего она напоминала покойницу, но ее тонкие губы по-прежнему оставались строгими.

— Добрый вечер, Кит. Добрый вечер, мистер Девлин,— проговорила она.

— Добрый вечер,— ответили мы.

Даже эти несколько слов истощили ее силы. Она уже смотрела не на нас, а на Лилли, которая прикидывала, как поудобнее перенести больную вниз.

— Кит, ты сможешь поднять ее с постели один? — спросила Лилли.

— Пожалуй,— ответил я и шепнул: — Она совсем ослабела. Зачем ее тревожить?

— Так она захотела,— отрезала девушка.

Я не стал спорить:

— Ладно.

Лилли откинула одеяло, а я осторожно просунул одну руку под плечи, другую под талию мисс Дэлглиш и попробовал ее поднять. Она была почти невесомой, я почувствовал запах старческой кожи и усохшего тела. У меня на руках лежали прямо-таки косточки в ночной рубашке.

— Девлин, поддержи с другой стороны,— попросила Лилли.

Я приподнял мисс Дэлглиш, и Девлин поспешил мне помочь, но его руки запутались в ночной рубашке, мы наступали друг другу на ноги.

— Не надо,— простонала мисс Дэлглиш, словно он причинил ей боль.

— Отойди,— приказала девушка Девлину.— Кит справится сам.

Я вынес мисс Дэлглиш из комнаты и спустился вниз, держа ее на руках, легкую, будто узелок с тряпицами; интересно, что ей вспоминалось, когда наша процессия, состоящая из меня, Девлина и маленького трехпалого Джекки, двинулась вниз. Она не отрывала взгляда от Лилли, которая осторожно спускалась впереди лицом к нам и следила за каждым моим движением. Я бережно положил мисс Дэлглиш на большой кожаный диван в библиотеке. Лилли взяла подушку у Джекки, приподняла голову больной, поддерживая ее, пока мы укладывали мисс Дэлглиш поудобнее.

— Осторожно,— беспокоилась Лилли.

Она быстро накрыла мисс Дэлглиш одеялом, хотя вечер был жаркий; какое-то мгновение мы растерянно смотрели друг на друга, не зная, куда себя деть.

— Спасибо. Мне хорошо,— поблагодарила мисс Дэлглиш слабым шепотом, в котором невозможно было узнать ее прежний властный голос.

— Теперь идите,— сказала Лилли и велела Джекки закрыть за нами ворота.

Пожалуй, я уже тогда почувствовал, что мисс Дэлглиш не доживет до утра. Не знаю, почему она предпочла библиотеку спальне. Наверное, хотела умереть, не думая о смерти. Она хотела, чтобы везде горел свет, а главное, чтобы с ней была Лилли, и больше никто.

Я совсем не удивился, когда утром позвонила Дороти Мэлоун и сказала, что в два часа ночи мисс Дэлглиш умерла.

23

Это было значительным событием для нашего города. Присутствие мисс Дэлглиш всегда ощущалось здесь, даже когда мы видели ее лишь изредка. И вот теперь ее не стало. Множество народу перебывало в особняке, пока готовились похороны: городские власти, юристы, врачи, представители похоронного бюро. Было заметно, что слово Лилли в этом доме по-прежнему имеет вес. Именно она принимала всех, кто приходил сюда.

Адвокат Дж. К. Стрэпп позвонил в воскресенье мельбурнским Дэлглишам, и на другой день поездом прибыли два солидных джентльмена, чтобы проводить во вторник свою родственницу в последний путь. Они наведались в особняк, но не остановились там. Они отправились за реку к Эаризам, которые были в отъезде и специально вернулись на похороны. Во вторник утром большой катафалк-«додж» мистера Джеймисона выехал из ворот особняка, за ним вереницей потянулись легковые машины, грузовики, кабриолеты, мотоциклы со всеми значительными людьми города: врачами, адвокатами, чиновниками, владельцами магазинов и баров, торговцами и даже крупными фермерами, жившими по обе стороны реки; тут были мой отец, миссис Ройс, которой принадлежала местная газета, а также десятки людей, хотя и незначительных, однако имевших причины присоединиться к траурной процессии.

Была тут, разумеется, и Лилли.

Она сидела в коляске мотоцикла. Дороти сказала мне, что Лилли была приглашена в машину мистера Мэлоуна, но отказалась. Я ехал за мотоциклом Девлина на своем велосипеде; на кладбище к нам присоединилась Дороти Мэлоун, и спустя несколько минут мы уже замыкали длинную процессию важных джентльменов и дам, шествовавших за гробом к могиле. Лилли не надела черного платья, в котором хоронила мать, она была в темно-синем костюме с белой окантовкой. Полная сил и здоровья, она выглядела слишком свежей для подобного случая.

Лилли интересовала меня, пожалуй, больше, чем похороны, ибо всегда было трудно предугадать, как она себя поведет. Я помнил то ощущение на похоронах ее матери, будто мы лишние. Тогда она отлучила нас от себя. На сей раз вид у нее был едва ли не безразличный. Она не подошла к могиле, а стояла с нами в стороне, держа Дороти за руку, мы были за последними рядами толпы, откуда только слышали траурную церемонию, но ничего не видели. Кто-то, наверное мистер Стрэпп, пригласил парикмахера мистера Макинтоша, который в клетчатой юбке и с клетчатым пледом играл на своей волынке шотландские похоронные песни. Их заунывные звуки летели над старым кладбищем, почти зримые, словно вечерняя дымка.

Мы догадались, что церемония закончилась, когда народ начал расходиться. Я было тоже пошел с кладбища, но Лилли удержала меня:

— Подожди минутку, Кит.

Она крепко взяла за руки меня и Дороти, и мы вчетвером остались, а мимо к выходу потянулись люди. Некоторые раскланивались с Лилли — доктор Диксон, миссис Ройс, Эаризы и другие. Они смотрели на нас с любопытством, а мы не двигались с места. Наконец кладбище опустело, и мы увидели могильщиков, бросавших землю в глубокую яму. Я только сейчас почувствовал, как сильно Лилли сжала мою руку.

Мы слышали шум машин, мотоциклов, грузовиков, отъезжавших по песчаной дороге. Потом затихло шлепанье лопат, выравнивавших могильный холмик. Теперь возле него никого не было.

— Подведи меня туда, Кит,— попросила Лилли и, отпустив руку Дороти, пошла нетвердым шагом по тропинке к холмику, усыпанному бессмертниками, которые обычно росли в наших садах летом.

— А теперь ступай,— проговорила девушка.— Я вернусь домой сама.

— Отсюда идти две мили,— возразил я.— Ты не очень-то хорошо выглядишь.

— Ничего,— ответила Лилли.— Ступай, Кит, и захвати остальных.

— Хорошо,— согласился я наконец, но Лилли слегка подтолкнула меня.

Я сказал Дороти и Девлину, что Лилли хочет побыть одна. Они, правда, решили дождаться ее, но я убедил их не беспокоить Лилли, и мы неторопливо побрели к старым воротам кладбища, где напоследок обернулись.

Лилли стояла на коленях, или, нет, она просто сидела на корточках, точно ребенок, который приготовился ждать и слушать. Я вспомнил тот день, когда она вот так же сидела на поле мистера Хислопа и, словно маленькая дикарка, слушала, как засыпают помидоры. Сейчас лица ее не было видно, облик был спокоен, но я знал, что она осталась наедине с мисс Дэлглиш, как всегда, когда никто не мог их услышать, увидеть, узнать, что у них происходит. Конечно, ей нельзя было мешать.

— Бедняжка,— проговорила Дороти, вся в слезах. Она хотела вернуться к Лилли.

— Не надо, Кит прав,— сказал Девлин.— Не тревожьте ее. Все будет в порядке.

— Но это же ужасно,— всхлипнула Дороти.

— Пошли,— сказал я ей, взял за руку, и на дребезжащем мотоцикле Девлина мы уехали с кладбища, словно почувствовав себя незваными гостями, которым лучше незаметно исчезнуть.

Мы проехали совсем немного, всего лишь до ипподрома, когда увидели Джекки и Тилли.

— А где Лилли? — спросил Джекки, заметив в коляске Дороти.

— Она вернется сама,— ответила Дороти.

— Что с ней?

— Ничего особенного. Придет попозже. Садись позади меня,— предложил я.

Джекки обхватил меня руками, Тилли прыгнул в коляску к Дороти, а Девлин включил первую скорость. Он отвез сначала Дороти, потом Джекки (к мисс Дэлглиш), затем подъехал к моему дому.

— Как ты думаешь, Дев, что будет с Лилли? — спросил я, слезая с мотоцикла.— Что она станет делать?

— Честное слово, не знаю, Кит,— ответил Дев.— Скорее всего, она и сама не знает.

24

Лилли продолжала жить в старом доме, словно была наследницей мисс Дэлглиш, которая, собственно, этого и хотела.

Мистер Стрэпп огласил ее завещание: Лилли получала во владение с ограниченными правами дом и все, что в доме, а кроме того, весьма щедрую пожизненную ренту. В завещании было оговорено, что Лилли обязана постоянно жить в этом доме и поддерживать в нем порядок. Еще кое-что было завещано садовнику и миссис Питерс.

Если Лилли нарушит условия завещания, то наследницей объявлялась лондонская племянница мисс Дэлглиш. В приписке указывалось, что проживание в доме брата Лилли «Джона» не является нарушением условий, Мыс же надлежало продать.

Я рассмеялся, услышав за обедом от отца об условиях завещания:

— Значит, победа будет все-таки за ней!

— За кем? — удивился отец.— О чем ты говоришь?

— О мисс Дэлглиш,— пояснил я.— Лилли Стьюбек прекратит существовать ради второй мисс Дэлглиш. Этого и добивалась пожилая леди.

— Глупости,— ответила мама,— Лилли повезло. Подумать только, просто невероятно для девушки из такой семьи.

— В том-то и дело,— махнул я рукой, ибо никогда не мог объяснить родителям, какая она — Лилли.

Все в городе, кроме меня, считали, что ей невероятно повезло, Дороти Мэлоун тоже полагала, что подруга благодаря мисс Дэлглиш наконец-то получила то, чего заслуживала. Но я-то знал, что все здесь сложнее, чем кажется на первый взгляд, и поэтому не удивился, когда в следующее воскресенье к нам пришла ошеломленная Дороти и сказала:

— Лилли уехала, Кит. Они все уехали. Девлин тоже.

— Куда?

— Не знаю,— ответила Дороти.— Взяли да уехали.

— Лилли ничего тебе не сказала? — удивился я.

— Ничего. Совсем ничего. Лилли зашла ко мне вечером накануне отъезда и предупредила только, что из вещей мисс Дэлглиш возьмет лишь черную тетрадь, в которой та делала свои записи. И еще она просила передать тебе вот это.

Дороти протянула коричневый конверт, в котором лежала черная тетрадь самой Лилли, а в тетради я нашел листок, исписанный по-детски крупным почерком:

«Дорогой Кит! Я подумала, что это может тебя заинтересовать, ведь ты единственный, кто знает кое-что обо мне, не считая Дороти. Когда прочитаешь, сожги тетрадку. Лилли».

Дороти заплакала.

— Почему она это сделала, Кит? Почему она уехала?

— Из-за мисс Дэлглиш,— ответил я Дороти.— Это старая история.

— Но мисс Дэлглиш умерла.

— Только не для Лилли.

— Чепуха какая-то.

— Может быть...

Когда в городе стало известно об отъезде Лилли, многие говорили, что это обычная ее неблагодарность. Лилли отказалась от своего счастья, да и от дома. Мисс Дэлглиш напоследок позаботилась о Лилли, какое же та имела право отвергнуть столь щедрый дар?

Наверное, никто, кроме меня, не сумел бы ответить на этот вопрос, я-то знал, что Лилли не могла поступить иначе. Долгие годы она оказывалась у той самой черты, за которой благодарность переходила в зависимость. Лилли уже не раз приходилось решать свою судьбу, и теперь она сделала очередной выбор, каких немало ставила перед ней жизнь или мисс Дэлглиш. Ныне он означал: быть самой собой или второй мисс Дэлглиш. Немало людей попросту считали, что в Лилли проснулась «цыганка». Я же знал, что проснулись в ней те несокрушимые силы, которые и прежде поднимали Лилли на ноги, если судьбе, например в лице мисс Дэлглиш, удавалось поставить ее на колени.

Как ни странно, никто не удивился тому, что Девлин уехал вместе с нею. Он вечно слыл чудаком, и еще одним его чудачеством стало больше, только и всего. Девлин уехал так же незаметно, как и появился; он увез и свою утопию, и Лилли, и трехпалого Джекки, и Тилли. Но куда? Впрочем, какое это имело значение. Он оставил на станции большой ящик для пересылки в Бендиго, вот и все, что мы узнали.

Для нас они как бы исчезли с лица земли... Через полгода племянница мисс Дэлглиш вывезла всю обстановку из особняка, продав его миссис Ройс, которая в нем и поселилась. А спустя год я встретил счастливую Дороти в монашеской одежде, мы расспрашивали друг друга, не слышно ли чего-нибудь о Лилли, Джекки и Девлине, но уже догадывались, что следы их, вероятно, потеряны навсегда.

— И все-таки хочется узнать, как они живут,— сказала Дороти.

Мне и самому хотелось бы узнать, как они поживают, Девлин, веривший в утопию, и Лилли, не верившая в чудеса. Кем они стали друг для друга? Это зависело от Лилли. Если утопия увлечет ее, то именно Лилли укажет Девлину верный путь, но руководствуясь не Нагорной проповедью, а другим апостольским заветом, ибо у Луки где-то сказано, что, у кого нет меча, тому нужно продать одежду, но купить меч, а еще лучше два.

По-моему, Лилли и Девлин прекрасно подходили друг другу, и я благодарен им обоим, тем более что место Девлина в нашей газете досталось мне, и, чтобы завершить эту историю счастливым концом, скажу, что никогда не жалел об этом.

◆

ОГУЛЬЧАНСКАЯ ЛАРИСА ИГОРЕВНА

Советский переводчик с английского. В ее переводе публиковались книга рассказов Ф. Моуэта «Вперед, мой брат, вперед!» (М., «Известия», 1983), роман Э. Смит «Только раз в жизни» («ИЛ», 1982, № 4; первая часть), рассказ Д. Апдайка «Расставание» («ИЛ», 1984, № 5), очерки Г. Гриффина «Советские рубежи будущего» в сборнике «Зарубежные авторы по Советскому Союзу» (М., «Прогресс», 1983).

Из поэзии Ганы

■

Перевод с английского и вступление Е. ВИТКОВСКОГО

В 1957 году Гана обрела независимость, а 1 июля 1960 года была провозглашена республикой и получила свое нынешнее название. До того на картах Африки значилась экзотическая надпись «Золотой Берег», в стране хозяйничали англичане. Африка поставляла то, что было выгодно Европе: с Золотого Берега шло золото, с Берега Слоновой Кости — соответственно слоновая кость и так далее. С тех пор прошло четверть века, для африканских стран колониальные времена отошли в прошлое.

Но политическая независимость — это еще не гарантия быстрого решения экономических, социальных, культурных проблем даже в такой богатейшей стране, как Гана, в недрах которой за годы колониального владычества далеко не исчерпаны золото алмазы, марганцевые руды, бокситы. За истекшие четверть века в стране произошло несколько государственных переворотов, продолжается межплеменная рознь, не прекращаются попытки капитализма сохранить господство в экономической жизни страны.

«Братья мои, наше странствие будет долгим»,— говорит один из лучших поэтов современной Ганы, Кобена Эви Аква, и одноименная его поэма — развернутый комментарий к этим словам. Только ценой долгих усилий и братского единения можно разрешить проблемы, стоящие перед страной: накормить голодных, примирить ссорящихся, создать национальную промышленность, национальную культуру и, наконец, национальную литературу. В наши дни даже лучшим поэтам Ганы, таким, как уже упомянутый Кобена Эви Аква, молодой Сеттели Ашонг-Катай, давно известный у нас в стране Атуквей Окай,— всем им по большей части приходится ограничиваться публикацией своих произведений в периодике или же выступлениями по радио. Издать книгу стихотворений в Гане непросто тем, кто пишет по-английски, легче опубликоваться за рубежом, чем у себя на родине. Не хватает бумаги, типографского оборудования, денег, хотя государственный язык страны английский, значительная часть населения этим языком не владеет а процент грамотности на местных языках весьма низок. Поэтому и «сбыт» поэтической книжки в Гане отнюдь не гарантирован.

Но писатели Ганы продолжают создавать все новые и новые произведения. «Негде печататься — разве это важно? Мы все равно будем писать»,— сказал Окай в недавней беседе с автором этим строк Настоящий поэт не может не писать, какие бы трудности ни вставали между ним и читателем.

Доминирующим в современной ганской поэзии стал жанр поэмы. Представляем вниманию читателя две поэмы, принадлежащие перу двух ведущих авторов из этой африканской страны. Обе поэмы публикуются в журнальном варианте.

КОБЕНА ЭВИ АКВА

Братья мои, наше странствие будет долгим

■

Вдоль недостроенной автострады сознания,
обветшавшей и по-ночному пустой,
посредине дороги ступая неспешно,
нищий слепец прошагал, и палка его
истерта была, словно пест деревенской
старухи.

Он дом заложил, ожидая процентов свободы,
но дом загорелся, и слепец обнаружил тогда,
что полис его страховой накануне истек.
Он вещи свои заложил, справедливости ждал,
но всего-то узнал, что на месте пожара
даже мышам не осталось поживы.

Он шаркал рассеянно палкой по бровке шоссе,
как будто по скальпу планеты легко проводя,
шаги его плавными были — казалось, слепец
шагал по скорлупкам, боясь раздавить их при этом,
и так аккуратно ступал он одною ногой,
стараясь другою ступить еще аккуратней.

Могла ли земля накануне ему намекнуть,
ему, кого видела прежде бегущим по ней,
о том, что другую дорогу бы можно избрать?
Ибо небо плеснуло монетки свои дождевые
в иссохший сосуд его угасающей жизни,
который треснул, дно потерял, когда
слепец обмывал его в струйке воды у колонки.

Шестицилиндровый монстр у дорожной развилки
вдруг появился — при виде подобной машины
мотоциклы почтительно жмутся к стене
(уж людей и подавно такая громада не видит в упор),—
на дорожке соседней внезапно возникло такси,
чей водитель, заметив слепца вдалеке,
беспрестанно гудел ему, впрочем, без пользы,—
лимузин допотопный со ржавым капотом
остановился под визг тормозов.

Удивленный, среди незримых ему светофоров,
замер слепец, прислушиваясь потрясенно
к потокам неистовой брани,
что так щедро струились сейчас
в бездонный сосуд его угасающей жизни:

КОБЕНА ЭВИ АКВА — KOBENA EVI ACQUAH (род. в 1943 г.)

Ганский поэт, прозаик, журналист. Лауреат многих литературных премий; Университетом Ганы ему присуждалась также премия имени Ленгстона Хьюза. Автор поэтического сборника «Запах дыма» («The Scent of Smoke»). На русском языке публикуется впервые.

Главы из поэмы «Братья мои, наше странствие будет долгим» («My Brothers, Where We Are Going is Long») печатаются по рукописи, полученной от автора.

— Полоумный! Куда приперся? Лезешь куда?
— Что ты делаешь здесь, посредине дороги?
— Ни ума, что ль, не нажил, ни дома, старик?

Он слушал визгливую брань, однако среди
замысловатых ругательств сумел различить
их общий, из самого сердца рвущийся крик,
единый вопрос о конце и смысле пути,
который они повторяли на разных наречьях,
и ответил спокойно, но так, что даже напарник
шофера в дряхлой машине и тот расслышал:

— *Братья мои, наше странствие будет долгим.*

■

Огнеглазый, огромную голову не обнажив,
в грязной одежде, вернее сказать — в лохмотьях,
кто-то чужой проталкивался сквозь толпу
похоронной процессии и наконец
к самому катафалку пробился с трудом.
Там застыл он и долго молчал — казалось
размышляя над странным решеньем заставить такое
хорошее гладкое дерево гнить под землей.

Вечность кристаллизуется в образе смерти,
это способ ее — нам явить свою протяженность.
Но какая гарантия в том, что и это конец?

Он, пожалуй, остался доволен осмотром гроба,
потому что безрадостным смехом затем разразился —
говорят, привиденья приходят вот так посмеяться,
являясь в ночи к нагрешившим потомкам своим.
Неужели нарочно расстроил процессию он,
этим смехом испортив торжественность действа?
Может быть, он заметил в толпе сомненье и страх?

Ах, как хочется нам, чтоб явился пророк,
тот, что истины нам подтвердит прописные.
Разве наши истертые до крови ноги не аргумент?

Удивительно чистыми он посмотрел глазами
сквозь толпу, сквозь колеса повозки, снова взглянул
на лица в слезах и людям ясно сказал:

— *Братья мои, наше странствие будет долгим.*

■

Как долог был путь, начатый нами, когда
впервые мы попытались действовать сами,
до того, как дорога превратилась для нас в лабиринт.
Мы взлетали тогда, как орел из легенды, воспрянув
навстречу восходу, родное покинув гнездо.
Об опасности знали мы, нашим крыльям грозящей,
но инстинкт повелел все же расправить их,
и взлет начался, ибо ведали мы, что взлетали
во имя величия воли, во имя жизни.

О, какой бесконечною наша дорога была —
будто рыба, нерест окончив, спускается вновь
по течению на юг, мы впадали в отёчную дрему,
но, стремниной коварной влекомы средь мелей и топей,
отчего-то мы точно знали, что к морю дорогу
должны отыскать, ибо море — вотчина наша.

Знали мы или не знали
о водопадах, о водоворотах?
Поведал ли нам кто-нибудь
о смертельных опасностях, что приготовлены
нам и сверстникам нашим?

Так вот шли мы и шли, а куда же пришли?
Точно так же бывает, что пишешь — тему теряешь.
Что ни улица, что ни квартал — но следом такой же.
Трижды мы в путь выходили, но он кончался
там же, где начинался, или еще до начала.

Нам казалось — или казалось нам, что казалось,—
будто мы все-таки знаем, в каком направленье шагать —
но мы в лабиринте...

Это ль не самый долгий путь — тот, в котором не видишь конца?

АТУКВЕЙ ОКАЙ

Увертюра

Прежде рождения,
после смерти —
за сорок дней,
за сорок ночей
жизнь человека
проходит проверку.

Мы считаем, что важно
указывать пальцем
на любую соринку
в чужом глазу.
Каждую ночь
терзаемся мы
тем, что удача
улыбнулась не нам.
Слаб человек,
ведь он не может
вечно стоять
на пороге боли.
Человек не может
быть ежедневно
кристально честен,—
и мы ретушируем
наши пороки,
а дни и ночи
между тем ускользают.

Пред моими глазами
столь многие вещи
проходят, уходят:
неизвестные сферы,
незнакомые дали;
я внутренне вижу
мужчин и женщин,
стариков и младенцев,
черных и белых,
и знаю всеобщий
жребий, который
не может не тронуть
сердца людского.

АТУКВЕЙ ОКАЙ — ATUKWEI OKAI (род. в 1941 г.)

Ганский поэт, журналист и общественный деятель. Лауреат нескольких литературных премий. Участвовал в работе ряда конференций писателей стран Азии и Африки, член жюри международной премии «Лотос». Стихи А. Окая печатались в советской периодике, в том числе в «Иностранной литературе», в антологиях, на страницах тома Библиотеки всемирной литературы «Поэзия Африки».

Поэма «Увертюра» («Overture») получена от автора в рукописи.

Каковы наши души?
Сердца — каковы?
Если им не внимать —
что будет с нами?
Смелость презрев,
ползать, как прежде,
по старой тропе?
Плакать о помощи
и позволять
полубогам
командовать нами?
Слушать повсюду
бой барабанный,
страшиться прихода
нового дня,
в горы бежать,
бросаться в бездну?

Зачем человеку
жить в унижении —
не все ли, что нужно,
он обретает,
принявши горький
и вечный удел:
одни — богаче,
другие — беднее,
одни — смеются,
другие — плачут.

Это и весь
урок бытия?

Жизнь — это жизнь,
и она создана
для человека.
Важно — понять
в жизни свои
место и цель,
выбрать судьбу,
выполнить долг.
Благословляю
и то, что было,
и то, что будет,
благодарю
свой жребий и звезды
и только прошу
о том, чтоб сошла
ветхая кожа,
чтобы снова родиться
обновленным и чистым.
О чем ином
стоило б грезить
в эти сорок дней
и сорок ночей?

■

ИБРАГИМ АЛЬ-КУНИ

Рассказы

■

Перевод с арабского И. ЕРМАКОВА

Новые дали

Не мог больше маленький Ванис сносить жажду, и сказал он сестре своей Танис, что забыл он свои амулеты там, где пас стадо газелей. И заплакала Танис, стала просить его, чтоб не пил он газельей мочи. Однако Ванис не мог терпеть больше, пошел и схватил свои амулеты и испил мочи газели... Вернулся он к сестре своей Танис, глядь — превратилась верхняя половина туловища его в тело газели, а амулеты на рогах болтаются...

(Из туарегской легенды)

Когда он приехал навестить двоюродного брата и увидел город впервые, показалось ему, будто бывал уже в этом мире прежде. Беспомощный мальчишка сидел в машине, забившись в уголок, испуганный, дрожа всем телом, пока она мчалась по длинной широкой улице. Волшебный мир вырастал перед изумленными глазами: машины, большие и маленькие, струились по улицам и вливались в поток на черной блестящей ленте, а по обеим сторонам ее торопливо сновали люди между деревьями, мелькавшими на всем протяжении пути, и огромные волшебные здания громоздились повсюду, насколько хватал глаз. Сердце трепетало, колотилось жестоко всякий раз, как новая машина врезалась в уличный поток. Страх, подлинный страх объял его вскоре. Он видел уже этот мир, но когда? И где? Во сне?.. В учебнике? Нет. Ни во сне, ни на страницах учебника не было с ним такого. Он уже видел его, как теперь, своими глазами. Только вспомнить никак не может, когда именно, но, без сомнения, это все уже было. Давно, очень давно. Когда и Сахары не существовало, и города этого не было вовсе... А может, все это — чушь, воображение его, и только? Дурман насылает шайтан проклятый на его голову?.. А ощущение уже виденного им всего этого прежде было очень сильным, таким, что не смог он его побороть вырваться из его власти,— и заплакал от перевозбуждения и страха...

ИБРАГИМ АЛЬ-КУНИ (род. в 1948 г. в семье туарегов-кочевников в Сахаре) Ливийский писатель и журналист. По образованию филолог.

Автор сборников рассказов «Внеочередная молитва» (1974), «Глоток крови» (1983), сборника эссе «Заметки живущего на чужбине» (1974), публицистических книг. В Советском Союзе опубликовано несколько его рассказов в журналах на русском и украинском языках, а также в сборнике ливийской новеллы «Барабаны пустыни» (М., Радуга, 1985). Публикуемые рассказы взяты из сборника «Глоток крови» (Триполи, 1983).

Брат вывел опрятного, чистого мальчика из дому — погулять, побродить по улицам, завел в кофейню, потом в другую, в кино его затащил, рассказал о городах — тех, что далеко, на морских берегах. Каждый раз, завидев что-то новое, он не мог совладать с собой — сердце прыгало, уходило в пятки, вновь наваливалось это странное чувство. А едва проходило, стиралось оно — наступал страх, подкатывала тоска по неведомому, тянувшая в эти самые города, о которых рассказывал брат.

Вернувшись в деревню, продержался он там не больше недели. А потом не мог больше сидеть на месте, тоска по городу завладела им. Перестал ходить в школу, с постели не вставал, от еды отворачивался, метался, стонал день и ночь, плакал — так что мать чуть не умерла с горя. Тетке его, соседям пожаловалась. Назвала в дом факихов [1] — молитвы над головой больного читать, изгонять из него духов,— да что толку! Еще неделю целую он так провалялся, отощал совсем, с лица спал, высох весь — кожа да кости. Мать пошла ему навстречу, взяла на себя все горе — отослала кормильца в город к брату двоюродному.

В город-то он прибыл, а вот чувство то волшебное, странное, неведомое пропало. Не боялся уже ничего, и желание выплакаться больше его не посещало. У брата пожил, потом съехал — советчики нашлись. Решил работу себе найти. Устроился писарем в одной государственной конторе при министерстве. Поутру отправлялся на службу, а остаток дня проводил в кофейне да в кино. Прикрепился было к вечерней школе, потом бросил — скучной жизнь показалась. И зажил он иной жизнью. В бары зачастил, а спустя немного — и в дома такие, что на бары похожи, только двери свои раскрывают уже после полуночи...

Все надоело. Вспомнил он первый день, когда в город прибыл, тот миг первый, что открыл ему завесу над тайной. Мгновение, когда показалось ему, что все это неведомое он уже видел прежде. Города вспоминал как наяву, что на берегах морских лежат, и уволился со службы, решил искать их. Новые дали, дальние страны манили — он поедет туда.

В столичный автобус он сел ночью. Ночью же и завершилось это долгое путешествие. Город вокруг лежал большой, да какой-то унылый. Притихший, никакого движения, шума, огней. Бросил пожитки в гостинице, вышел побродить по пустынным улицам — спать совсем не хотелось, хотя уже двое суток не смыкал глаз. Прежде чем отправиться спать, захотелось увидеть море. Пошел по улицам, темным совсем, с наполовину притушенными фонарями, слушая изредка доносившиеся издалека неясные звуки: шорох и взвизги машин, какой-то шум. Вспомнилась Сахара: стада овец, пальмовые рощицы в оазисах, ветер, солнце, песок... Неясный шум перерос вскоре в рокот прибоя — конечно, это было море. Он уловил этот шум издали, на одной из улиц, окутанных непроглядной тьмой, что вывела его наконец на морской рев. Море было большое. Страшное. Вновь посетило его то чувство, что безжалостно навалилось тогда, при первом свидании с городом. О, как хотелось опять задрожать от восторга, от страха. Заплакать... Но нет, только легкая дрожь пробежала по коже и тут же исчезла... Он стоял долго. Потом нагнулся, протянул руку, коснулся волны. Наполнил пригоршню водой — отпил глоток. Солью обожгло горло — горько, он задохнулся, принялся кашлять что было силы. С того дня на всю жизнь запомнил он вкус этой воды — огнем жгло горло при каждом воспоминании о море...

В деревне о нем давно не было вестей. Мать спешила к каждо-

[1] Мусульманский богослов, чтец Корана. *(Здесь и далее прим. перев.)*

му, кто являлся из городов, далеких и близких, жаловалась, слезы лила, расспрашивала, по голове себя била, волосы рвала как безумная: «Забыл меня, забыл!.. Променял, променял на чужбину, на города прокаженные, дальние... Не вернется уж больше! Знает, одна я, а бросил! Мальчик какой милый, послушный был, что же с ним стало?!» Нет, в отчаяние полное она все ж не пришла, продолжала вести о нем собирать, слухи ловила, бросалась навстречу каждому, кто возвращался домой или приезжал в их деревню. Поневоле поползли о нем слухи. Будто видел его один человек в Риме, а другой встречался с ним в каком-то Париже, хотя жители селения этого в центре пустыни и понятия не имели, есть ли на самом деле города такие на земле или название только, выдумка одна. А в общем, чего там, его, наверное, давно и на свете нет...

Мать умерла за день до того, как он возвратился.

Он приехал после полудня, до полуночи пробыл на кладбище. Вернулся, вошел в дом — застал тетку сидящей на корточках с четками в руках. Ждала его ужинать.

Присел с ней рядом у очага, смотрел молча, как она ставила чайник на горящие уголья, доставала ему лепешки, бульон... Откашлялся, спросил:

— Тетушка, молока верблюжьего не найдется ли — вкус его забыл совсем. Нет у тебя молочка?

— Откуда ж, сынок? Если б верблюдица была — куда ни шло. Продали все, все, сынок, продали...

— Эх, тетушка... И как можешь ты терпеть жизнь такую, в стенах этих пыльных, ведь газелью вольной в пустыне была!

— Что поделать, сынок? Время, годы такие... Сахара хлебом не насытит. Все теперь по селеньям, по городам разбежались... Скажика ты мне лучше, скажи, ради аллаха, про чужбину, про страны те дальние, про море... Видел ты это море? А рыбу пробовал?

— Да. Да, тетушка. Ел я рыбу. И воду морскую пил — все еще горло жжет. Вкус у нее что у полыни!

— Ах, сынок, таков уж свет, видно. Кто корма городского отведает, трудно ему от этого соска оторваться!

— Что ж поделать, тетушка? Мал я был, ничего о жизни не знал. Когда в город попал, чувство меня такое охватило, словно было уже все, словно видел я впрямь когда-то город этот... И решил я чувство свое проверить — странное было чувство...

— Ох, проклятье это, сынок! Аллах упокой твою матушку. Убила ее разлука с тобой.

— Да упокоит ее аллах!.. А ты знаешь что, тетушка? Сон я там видел. Снилось мне в городе, что в деревню вернулся... К матери... И прощения просил, и руку ей целовал. Сказал ей: мираж увел меня. Много я ей всего рассказывал — может, сердце ее смягчится, думаю, да простит меня... А она все сидит, зернышки четок своих перебирает — никак на слова мои не отвечает. Потом смотрю это я — а она слепая и глухая...

Тишина воцарилась в доме. Только лай собак нарушал тишину. Он смотрел во тьму, за порог... Кое-где по деревне еще мерцали огни. Это город, городские повадки грозили обрушиться на селение туарегов в сердце Сахары, подмять под себя... Он протянул руку к лепешке, отломил кусок, хотел проглотить — да кусок застрял в горле.

На следующий день туарег отправился на рынок, купил верблюда, седло, съестных припасов. Прочитал фатиху[1] над материнской могилой, оседлал верблюда. Прочь поехал, не заезжая в этот каменный дом своей тетки с цементным холодным и пыльным полом. Поехал через пальмовые рощи, сквозь наполненный свежестью воздух,

[1] Фатиха (*арабск.*— открывающая)— молитва, первая сура (глава) Корана.

взобрался на цепь залитых солнцем песчаных холмов, господствующих со всех сторон над деревней. Взору открылась пустыня — необъятный простор, разметавшийся вширь и вдаль насколько хватает глаз. Туарега лишь могильная плита остановит! Тронул он посохом бок верблюда и — поскакал. Завидел сокола, одиноко парящего в небе. Тот взмахнул крыльями, устремился куда-то — далеко, к горизонту, туда, где пляшет мираж в отдалении... Он ударил верблюда еще, направляясь все туда же, где скрылся вдали одинокий сокол, и новая линия света и тени открылась взору — там, где забрезжил на горизонте новый мираж...

Куда ты, бедуин?

Сегодня решил бедуин навсегда покинуть Сахару и искать пристанища в городе. Странное дело для бедуина, ничего не скажешь! И все же — всегда найдется это проклятое «и все же»! — ему ничего не оставалось, кроме как поступить именно так. Он жил одиноко почти полвека, кочуя от вади к вади[1], от плато к плато, от пустыни к пустыне, от миража к миражу, пас чужих овец за одну козу в год. Питался грибами, плодами диких растений или пек в песке лепешки, когда была мука, да пользовался еще благосклонностью жены хозяина стада... А еще он пел. Этот пастух-кочевник любил петь. Может, потому, что не вкусил он власти ни французов, ни итальянцев, может, потому, что не слышал ни о Грациани[2], ни о Гитлере... А может быть, пел он всего лишь потому, что был счастлив.

Кто из нас не поет, когда счастлив?!

Однако Сахара — посланница аллаха на земле — выполняет предначертания и волю его неукоснительно и свое берет без остатка. Это она, Сахара, посылает дождь и заставляет цвести терпентиновое дерево, изрыгает из своего чрева газелей, кроликов, антилоп, или может бурю наслать, или таким огнем испепеляющим жечь, что просто некуда деться. Но самое худшее, что еще может Сахара,— так это на воду скупиться!

Вот чего бедуин постоянно боится. Он может перенести жару, опаляемый адским огнем. И зловредным восточным ветрам противится стойко. Но нападает на него немощь — и кладет он поклоны, вымаливая у аллаха прощения, когда преследует его Сахара жаждой.

В прежние времена не бывало такого, чтобы Сахара скупилась на воду в течение нескольких лет. Не прольет дождя в этом году — так придет милость господня в году следующем, и редко длится засуха два года кряду.

Но вот в последние пять лет не прекращается засуха, и покинуло Сахару все живое — овладело отчаяние тварями. И поняли люди: бессмысленно от Хозяйки милости ждать!

Что же остается бедуину в Сахаре? Он весь век свой один-одинешенек: ни родных, ни жены, ни детей... Брошена Сахара и людьми и животными, не осталось в ней ничего — миражи одни, сверкающие и пляшущие.

Перестал петь бедуин и решил искать пристанища в городе.

Вступил он в город, погоняя верблюда и верблюдицу — единственное его сокровище!

Справился у прохожих — как можно избавиться от них, и указали ему люди на рынок. Продал обоих за тридцать фунтов и выбрался незаметно с рынка, даже не бросив на верблюдов прощального взгляда. Ясное дело: посмеялись над ним люди, да если б знал он!.. Но

[1] Пересохшее русло реки.

[2] Итальянский фашистский генерал-каратель периода итальянского колониального господства в Ливии.

ведь он и торговаться не умел, хоть и весьма нуждался в блестящем металлическом кырше[1] и про хитрость городских людей слышал.

Охватило его странное чувство: будто покидает он Сахару безвозвратно и последний волосок, что связывает его с ней, разрывает. И с песнями кочевыми расстается.

Даже сердце его, которое не научила Сахара ничему, кроме жестокости да жесткости, и то вдруг дрогнуло, забилось часто. Ушел — и не оглянулся! Много чего превозмог он, даже хрип какой-то незнакомый издал, пока не указал ему один прохожий на ветхую гостиницу вблизи Старого города.

Бедный бедуин! Не знал он еще того ужаса, что городом зовется. Худшее из зол навалилось на него в самом начале пути.

Две ночи он провел в гостинице среди гнили и сырости — две бессонные ночи. К араку[2] приложился впервые. А на третий день сходил на рынок и купил себе у скупщика новое одеяло пепельного цвета.

На четвертый день отправился он на поиски работы. Только через три дня обещал ему агент по найму место смотрителя в одной начинающей компании. Однако тоска стала овладевать бедуином, тоска по песне. Поискал он этак голос свой — и не нашел его. Прочистил горло, да только не помогло это: слова все девались куда-то. Слова простые, чистые, спокойные, печальные... Обнаружил старик, что задохнулись они в груди у него. И тут наступил тот день...

...В тот день, пополудни, бродил бедуин по городским улицам, пока ноги носили, да присел от усталости на мостовую, к стене дома спиной привалился. Мига не прошло, как сомкнул веки, а разбудило его движение странное на улице. Шум какой-то. Крики, а затем шепот — ужас внушающий шепоток меж прохожих. Торговцы да лавочники бросились наперегонки магазинчики свои и кофейни закрывать. Уличные торговцы с воплями потащили взад-вперед тележки, лотки. Прохожие запрыгали, как козы, а потом вытянулись вдруг в хвосты длинные по обеим сторонам мостовой, и на лицах у всех — одно выражение: почтение, что ли? покорность? страх? Да, страх. Это был страх.

Один из прохожих приблизился к нему, лягнул ногой, шепнув в страхе — да, в том же страхе:

— Встань! Подымайся. Как смеешь-то... Король, король идет, королевская процессия!..

Да только разве бедуин наш двинулся? Что бедуин понял-то?

Он не сдвинулся с места, потому что просто не понял. Нет, он не отрицает, про короля он слыхал, но Сахара не сообщила ему, что это значит: король. Не сказала она ему про королевские должности и звание, а потому и не шевельнулся старик, когда подошел к нему второй, и третий, и четвертый, и десятый, шепотом призывая его подняться, просто приказывая ему встать тотчас же на колени, а затем исчезая и растворяясь в охваченной ожиданием толпе. Разные там люди стояли.

Бедуин же думал совсем о другом. Мечтал он о диком терне и о терпентиновом дереве, о газелях стройных, о мираже полуденном... да о песне!

Всякий раз, правда, как приходили на ум ему песня да бескрайняя пустыня, говорил он себе: «Хватит! Пятьдесят лет гоняться за газелями и миражами да с пеклом огненным бороться — хватит!»

Вправе полагать бедуин, что пятидесяти лет жизни вполне достаточно. Он ведь не вкусил ни власти французов, ни власти итальянцев, и родитель его не рассказывал ему об этом султане, власть предержащем из Триполи.

И Грациани он не знал. И про Гитлера не слышал!

---

[1] Мелкая монета.

[2] Алкогольный напиток из фиников или винограда, анисовая водка.

...Улица начала заполняться народом. Толпа забурлила, разбилась на группки, люди толкались плечами, локтями, давили друг друга. А затем... Затем поднялись шум, рев, вой. Послышались бедуину слова непонятные: «Да здравствует... славен... да вовеки живет... король... храни его аллах и помилуй... повелитель наш, хозяин блаженства нашего... король... король!»

Процессия — она появляется, чтобы проявили собравшиеся рвение в повиновении.

Процессия прошла.

Бедуин не шелохнулся. Он не удивился, он ничего не понял — он думал лишь о верблюде с верблюдицей, от которых избавился на рынке. Вспомнил он о газели — тонконогой красавице, что поймал своими руками и вырастить тщился, да сбежала она через неделю той весной по зеленым побегам. О серебряном мираже грезил бедуин, что вдруг забьется ключом средь пустыни и канет в вечность! И о песне печальной, что будит недвижность Сахары и дикость всей жизни смягчает, и...

Над его головой возникли две фигуры — слева и справа. Один был высокого роста, широк в плечах, смуглолицый. Решительного вида. Другой — низенький, плотненький. Тоже хмурый на вид, с противными желтыми зубами. На нем были огромные черные башмаки, костюм серого цвета. Он подошел и двинул его что было силы своим огромным черным башмаком, пробормотал, обнажая желтые зубы:

— Вставай...

Бедуин не двинулся — он не понял. Но разве это необходимо было понять? Разве дело того заслуживает?

— А ну! Вставай, собака! — злобно выдавил сквозь зубы длинный, сделал шаг и с силой надавил башмаком бедуину на пальцы ноги.

Болезненный вскрик вырвался из груди старика. Однако времени осмыслить происходящее они ему не дали — схватили рывком, бросили внутрь машины, стоявшей в соседнем переулке...

В отделении длинный уселся напротив него, низкорослый сел сбоку.

— Твое имя? — спросил длинный.

Бедуин сплюнул кровь и ощупал синяки на лице, прежде чем ответить:

— Абдалла.

— Все мы рабы божии! [1]

— Знаю... Но меня зовут Абдалла. Абдалла аль-Кады.

— Какого племени?

— Нет у меня племени.

Длинный подозрительно взглянул на него, прежде чем занести такой ответ на бумагу.

— Место жительства?

— Сахара.

— Сахара?

— Сахара, нет у меня другого.

Еще один подозрительный, полный сомнений взгляд бросили на него перед следующим вопросом:

— Как же ты осмелился так пренебречь нашим повелителем?

— Нашим повелителем?

— Да, да. Твоим повелителем, сукин ты сын, благодетелем твоим — королем?

— Королем?

— Все дурака строишь! Прикидываешься, будто не понимаешь!.. Мы научим тебя отвечать как положено, бунтовщик!.. Ну-ка! — Он подмигнул своему коллеге.

В комнату вошел человек. Вдвоем они потащили его в темницу...

Через несколько часов за ним вернулись.

---

[1] Абдалла по-арабски значит «раб аллаха».

Длинный принялся спрашивать:

— Ну, теперь ты узнал, кто такой король? Как же ты осмелился, как позволил себе разлечься на мостовой, когда процессия шествует рядом?.. Тебя же прохожие предупреждали о приближении процессии. Не валяй дурака, будто не знаешь. Мы своими глазами видели... Ну!

— Аллахом клянусь, устал я. Устал, ей-богу. Сахара... Сахара прогнала меня, нас... Поскупилась Сахара на влагу, на дождь. И пришли мы в город. Я верблюдицу свою и верблюда своего продал, ничего не имею. Устал я. Устал от Сахары, от мира, людей... И не знал я.

Он и вправду не знал. Но начал сознавать. Начал понимать кое-что.

Вот, оказывается, что ввергло тебя в беду, бедуин!

Они продержали его двое суток, потом выпустили. В ту старую сырую гостиницу вернулся он окончательно разбитым. Уплатил по счету. Смыл следы крови на лице, на боках, забрал суму свою и вышел. Мелькнула было мысль муки купить, да не решился.

Представились ему голые холмы Сахары — изможденные и суровые. Представились низенькие, полуиссохшие, скрюченные деревца и кусты. И — моря! Бушующие, чарующие моря миражей. И пекло — удушающий жар восточных ветров. Засуха...

Он покинул город, думая о пустыне, мечтая о песке, сокрушаясь о проданных верблюдах, пока не опалило лицо первое дуновение восточного зноя...

Он вздохнул глубоко, вытаскивая из кармана оставшуюся банкноту в десять фунтов. Долго разглядывал ее в недоумении, прежде чем разорвать на мелкие кусочки и бросить на этот ветер с востока... Разлетелись, истаяли в прах... Естественно, ему и невдомек было, что он оторвал голову самому королю.

Он знал лишь, что навсегда покидает город. Ради Сахары и миражей.

Бедуин пересек городскую черту в тот день после полудня. Но сможет ли спеть бедуин еще раз?

◆

МАНУЭЛЬ КОФИНЬО

Любовь в тени и под солнцем

РОМАН

Перевод с испанского ЮРИЯ ПАВЛОВА

III

Вдали видны стаи гарсас [1], их так много, что они кажутся сотнями белых бумаг, летающих на ветру. Через боковое окошко в машину врывается прохладный воздух. Армандо и Маркос возвращаются в город. Они проверяли, как убирают урожай и как идет освоение новых земель для посадок. Армандо внимательно вглядывается в дорогу. Маркос смотрит на его сросшиеся у переносицы брови, изрезанное морщинами лицо и седые, очень короткие волосы, которые чуть шевелит ветерок.

— Я вижу, ты чем-то озабочен.

— Забот хватает. Не должен бы я тебе пока этого говорить... Я ухожу из Объединения...

Маркос затягивается сигаретой. Армандо поправляет очки и смотрит на него с теплотой и доверчивостью, которая порой проявляется в его близоруких глазах.

— Перехожу на работу в министерство иностранных дел, в департамент Африки. Беспокоит масса нерешенных вопросов, надо будет их изучить. Африка — это очень сложно. Конечно, проблемы в конце концов будут решены. Хотя всегда найдутся и новые. Мы будем сталкиваться с ними еще много лет. Переход с практической руководящей работы на политическую сам по себе мне нравится, но...

— Хотел бы остаться в Объединении?

Армандо не отвечает, хлопает ладонями по рулевому колесу и продолжает пристально смотреть вперед. Темнеет. В свете фар мечется бессчетное множество ослепленных насекомых. Когда машина въезжает в Артемису, скорость приходится снизить. У входа на автобусную станцию, возле кафе и на тротуарах толпы людей и горы вещей. В парке солдаты с боевым оружием, разделившись на группки, стоят вдоль колонны грузовиков. Армандо протягивает руку и включает приемник.

«Министерство Революционных вооруженных сил сообщило, что сегодня, семнадцатого числа, в шесть часов пять минут самолет американского производства типа Б-26, появившись с Севера, сбросил бомбу в двести пятьдесят фунтов, которая взорвалась во дворе дома крестьянина Доминго Броча Баньоса в поселке Ла-Глория на восемьдесят шестом километре шоссе Баия-Онда — Ла-Пальма, в муниципио Консолясьон-дель-Сур провинции Пинар-дель-Рио, после че-

Окончание. Начало см. в № 11.

[1] Вид цапли.

го самолет удалился в обратном направлении. Согласно сообщениям телеграфных агентств ЮПИ и АП, одна из контрреволюционных организаций заявила, что она осуществила налет на сахарный завод «Никарагуа», который расположен примерно в тринадцати километрах от места происшествия...»

— Вот сволочи!.. — говорит Армандо, сжимая руль.— Не рискнули налететь на сахарный завод, зная, что там собьют, и бомбу сбросили на жилой дом, еще доложат: задание выполнено — чтобы получить деньги.

Его слова гасит вечерний ветерок. Ночь постепенно заполонила машину.

Вечерний ветерок влетает в окна квартиры. Магда только что вернулась из школы, усталость испариной легла на тело. Сбрасывает туфли. Распускает волосы и выглядывает в окно. Лучи фар бесшумно режут темноту тонкими белыми лезвиями, крошат ночь и, удаляясь, оставляют светящийся след в насыщенном солью воздухе. Море возле прибрежных камней кажется нефтью, испещренной полосами пены. Магда всматривается в красную точку на входе в бухту, неожиданный телефонный звонок заставляет ее подбежать к аппарату. Подняв трубку, пораженная, слышит голос отца:

— Мне нужно увидеть тебя. Томаса заболела.

— Что-нибудь серьезное?

— Да. Ты должна зайти навестить ее.

— Срочно?

— Это уж как тебе совесть велит. Она давно нездорова.

Разговор обрывается. «Давно уже нездорова. Почему же мне ничего не сообщали?..» Беспокойно встряхивает головой. Снова подходит к окну. Точка по-прежнему горит на входе в бухту, отбрасывая на темную воду извилистую красную нить. Магда прикусывает нижнюю губу. «Оставлю записку. Или нет, лучше сама ему все объясню, когда вернусь. Если оставить записку, он может явиться туда...»

И только на улице, торопливо шагая по тротуару, наконец зажигает сигарету.

Маркос, продолжая разглядывать Армандо, тоже закуривает новую сигарету.

Ты находишь его очень постаревшим и тут же вспоминаешь, как, будучи еще почти ребенком, впервые увидел его издали. Он разговаривал с группой рабочих возле фабрики, а твой дед, показав на него рукой, сказал: «Вот это настоящий человек». И потом, годы спустя, в Мексике, ты узнал, что он арестован, что его пытали и он, чтобы ничего не сказать, раскусил и разжевал свои очки, так что язык и весь рот превратились в сплошное кровавое месиво. Вспоминаешь и другой случай, происшедший несколько месяцев назад: только что закончилось собрание, которое он вел, одна пожилая женщина восторженно рассказывает молодежи о том, как еще до революции, когда она работала на разделке табачного листа на фабрике «Сибоней», принадлежавшей Генри Клею и фирме «Корона», хозяева хотели отгрузить неочищенный от прожилин табак, а Араселио[1] в это время находился в порту и развернул настоящий бой, чтобы не допустить погрузки. Эта женщина с руководителями синдиката табачников тоже пошла в порт, а там уже вовсю дрался Армандо и вместе с Араселио пускал в ход кулаки направо и налево, едва различая противников — очки ему уже разбили. Битва продолжалась до победы, так и не позволили отправить табак, хотя Армандо, изра-

[1] Араселио Иглесиас — видный профсоюзный деятель на дореволюционной Кубе. Возглавлял прогрессивный синдикат докеров.

ненного, потом арестовали. Пожилая работница рассказала, что Армандо она впервые увидела в те же самые годы, когда узнала Ласаро Пенью, Араселио Иглесиаса, Клементину Серра и Освальдо Санчеса[1]. Она говорила: «Это руководитель что надо. В табачном деле он знает все, а в жизни разбирается еще лучше».

Ты поглядываешь на Армандо, продолжающего напряженно смотреть вперед. Машина несется по залитой бетоном дороге, освещаемой лишь фарами. Поля по обе стороны дороги стремительно проносятся мимо, исчезая в бездонной темноте. Прохлада свежей зелени через боковые окошки проникает в машину, а через ветровое стекло сквозь кроны деревьев можно рассмотреть звезды.

— Как Магда?

— Хорошо. Начала учиться.

— Здорово.

— Правильно, но, к сожалению, люди не изменяются вот так сразу.

Остаток пути они проводят в молчании.

Армандо высаживает его у отеля «Океан». Маркос прыжками взбегает по лестнице. Открыв дверь, видит, что в доме пусто, темно и не прибрано. На столе — недоеденный кусок хлеба. Посреди комнаты валяются сандалеты. Темно-желтый халат лежит на полу. И он думает, что между беспорядком и порядком так же трудно провести четкую грань, как и между добром и злом, и что в жизни его столько противоречий: то они переплетутся в тугой узел, то дадут ему передышку. И так у всех, потому что жизнь — это хаос и борьба внутри и вне нас. А какой человек не таит в себе сложных узлов и многих людей сразу?

Магда из тени от лавров смотрит на дом отца. «Здесь ждут меня одни вопросы, от угла до угла, от окна до окна...» Шагает по дорожке, ступая по прелой листве, обходя кошачий помет. Из каждой щелки лезет трава, пробиваясь сквозь цемент с неистовством всепожирающего огня. Открывает калитку, подходит к подъезду, и вдруг дверь распахивается. В проеме показывается Кастаньо.

— Проходи, он тебя ждет. В окно увидел, как ты входишь.

Она идет впереди, Кастаньо — следом.

— Он тут. Я вас оставлю вдвоем.

Родриго, откинувшись на спинку кресла, смотрит на нее холодными, водянистыми глазами.

— Где ты пропадаешь? Садись.

Разговор развертывается как обычно.

— В последнее время я не заходила, потому что была очень занята. Теперь у меня есть чем заниматься.

И тут Родриго взрывается. Горло, перехваченное бешенством, изрыгает потоки хриплой брани, требований, угроз. Два кота мурлычут у него на коленях. Один вдруг вскакивает.

— Томаса могла бы умереть, а ты бы так и не узнала.

Кот выпрыгивает из его рук и, изогнув хвост в виде вопросительного знака, удаляется, оглядывая Магду, а руки Родриго вздымаются в такт упрекам.

— Она лежала в больнице. Ей сделали столько переливаний крови, оперировали. А ты не приходила и не знала, живы мы тут или вообще уже умерли.

Он встает и, заложив руки за спину, короткими шажками начинает ходить вокруг нее. «Точь-в-точь кот. Боже мой!..»

— Я хочу увидеться с ней. И пришла сюда не нотации твои выслушивать, а повидаться с Томасой.

---

[1] Ласаро Пенья, Клементина Серра, Освальдо Санчес — активные деятели демократического движения на Кубе.

— Мне начинает казаться, что у меня нет дочери.

В комнате Томасы пахнет сыростью, корицей, ладаном, гарью от фитиля; старая штора порывами ветра парусом надувается внутрь и опять безвольно опадает. Магду удивляет синюшное лицо и бесцветные губы Томасы. А та смотрит на нее блеклыми, словно вымоченными долгим ливнем, глазами.

— Как дела, девочка? — едва слышно спрашивает она. — Теперь-то я чувствую себя получше, а прошла через все муки ада.

Когда она говорит, кожа на лице подрагивает в такт челюстям.

— Почему же мне никто не сообщил?

— Потому что ты вообще забыла о нашем существовании,— врывается в разговор вошедший Родриго. — И в конце концов, разве ты когда-нибудь что-нибудь делала для кого-то, кроме самой себя? Да и для себя-то ничего не умеешь делать.

— Оставь ее, Родриго.

— Не волнуйся, Томаса. Я же говорю спокойно.

— Но если ты ей ничего не сообщил, откуда же она могла знать?

Родриго, смутившись, зло взглядывает на Томасу и выходит из комнаты, в сердцах громко хлопнув дверью.

Томаса берет веер, лежащий на простыне, и, словно превозмогая себя, начинает им обмахиваться.

— Подойди ко мне, доченька. Значит, он тебя не известил? Правда? А мне сказал, что дал тебе знать. Я его столько раз спрашивала, а он говорил, что звонил, но никто не отвечает. Потом сказал, что сообщил, но ты наверняка не придешь, потому что никого не любишь. Значит, он вовсе и не извещал! Почему же он меня обманывал? Что делается с твоим отцом?

— Если бы он сообщил, я бы тут же пришла. А кто за тобой ухаживал?

— Племянница приехала из Луяно.

— Я могу помочь.

— Нет, девочка, я не люблю беспокоить людей. Приходит в жизни время, когда человек только и делает, что причиняет беспокойство. Я много перестрадала, передумала и перебрала в памяти. Для меня уже все хорошее в жизни прошло. Почему же мне и самой не уйти?

Она смыкает веки и понемногу затихает. Магда проводит рукой по лицу Томасы и, убедившись, что та успокоилась, покидает ее комнату и проходит в залу.

Родриго сидит в своем кресле и сжимает горло тигровому коту, извивающемуся в его руках.

— Папа!

Магда быстро идет к нему, на секунду останавливается, с ужасом глядя на хищное выражение его исцарапанного лица. Родриго с вылезшими из орбит глазами кричит:

— Уходи!

— Что с тобой?

Он выпускает кота, и тот стрелой вылетает из комнаты.

— Со мной ничего, а вот что с тобой? Поверить не могу, что ты...

Родриго бессвязно выкрикивает целый поток обвинений. Кастаньо открывает дверь:

— Я ее провожу.

Они спускаются по лестнице. Магда оборачивается и спрашивает:

— Почему ты меня не известил, Кастаньо?

— Родриго не велел. А вы знаете, какой он.

У выхода Кастаньо берет ее за локоть и с загадочно-зловещей улыбкой говорит:

— Вы должны заходить сюда почаще. В последнее время он что-то сдал. Будьте хорошей дочерью и приходите.

Из рук Маркоса, сидящего в кресле, выпадает газета. «Где может быть Магда? Где же Магда? Что с ней? А тут еще Армандо... уходит от нас. Голова раскалывается. Как можно оставить Объединение теперь, когда он всего нужнее здесь? Кому это пришло в голову дать ему новое назначение? Не понимаю. Он ничего не знает об Африке, зато отлично разбирается в табаке. Зачем же переводить его? Это же глупость. Лучше бы не трогать...» Через открытую дверь ты слушаешь радио и вдруг видишь, что входит Магда с покрасневшими глазами и распухшим носом.

— Что случилось? Где ты была? Скоро полночь!

Магда рассказывает ему обо всем.

Лежа в постели, Маркос размышляет вслух:

— Странно, что они тебе не сообщили. Что-то их удержало. Когда в следующий раз пойдешь к Томасе, я с тобой...

— Это невозможно. Ты не знаешь, какой человек мой отец.

— Нет, я знаю, какой он.

— Ради бога, не заставляй меня нервничать еще сильнее, чем сейчас.

— Ну ладно, спи.

Через окно проникает густой запах морской соли и водорослей.

А ветерок все колышет одинокую старую штору, которая то парусом надувается, то снова бессильно опадает. Томаса прислушивается к мяуканью, к звукам скребущих когтей и думает: «Уйду я, уйду к племяннице. Тут не выдержу. Он сходит с ума от злости. Боюсь. Он всегда отличался злобностью, но только к людям, которые сделали ему что-то плохое, а теперешней его ненависти ко всему вокруг я просто не понимаю. И еще эти его крики. Нет, я больше не выдержу...» Колеблющееся пламя свечи, вставленной в серебряный подсвечник, разбрасывает тени по стенам. Томаса покрывается испариной и никак не может заснуть. Ей чудится, что кто-то упрямо и осторожно ходит по коридору, а из окна доносится чье-то сдавленное дыхание, свист, хрипы, стоны, безнадежные мольбы. Створки открытых окон скрипят под порывами ветра. Коты выбегают во двор, забираются на террасы, подкрадываются к окнам, залезают в комнаты, прыгают по карнизам, с визгом носятся по коридорам, мяукают, бродят по крыше. Томаса, уставившись неподвижным взглядом на штору, которая, кажется, колышет весь воздух комнаты, сжимает простыню, накрывающую ее, и прислушивается к биению собственной крови, будто что-то затаилось в сумрачном нутре ее тела, а у нее нет ни сил, ни желания разбираться, что именно. Там, в потемках, живет нестерпимая боль, порой раздирающая ее, обессиливающая, рвущая на куски...

Родриго, уже утихомирившись, открывает потайную дверцу в изваянии святого и на большом столе красного дерева считает и пересчитывает драгоценные камни, браслеты, кольца, ожерелья, позолоченные бильярдные шары. А вокруг слышится кошачья разноголосица: в саду, в коридорах, в парадном, на лестнице, на чердаке, в комнатах, за оградой, на ступенях подъезда, под мебелью хозяйничают коты. Родриго не отрывается от своих драгоценностей, протирает их платком, желая возвратить им блеск.

Ученики высыпают из классов, заполняют коридоры, одни выскакивают во двор, другие, пересекая вестибюль, идут на улицу.

Магда выходит взмокшая, с рассыпавшимися волосами, собирает их в пучок. Людской поток течет к выходу, и слышится: «Извините, компаньера. Спасибо. Разрешите пройти. Как дела, Магдалена?» — «Среди них я кажусь себе старухой...» Лавина скатывается по залитым солнцем ступеням. Переговариваются, шутят, и надо видеть, как они смеются. «Я никогда не могла так смеяться, по крайней мере, думаю, что не могла, или, возможно, сейчас мне так кажется. Они наслаждаются, живут полной жизнью и пока не ведают горечи разочарований, поэтому и не думают о них...» Магда пробирается сквозь яркую, бурлящую толпу, сквозь бурю криков, смеха, голубых юбок, разметавшихся причесок, мокрых от пота рубашек, глаз, вобравших, кажется, в себя все солнце, чтобы лучиться его светом. Беспрерывный гомон плывет в воздухе, подобно насыщенной, оглушительной, взрывной и радостной музыке. «Совсем как те дурашливые мальчишки, задиристые и милые, в которых я влюблялась до беспамятства, когда еще жизнь для меня была шуткой...» Она движется в море свежих, звонких голосов. На обочине газона между тротуаром и проезжей частью валяется смятая пачка от сигарет «Популярные». «Маркос!» Свет бежит по улице, как невидимая волна музыки. Красные флаги, свешивающиеся со стен, пламенеют в воздухе. Магда сливается с толпой, идет, меняя направление, заворачивает за угол, теряется среди незнакомых людей. «Пойду навещу Томасу...» В стекле одной из витрин видит свое взволнованное, горящее лицо. Наконец добирается до автобусной остановки у готической церкви.

Уже темнеет, когда Магда входит в особняк в Лоутоне. Шквалистый ветер треплет листву маланги и цветы бугенвилей[1], растущих вплотную, прижавшись к заплесневевшим стенам. Из-за причудливой формы вечерних теней, падающих на крышу, дом в бледном свете сумерек кажется окруженным каким-то странным сиянием. Ветер доносит зловоние застоявшейся воды бассейна, кошачьей мочи.

Приблизившись к двери, она разглядывает массивную головку дверного молотка в виде большой бронзовой руки, сжимающей земной шар, изъеденный пятнами окиси, позеленевший, с почти невидимой, стершейся буквой «Р». Она берет его в руку, приподнимает и отпускает. Молоток сотрясает дверь, звук разносится по всему дому и где-то в глубине замирает. В ответ ни шепота, ни шороха. Она прислоняется к двери, прикладывает ухо, но не слышит ни звука, будто все, и коты, куда-то пропали. Тишина, кажется, переполняет весь дом и сочится через щели из двери холодными темными струями. Магда отходит от подъезда, возвращается в сад. Осматривает все закрытые двери и окна и наконец на перилах одной из террас замечает шесть или семь застывших кошачьих силуэтов. Снова подходит к дому и стучит молотком. Ждет. Опять ухом прикладывается к двери, но чувствует лишь холодную поверхность дерева, тишину и пустоту. Еще раз поднимает и опускает рукоятку молотка, и в это мгновение наконец доносится стук засова, скрежет щеколды, невнятное бормотание, боязливый скрип замка, звяканье цепочки и задвижек; дверь открывается, и Родриго говорит:

— Заходи. Я должен был спуститься сам, потому что Кастаньо нет. Теперь сюда уже никто не приходит.

Ухватившись за перила, он начинает тяжело, со ступеньки на ступеньку, подниматься по лестнице, волоча левую ногу.

— Я рад, что ты пришла. Старость — ужасная вещь. Умирание начинается с ног.

Идет задыхаясь, с безнадежной медлительностью. И Магда в приступе жалости, видя, как его неуверенные ноги с трудом одолевают ступеньки, кладет руку на плечо отца...

---

[1] Маланга — корнеплод, некоторые виды обладают красивой листвой и высаживаются в декоративных целях. Бугенвилея — декоративное вьющееся растение с большими цветами.

Шагая по камням, Кастаньо с беспокойной настороженностью прислушивается, как каблуки ботинок Уркисы отстукивают по отсвечивающей полоске дороги. Оглядывается на альмасиго, под которым они оставили «форд». Поворот — и отсюда видны банановая роща, заросли сливовых деревьев, дом, прикрытый тенью от облака, и в дверях фигура Хулии. Идут широким торопливым шагом. Слышен только скрип камней под ногами, тяжелое дыхание Уркисы да шорох листвы. Уркиса снимает сомбреро и платком вытирает блестящую от пота лысину. По мере их приближения силуэт Хулии становится отчетливее, она ждет их, опершись о косяк двери; ухмыляясь, здоровается с Кастаньо, протягивает ему руку.

— Приготовь кофе и обед,— бросает Уркиса.

Кастаньо смотрит, как она удаляется, на ее тело, обтянутое выцветшим платьем с поблекшими цветочками, на голые ноги в грязных незашнурованных туфлях.

— Ну и как тебе это нравится?

— Что?

— То, что творится на Базе. Недавно уволили семьсот кубинцев, работавших там. Говорят, что им даже не выплатили выходного пособия, и вообще там стало плохо. С каждым днем все больше следят. Были стычки, дело доходило до стрельбы. Несколько дней назад убили пограничника, некоего Романа Лопеса, и нескольких ранили. А третьего дня один американец напился, перелез через ограду, оттащил ее на глазах у пограничников и, швыряя камни, ворвался в пограничную будку. Черт-те что творится.

— А я должен сообщить тебе... Родриго предлагает по пять тысяч за человека, если выезд устроят через Базу.

— Я доложу, хотя мне кажется, что лучше каким-нибудь другим путем.

— Он говорит, что через Базу надежнее всего.

— Потому что его здесь нет. Он не знает, что тут делается. А ведь можно подготовить надежный выезд и в другом месте... — Уркиса отхаркивается и подвигает две табуретки.

— Давайте присядем. Я вызвал вас потому, что надо обговорить кое-что.— Он расстегивает гуайяберу и вытирает платком лысину.— Хочу предупредить, здесь передавать камни будет невозможно. Их доставят в Гавану. Не удивляйтесь, эти дела делаются так. Там мы должны будем увидеться с двумя людьми, чтобы уточнить последние детали. Начиная с десятого числа будущего месяца в течение недели вы каждый день в одиннадцать утра должны приходить в бар «Марино», напротив причала для яхт в Регле. Точную дату сказать не могу, но в один из этих дней в тот же час я встречусь там с двоими.

— Обязательно там?

— Да.

— Дело в том, что там меня знают.

— И хорошо знают?

— Да уж...

— Ничего, сойдет. Как будто бы случайная встреча. Вы подойдете и поздороваетесь со мной — вроде бы мы старые приятели, не виделись несколько лет,— присоединитесь к нашей компании. Никто ничего не заметит.

— А почему камни должны передаваться в Гаване?

— Не знаю. Знают они. В таких делах не задают много вопросов. Но все будет в порядке, абсолютно надежные люди. Дело провернем через мои связи на Базе. Один из них работает на торговом судне, а раньше был мичманом на военном корабле.

С кухни доносится шипение жира и запах жарящейся свинины.

— Как себя чувствует Родриго?

— Хорошо. Он старик крепкий, хотя в последнее время очень подавлен.

— Это понятно и нормально. Кто из нас в эти времена не живет на пределе нервов. Надо быть железным, чтобы жить, как мы живем, и терпеть, что мы терпим. А сколько Родрито лет?

— Точно не знаю, но что-нибудь около семидесяти.

— Уже сколько времени я его не видел. Если бы не было так опасно, я навестил бы его, когда поеду в Гавану. А может, договоримся встретиться где-нибудь?

— Трудно. Он уже много месяцев не выходит из дома. Говорит, что выходить — одно расстройство.

— Родриго — человечище закаленный. Я его знаю много лет, в делах он всегда был надежным другом и никогда никому не ставил подножку. Его очень уважают; если кто-нибудь ссылается на него, значит, дело верное. Однако, пошли обедать.

Уркиса открывает две бутылки пива и бросает в тарелку несколько чичарронес [1]. Когда он не смотрит в сторону Хулии, она делает Кастаньо какие-то знаки и улыбается. Подает на стол свинину, рис, юкку, жареные бананы. Останавливается с озабоченным видом, с каким обычно женщины окидывают взглядом накрытый стол или застланную постель.

— Вот это да, это настоящий обед. В Гаване такого не попробуешь.

— Там одни спагетти с яйцами.

— Вот и я говорю Хулии... Вы ведь знаете уже ее вкус — готовит так, что пальчики оближешь. Когда вы уезжаете? Сегодня вечером?

Хулия напряглась, словно пружина перед тем, как распрямиться.

— А хотите, оставайтесь. Поездки такие утомительные.

— Останусь, пожалуй Отправлюсь завтра утром.

Родриго не спешит проводить Магду в комнату Томасы.

— Она очень плоха. Поднимается и сразу же ложится. Недавно встала приготовить кофе, но так и не смогла.

— Хочешь, я приготовлю кофе?

— Ты не умеешь.

— Кто тебе сказал?

Оставив книги на столе, она отправляется на кухню. «Сколько лет прошло, как я не была здесь! Облицованная кафелем до самого потолка, кухня кажется просторнее». Плита с вытяжкой, топившаяся углем, превращена в гладкий столик, а места, где были дверцы топки и поддувала, заделаны фиолетовой плиткой. Магда ставит воду на газ. Берет с блюдца кусочек мыла и моет кофейник, тарелки, кастрюли.

— Оставь, оставь. Томаса потом все сделает.

— Я тоже могу.

— Ты рождена не для этого.

— А для чего?

Родриго отхлебывает кофе мелкими глотками и, подняв глаза, смотрит на дочь.

— Все совсем не так, как мне мечталось. Пошли, я хочу тебе кое-что показать.

В коридоре он останавливается. Пытается открыть дверь комнаты. Запор заржавел и только под резким толчком поддается; дверь сразу распахивается, поднимая в воздух тучи пыли. Входя, Магда головой задевает паутину. Воздушная, невидимая, мягкая нить касается ее лица, неслышно колеблясь. В комнате стоит затхлый запах монастырской кельи, лежалых вещей, известки, кошек, бумаги, сырости и

[1] Специально приготовленные шкварки из свинины.

каучукового клея. На всем печать запустения, все подернуто дымкой сумрака. Родриго зажигает лампу. На полу в сетке теней Магда видит покрытые пепельной патиной электрический поезд, игрушечную сельву, сделанную из картона, фибры и бумаги, свинцовые фигурки животных, какие-то пластмассовые загородки, ветряную мельницу, вращавшую крылья от электромотора, теперь ее крылья опутаны почерневшими ветками дикой розы. «Сколько раз я хотела перенести поезд и мельницу в дом тетки, но там их некуда было поставить...» Послышался голос отца:

— Ты всегда имела все, что ни пожелала. Помню, когда Томаса приводила тебя, я ложился на пол и играл с тобой. Мы следили за тем, как катается поезд и крутится мельница. Помнишь?

Магда не отвечает. Они выходят в коридор и направляются к комнате Томасы. Родриго вдруг останавливается.

— Подожди.

Открывает соседнюю комнату. Там тоже пыльной паутиной покрыта мебель, паутинные космы свешиваются из углов розового потолка. На панелях по четырем стенам резвятся смеющиеся Белоснежка и семь гномов. Детская колыбелька с разрисованным пологом, несколько игрушек. И все заплесневелое, запыленное. Шкаф, дверцы которого украшены золоченой резьбой, изображающей Алису в стране чудес. Магда подходит к кроватке, приподнимает матрасик, изъеденный молью, покрытый пятнами сырости, трогает подушку без наволочки. «И грустно и смешно. Я так никогда и не спала здесь. Ни разу не ложилась в эту кровать...»

Родриго достает из кармана своей полотняной рубашки сигару, зажигает и раскуривает, пока ее конец не разгорается ровным кружком. Магда смотрит на его дрожащую руку, на кольца дыма, вьющиеся у головы. Одна сторона лица Родриго морщится от дыма, и от этого кажется, что лицо одновременно имеет два различных выражения.

— Для чего ты все это показываешь?

— Чтобы ты не забывала и знала, что этот дом всегда был твоим.

— Мой дом был и есть у тети.

— Ну зачем ты так говоришь?

— Пойдем к Томасе.

Она лежит неподвижно со сложенными на животе руками под натянутой до подбородка простыней. Лицо бледное, усохшее. Магда подходит к кровати и легонько, ласково пожимает ей руки. Томаса улыбается.

— Как себя чувствуете?

— Не очень...

— Ну я пойду,— говорит Родриго.

Они провожают его взглядом, пока за ним не закрывается дверь. Лицо Томасы сразу же меняется. Жестом она просит Магду подойти поближе.

— Я переберусь к племяннице. Мне плохо, видно конец пришел. И вот все думаю: почему они тебя не известили, когда мне делали операцию? Недоброе приходит в голову. — И она сжимает пальцы Магды своими холодными руками. — Он ведь тоже ни разу не навестил меня в больнице.

— Как же так?

— Вот так, не был.

— Но это невозможно!

— А вот не навестил, и все. Приходил только Кастаньо. Появился в первый же день с деньгами, которые ему дал Родриго для врачей и сестер. Они не брали, а он настаивал, мне было так неудобно. Там работают люди за совесть, они и так были очень внимательны ко мне.

— А вы не спросили отца, почему он сам не зашел к вам?

— Спросила, и он ответил, что ни за что не пошел бы ни в какую ихнюю больницу. Его все бесит. Когда я ему сказала, что ко мне относились очень хорошо и больница очень хорошая, он прямо рассвирепел. Одно только сделал твой отец — послал через Кастаньо деньги моей племяннице. Мы говорили ему, что деньги нам не нужны, в больнице все бесплатное, а Кастаньо ответил, что твой отец требовал в любом случае отдать деньги племяннице. Когда меня выписали, он прислал за мной Кастаньо с машиной, и тот привез меня сюда. Племянница приходила ко мне ненадолго, но каждый день, а вчера сказала, что больше ходить не будет. Вроде бы твой отец приставал к ней. Не могу об этом рассказывать. Противно.

— Нет, расскажите.

— Нет-нет, зачем тебе это? Человек ни о чем не думает, когда рождается, но, родившись, он должен думать о смерти. А люди не беспокоятся об этом и творят такое, чего бы не стали делать, если бы думали. Я хочу помереть спокойно, но не могу из-за того ужаса, что камнем лежит на моей совести. Грешница я. Если бы ты только знала... В этом доме я не могу умереть спокойно. Теперь-то я знаю, что за все плохое приходится платить.

— Успокойтесь. Вы не умрете.

— Нет, моя девочка, помру.— Она с силой сжимает руку Магды.— Ты меня простишь, ведь правда? Представь себе самое страшное, что может сотворить человек, и прости.

— Хорошо, хорошо, успокойтесь.

Она проводит рукой по лицу Томасы. Та закрывает глаза.

— Голову, как обручем, сжимает боль. Смочи одеколоном вот этот платок и потри мне виски. Посиди немного рядом, может, я засну. Ночью не могу. Какой-то шум, коты, странные звуки. Этот дом проклят, здесь творилось одно зло. Я попросила племянницу принести эти белые розы, альбааку и цветы подсолнечника и всегда у образа моей святой девы-заступницы Каридад зажигаю свечку, чтобы та простила меня, и ставлю стакан с водой, чтобы отпугнуть недоброе. Эта бедняжка... она все время возвращается сюда...

— О чем вы?

— Так, ни о чем... Подержи меня за руку. Может, я засну.

Ладонь ее безвольно разжимается. Томаса мгновенно, словно чудом, засыпает. Убедившись, что она спит, Магда выходит из комнаты.

В зале — Родриго, он по-прежнему поглаживает бородавку. Она забирает свои книги и, уже собравшись уходить, спрашивает:

— Почему же ты не навестил ее в больнице?

— Я... я... А она тебе сказала, что я не был?

— Да.

— Дело в том, что я вообще не выхожу из дома. Не решился. Много лет мы вместе. Но не пошел, что-то меня удерживало, и я не смог пойти.

— Ты должен был навестить ее. Я вижу, она чем-то обеспокоена. Сказала, что переберется к своей племяннице.

— Она это сказала? Сумасшедшая! Нигде ей не будет лучше, чем тут! Племянница живет в лачуге. Я говорил ей, что, если хочет, может оставаться ночевать здесь. Нет, Томаса просто сошла с ума! Я поговорю с ней. Но и ты заходи проведать ее. Каждый день будешь заходить? Могу я так сказать ей?

— Да, можешь.

— Погоди, погоди, я провожу тебя.

— Зачем тебе спускаться и опять подниматься по лестнице?

— Человек не может сидеть и киснуть на одном месте.

Магда выходит из подъезда. На улице уже ночь.

Сквозь створки двери Родриго наблюдает за ней, пока не слы-

шит стук калитки. Тогда он захлопывает дверь и поднимается по лестнице с удивительной ловкостью, которую ярость придает даже дряхлым старикам. Почти бегом пробегает по коридору. С помутневшими от бешенства глазами ударом ноги открывает дверь, и от пронзительного визга петель, словно от удара бича, Томаса резко приподнимается, пораженная и испуганная. И остается сидеть на кровати, открыв рот, с застывшим в горле криком, безнадежно пытаясь избежать его взгляда, морщинистыми руками прижимает к шее простыню.

— Зачем ты ей рассказала, что я не был у тебя? Отвечай! Ну, говори же! Говори, черт побери! Зачем? И значит, ты хочешь переехать к своей племяннице?

— Да, я плохо себя чувствую. А племянница сказала, что больше сюда не придет. Подумать только — предложить ей то, что ты предложил! Просто не верится...

Родриго наклоняется над кроватью. Ладонью зажимает ей рот, толкает на постель и придавливает к подушке. Томаса всхлипывает, задыхаясь, вертит головой, жалобно стонет под его руками.

— Пусти, Родриго! Пусти меня.

— Чтобы я больше не слышал разговоров, что ты хочешь уйти отсюда! Понятно? Пришибу к чертям собачьим, шею скручу, выпущу потроха наружу! Этого ты хочешь?

— Сделаю все, что прикажешь. Я всегда делала, что ты хотел. Только отпусти, мне тяжело...— бормочет она глухим голосом, сдавленным от жалости к самой себе и от страха.

Родриго убирает руки. Томаса прикрывает голову простыней, как бы стараясь защититься от проскользнувшей и пугающей ее мысли. Штора на окне от порыва ветра выгибается внутрь, в сторону кровати, одинокая и ветхая, словно неприкаянная.

— Пора кончать со всеми нашими ошибками, промахами,— говорит мне Маркос, сжимает пальцы, распластанные на столе, и стучит кулаком по бумагам. Смотрит на меня долгим, изучающим взглядом, потом продолжает:— Благодарю вас за советы, но плохому пора поставить заслон. Я знаю, что этого не добьешься ни за день, ни за месяц. Борьба на годы. Многое мы тащим за собой из прошлого.— Он закидывает руки на затылок и, чуть прищурившись, вглядывается в подвесной потолок кабинета.— Знаю также: кое-кто думает, что я чересчур требователен, но здесь я не для того, чтобы заигрывать и быть для всех хорошим. Невозможно дальше такое терпеть. Большинство горит на работе, не считаясь с личными интересами, а кое-кто полагает, что может получать все, не давая ничего... Я не из добреньких, подобно Леонсио. Есть люди очень добрые, когда дело касается чужого добра, особенно общественной собственности, но в отношении своих благ они — ой как прижимисты.

Я улыбаюсь, киваю головой в знак согласия.

— Что правда, то правда,— подтверждаю.— Но порой ты слишком распаляешься. Действенность критики не в резкости, а в том, чтобы она была справедливой, конкретной и доказательной. Критика должна помогать. А если она, пусть даже справедливая, выражена запальчиво, то может утратить эти качества.

Он поднимается и энергичными шагами прохаживается по кабинету. Но вот он остановился и, упираясь руками в стол, говорит мне:

— Я вас спрашиваю, Лукас, разве может революционер мириться с плохой работой ради собственного спокойствия?

Снова садится. Наклоняется ко мне, ожидая ответа.

— Конечно нет. Но не надо кричать на людей.

— Это вы про случай с Трино, насчет грузовика?

— Да, и не только про это.

— Но порой человека просто вынуждают взорваться. Он ведь знал, что машина в плохом состоянии, что нужно беречь ее, что запчастей не хватает. И вот в воскресенье все едут на пляж и он тоже не отстает. Но машина-то не его, она принадлежит фабрике. Он ее поломал во время прогулки, а теперь требует, чтобы администрация обеспечила ремонт, чтобы искала запчасти, чтобы нажимала на мастерские, для этого она, мол, и администрация. Ни фабрика, ни трудящиеся не должны оплачивать последствия его воскресной поездки на пляж! Три дня уже машина простаивает. И Трино ничего не делает, а зарплату-то получает. Как тут не взорваться?

— Но не в такой форме, как это сделал ты.

Он берет со стола шариковую ручку и, задумавшись, крутит ее между пальцами. Выглядит серьезным и сосредоточенным.

— Да, сдерживаться, конечно, надо,— говорит он, откладывая ручку в сторону.— Но поймите, Лукас, мне нравится называть вещи своими именами, остро, прямо, без недомолвок. Я не дипломат, я директор фабрики и обязан выражаться ясно...

— Но вежливость не снижает требовательности,— перебиваю я его.— Не надо оскорблять людей публично. Гораздо лучше разобраться в том или ином вопросе, вникнуть в суть дела в спокойной обстановке. И твердость не отрицает вежливости. А благие намерения порой приводят к обратному результату.

— Я не был несправедлив, но если вы считаете, что был, так и скажите. Для этого я вас и позвал.

— По существу не был, а по форме был. Я тоже говорю открыто: ты был груб. Кроме того, ты и сам виноват.

— Я?

— Да, ты. Ты знал, что он ездит на пляж на машине. И должен был распорядиться, чтобы автомобиль по воскресеньям оставался на фабрике. Но ты не сделал этого. А когда машина сломалась, вспылил.

— С вами такого никогда не случалось?

— Стараюсь никогда не горячиться. В твоем возрасте я тоже был горячим, но толку от этого не было никакого, один только вред,— отвечаю я, понимая его. Вижу его неподвижный, внимательный взгляд, следящий за моими глазами.— Я знаю, что ты регулярно навещаешь семьи погибших в боях товарищей и тех, кто мобилизован в армию, интересуешься их делами, помогаешь, поддерживаешь морально. И это очень хорошо. Но почему затянул ремонт полов? Ты же сам говорил, что самое важное — это человек, что нельзя забывать о мелочах. А если произойдет несчастный случай?

— Лукас!

— Да-да, Маркос,— снова перебиваю я, замечая тень беспокойства в его глазах.— Хочу сказать тебе вот что: иногда руководитель чего-то еще не видит, а народ уже замечает, если народ ошибается один раз, руководитель — десять. Рабочие уже продумали, как можно в цехах поправить полы, не нарушая хода производства. Понимаешь?

— Но ведь профсоюз согласился на отсрочку ремонта... Однако в любом случае ты прав, Лукас... просто дело в том... я совсем потерял голову с производственными делами и выполнением плана. Но все, что ты мне сказал, совершенно справедливо.

— Я рад, что ты меня вызвал, потому что еще сегодня утром мы с Мартинесом думали поговорить с тобой об этом.

— Спасибо, Лукас. Во всем, о чем мы говорили с тобой, ты прав. И я благодарен тебе.

— Я думаю, что революционеры так откровенно и должны разговаривать. Ты будешь прекрасным руководителем, более того, ты сейчас уже умеешь руководить. Ну а у меня опыт работы с трудя-

щимися большой — более сорока лет я на профсоюзной работе, это больше, чем ты прожил на свете...

Раздается стук в дверь, и появляется Лидия.

Сегодня, увидев Лидию в столовой, ты вспомнил, что она живет в Арройо-Наранхо, а поскольку по делам тебе нужно было ехать в Калабасар, ты сказал ей, чтобы по окончании смены она задержалась, если хочет доехать с тобой до дома. Она не ответила ни да, ни нет. Быстро отошла, и ты даже не заметил, как зарделись краешки ее ушей. И не знаешь, как у нее болели губы, искусанные, чтобы сдержаться и не отчитать Рауля за то, что он говорил о тебе в столовой. И понятия не имеешь, что, уходя от тебя, она размышляла над тем, откуда в Рауле столько ненависти к тебе.

А потом ты довез ее до их деревянного домика. Там же познакомился с ее двухлетним улыбчивым сынишкой и с матерью, очень сердечной женщиной. Тебе понравился их маленький домишко, выкрашенный белой и апельсинной краской, с обвитыми плющом столбами крыльца. Ты смотришь на вечный беспорядок в своей квартире и сравниваешь. Там совсем другая атмосфера, другое освещение. Зажигаешь лампу и подсветку аквариума. Магда выходит из ванной с мокрыми волосами; аромат влажной кожи смешивается с запахами морского отлива, проникающими через окно. Она проводит по голове щеткой, морщится, сжимает зубы, с силой продирая ее сквозь волосы. На ней лишь пижамные брюки, и в такт движениям щетки ее груди колышутся. Она присаживается у аквариума на корточки, глаза ее от слишком пристального взгляда темнеют. Сырые волосы прилипли к спине. Она прижимается носом к стеклу — о чем-то она задумалась, но о чем, ты не знаешь. А ее мысли — в Лоутоне: быть может, все отеческие чувства, которые вдруг пробудились в Родриго, лишь комедия, он хочет скрасить свое одиночество? «Томаса, отец и Кастаньо что-то скрывают. Почему они мне ничего не сообщили? И как странно ведет себя отец. Сплошная загадка. Всегда мне хотелось ее разгадать и никогда не удавалось, но, может быть, не удавалось потому, что нет никакой загадки, а мне все-таки нужна разгадка. Что задумал Кастаньо? Что происходит в особняке отца?..» Ты смотришь на нее и не сомневаешься, что она думает и страдает, глядя на аквариум, подобно слепому, который уставился невидящим взглядом в море. Во всей ее фигуре, несмотря на показную расслабленность, заметна явная скованность. И ты спрашиваешь:

— Что ты хочешь сказать мне?

Она отрывает нос от аквариума, стучит рукой по стеклу. И вода, кажется, теряет плотность от взрывного всполоха золотистых телец и круговерти огненных бликов, мгновенно собравшихся у стенки аквариума. Наконец Магда поднимается и говорит:

— Меня беспокоит Томаса.

— Ей не лучше?

— Я нашла ее очень взволнованной. И папу тоже. Мне жалко их.

— Почему?

— Они старые, одинокие, больные. Надо бы каждый день заходить и присматривать за Томасой. Племянница больше не может. У нее работа. Как ты думаешь, что мне делать?

— Что ты сама сочтешь нужным.

— Я считаю, что должна ходить.

— Хорошо, тогда ходи, но будь осторожней.

— Я боялась, ты рассердишься...

Она притягивает тебя к себе, обвив шею голыми руками, и обещает, что будет обо всем, обо всем думать, но особенно о своей синей птице. Она целует тебя и говорит, что любит, вопреки всем своим сомнениям и страхам, любит такого, какой ты есть, а может, и такого, какого нет,— со всей твоей непримиримостью и одержимостью;

любит тебя из своих пустых, нескладно прожитых лет, из бессонниц и ожиданий, из провалов грусти и всплесков радости, любит тебя за твою полуулыбку, любит из своего прошлого одиночества. Рядом с тобой она совсем другая, рядом с тобой она не одинока, и впервые жизнь ее наполнена настоящей жизнью.

Она отстраняется, смотрит на тебя и спрашивает:

— Почему люди встречаются или не встречаются друг другу? Почему мы повстречались? Почему в то утро я оказалась на пляже и ты тоже подъехал туда? Если бы я не пошла на пляж или ты не появился там, если бы этого не произошло, мы, может быть, так никогда бы и не узнали друг друга. В том, что люди встречаются, есть что-то таинственное.

Она проводит рукой по твоему лицу, по носу, губам, и ты говоришь:

— Главное не в том, встретятся люди или нет, а в том, что происходит после встречи.

Родриго беспокойно мечется по комнате и молча смотрит на него. Шагает из угла в угол. Нервно потирает щеки, потом вынимает платок и вытирает лицо. Вдруг застывает, вперившись в пространство, в ничто. Постепенно его взгляд обретает твердость.

— Все, что ты рассказал, просто удар для меня.

— Они так говорят.

— Все очень-очень плохо: и что касается камней и того, что невозможно уйти через Базу. Кто бы подумал, что дела так обернутся? А когда прибудут камни?

— Через наделю-две после встречи. Они уже идут, но кружным путем. Только нам надо договориться заранее, до их прибытия.

— Тогда ты должен увидеться с Лорие, чтобы он все подготовил. Знаешь, где он живет?

— Приблизительно. Адрес какой-то путаный. Помните, он нарисовал нам план?

Родриго направляется к шкафу и достает из ящика бумажку. Передает Кастаньо, тот разворачивает ее и спрашивает:

— Ехать на машине?

— Автобусом, Кастаньо, автобусом. Все еще не усвоил. Пойми, на того, кто выходит из автобуса, никто не обратит внимания. И еще не забывай, что машина моя, а не твоя. За последнее время ты и так уже брал ее много раз.

— Но если на машине не ездить, она проржавеет.

— Ну и черт с ней, пусть ржавеет, гниет. В конце концов все мы сгнием. А теперь поезжай к Лорие.

Кастаньо направляется к двери, но, услышав голос Родриго, останавливается.

— Да, вот еще что. Не забудь, что до встречи с Уркисой и другими нам надо поговорить. Следует принять самые строгие меры предосторожности. Лучше три раза перестраховаться, чем один раз ошибиться. Мой дед говорил: в жизни держи ухо востро, недоверчивость и сомнения делают человека мудрецом.

Родриго будто пытается вопрошающим взглядом проникнуть в таинство воздушного потока, пронесшегося по комнате от захлопнувшейся двери, и в этот момент слышит глухой удар и вскрик.

На стенах — портреты Марти, Масео, Гомеса, Мельи, Рубена, Балиньо, Мартинильо, Араселио и Камило[1]. В зале заседаний Объединения собрались члены руководящих советов и директора фабрик. Они беседуют, разбившись на небольшие группы, но когда входит за-

[1] Герои национально-освободительной войны в XIX в., а также Кубинской революции.

меститель министра, разговоры прекращаются и все садятся на свои места. Команданте снимает фуражку, кладет ее на стол и говорит:

— Наше собрание будет кратким. Я всего лишь проинформирую вас о переходе Армандо в Министерство иностранных дел. Возможно, он предпочел бы остаться во главе Объединения, но революционер должен быть там, где партия и правительство считают его пребывание более полезным в данный момент. Армандо работал хорошо и много в трудные для нас времена. Враги хотели парализовать нашу промышленность, подорвать экономику страны. Но не добились этого. Я не собираюсь сейчас говорить о том, какой ущерб нам нанесла блокада и вооруженные нападения, но хочу лишь сказать, что благодаря настойчивости, энтузиазму и опыту людей, подобных Армандо, наша промышленность сумела преодолеть трудности, хотя бы с запасными частями, в освоении технологии в новых условиях и на новом сырье. Армандо работал героически. Поэтому от имени партии и правительства я хочу выразить ему признательность и наше удовлетворение его работой. На его место назначается Альфредо, и мы надеемся, что вы будете оказывать ему такое же содействие, как и Армандо.

Пользуясь случаем, хочу обратить ваше внимание еще на одну возникшую проблему, непосредственно касающуюся вашей отрасли. Речь идет о сельском хозяйстве. Мы оказались перед кризисом. Производство табака имеет тенденцию к сокращению, уменьшаются посевные площади, отводимые под эту культуру, сокращается продажа табака государству мелкими производителями. Кроме того, катастрофически снизилась урожайность, на большинстве плантаций ухудшился уход за растениями. Трудящиеся вашей отрасли должны протянуть руку помощи работникам сельского хозяйства. Нужно направить в деревню отряды рабочих...

Армандо выслушал выступление команданте, опустив взгляд на скошенный срез настольного стекла. Теперь внимание всего зала обращено на него, и он смотрит на присутствующих так, будто хочет выступить, сказать что-то. Снимает очки и просит слова.

— Товарищи, я сердечно благодарю вас за помощь, которую вы мне оказывали, когда я руководил Объединением. За эти годы мы пережили много трудных, но незабываемых моментов, тяжелых, хотя и прекрасных дней. Я думаю, что товарищ заместитель министра несколько преувеличил мои заслуги. Один я ничего не мог бы сделать. Все, чего мы добились, стало возможным благодаря всем вам.

Он стоял и молча смотрел на всех повлажневшими близорукими глазами, будто хотел еще что-то сказать. Но надел очки, а команданте под аплодисменты зала обнял его.

Родриго, помертвев, смотрит на закрытую дверь, на ее потемневшее дерево, и сам деревенеет. Стоит не шевелясь, перекошенное лицо покрывается легкой испариной, слышит собственное дыхание, ток крови, холодеющей внутри него. «Что за стук... И крик?..» Оглядывается на часы, но не может разглядеть их с того места, где он замер с трясущимся подбородком, напрягая слух. Сквозь жалюзи сочится блеклый свет, которого едва хватает на небольшую часть комнаты. Слышно, как по другую сторону двери скребутся и жалобно мяучат коты. И вдруг новый вскрик. Родриго открывает дверь. Коты бросаются к нему. Он проходит по коридору, коты, как живая волна, крутятся у его ног.

Входит в комнату Томасы. Она лежит на полу с оборванным пологом в руках, дрожа от испуга и пытаясь ухватиться за кровать.

— Что с тобой?

Он помогает ей лечь в постель. Томаса корчится в судорогах, непослушным языком и трясущимися губами шамкает:

— Этот дом проклят... Я видела ее... Это она... Я хотела встать,

спрятаться, но вдруг меня кто-то толкнул. Не снаружи, а изнутри меня... Я ее видела... Это она мстит и будет мстить дальше...

Родриго берет ее руку.

— Успокойся. Тебе показалось.

Но Томаса садится, выпрямившись в кровати, и отвечает:

— Нет-нет, Родриго, уже несколько ночей подряд, как только я погашу свет или потухнет моя свечка и наступит темнота, мне начинает казаться, будто то, что мы делали столько лет, собирается воедино и нависает надо мной, наполняет комнату, дом, воздух, и мне нечем дышать. Надо уходить отсюда. Тут все мне как укор и угроза отмщения. Позволь мне переехать к племяннице.

— Прекрати, Томаса. Все это твои выдумки. И никуда ты не переедешь, мы уже об этом говорили.

Словно кожаный куль с костями, удрученная и подавленная, Томаса валится на постель. Прикрыв лицо руками, она горько рыдает, но это рыдание звучит не как стон отчаяния, а как вопль безоружного человека, знающего, что ему предстоит смертельная схватка.

Лорие размахивает руками. Курит сигарету за сигаретой, давя окурки в заржавелой консервной банке, служащей ему пепельницей. Кастаньо смотрит на него, сбитый с толку круговертью слов, жестов, ударов рук, которые, кажется, захватывают сам воздух, подбрасывают его, формуют, обтачивают, раскалывают.

— Ты сам убедишься, Кастаньо, камни — великая вещь. И заметь, многие считают, что есть в них колдовская сила. Говорят, что аметисты могут усмирить ветер и злобу, «кошачий глаз» сохраняет здоровье, рассудок и имущество своего владельца, цветной агат спасает хозяина от бурь и циклонов, лигурит дает человеку зрение как у рыси, изумруд приносит здоровье, молодость и надежду, а бриллианты, бриллианты притягивают деньги и богатство.

Он наклоняется и берет стоящую возле резинового матраса, который служит ему постелью, начатую бутылку агуардьенте. Кастаньо замечает на указательном пальце его правой руки серебряное кольцо с черепом, а на запястье тяжелую золотую цепь.

— Родриго, старик Родриго все знает. Вот увидишь, Кастаньо, это дело верное. Ты представляешь, как добывают эти камни? Я спрашиваю потому, что американцы сейчас придумали новый способ.

Кастаньо делает небольшой глоток и говорит, что не знает, как их добывают, но камни прибудут скоро, и надо все подготовить.

— У меня почти все готово,— подтверждает Лорие и ведет его в другую комнату, где показывает верстак для огранки, мотор в половину лошадиной силы, установленный на бетонном основании на полу отдельно от верстака. Лорие стучит по бетону согнутыми пальцами.— Мотор надо ставить только так, чтобы его вибрация не передавалась на верстак. Алмаз очень твердый, но хрупкий. Даже небольшая вибрация может расколоть его. Верстак должен быть отлично выровнен.

Кастаньо с робостью подходит, осматривает, щупает. Вроде бы все готово. Но Лорие отступает назад, снисходительно улыбается и говорит:

— Ты так считаешь? Нет, тут многого еще не хватает. Нет хороших зажимов. Есть только один «краб»[1], а нужен еще один для шлифовки лицевой стороны камня и второй, механический, двойного назначения. Надо будет поговорить с людьми, которые привезут камни,— может, через них раздобудем, потому что иначе с камней стачивается очень много материала. Хорошая огранка дает камню жизнь, прибавляет ценность, и я способен извлечь из него все что можно, но без инструмента ничего не выйдет. Это дело я знаю как свои пять паль-

[1] Приспособление для огранки и шлифовки драгоценных камней.

цев. Ты и представить не можешь, какие у меня получаются камни. Веришь ли, там, в Венесуэле, в Маракайбо, я был лучшим гранильщиком. Сам подумай, если даже президент Трухильо [1], тот, который из Санто-Доминго, требовал, чтобы я лично обрабатывал ему огромные изумруды, которые он раздаривал. Я их делал для его дочерей, для жены, ну и так, для друзей. Из-за размеров мы называли их «изумруд-агуакате» [2]. Трухильо, похоже, верил в волшебную силу камней. Батиста тоже, но у него любимыми были аметисты. Я там крупно зарабатывал, Кастаньо, но, к сожалению, везло нам недолго. Мы ввозили алмазы контрабандой, используя собак, а потом вспарывали им животы и вытаскивали камни. Пробовали то же самое делать и с помощью людей, доминиканцев и гаитян, но двое из них умерли, из-за этого все и провалилось, нам пришлось быстренько улепетывать. У-у, в этом деле я — маэстро!

Лорие отпивает, вытирает рот рукой, сплевывает, смотрит с превосходством на Кастаньо и говорит:

— Не думай, что это все так просто...

— Мне надо идти.

— Погоди, я напишу, чего нам еще не хватает.

Пока Лорие пишет, Кастаньо оценивает взглядом окружающую обстановку. Помещение переполнено инструментами и коробками с болтами, гайками, шайбами; между мотками электрического провода — пустые бутылки из-под агуардьенте. Посередине два стула без сидений и сосновый некрашеный стол. На стене вокруг треснутого зеркала изображение «ока божьего», цветные открытки с видами Каракаса и нефтяными вышками Маракайбо. Фотография Лорие с блондинкой в темных очках. Еще одна блондинка с очень зелеными глазами, очень красными губами и очень высокой грудью предлагает сигареты «Мальборо». На деревянной полке какая-то закопченная безделушка и фигурка из обожженной глины, покрытая черной и зеленой глазурью,— типичная работа мексиканских мастеров. Пахнет краской, алкоголем, ржавым железом, тараканами, аккумуляторной кислотой и маслом. С потолка, словно украшения, свисают пластиковые трубки. Лорие передает Кастаньо бумажку. Тот складывает ее и засовывает в карман. Собирается уходить, но Лорие с силой хватает его за руку и спрашивает:

— Родриго ничего не передал для меня?

— Нет.

— Мне нужны деньги. Расходы на эту подготовку большие. Скажи, чтобы переслал мне три тысячи песо. Не забудь и принеси их как можно быстрее. Ты шел через Алькасар?[3]

— Да.

— Это самая простая дорога, но теперь, когда ты уже знаешь местность, я покажу тебе другую, она надежней. Пошли.

Лорие запирает дверь на висячий замок. Проходят мимо недостроенного и непокрашенного дома с полусгнившими досками опалубки, все еще влепленными в бетон. В глубине стройки — заросли колючих кустарников, а вокруг — посадки юкки и маиса. Лорие шагает впереди в синих выцветших брюках и свитере в широкую красную и зеленую полоску с масляными пятнами на спине. Кастаньо переводит взгляд на свои мексиканские ботинки на высоком каблуке, с широкой золотисто-серебряной пряжкой.

Подходят к железнодорожной линии. Красноперый петух, завидев их, торопливо удирает из тени на солнце. Перейдя пути, Лорие не ищет лаз в деревянном заборе, а направляется по тропинке вдоль проволочной изгороди, закрепленной на стволах деревьев и обозна-

[1] Трухильо Молина (Рафаэль Леонидас, 1891—1961) — диктатор Доминиканской Республики.

[2] Агуакате — плод тропического дерева того же названия, имеет грушеподобную форму и размер до 15 сантиметров в длину.

[3] Район Гаваны.

чающей границы жилого района. За пригорком виднеются крыши домов.

— Как тебе нравится Алькасар?

— Хорошие виллы.

— Должен был стать чудесным районом. Многие жители уехали, а их дома передали всякому сброду — теперь тут сплошная шушера. Некоторые успели продать унитазы и дезодоранты для уборных. А кое-кто устроил из бассейнов загоны для мытья свиней.

Поселок остался позади, а дорожка уходит в небольшую рощу. Дальше через высокие заросли бурьяна видно кладбище автобусов. Повстречался какой-то старик с мешком травы на плече.

— А этот держит овец и коз,— поясняет Лорие.

Старик, остановившись, смотрит на них. Лорие выбирает дорогу через свалку. Осколки ветровых стекол. Радиаторы. Выхлопные трубы. Брызговики. Проржавевшие оси, обвитые лианами и заросшие травой. Целая вереница автобусов без моторов и дверей, вышедших из строя, превратившихся в ржавый лом.

— С каждым днем свалка растет. Скоро они останутся вовсе без транспорта.

Идут дальше, пробираются между валяющимися в траве блоками моторов, почти насквозь поросшими сорняками. Кое-где из отверстий цилиндров выглядывают желтые и фиолетовые цветы.

— Видишь, вон там сеют. Так вот, иди по этой тропинке — и выйдешь возле больницы Абальи. Там же можешь сесть на автобус № 1. И смотри не забудь принести деньги.

Здесь все ночи и дни слышится шум самолетов, летающих почти над самыми крышами общежитий и сараев для сушки табака. «Не дают спать, зато гарантируют жизнь»,— говорит Лукас. Целый день над табачными плантациями, когда мы обрываем лист, а мужчины выносят его корзинами, в воздухе стоит гул моторов, хотя самих самолетов и не успеваешь разглядеть.

Уже несколько дней мы — группа работниц и рабочих фабрики — мобилизованы на уборку табака на плантации Ла-Пекенья [1]. Это недалеко от Гаваны, между Сан-Антонио-де-лос-Баньос и Алькисаром. С первого дня товарищи стали шутить надо мной, уверяя, что плантацию назвали так из-за меня, но дело в том, что селение, где она находится, действительно маленькое. Практически его нельзя даже назвать поселком, это просто несколько построек: семь сараев для сушки табака, а одна постройка приспособлена для нашего общежития. Сараи крыты ветвями королевских и веерных пальм, а на двух из них по высохшим ветвям раскинул свои плети кундиамор[2], покрыв крышу ковром желтых и нежно-зеленых цветов. Вокруг распростерлась равнина, и табачные плантации тянутся до самого горизонта.

По-моему, цвет табачных листьев меняется в зависимости от освещения, но мои товарищи уверяют, что он всегда зеленый.

Я очень рада, что мое предложение изменить цвет полов на фабрике было принято. Почему, в самом деле, полы всегда должны быть серыми, ведь надо всего лишь добавить зеленой краски в цемент, и полы сразу же станут красивыми? Когда мы вернемся, их уже отремонтируют, они будут радовать людей своим веселым цветом. Маркос с головой ушел в это дело и как здорово работал! Помню, я подошла к нему и спросила, не был ли он раньше каменщиком. А он ответил: человек должен уметь все. И так странно смотрел на меня, словно бы не на меня, а на кого-то другого. Что-то промелькнуло у него в глазах, и он сразу посерьезнел или, точнее, погрустнел. Что бы это значило? Откуда тебе было знать, что в тот момент он

[1] Малышка *(исп.)*.

[2] Вьющееся растение.

мысленно перенесся в Мехико, в те дни, когда он работал подмастерьем каменщика на стройке дома по улице Попкатепетль. Вспомнил он и Хенаро, того самого Хенаро, который говорил: «Если ты поедешь воевать на Кубу, я поеду тоже». И всегда давал монеты в помощь революционному движению, оправдываясь при этом: «Маловато, но на несколько патронов хватит». Бедняга, сорвался с лесов...

По одну сторону от общежития — банановая плантация, рядом — роща деревьев манго и гуайябо, а в роще замаскирована счетверенная зенитная пулеметная крупнокалиберная установка для защиты близлежащего аэродрома Сан-Антонио. Зенитчики предложили свою помощь и теперь работают по очереди: двое остаются у оружия, а двое идут на кухню чистить овощи. Все они очень молодые, не старше двадцати. Один из них окрестил меня Цветочницей и так смотрит на меня, будто я свела его с ума, а потому, уверяет,— в интересах военной безопасности — я должна возвратиться на фабрику, а то он глаз от меня отвести не сможет, даже если появятся вражеские самолеты.

Вообще мы здесь много шутим, ведь труд наш тяжелый, а смех помогает... Шутки начинаются в самый разгар работы, когда солнце жарит вовсю, а волоски на табачных листьях становятся очень колючими. Особенно же мучит сок табака, он вроде смолы, когда срываешь лист, сок покрывает руки, становится вязким и липким, как каучук, и быстро-быстро темнеет. Но больше всего донимает пот, стекающий с бровей в глаза, и так жжет, что невозможно не вытереть глаза руками, покрытыми потемневшей смолой. И от этого даже волосы у людей становятся клейкими, особенно у мужчин, если они не предохраняют их как следует противомоскитными сетками. И хочется, ужасно хочется пить. Вначале пошучивали, что я и в кувшине, наверно, собираюсь носить цветочки, а теперь все так и тянутся к этому самому кувшину, в котором я приношу воду, настоянную на лимоне и листочках йербабуэны [1]. Кувшин я заворачиваю в сырые банановые листья, чтобы сохранить прохладу.

Вчера, в субботу, поработать с нами приехал Маркос. Сказал, что полы уже почти закончены. Приехал рано, до рассвета, когда мы, еще полусонные, только сели завтракать. Заглянул он в столовую, увидел банки от компота, превращенные в цветочные горшки с разноцветными викариями и белыми колокольчиками, и сказал мне:

— И здесь тоже?

Я ответила вопросом: «А что, не нравится?» Он был в хорошем настроении, улыбнулся. Потом мы все на совесть поработали. Маркос трудился наравне с другими, без передышки, но вдруг прервал работу и стал смотреть на нас. Мы срывали только нижние листья, не трогая трех верхних, а затем тащили их к корзинам. Там, покуривая сигарету, стоял Рауль. Мы подходили, сдавали ему собранный табак, а он только укладывал его, прикрывал джутовым мешком и потом относил корзины к тракторному прицепу. Маркос посмотрел на него, на нас, подошел к нам, отобрал из наших рук охапки листьев, отнес к корзинам и уложил как надо. И получилось так, что теперь нам не надо было ходить по бороздам. А Рауль все поглядывал на нас, и тогда Маркос приказал и ему принимать от нас и переносить собранные листья Но Рауль ответил, что получил задание только прикрывать табак мешком и доставлять его корзинами к прицепу. Маркос спросил неужели ему не стыдно перед женщинами? Рауль нехотя, почти не скрывая злобы в глазах, стал подходить к нам и забирать листья, но делал это медленно и каждый раз брал совсем понемножку. Не понимаю, откуда берутся такие люди. Его просто душила ярость. А на Маркоса он смотрел с такой ненавистью, что мне даже страшно стало. Спесивый наглец и зазнайка! А Маркос

[1] Ароматичное тропическое растение, похожее на мяту.

спокойно принимал у нас собранный лист и носил его огромными охапками. И это очень помогало нам в работе. Ведь больше всего отвлекают и утомляют переходы по бороздам, у меня ноги так распухли, что по утрам приходится насыпать крахмал в туфли, а то и не натянешь их.

Маркос сел на скамейку в столовой и углубился в чтение. А группа рабочих включила на полную мощность радио. Я не терплю такого шума — нет ни музыки, ни мелодии, только гам, от которого обалдеваешь. Мне нравится покой и ночная свежесть в открытом поле. Я села на траву, закинула голову и стала разглядывать скопления звезд, которых в городе не увидишь. А деревья, казалось, подпирали их. И слышалось только трещанье цикад.

— Любуешься звездами?

От испуга я быстро вскочила на ноги. Не заметила, как подошел, а он уже стоял возле меня с книгой в руке.

— Да.

— Испугалась?

— Да.

— Нравятся звезды?

— Да.

— Больше, чем цветы?

— Нет.

— Почему же?

— Потому что все звезды одного цвета, чересчур холодные и, наверное, твердые.

— Они — огненные.

— Да, только они очень далекие, и их свет доходит до нас слабым. А еще становится немножко не по себе, когда смотришь на них и не знаешь, существуют они еще или их уже нет. И расстояние, и скорость света... Цветы — вот они тут, их можно сорвать, понюхать, потрогать, они мягкие и красочные. Можете представить себе, как выглядело бы небо, если бы звезды были как цветы.

— Все-то у тебя на свой лад,— улыбаясь, сказал он и положил мне руку на плечо.

Он смотрел на меня уже серьезно, и мне показалось, что готов был что-то сказать и что произойдет то, чего мне так хотелось. Я уверена, что произошло бы, но тут мы услышали чьи-то шаги. К нам приближался тот зенитчик, который все заглядывался на меня. И, дурачок, ничего не придумал лучше, чем сказать:

— Небо-то какое красивое.

И остановился, вперившись в нас взглядом.

— Пойдемте,— сказала я Маркосу, и мы направились к огням лагеря под звон цикад, под свежим ветерком по влажной траве. От сбщежития до нас донеслась музыка радиоприемника. Я обернулась и сквозь заросли заметила сталь пулеметов, сверкающих под луной.

Тело ее сотрясается в нервных конвульсиях. Она сидит на краю кровати, дрожит и плачет.

— Забудь ты про эти привидения, Томаса. Ты же сама говорила, что у нас надежные заступники. Выпей две-три таблетки и сама увидишь, как это тебя успокоит.

— Нет, только одну, Родриго, врач велел принимать по одной.

— Ни черта они не знают, твои врачи, таблеток побольше нужно принять, чтобы отвлечь себя от этих мыслей.

— Отпусти меня к племяннице. Умоляю, отпусти.

— Заткнись!

Томаса натягивает на себя простыню, прикрывая свой страх, свою подавленность, свое бесполезное бунтарство. Пригвожденная взглядом Родриго, сорвавшего простыню с ее лица, она плотно сжимает губы, однако открывает их, когда длинные белые пальцы заталки-

вают ей в рот таблетки. И сразу же проглатывает все и моргает глазами, из которых сочатся слезы сквозь морщинистые веки.

— И перестань дергать меня своими разговорами о переезде. За тобой будет ухаживать Магда.

— От этого мне станет еще хуже. Иногда в ее глазах мне чудятся другие глаза.

— Правда, они похожи, но ведь ты знаешь — это не те глаза.

— Отпусти меня.

— Нет!

— Но почему? Я хочу только...

Она замолкает, увидев, как угрожающе он морщит лицо. Откидывает голову и закрывает глаза в бессильной обреченности.

— Засни, Томаса, спи.

Он стоит у кровати. Смотрит на стекающий по серебряному подсвечнику парафин свечи, на валяющуюся на полу занавеску, атрибуты негритянского культа, пузырек со святой водой. А за окном — темный запущенный сад, неубранная мокрая, прелая листва, высокие неровные кусты и заросли травы. Мраморный фонтан при свете луны выделяется в плотной темноте своей неожиданной белизной. Вдруг перед глазами Родриго, словно высвеченные яркой вспышкой памяти, возникают подстриженные ряды лавров, аккуратный, ухоженный газон. И он сквозь цветущие кустарники видит босоногую Томасу в накрахмаленном переднике, коротенькой кофточке из легкой ткани, соблазнительную и страстную, с подоткнутой юбкой, приоткрывшей упругие бедра...

Осторожно прикрыв дверь, он выходит из комнаты.

Сидит в кресле и смотрит на часы, окруженный тишиной и котами. Вдруг слышится скрип дверных петель, и кот, забравшийся было ему на плечо, срывается.

— Ты разве здесь?

— Да уже давно пришел, но не хотел тревожить вас. Думал, отдыхаете или у Томасы. Как ее дела?

— Плохо. Нервная очень. Привидения ей чудятся. Сегодня упала с кровати, говорит, что к ней явилась...

— Кто?

— Так, никто... Ладно, все равно есть вещи, которые тебе не понять. Она уже очень плоха. Бедная Томаса. Всегда служила мне, а теперь ни на что не годится.— «Во всяком случае, она была вернее всякой собаки и любвеобильнее всякой кошки...» — Но ты рассказывай, как прошла встреча с Лорие?

— Так себе. Чудной он какой-то.

Родриго подается вперед, к краю кресла, кладет руки на колени и смотрит прямо в глаза Кастаньо.

— Почему?

— Живет в каком-то заброшенном недостроенном домишке в глубине квартала, среди бурьяна и железного лома — прочего хлама. Спит на резиновом матрасе. Пьет много. Много болтает и денег просит, да чтобы побыстрее. Три тысячи песо.

Родриго складывает руки на животе, а глаза так прищуривает, что на их месте остаются узкие щелочки между морщин.

— Послушай, Кастаньо, меня интересуют люди не тем, как они живут, а чем они могут быть полезны. И я не вижу ничего странного, что люди хотят получить деньги. Ты знаешь кого-нибудь, кто не любит деньги?

— Но он хочет немедленно.

— Это он так хочет, но деньги-то у меня. Условия подготовлены? Вот что меня интересует.

— Он показал мне шлифовальный станок и кое-какие инструменты. Рассказывал про технику обработки камней,— похоже, это дело сложное. Наверно, немногие его знают. Говорит, что за мотор, кото-

рый он купил, заплатил дорого и что теперь ему нужны деньги. Боюсь, если не дадим, дело разладится. Что тогда?

Родриго распрямляется. Разводит руками. Расшвыривает котов, трущихся о его ноги, и восклицает:

— Ай, Кастаньо, тебе еще учиться и учиться надо. Ты заблудишься и на острие иголки. Всякое дело трудное и сложное. Главное — предвидеть возможные осложнения и знать детали. У меня все предусмотрено. Думаешь, я взялся за это, не зная, как делать? Может, Лорие кое-что и не понравится и он попытается давить на нас, но сам увидишь, что с ним произойдет, когда прибудут камни.

— Конечно, раз вы так считаете.

— Сам увидишь, Кастаньо, как все будет. Он-то знает очень хорошо, что значит держать камешки в своих руках. И знает, что контакты с их поставщиками имеем только мы. А место, значит, надежное?

— Да. Думаю, никому не придет в голову в таком доме, как у него, искать бриллианты.

— Это хорошо.

Родриго берет из кедровой шкатулки сигару и осторожно разжигает ее, не торопясь, задумавшись, вертя между пальцами, чтобы горела ровно. Смотрит на Кастаньо. Выпускает кольца дыма и, прежде чем он рассеется, говорит:

— Не нравится мне одно — будущая встреча с Уркисой и его компанией. Не люблю встречаться в местах, намеченных другими. Надежнее, когда выбираешь сам. Но что поделать. Мы уже сели в поезд, и у нас нет другого выхода, как принять их условия.— Он распрямляет пальцы. Покусывает сигару. Шагает из угла в угол, размышляя, не глядя на Кастаньо. Садится снова и легонько постукивает по подлокотнику кресла.— Надо принять меры предосторожности. Ни в коем случае и никогда не называть моего имени. Если что-то случится и тебя схватят, отрицай все. До сих пор ничего не было, только разговоры. Дел никаких. Ты должен улучить момент и сказать Уркисе, что надо организовать все так, чтобы мы могли выехать из страны в любой момент. И план должен быть надежным, потому что с прибытием камней риск увеличивается. Хочу повторить тебе еще раз: если придется уезжать, Магду заберем с собой. По-хорошему или по-плохому, но мы ее увезем. Как? Там увидим. У меня есть уже один вариант, а ты тоже думай. Но об этом поговорим потом. Сейчас мы должны продумать план вывоза Магды на тот случай, если придется уезжать поспешно.

— Что случилось? — спрашивает Лидия.

— Так, небольшая неприятность,— отвечает Маркос.

Туман заливает утро. Несколько голубей планируют и мягко садятся на крышу столовой. Из кухни доносится крепкий запах кофе, кипящего молока и горящих дров.

— По вашим глазам видно, что вы не спали ночь.

— Неважно.

— Вечером было слышно, как вы спорили в столовой.

— Что было слышно?

— Слов не разобрать.

— Да, там поспорили.

— Из-за чего?

— Не стоит об этом говорить.

— Сейчас его уже нет на стане?

— Нет.

— Отправили на фабрику?

— Нет. Арестовали.

Маркос отпивает кофе. Ставит кружку на стол. Зажигает сига-

рету, и дым смешивается с легким туманом, сочащимся сквозь металлическую сетку.

— Говорят, он пытался убить вас.

Маркос сидит задумавшись. Женщины бросают на него любопытные взгляды, мужчины что-то обсуждают вполголоса. Кое-кто поднимается из-за столов и направляется к общежитию. Прибывают тракторы с прицепами. В дверях появляется Лукас и объявляет:

— Сегодня в восемь вечера общее собрание.

Люди переглядываются, переговариваются. Гул голосов нарастает.

— А как это было?

— Лучше не говорить.

Наконец все расходятся. Столовая опустела. Рабочие уже начинают взбираться на прицепы. Капли росы скатываются по красному капоту трактора, придавая ему необыкновенный блеск. Одной из последних с кувшином в руках прибегает Лидия и вскакивает на прицеп. Кто-то кричит:

— Ну все, что ли? Кого нет, поднимите руку.

Слышится смех. Рокочут моторы, из выхлопных труб вырывается голубой дым. Туман рассеивается, обнажая ясное, сверкающее утро. За отъезжающими прицепами с лаем бежит собака.

И вот уже ватага мужчин и женщин расползается по бороздам. Руки погружаются в куст и осторожно срывают нижние листья. Верхние, нежные и бледные, просвечивают на солнце, как светло-зеленое стекло.

Во время перерыва Маркос выбрался на дорогу, укрылся в тени деревьев. К нему подходит Лидия, предлагая кувшин с водой. Маркос пьет. Рукам приятно от прохладных банановых листьев, которыми обернута посудина, а свежая вода с лимоном и йербабуэной восстанавливает силы.

— Я устала вдвойне,— говорит Лидия,— от работы и от тревоги. Все думаю о том, о чем вы не хотите рассказывать.

— О чем это я тебе не хочу рассказывать?

— Не притворяйтесь непонимающим. Расскажите, что случилось. Я уверена, что Лукас все равно доложит об этом сегодня вечером на собрании. Но мне хотелось бы узнать от вас. Спокойнее будет работать.

— Зачем говорить о неприятном?

— Вы подрались?

— Он меня вынудил.

...Было уже за полночь. Маркос остался в столовой почитать и отбивался от москитов, мельтешивших в воздухе вокруг его лица. Вдруг он услышал, как кто-то распахивает дверь. Поднял взгляд и увидел развязно приближающегося Рауля, глаза которого не скрывали ненависти...

— Но почему? И как он начал?

— Я был в столовой, и он вошел туда.

...Рауль вплотную придвинулся к нему, нагло поставил ногу на скамейку, сплюнул и сказал: «Мне не по вкусу, когда мной командуют и унижают перед женщинами». Маркос посмотрел на него и увидел искаженное лицо, рот со множеством золотых зубов, услышал тяжелое дыхание. Казалось, какой-то злой дух распирает Рауля изнутри, сжимая желудок и затрудняя дыхание.

— Ну и что он вам сказал?

— Начал нести всякую чепуху.

...Рауль снова сплюнул, подтянул брюки и, запустив обе руки под ремень, сказал: «В общем, давайте полегче и не лезьте ко мне!» Маркос спокойно закрыл книгу, положил ее на стол и спросил: «Что вам от меня нужно?» Рауль, плюнув еще раз, ответил: «Вы, по-моему, нос дерете, и я хочу проверить, есть ли у вас основания для этого.

Не как подчиненный начальника, а как мужчина мужчину. Только не здесь, конечно».

— А как же дело дошло до драки? И где это случилось?

— Недалеко от того места, где мы были с тобой вчера.

...Уже стояла глубокая ночь. Они отошли метров на сто от стана. Луна скрылась за облаками, и темнота, подобно черной воде, залила поля. Маркос остановился, обернулся и сказал Раулю: «Вам, видать, жара в голову ударила». Рауль скривился в улыбке: «Я так и знал, что, когда дойдет до дела, вы сразу скиснете и пойдете на попятную». Тогда Маркос схватил его за ворот рубашки и крепко встряхнул. Рауль проворно вывернулся, набросился на Маркоса, но кулак последнего попал Раулю в голову, и казалось, от этого удара напавший рухнет на землю, однако он просто отлетел к кустам и как вкопанный застыл там среди ветвей. Вся злоба, клокотавшая в нем, собралась в его глазах и затуманила рассудок. Он покачивался. Завел руку за спину, выхватил нож. Лезвие, блеснув, взметнулось над Маркосом, но ему удалось отскочить. Маркос молниеносно вынул из кармана фонарик, зажег его и направил в глаза Раулю, ослепив того и избежав тем самым повторной атаки. И этим же фонариком ударил противника по лбу. Нож серебристой рыбой выскользнул из рук Рауля...

— Он на вас напал?

— Да.

...В этот момент к ним подбежал зенитчик и крикнул Маркосу: «Да он чуть было не зарезал вас!» Рауль растерянно потирал рукой окровавленный лоб. Зенитчик схватил его: «Ты арестован! Подло нападать с ножом на безоружного». «Оставь его»,— сказал Маркос. Но зенитчик возразил: «Я очень сожалею, товарищ, но должен его арестовать...»

— И как же вам удалось остаться невредимым?

— Ну довольно, Лидия. Не будем больше говорить про это.

Солнечные лучи проникают сквозь листву дерева. Маркос разглядывает блики солнца и тени на лице Лидии. Она встряхивает головой и говорит:

— Рауль — озлобленный человек. Есть люди, ненавидящие всех, но срывают свое зло на ком-то одном. Я только не понимаю, как это можно без серьезных причин подойти к человеку и сделать то, что пытался сделать он. Но встречаются и такие, которые убивают просто так, чтобы увидеть, как течет кровь. Я где-то читала, что все самые злостные преступники — прекрасные мужья, хорошие дети и родители, верные друзья своих друзей. Может быть, ненависть ослепляет, а самые яростные вспышки ненависти почти всегда необъяснимы. Мне кажется, что и более нормальные люди иногда скрывают в себе своего худшего двойника.

Маркос собирался что-то ответить, но появился бригадир:

— Подъем! Переходим на другой участок, на Морито. В двух километрах отсюда.

Ты не обращаешь внимания ни на похотливый взгляд Кастаньо, ни на удивленное лицо отца, когда говоришь, что пришла на субботу и воскресенье ухаживать за Томасой. Ничего этого ты не замечаешь, только прислушиваешься к шагам Кастаньо, следующего за тобой по прихожей. Отец идет впереди, останавливается у двери, стучит, но Томаса не отзывается. Он поворачивает бронзовую ручку, открывает дверь, и ты не можешь удержаться от крика.

На той самой цепи, на которой держалась люстра, висит Томаса. Висит так, будто она была там всегда, чего-то поджидая в душном воздухе и тусклом свете. Ее босые ноги едва касаются постели, на которой разбросаны лепестки подсолнуха, металлический ананас с

окислившимися выступами на кожуре, позолоченная тыква, ожерелья, браслеты, апельсины, веточки петрушки и корицы.

На полочке между изображениями святых — две свечки, уже погасшие, но еще источающие едва заметные спиральки дыма, расплывающиеся в воздухе. На Томасе желтый платок и белоснежный подкрахмаленный капот, свисающий с плеч с какой-то странной умиротворенностью. Выкатившиеся из орбит глаза широко раскрыты и застыли с выражением властной решимости. Тело словно отрешено от этого мира, как бы отдано на волю каких-то иных сил. Кости проступают, едва не протыкая кожу. И вся она кажется не то деревянной, не то выделанной из засохшей кожи, затвердевшей. И эта твердость, омертвелость придают телу странную объемность, будто висит там не она, а лишь ее оболочка, лишенная содержимого. По ногам медленно стекают на постель какие-то капли.

Кастаньо распахивает окно. В комнату врываются густой запах увядающих трав, потоки нестерпимо слепящего света.

— Зачем открыл? Не прикасайся ни к чему! — кричит твой отец.

Влетевший в окно ветер колышет фигурные подвески люстры, вызывая веселый хрустальный перезвон. И застывшая Томаса начинает беззвучно и тихонько раскачиваться в воздухе. Твой отец опускает взгляд, возможно, он видит за окном среди роз молодую и прелестную Томасу, радостно несущую тебя на руках таким же утром, как сегодняшнее, заполненным солнцем, гомоном воробьев, переливами золотистого света. Может быть, он вообразил тебя там, в саду на руках у Томасы, но здесь, рядом, он тебя не видит, не замечает, а может, просто забыл, что ты стоишь, почти касаясь его, и хочешь положить ему на плечо руку, чтобы как-то выразить сочувствие. Тебе кажется, что морщинистая кожа вот-вот сползет с его дряблого лица и, упав на пол, рассыплется в прах. Но вдруг желваки набухают, и ты начинаешь понимать, что в чертах его лица уже не отражаются воля и разум — будто кони закусили удила и рвутся неизвестно куда и зачем. Отец неожиданно стучит кулаком по стене и кричит:

— Черт возьми, и как это пришло ей в голову повеситься тут!

Он совсем забыл о тебе. Тебя нет рядом. Он не видит тебя, не может или не хочет видеть или вообще не видит ничего. Потом резко повертывается к Кастаньо:

— Надо ведь заявить. Они пожалуют сюда. Чего доброго, еще сделают обыск. Придется подготовиться. И какого дьявола ее угораздило повеситься здесь!

А Кастаньо видит только тебя, смотрит в твою сторону и бормочет:

— Дело в том, э-э...

Отец обрывает его:

— Заткнись! Надо сообщить. Не оставлять же ее висеть здесь, пока не сгниет.

Они поспешно выходят, и ты слышишь, как, удаляясь по коридору, они переговариваются тихими голосами, а потом выдвигают и задвигают ящики шкафов. И ты, еще не придя в себя, тоже собираешься покинуть комнату, но, прежде чем закрыть дверь, поднимаешь глаза, чтобы еще раз взглянуть на Томасу. Она висит, как кожаный куль с костями и обрывками мечтаний — мумия, бывшая человеком. И тихо покачивается под перезвон хрусталя, как бы безмолвно прощаясь с этим миром.

Ты слышишь откуда-то издалека какие-то суматошные, неестественные голоса отца и Кастаньо. Открываешь дверь на винтовую лестницу и бежишь вниз, поднимая пыль со ступенек, вылетаешь в сад и мчишься дальше, чувствуя, как жесткая трава царапает тебе ноги. И воздух, переполненный горечью, тоже царапает, и кровь бьется внутри. И ты все бежишь, пораженная, оглушенная, растерянная,

полная отчаяния. Отворяя калитку, оборачиваешься и видишь открытое окно Томасы и другие окна, которые тоже открываются, и слышишь — или это тебе только кажется — голоса Кастаньо и отца, кричащие, зовущие тебя. Но эти крики и голоса, сад, окна, скрип калитки и даже звук твоих шагов по сухим листьям лавров представляются тебе частью одного кошмара.

— Что могло случиться?

— Не знаю, она была очень взволнованна.

Магда позвонила на фабрику и попросила немедленно разыскать Маркоса. Сказала, что произошла трагедия. Говорить было трудно, слова застревали в горле. Через несколько минут Кампос и Альмагер прибыли к ней домой, чтобы помочь, если понадобится. Они пытались успокоить ее. Но Магда только повторила, что надо разыскать Маркоса. Не захотела или не смогла ничего им объяснить.

— Что сказать Маркосу?

— То, что случилось.

— Но мы же не знаем, что случилось.

— Когда приедет, я объясню ему сама.

Машина отправляется к лагерю.

Магда шагает по комнате. Смотрит то на часы, то на дверь. «Что я ему скажу? Как объясню?..»

Звонит телефон.

— Да. Приеду. Куда? Еду.

Она вешает трубку и кусает пальцы. «Поехать с ним или одной?..»

Родриго вручает Кастаньо большую пачку банкнот, перевязанную шнурком.

— Займись сам, устрой все по высшему разряду. Я хочу, чтобы было много венков из живых цветов. По крайней мере хоть венки еще не по карточкам.

Когда Родриго в безукоризненно белом тиковом костюме прибыл в похоронное бюро, Томаса лежала в дорогом черно-коричневом гробу, отделанном посеребренными накладками. В полупустом траурном зале царила умиротворенность, от которой мурашки пробегали по телу. Он приблизился к изголовью гроба и сквозь стекло посмотрел на ее лицо, темно-бурая кожа обтягивала череп. Зажмурился и отошел, распространяя аромат одеколона. Опустился в кресло, сложил руки на животе. Вскоре появился Кастаньо, Родриго показал на гроб:

— Что с цветами?

— Я заказал их, пришлют как можно быстрее.

Родриго, покачиваясь в кресле, взглянул на пурпурную бархатную драпировку, искусственные свечи, огромные канделябры. Наклонив голову, уткнулся подбородком в грудь. Вошла племянница Томасы с двумя или тремя сантерас [1]; приблизившись к Родриго, они протянули руки, чтобы поздороваться с ним, но он продолжал сидеть, скрестив свои руки на животе, и, не удостоив взглядом вошедших, проронил несколько неразборчивых слов. Смутившись, вошедшие стали по очереди подходить к постаменту; они смотрели на покойную с почтительным страхом, с каким обычно живые женщины смотрят на мертвых женщин. Потом уселись в дальнем конце траурного зала. Немного погодя старейшая из сантерас поднялась. Снова подошла к гробу и, позвав остальных, сказала:

— Никто из покойников, которых я повидала на своем веку, не

[1] Согласно древнему культу кубинских негров, женщины, отправляющие религиозные ритуалы.

казался таким мертвым, как она. Надо обрядить ее как подобает, чтобы она могла достойно перейти в мир иной.

Племянница поговорила с Кастаньо, Кастаньо — с Родриго, и тот согласно кивнул головой. Кастаньо позвал служащих, чтобы те вынесли гроб в другое помещение. Когда же они возвратили его на постамент, Томаса уже была одета в платье, в котором многие годы назад приобщалась к сантерии. А служащие, ожидавшие у постамента, прикрыли гроб кремовым саваном с золотой бахромой, а на нем воздвигли целую гору гардений и зелени спаржи. Родриго по-прежнему сидел в кресле, упершись подбородком в грудь. Лишь изредка поднимал голову и поглядывал на вход.

Стали приносить венки из аламанды[1] и гладиолусов, кресты из георгинов, сердца из филигранов и гирлянды из туберозы и лобелий. Гирлянды обрамляли гроб и, ниспадая, стлались по полу. Вдоль стен служащие выстраивали в ряд венки. На всех темно-фиолетовых лентах золотом было написано: «*Томасе от Родриго*».

Гроб, утопавший в цветах, казался уже чем-то нездешним. Влажный сладковатый запах цветов насыщал воздух. Родриго сидел все так же, скрестив руки, но чаще стал посматривать на часы, бросать взгляд на двери. Племянница и сантерас, сбившись в уголке, переговаривались шелестящим шепотом. Вдруг Родриго, словно от толчка, поднял глаза и увидел приближающуюся к нему Магду. Но как только он заметил остановившегося в дверях мужчину в перепачканной землей спецовке, в глазах его что-то дрогнуло. Ладони стиснули подлокотники кресла, тело сжалось, готовое подняться, но Магда, заливаясь слезами, уже целовала его в лоб и гладила по щекам. Родриго низким голосом сердито и отрывисто буркнул. Магда села рядом с ним и хотела взять его руку, но он резким движением опять скрестил руки на животе. Она заметила, как беспокойно сцепил он пальцы.

Знаком Родриго подозвал Кастаньо и сказал ему что-то на ухо так, чтобы Магда не могла расслышать. Кастаньо поспешно вышел.

— Как ужасно! — произнесла Магда.

Родриго молчал, вцепившись в подлокотники. Магда хотела было подняться, но рука Родриго тяжело упала ей на запястье.

— Куда ты?

— Подойти, посмотреть поближе.

— Не надо тебе смотреть.

— Но ведь...

— Ничего!

— Но, папа!

— Не забывай, что сейчас ты мне нужна больше, чем когда-либо.

— Что это значит?

— Я хочу объяснить тебе кое-что, чего ты никогда не понимала, а я не решался говорить с тобой об этом.

— Так скажи.

— Потом. Сейчас останься рядом со мной.

А венки и букеты все прибывали. Служащие поговаривали, что на церемонии больше цветов, чем людей, и удивлялись, что надпись на лентах все одна и та же. Но вот они смолкли — на прибывающих венках появилась новая надпись: «*Томасе — Магда*».

Магда судорожно всхлипнула и спросила:

— Зачем так много?

— Мои — в знак благодарности. Надо уметь быть благодарным. Твои — для тебя, чтобы умела прощать, хоть ты всего и не знаешь.

— Чего не знаю?

— Так. Дело житейское. Сейчас не время говорить об этом.

Племянница Томасы возле постамента громко высморкалась, не прибегая к платку.

---

[1] Крупные тропические цветы в виде колокольчиков, преимущественно желтого цвета.

— Я хочу посмотреть на нее,— повторила Магда.

— Посмотри, но не уходи.

Кастаньо подошел к Родриго и сдавленным тоном, конфиденциально доложил:

— Там стоит. В вестибюле.

— Не позволяй ему входить. Займись им.

Магда поговорила немного с племянницей Томасы. Кастаньо то выходил, то входил. Магда, остановив его, спросила:

— Что с тобой?

— Ты ведь знаешь, от запаха цветов меня мутит. Прямо наизнанку выворачивает.

Магда взглянула на дверь, подала кому-то знак рукой и вернулась к отцу.

— Не могу поверить.

— Чему, папа?

— Что ты привела его с собой. Это издевательство надо мной. И бесстыдство!

— Но почему? Ведь он же ничего тебе не сделал.

— Он мне сделал все. Люди, как он, сделали мне все. Поломали всю жизнь. И пусть он сюда не заходит!

— Хорошо, папа. Если ты не хочешь, он не войдет. Успокойся.

Родриго провел кончиками пальцев по векам. До конца траурной церемонии они не перемолвились и словом.

В похоронной процессии вслед за пятью машинами с венками в траурном экипаже ехали Родриго и Магда. Сзади — автомобиль Родриго, управляемый Кастаньо, с племянницей Томасы и сантерас. Замыкал процессию Маркос на своей машине. По мере приближения к кладбищу небо все больше хмурилось.

Внезапно — как раз в час погребения — разразился ливень. Дождь был такой сильный, будто хотел размыть все могилы. Стена воды, как мутное стекло в серых вертикальных прочерках, повисла над землей. Магда сквозь слезы и ливень видела ожидающего ее Маркоса. А возле разверстой могильной ямы неподвижная фигура отца будто слилась с насыщенным пепельной влагой воздухом, превратившись под прозрачными дождевыми струями в какой-то неправдоподобный силуэт.

Еще до одиннадцати я вышел из восемьдесят второго автобуса и оказался у причала в толпе ожидающих. Несколько железнодорожных вагонов, стоящих на подъездных путях, не позволяли разглядеть бар. Но в промежутках между вагонами я все-таки мог сквозь пыльно-серый воздух просматривать ту сторону. В вагоны грузили мешки с мукой, и при этом поднималась такая пылища, что видимость значительно уменьшилась. Даже мыски моих ботинок потускнели. А я смотрел на грузчиков, потных-препотных, голых по пояс, облепленных тестом из муки и пота, и думал, что, если в нашем с Родриго деле можно крепко влипнуть и даже головы не сносить, все равно это лучше, чем таскать мешок за мешком под таким вот безжалостным солнцем.

Я ждал и нервничал, а они не появлялись. Стоять же и ждать всегда опасно — могут случиться всякие неожиданности. Мне казалось, что все вокруг смотрят на меня и по блеску глаз догадываются, зачем я тут стою. Неподалеку к тротуару подъехал автомобиль с полицейским патрулем, у меня сердце дрогнуло, ноги стали будто ватные, поджилки затряслись. Кровь похолодела. И в то же время в жар бросило. Но на меня полицейские даже не посмотрели. Стали регулировать движение, заторможенное вагонами. Тут подошел катер, толпа рассыпалась, и я остался как одинокая карта посередине стола: лицевой стороной кверху и безнадежно проигрышная. Тогда я проскользнул к

пожарному депо и присел на парапет. Мне подумалось, до чего же хорошо свободно дышать, вдыхать всяческие запахи, даже пыль, даже вонь гниющего моря, распространяющуюся из-за моей спины. Снова посмотрел на часы, а когда поднял глаза, увидел, что те, кого я ждал, приближаются по улице Лус. Я на них долго не пялился, мигом узнал. Уркиса в кремовой гуайябере, муслиновых брюках и шляпе. Остальные в форме моряков торгового флота. Проследил за ними взглядом, как за лошадьми на скачках, подходящими к финишу. Они вошли в бар «Марино». Уркиса подозвал официанта. Потом что-то сказал тем, кто пришел с ним, и все трое огляделись вокруг. Я подождал, пока им подадут пиво. Потом поправил воротничок рубашки, стряхнул с ботинок налет муки и незаметно проскользнул в бар. Бывают дела страшные от начала и до конца, но идти на них надо, коль путь выбран и ногам велено топать в нужную сторону. Они все оглядывались, а я быстро и незаметно подкрадывался, пока не оказался рядом с ними. Правду говорят, кто больше смотрит, меньше видит. По-моему, они изрядно испугались. Уркиса замешкался и только некоторое время спустя встал и громко сказал:

— Что ты поделываешь тут, дружище? Сколько лет прошло! Присаживайся, брат, к нам,— и пододвинул стул.— Садись, садись. Выпей пивка, оно хоть не охлажденное, но лед есть.

Пока он заказывал пиво, я чувствовал на себе колючие взгляды всей компании. Уркиса представил:

— Это Кастаньо, а это Сабино, это Рамон, короче — Монго.

Сабино тотчас же без всяких вступлений рубанул:

— Материал прибудет через несколько недель. Может, даже раньше, чем мы думаем. Уркиса вас предупредит. Передавать будем только за наличные.

Официант принес мне пиво, и я сделал большой глоток прямо из горлышка. Пришлось так — попытался унять волнение, которое я старался не выказывать, хотя все время чувствовал себя под обстрелом их взглядов. Мне даже казалось, что и воздух бара давит на мою голову. Я сидел и молчал, не зная, что сказать, и лишь следил за тем, как толстый волосатый палец Уркисы перемешивает лед в бокале. От заговорщицкого молчания мне становилось еще более не по себе.

— На передачу явится Уркиса,— сказал Сабино.

— Пойдем пройдемся,— предложил Монго.

И по его тону я решил: вот тут-то они меня и подловят. Не знаю почему, но я был почти уверен, что сейчас они поведут меня прямо за решетку. Мне все время мерещилось, что это полиция. Может, из-за их форменной одежды. Судя по их взглядам, они не подозревали о моей настороженности и о желании как можно быстрее испариться. Дело в том, что, хотя изнутри меня и душил страх, лицо не выражало ничего, будто я запускаю бумажного змея. Этому я насобачился в покере. Мое замешательство продолжалось, вероятно, секунды, я сразу же взял себя в руки — всем известно, как я умею это делать,— и спросил:

— Куда?

Монго ответил:

— Куда-нибудь. Лучше поговорить на ходу.

Уркиса расплатился за пиво, и мы отправились вдоль причалов. Прошли «Two Brothers», стоянку автомашин министерства просвещения. Мои спутники давали мне указания, что и как надо делать, уточняли подробности. Я спрашивал: а если то, а если другое — интересовался, чтобы действовать понадежнее. И таким образом я выяснил, что знают они очень многое. Подозрений у них я, кажется, не вызвал — болтали они обо всем живо; когда мы уже прошли монастырь святого Франциска, Сабино сказал мне:

— Я думаю, ты сможешь помочь нам во многих делах.— А потом

обратился к Монго и Уркисе: — Он будет нам полезен. Как находите? Те согласно закивали и улыбнулись.

— В чем? — спросил я.

— Не торопись. Но за услугу платят услугой. И деньгами тоже,— с хитрой улыбочкой заявил Сабино.

Под галереей Коммерческой биржи мы распрощались самым дружеским образом, по крайней мере так могло казаться. Уркиса тоже хотел уйти, но я сказал, что нам надо поговорить. Сообщил ему о просьбе Родриго насчет выезда из страны. Он ответил так, будто ответ был заранее подготовлен: отъезд будет организован через Баракоа, но не того Баракоа, что в провинции Ориенте, а того, что вблизи Гаваны — сразу же за пляжами Санта-Фе. Только он должен еще представить мне посредника и просил позвонить ему в номер 309 отеля «Пласа». Положив руку мне на плечо, Уркиса спросил:

— Ну, что ты думаешь о них? — и, не ожидая ответа, добавил: — Народ что надо. Кремень. И ты произвел на них хорошее впечатление, иначе они не сказали бы тебе того, что сказали.

— А чего они от меня хотят?

— Этого я не знаю. Но что хорошо, то хорошо,— ответил он, снял шляпу и, вытирая лысину платком, удалился.

Я вздохнул и внезапно почувствовал боль чуть повыше почек. Очевидно, страх сидит тихо внутри каждого из нас, притаился, но иногда дает о себе знать, пока не уляжется.

Я прошел мимо причала Касабланки, вошел в бар на углу и заказал двойную порцию рома с содовой. Во рту пересохло. Бар продувался приятным ветерком. За стойкой спорила кучка торговых моряков в такой же форме, как у Сабино и Монго.

— Черта с два галисийцы с ним посчитаются. Франко хоть и сукин сын, но он не даст им влезть в его дела,— разговор, очевидно, шел об угрозе американцев в адрес Испании за торговлю с Кубой.

Высокий мулат, который, вероятно, был самым яростным среди спорщиков, ударил кулаком по стойке и крикнул:

— А они пошлют Франко к чертям собачьим! «Арансасу» изрешетили сплошь. Я видел этот корабль. Его атаковали в семидесяти пяти милях от Маиси. Обалдеть можно! Я сам насчитал восемьсот пробоин от разрывных крупнокалиберных пуль. Стреляли даже из базук и пушек. Капитана убили и двух матросов. А ведь везли всего только детские игрушки. Я тебя уверяю, что галисийцы в глубине души люто ненавидят янки и не пойдут на уступки, а за «Арансасу» отплатят. Рано или поздно, но рассчитаются.

Мулат совсем разъярился, хлопнул беретом по стойке. Я заказал еще стопку двойного рома и бутылку минеральной. Уже полегчало.

Я сидел и раздумывал о том, что мне могли предложить друзья Уркисы и что хотели сказать этим своим «он, очевидно, будет нам полезен». Взглянув на огромную фигуру Христа на том берегу бухты, я в душе стал молить его, чтобы мне повезло. Все будет хорошо. Ром навевает мечты, помогает видеть вещи такими, какими нам хочется, и я уже вообразил себя в Майами вместе с Магдой. Старик пухнет на дне океана, его жрут крабы, акулы и всякая прочая нечисть. А я с Магдой там. Она — побежденная и покорившаяся, без своих всегдашних вывертов, которые девку губят,— сейчас-то она вовсе сдурела. Магда! Кровь у меня совсем разыгралась, и, чтобы успокоиться, пришлось заказать еще рому. Расплатившись, пошел к остановке автобуса № 1. Встал у памятника кубинским морякам, погибшим в первую мировую. Автобус задерживался. Прохлада здесь была ощутимее, чем в баре. Ветер чуть не рвал флаги на лоцманских катерах. Люблю смотреть, как полощутся флаги на судах. Как будто праздник. Но вот взгляд упал на стены Ла Кабаньи[1], и все представилось как на рентгене — страшное, угрожающее. Я увидел камеры, заключенных, решет-

[1] Крепость в Гаване, служившая военной тюрьмой.

ки, охрану с автоматами. Ужас! Даже вспотел, несмотря на прохладный ветер. В порт входил советский танкер, подавая сигналы сиреной. Наконец показался автобус.

— Три дня назад в Сантьяго-де-Лас-Вегас как раз на табачную плантацию упал шар из какой-то специальной пластмассы. Ударившись о проволочную изгородь, шар раскололся, и изнутри высыпался белый порошок. Не исключено, что в планы ЦРУ входит использование химических препаратов для нанесения ущерба урожаю нашего табака. Мы должны быть готовыми ко всему и с каждым днем усиливать бдительность. К тому же в ближайшее время у нас увеличатся трудности и с остальным сырьем, особенно с бумагой. Американский конгресс принял поправку к закону о помощи другим государствам, в которой требует, чтобы страны, получающие ее от США, приняли меры, препятствующие их судам и транспортным самолетам перевозить грузы на Кубу. Вы знаете, что бумагу для сигарет мы закупаем главным образом в Испании. И вот только что государственный департамент предупредил эту страну, что растущий объем ее торговли с Кубой может поставить под угрозу получение Испанией помощи от США.

Раздается стук в дверь. Альфредо прерывает свое выступление:

— Войдите.

Заглядывает Лукас. Он очень взволнован.

— Извините, что помешал, но мне надо срочно поговорить с Маркосом. По делам фабрики.

— Поговорить с глазу на глаз?

— Нет.

— Тогда выкладывайте. Мы все здесь имеем отношение к вашей фабрике.

— Дело в том, что на плантации, где работают наши товарищи, произошел несчастный случай, очень серьезный...

Маркос встает.

— ...перевернулся прицеп. Много пострадавших. Секретарю комитета молодежи колесом трактора раздавило ногу.

— Лидии? — восклицает Маркос.

— Да,— отвечает Лукас.— В тяжелом состоянии находятся также Максимо и Таблада. Всего ранено более десяти человек.

— Альфредо, разрешите покинуть совещание.

— Да-да, идите, Маркос. И сообщите мне по телефону, в каком состоянии находятся товарищи и как произошла авария.

Ветви тамаринда заглядывают прямо в окна. Справа от преподавательского стола недвижно висит национальный флаг. Магда следит за белой меловой линией, бегущей из-под руки преподавателя, который пишет вопросы. Во взгляде беспокойство, настороженное любопытство. Солнечный луч, единственный, длинный и яркий, падает на ее парту. Она сидит, поставив локти на столешницу и оперев лицо на руки.

Как только все вопросы написаны, ее дыхание становится спокойнее и карандаш начинает двигаться стремительно и уверенно. Бумага покрывается четкими и ровными строчками, очертания мелких букв округлы. Заполнены одна, две страницы, на первый взгляд неторопливо, размеренно, но в то же время очень быстро. Порой Магда отрывается от бумаги. Проводит ногтем по крышке парты. Задумывается. Покусывает карандаш. Смотрит на бумагу невидящим взором. Ее полные подвижные губы беззвучно воспроизводят то, что она пишет. Карандаш замирает в воздухе, но тут же рука начинает решительно двигаться по бумаге.

Преподаватель объявляет, что до сдачи экзаменационной работы остается полчаса, а у нее уже все готово. Но работу не сдает. С облег-

чением и удовлетворенностью перечитывает ее. Поднимает глаза и замечает на себе внимательный взгляд педагога. Смутившись, перечитывает работу еще раз. Преподаватель прохаживается вдоль доски. Магда надрывает листы руками и отрешенно смотрит в окно на листву тамаринда. «Как хочется окунуть лицо и руки в мягкую зелень тамаринда, почувствовать влажность и прохладу его листьев на всем теле. А еще хотелось бы, чтобы Маркос прочитал все, что я написала сейчас о законах марксизма, о псевдореволюционности, о субъективизме и пессимизме, присущих философскому идеализму...» Бумага и карандаш на парте, а сама она уже далеко отсюда.

Преподаватель подходит к ней и машет рукой у нее перед глазами.

— Магдалена, проснитесь.

Она моргает, встряхивает головой.

— Вы уже закончили работу?

— Да.

— Ну так сдавайте.

Магда вручает ему исписанные листки, и преподаватель легким, но красноречивым жестом разрешает ей удалиться. Уверенным шагом она выходит из класса, пересекает вестибюль, и вот она уже на улице, залитой яркими красками утра. Вдыхает кристально чистый воздух. С газонов и асфальта поднимается влага, высыхая в раскаленной листве фламбояна. «Я запомню этот день, буду жить им и сегодня, и завтра, и всегда, когда захочется. Это утро как вся жизнь».

Улыбаясь своей особенной улыбкой, в которой, кажется, лучится каждая частица ее существа, она выходит на проспект. Направляется к телефону-автомату у здания Аграрного и промышленного банка. Рукой, легкой и веселой, как листик дерева, набирает номер фабрики, но ей отвечают, что Маркоса нет. Она с огорчением вешает трубку. «Мне так хотелось бы сказать ему многое-многое, и как это совсем мало из того очень-очень важного, что можно было бы доверить ему. Только разве на словах это передашь... Как объяснить ему, почему я буду помнить это утро и сегодня, и завтра, и всегда, как живое время, как поток невероятно чистой воды?...

Это ты, Кастаньо? Как хорошо, что пришел! Я пережил тут отвратительные минуты. Видишь, открыты все окна и двери? А запах все держится. Чувствуешь? Представь себе, я сижу здесь, а они стучат, я не открыл. Они было ушли, но потом вернулись, с этим, из комитета, с носатым, у которого еще физиономия как у попугая.

Опять стали стучать, а я следил за ними в щелки жалюзи, притаился, даже не дышал. Они стучат, а я не отвечаю и смотрю, как они разглядывают фасад, двери и окна. Потом по саду обошли вокруг дома. Толкнули ворота гаража, заглянули внутрь. Наверно, увидели машину, потому что вернулись и стали грохать еще сильнее. Я твердо решил не отворять. И они ушли. Но через час снова появились, уже с полицейским. Я понял, что собираются взламывать дверь. Ну, тут я в окно крикнул, чтобы подождали. Когда открыл дверь, они сказали... Ладно, подробно расскажу потом. А теперь выкладывай все о встрече. Только не повторяй, что они были в форме торгового флота. Пойми, Кастаньо, все они — жулье. А как Уркиса? Значит, камни прибудут скоро? Так. А насчет выезда? Через Баракоа мне очень не нравится, но коль нет другой возможности... В Баракоа у меня апунтадором был Кинито. Помнишь? С год назад он выехал оттуда же, и все обошлось. Но он водил знакомство с рыбаками. Да не забудь позвонить Уркисе. Не отсюда, понятно, позвони из автомата. На встречу с ними я схожу. Хочу сам посмотреть им в глаза, на лица тех, кто будет вывозить меня, уточнить все до мелочей, уз-

нать, как это будет проделано. Просчета не должно быть. Надо все обдумать как следует и получше подготовить. В этом деле кто платит, тот и намечает курс. Не в море, конечно, а чтобы все прошло как надо. Когда ты будешь звонить Уркисе? Как ты говоришь? Он не назначил часа? Ох, Кастаньо, сколько еще тебя надо учить. Разве ты сам не понимаешь, что теперь вопрос точности становится самым важным. Допустим, ты ему позвонишь, а его нет? Ну ладно, если не удастся разыскать по телефону, установишь наблюдение за входом в отель. И, начиная с этого момента, все время поглядывай на часы. Все время — на часы. Я совсем разбит: болят ноги, поясница, и руки, и голова, даже ногти болят. Тебе надо было быть здесь, чтобы видеть, что тут делалось. Открыл я дверь, они вежливо объяснили, что пришли с дезинфекцией. Я ответил, что мне она не нужна, в доме нет ни тараканов, ни мышей, потому что здесь полно кошек. А они говорят, что будут опрыскивать от москитов в порядке какой-то там кампании. Я спросил: и что, для этого надо было чуть ли не силой выбивать дверь? Тогда они ответили, что я, мол, живу один, и они знали, что я дома,— члены комитета сказали, что я никогда не выхожу,— да и машина моя на месте. И вот они подумали: раз после стольких стуков никто не открывает, со мной могло что-то случиться. Забеспокоились, мол. Спросили, не слышал я, что ли, как они стучались в первый и второй раз. Я извинился: глуховат, мол, в моем возрасте. Вот так в извинениях и любезностях мы какое-то время и крутили друг другу мозги. Но потом они настояли на дезинфекции. Повесили на калитку желтый флажок и все тут облили. Совершенно все. Полицейский и тот, из комитета, ушли, а двое остальных совали свои носы в каждый уголок и поливали все какой-то беловатой жидкостью. Заставили открыть двери всех комнат, а ты знаешь, некоторые уже годами не отпирались. Казалось, двери приросли к косякам. Говорили: «Пожалуйста, вы не могли бы открыть вот эту комнату?» Я старался изо всех сил, и они мне помогали, и даже втроем мы еле-еле справлялись. И шкафы я должен был показать. Представляешь — шкафы? Видишь, я до сих пор весь в пыли. Меня спасло только то, что после смерти Томасы мы все как следует запрятали. Они даже в бассейн напустили этой жидкости и еще какого-то порошка насыпали. Сказали, что бассейн я должен почистить, потому, дескать, что он рассадник москитов. Уж и не знаю, что я буду с ним делать. Остается только к чертовой матери разбить его молотом. Представляешь, до чего дело доходит, ведь они могут прийти снова и проверить, как я выполнил их указание. Вели они себя, правда, очень вежливо, но надо было видеть, как все осматривали, даже в кувшины заглядывали, чтобы убедиться — так они объясняли,— что в них нет застоявшейся воды. Кто знает: дезинфекция это или полиция? Но уверяю, я пережил тяжелые минуты. Если бы ты знал, как я скверно себя чувствую. Пойду приму теплую ванну и лягу в постель. Когда этот запах выветрится, закрой окна. И запри хорошенько!

В коридоре Маркос, Лукас и Мартинес разговаривают с врачом. У Таблады много ран на теле и одна на голове, но череп цел. Он в шоке, но хоть его и держат в реанимации, состояние больного не вызывает серьезных опасений. У Максимо перелом ключицы, трех ребер и правой руки. Остальные получили ранения средней или легкой тяжести.

— Наиболее печальный случай с девушкой,— говорит врач.— Мы принимали все меры, чтобы избежать ампутации левой ноги, но наши усилия оказались тщетными. Сейчас она в операционной. Вы можете подождать здесь, ее должны спустить сюда.

Посетители садятся на белые металлические стулья. Маркос постукивает по полу каблуком. В воздухе, насыщенном густым запахом

карболки, ощущаются какой-то застой, обманчивая успокоенность, сосущая душу печаль. Маркос встает и начинает ходить по коридору, разглядывая зеленые панели стен. Все вокруг тихо и мирно, и это впечатление покоя нарушается только появлением кого-нибудь из врачей или сестер, скользящих неслышными торопливыми тенями, или шорохом распахивающейся не то закрывающейся двери.

Проходит время, и отворяются дверцы лифта, из которого выезжает каталка на резиновых колесиках. Лидия, укрытая белыми простынями, выглядит очень бледной, однако по лицу разлито блаженное спокойствие. Двое санитаров и врач идут рядом, поддерживая — один склянку с кровью и другой — с сывороткой. Каталку завозят в палату. Все снова присаживаются на металлические стулья. Маркос в подавленном состоянии уставился в пол. Горькая тень лежит на его лице. И так, почти не шевелясь, он сидит довольно долго, затем вдруг решительно поднимается, подходит к двери и осторожно открывает ее.

Тело Лидии под простынями в кровати кажется еще более хрупким и маленьким, чем раньше. Медицинская сестра прикладывает палец к губам. Лидия лежит с открытыми глазами, в них — детское удивление. Смотрит на Маркоса и закрывает глаза. Сестра рукой подает ему знак — выйти из палаты.

Улицы, парки, поразительная юркость ящерицы в слепящем свете дня, дома, тротуары, тени — все представляется чем-то нереальным, будто видится во сне, в одном из тех смутных и немых снов, которые неожиданно прерываются светом, когда открываешь глаза и переводишь дух.

Ты смотришь на дорожку, искореженную корнями кустарников. Под ногами со скрипом лопаются маленькие багровые плоды, упавшие с лавров. Поднимаешь глаза и удивляешься, увидев все окна открытыми, а в одном из них — Кастаньо. Уличная и садовая калитки тоже настежь, когда ты подходишь к двери, Кастаньо ее распахивает.

Он поднимается по лестнице за тобой. Ты чувствуешь спиной, как он сопровождает тебя, словно блудливый кобель; возмутившись, ты поворачиваешься к нему:

— Проходите вперед.

В гостиной он не спускает с тебя нетерпеливого взгляда. Не отрывая глаз от твоей фигуры, усаживается в плетеное кресло отца. Бесцеремонно закидывает ноги на низенький столик и с невозмутимой наглостью спрашивает:

— Почему ты со мной на «вы»?

Не ответив, ты отворачиваешься и видишь, что свет, проникающий в гостиную через все окна, подчеркивает ее захламленный и заброшенный вид, которого раньше ты не замечала. Теперь же на ярком свету все предстает под ровным слоем нетронутой, слежавшейся пыли. Ты физически ощущаешь взгляд Кастаньо, он как будто ощупывает всю тебя. Поднимаешь глаза. Он нагло расстегивает рубашку и, поглаживая золотой брелок на майке, неотрывно смотрит на твои ноги. Ты хочешь крикнуть: «Эй, вы! Не смейте так смотреть на меня! И никогда так не смотрите!» Но сдерживаешь себя, потому что, кажется, угадываешь в его взгляде наравне с откровенной похотливостью навязчивое желание как-то услужить тебе, быть полезным, дать понять, что он знает то, что ты тоже хочешь узнать, и если его попросишь, он может рассказать о многом, о чем ты даже не подозреваешь. И ты чувствуешь искушение спросить его об этом, а спрашиваешь совсем другое:

— Где отец?

— Спит.

— Он плохо себя чувствует?

— Да, неважно. Сегодня приходили с дезинфекцией, меня тут не было. Он всего-навсего обошел с ними дом, и вот... Очень ослаб. Ты знаешь, ведь он никогда не вел нормальной жизни, чтобы все было по порядку, ну а теперь, в старости, многое дает о себе знать. Стал раздражительным. Иногда, как говаривала Томаса, будто сам дьявол вселяется в него. И очень ослаб. Ненависть и страх ослабляют человека.

Кастаньо забрасывает ногу на другую, не спуская их со столика, и ты понимаешь, что эти слова он подкинул как приманку. По его лицу видно — ждет вопросов: какая ненависть, какой страх? Но ты направляешься в коридор. Он останавливает:

— Постой. Не буди его. А мы можем пока потолковать. Давно уже не разговаривали. По-моему, твой отец очень плох. И не может оставаться один, ему нравится вспоминать прошлое, свою былую славу. И надо, чтобы кто-то слушал его.

Ты понимаешь, что размышления в одиночестве волнуют отца, может быть, его гложут угрызения совести, тревожат отголоски прошлых вспышек гнева. И спрашиваешь Кастаньо, что он хотел сказать тебе в день прощания с Томасой.

— Да все о нем же, о старике. В последнее время ему кажется, что за ним следят, постоянно преследуют. А потом он очень огорчен твоей связью с этим... Терпеть не может его. Если бы ты оставила это и перешла жить сюда, ему было бы чуть спокойнее, и нам стало бы намного легче.

По его взгляду ты понимаешь, что он ждет вопросов, но задаешь только один:

— Кому это «нам»?

Кастаньо улыбается, пытаясь умерить развязность тона, которую ты все-таки улавливаешь в его ответе:

— Ну, видишь ли, если он доволен, я тоже доволен. Ты же знаешь, для него я вроде сына, и сам очень люблю старика. В такие тяжелые времена, как теперь, мы должны держаться друг друга.

Ты возмущена тем, что он считает тебя наивной дурехой и надеется, играя в недомолвки, добиться твоей уступчивости. Он не понимает: женщина прекрасно чувствует то, что пытается скрыть мужчина, желающий ее.

Направляешься в комнату отца. Он лежит в постели, будто фараонова мумия, в окружении котов. И кажется комком бледной сморщенной кожи среди белых простыней. Ты будишь его, коты в испуге спрыгивают с кровати. Отец удивленно спрашивает:

— Что ты здесь делаешь?

— Мне нужно поговорить с тобой.

— Я не видел тебя с похорон Томасы. Почему не заходишь проведать меня?

— У меня были экзамены. Сегодня сдала последний и вот — получила среднее образование.

И хочешь добавить: «Я чувствую себя довольной, смелой и решительной. Сюда я пришла, чтобы спросить, почему ты вел себя словно взбесившееся животное, когда повесилась Томаса? Почему не известил меня насчет операции Томасы, а ей сказал, что сделал это? Я хочу знать, что ты скрываешь от меня, хочу услышать от тебя все, чтобы понять твою ненависть и озлобленность». Обо всем этом ты хотела расспросить его, но вдруг увидела, как он сел в кровати и, размахивая руками, стал выкрикивать:

— Учиться! Учиться! Кому это нужно? Что сейчас даст тебе твое ученье? И уж если ты со мной вообще не собираешься считаться, лучше не приходи совсем, не добивай меня! Чего ты хочешь?

И смотрит на тебя вопросительно.

— Хочу знать то, о чем у тебя не хватило мужества самому рассказать мне.

— Что именно?

— Не помнишь?

— Нет.

— Ты обещал мне на похоронах Томасы.

Отец смотрит на тебя растерянно-недоверчиво, как опохмеляющийся пьяница разглядывает опустевшую бутылку, оторвав ее ото рта.

— Ох, дочка! Мне сейчас не до расспросов. Я чувствую себя таким усталым. Может, как-нибудь в другой раз. Если ты пришла только за этим, то отложим наш разговор на другой день.

— Но дело в том, что мне надо знать это сегодня же.

— Но дело еще и в том, что я сам знаю, когда и что надо сказать.

Тебе хочется выкрикнуть: «Ты чудовище! Ты превратился в чудовище». Но говоришь всего лишь:

— Когда будешь готов рассказать мне обо всем, позвони. А пока мне здесь делать больше нечего.

— Послушай, Магда!..

Но ты уже выходишь из комнаты.

В гостиной Кастаньо тоже окликает тебя. Даже хватает за руку. Ты кричишь:

— Отпусти меня! — И сбегаешь по лестнице.

Уже на улице тебе представляется, что приход твой в этот дом и уход разделяет целая вечность. И будто утро уже совсем другое, а все происшедшее было дурным, кошмарным сном. На углу оборачиваешься и видишь, как одно за другим — неслышно из-за расстояния — закрываются окна в том заброшенном, умирающем мире, так непохожем на твой новый мир: даже воздух, в котором ты теперь живешь и которым дышишь, кажется тебе совсем другим. Ты чувствуешь, как лицо покрывается испариной, а особняк отца постепенно расплывается в твоих глазах, как бы теряясь в далекой, холодной дымке.

Войдя в кабинет, он находит на своем столе рядом с газетой две записки: «Несколько раз звонила Магда». «Армандо хочет срочно поговорить с вами».

Маркос комкает обе бумажки и бросает их в корзину. Наливает немножко кофе, ставит термос на полку, зажигает сигарету и садится. Катая шариковую ручку по столу, рассматривает кактус в глиняном горшочке.

Поднимает трубку, набирает номер Альфредо и докладывает, как произошел несчастный случай и в каком состоянии находятся госпитализированные товарищи. Потом звонит Армандо.

Просматривает бумаги. Подписывает ведомость на заработную плату и несколько докладных. Стряхивает в кофейную чашку пепел с сигареты. Разворачивает газету и читает:

«Арестована сеть агентов ЦРУ в Камагуэе. Эти лица переправляли через американскую базу Гуантанамо в Соединенные Штаты секретную информацию. Задержан тридцать один человек. У них изъяты зашифрованные инструкции, специальная бумага для нанесения тайнописи, таблетки для ее проявления и денежные чеки от ЦРУ для выплаты агентам».

Маркос задумывается: «Почему он назначил встречу в семь у него дома? И ничего не сказал по телефону?..» Кончиками пальцев прикасается к иголкам кактуса. «И подумать только: из-за одного пьяного тракториста! Попозже схожу посмотреть, как отремонтированы полы...» Нажимает кнопку селектора и говорит Лукасу, чтобы

поручил отвезти букет цветов Лидии и по возможности срочно информировал бы его о запасах бумаги на складе. «Для чего я понадобился Армандо? А Магда сегодня сдавала экзамен...»

— Как у тебя все прошло?

— ...

— Я тоже должен рассказать тебе кое-что. На плантации произошла авария. Одной нашей активистке вынуждены были отнять ногу.

— ...

— Да.

— ...

— Не очень рано. В семь у меня встреча с Армандо.

— ...

— Да, но он сам хочет видеть меня.

— ...

— Даже представления не имею.

Магда говорит по телефону:

— Хорошо. Все прошло хорошо. Потом навестила отца. Когда увидимся, расскажу.

— ...

— Молодая?

— ...

— Жалко ее. Ты рано придешь?

— ...

— Но ведь он уже не работает в Объединении.

— ...

— Ты не знаешь, зачем он хочет тебя видеть?

— ...

— Постарайся прийти пораньше.

Она вешает трубку и постукивает ногами в домашних туфлях одна о другую.

Растягивается на софе, зевая и похлопывая ладонью по рту. «Зачем он понадобился Армандо?..»

Снова включает проигрыватель. Раздаются первые аккорды музыки. Барабан ненавязчиво задает ритм, струны томно и страстно зовут друг друга, а тамбурину возражают мощные голоса тромбонов. Магда, склонив голову, самозабвенно слушает.

— Глаза мои на это не смотрели бы,— бубнит Родриго. Ты сбрасываешь скорость, потому что во всю ширь Пятой авениды лавиной бегут орущие и необузданные школьники, они буквально лезут под машину. — С ума надо сойти, чтобы отдать такие дворцы на поругание неграм и гуахирос [1],— продолжает Родриго. А ты вспоминаешь и уточняешь пароль для связи. Таньо, в бело-голубой фуражке. «Я от Хулио, хочу купить у вас морскую черепаху, пойманную вами вчера вечером». — «У меня ее уже нет». — «Хулио сказал, что вы прибережете фунта три для моего больного отца».

Скверы выглядят запущенными, среди травы и кустарника валяются консервные банки. Улицу пересекает цепочка детей с гитарами и скрипками.

— Только посмотри на это. Ты понимаешь, что значит превратить особняк Комодоро в школу гитаристов и барабанщиков? До чего докатимся? — ворчит Родриго и закашливается.

А ты вспоминаешь о часах, которые когда-то пережил здесь, порой плохих, порой хороших, вспоминаешь роскошную женщину, ее празднично-восторженное лицо, то мгновение, когда сразу потерял

[1] Кубинские крестьяне.

голову. Тогда жизнь была жизнью, не мельтешило в глазах это дерьмо, и все было в порядке, Комодоро оставался Комодоро, каждая вещь стояла на своем месте, и каждый был тем, кем достоин быть, как говорит Родриго. Тогда была жизнь как жизнь, со всеми своими причудами, хорошее перемежалось с плохим, и ты соглашаешься с Родриго: лучше ослепнуть, чем видеть закрытый клуб «Пенсильвания» с обшарпанным и ободранным фасадом. Даже павильончики с тирами закрыты и заколочены оцинкованными железными листами, а по ржавчине на них намалеваны огромными буквами ихние лозунги.

Огибаешь ротонду и в зеркало смотришь на Родриго, который сидит с удрученным лицом и хмуро глазеет по сторонам.

Проезжаешь мимо «Синодромо»[1]. Родриго говорит:

— Никогда мне не нравились собачьи бега. Я всегда надеялся на собственную руку и играл наверняка. Никаких гончих, никаких лошадей.

По дорожке «Синодромо» бегут девушки в красной и белой форме. «Формы, формы. У Магды формы — пальчики оближешь,— думаешь ты. — Ах эти девочки!» Тело щекочет от пота, ты все больше впадаешь в раж. «Наслаждение — вот единственное, что может утешить в этой паскудной жизни»,— думаешь ты под кашель Родриго. Духота становится прямо одуряющей, от асфальта несет таким зноем, что кустарники по обочинам дрожат и зеленеют еще ярче, а справа виднеется волнующаяся ярко-голубая полоса моря.

Они проехали через мост Хайманитас. Родриго, откинувшись на спинку сиденья, говорит:

— Слушай, обрати внимание вот на те черные квадратные заплатки на дороге. Это для мин. Чтобы заложить мины и взорвать мосты. Понимаешь, до чего додумались. Им ничего не стоит взорвать тут все.— Прокашлявшись, продолжает:— Но ничего у них не выйдет.

Ты сворачиваешь направо и едешь по единственной улице поселка Баракоа. Сбавляешь скорость и наконец останавливаешь машину у дома с широким сине-белым навесом. У дверей сидит мужчина, босой, голый по пояс, в завернутых до колен штанах, на нем бело-голубая фуражка. Ты выходишь из машины, мужчина, не вставая, смотрит на тебя и поглаживает седые волоски на груди. Ты спрашиваешь:

— Вы Таньо?

Он подтверждает, прикоснувшись к фуражке.

— Я от Хулио, хочу купить у вас морскую черепаху, пойманную вами вчера вечером.

Мужчина встает и отвечает:

— У меня ее уже нет.

А ты продолжаешь:

— Хулио сказал, что вы прибережете фунта три для моего больного отца.

Тогда мужчина вынимает из кармана ключ на нейлоновой леске и говорит:

— Входите. Вон туда,— и показывает Родриго дорогу. Входят все трое.

Внутри дом неокрашен или недокрашен: на стенах слой известки настолько тонок и прозрачен, что сквозь него просвечивают доски. Пахнет мокрым тряпьем и морской живностью. Родриго все внимательно разглядывает, смотрит на тебя, потом на мужчину, поглаживая бородавку. Стекла окон покрыты налетом от высохшей на солнце соленой влаги. На полу — пятна от воды, груда мебели, а посередине комнаты, которая должна была быть столовой, валяется лишь моток веревки да пустая железная тачка на боку, покрытая су-

[1] Стадион для собачьих бегов.

хой коркой ржавчины и известки. Мужчина открывает в глубине дома другую дверь, выходящую на море, которое от прибоя близ торчащих из него скал предстает бело-голубым, а вдалеке — темно-синее. Мужчина спрашивает:

— Сколько вас будет?

Родриго поясняет. Затронули вопрос о цене, и Родриго на все согласен. Мужчина снимает фуражку, стучит ногой по деревянному полу и говорит:

— Отвалим отсюда.— Улыбаясь, жестом приглашает спуститься вниз по ржавой железной лестнице, ведущей прямо к выступающему в море пористому камню, с которого от куч кофейной гущи, заслышав шаги, разбегаются мелкие рачки-макао.

Среди свай, поддерживающих причал, видна небольшая плоскодонная лодка, винт от катера и несколько автомобильных камер.

— Во время прилива вода здесь поднимается почти до середины свай,— говорит Таньо. Из дома по трубе стекает какая-то зеленоватая слизь. Среди камней — лужи темной воды, и в них, как раздавленные яйца, дохлые крабы.— Все будет очень просто. В назначенный вечер вы явитесь сюда уже полностью готовыми и станете вон там на берегу удить рыбу. Тут вечерами бывает много народу: собирают моллюсков, а позже, когда стемнеет, начинают рыбную ловлю гарпунами при свете масляных и карбидных фонарей. Вы добираетесь вон туда, где разбиваются волны, это всего около ста метров, и вода здесь нигде не доходит выше груди. А дальше, за отмелью, там дна не достать, но я вас уже буду ждать на своей шлюпке.

Родриго кашляет. В заливчике между скалами ты увидел какую-то смуглую девицу с очень черными и очень длинными волосами, в трусиках, раскрашенных под шкуру леопарда, и с глазами леопарда. Она одна, смотрит на воду, а ты смотришь на нее, отвлекаешься и уже не слышишь, о чем говорят Родриго и Таньо, но потом опять навостряешь уши.

— Ничего сложного. Предупредите за два дня, и все. Я не говорю, что дело совсем уж безопасное,— в любой момент можно нарваться на мурену[1], но риск есть во всем, даже во сне. Но уверяю вас, что более надежного пути, чем этот, нет. Американское судно будет ожидать вас. Привозите деньги за два дня, и мы все подготовим.

Таньо прощается, держа фуражку в руках.

Садимся в машину. Не могу понять, как Родриго собирается вывезти Магду таким образом. Спрашиваю старика об этом, и он отвечает:

— Эх, Кастаньо, простак ты, простак, и меня ты совсем не знаешь. У меня про запас есть много вариантов. А ты способен заблудиться на острие иголки. Но сейчас я хочу одного: побыстрее вернуться домой.

Ты нажимаешь на акселератор, в зеркале заднего обзора видишь, как Родриго поглаживает бородавку.

Вода, вырывающаяся из дождевальных установок, образует над газонами подвижные круги, которые, рассыпаясь на ветру, вызывают радугу. Раньше я грызла ногти. Теперь больше не буду. Люди придумывают себе мечты, а жизнь ломает их. Две недели назад меня перевели сюда на долечивание. Мне нравится этот санаторий, просторный, коттеджи среди деревьев и, главное, много цветов, бабочки с желтыми в черных пятнах крылышками. Когда начинает смеркаться и уходят последние посетители, я облокачиваюсь на балюстраду и любуюсь ослепительным цветением фламбояна, который

[1] Хищная рыба, обитающая среди камней; укус ее длинных, острых и крепких зубов очень опасен, может вызвать заражение крови.

растет рядом с административным корпусом, наблюдаю, как с разных сторон к нему слетаются птицы и садятся на ветки — сразу заметно, что каждая знает собственный сучок. Как пестрые молнии, они радугой расцвечивают деревья. В зависимости от погоды и летают они по-разному. Большинство людей не подмечает этой разницы, но те, кто чувствует себя как я, думаю, тоже видят и знают это. Только воробьи летают всегда одинаково, и веток своих у них нет.

Все товарищи относятся ко мне очень хорошо. Почти каждый день кто-нибудь приходит или присылает цветы. Самые красивые георгины, гладиолусы, хризантемы, орхидеи. Цветы из оранжерей, не дикорастущие, но мне нравятся все, даже те, скромные, которыми украшены корзинки. Каждый день появляются новые букеты и вазы с цветами: от профсоюза, от Федерации женщин, от партийной и молодежной организаций, от администрации. Но больше всего мне понравились пунцовые розы, присланные Маркосом. Никогда не видела роз такого цвета. Он сказал, что это болгарские. Маркос несколько раз навещал меня. Мне кажется, он похудел, а по глазам видно — у него какие-то неприятности. Иногда он вдруг замыкается и молчит. Что с ним? Мне не по себе, когда я вижу его таким, но спрашивать не хочу, все равно ведь ничего не скажет. О личных делах он говорит неохотно. Но что-то у него случилось. Я спросила у Лукаса, однако тот тоже молчит.

Понемногу привыкаю ходить на костылях. Врачи говорят, что самое страшное уже позади, я тоже так думаю. А в первые дни со мной происходили странные вещи. Ощущения были невероятные, никогда бы не поверила, что так бывает: я все время чувствовала отнятую ногу. На следующую после операции ночь она у меня болела. Но всего хуже, когда в первый раз пробуешь повернуться в постели, хочешь опереться на ногу, а ее нет, но ты двигаешь ею, будто она на месте. Помню, меня пронзила острая боль — от несуществующей пятки до самого затылка. Другой, очень неприятный момент: меня в первый раз подняли, и мне показалось, что никогда я не сделаю ни одного шага, не смогу больше ходить. Все вокруг закружилось, стало зыбким и неустойчивым, чужим и непривычным. И еще я очень огорчилась, когда впервые мне надо было подвернуть штанину на пижамных брюках. А когда меня в первый раз навестили мама и сын, мне сделалось просто дурно. На маму все это произвело такое впечатление, что она сразу зарыдала в голос, а сынишка без конца спрашивал, куда девали мою ногу. Я тоже заплакала, не от горя и не от безнадежности. Это были какие-то странные слезы. Вообще сначала все было очень грустно, а потом понемногу привыкаешь.

А сейчас самое трудное — с культей, ткани еще очень чувствительные, надо укреплять их с помощью упражнений. Врачи и сестры порой смотрят на меня с жалостью. Вот чего я не терплю. Мне хочется обнять их и спросить: «Ну почему у вас такие печальные лица? Еще немного, и я вернусь на работу». Я уже сказала об этом всем, кто приходил навестить меня. Врачи завели разговор о моей поездке в ГДР, чтобы сделать протез. Говорят, там, мол, сделают тебе такую великолепную ногу, что никто и не отличит ее от настоящей. Бедненькие, думают, я дурочка. Это мужчинам можно сделать такую ногу, что никто и не догадается, потому что у них ее не видно. А я, когда надену юбку? Но ничего, придется отказаться от юбок и ходить только в брюках.

Раньше ты во всем прекрасно разбирался, а теперь, кажется, все перевернулось, будто кто-то заменил картинки на картах и ты вынужден играть и банковать, не зная их нового значения, или как если бы тебя заставили говорить и слушать, а смысл слов переменили: собака называлась бы кустом, лошадь — банкой, ласточка — бутылкой, бутылка — булавкой, булавка — ботинком, ботинок — цветком, а цве-

ток — кошкой. Стучит кровь в висках, и ты думаешь, что вот так, не веря ни словам, ни цифрам, можно сойти с ума.

Ты стоишь на террасе и смотришь на закат. Его сияние постепенно угасает, и твое сознание переключается на другое. Кажется, слышишь шаги, и тебя охватывает паника — спазм сжимает желудок, потом напрягаются нервы. Это когда ты вдруг подумаешь, как идут дела там, у Кастаньо; потом начинаешь ощущать, будто твердеет кожа на теле и холодеют конечности. Покидаешь террасу и обходишь дом, на каждом шагу встречая напоминания о прежних страстях, сомнениях, тайных огорчениях. Хочешь позвать Томасу, но потом сознаешь, что она — всего лишь воспоминание, от которого можно ждать только мести. В угрюмых сумерках, опускающихся на твои дни, ты чувствуешь горечь и смутную угрозу. Но не веришь, что справедливо это запоздалое наказание. Ведь ты дал Магде хорошее воспитание, потакал всем ее желаниям и капризам, почему же теперь она платит тебе неблагодарностью? Этого ты не в состоянии понять.

Коридор кажется тебе длинным и мрачным. Ты кривишь губы, словно разжевывая липкую ненависть: «Я не заслуживаю этого, ведь скольким людям помогал, и если порой был жесток, то к этому меня принуждали обстоятельства. Я должен был выбиваться в люди в одиночку, вопреки всем и всему. Постоянной моей мечтой было занять лучшее место в обществе. Сперва я сумел из мальчика на побегушках стать парикмахером. Но мне претило оставаться одним из этих подагриков, обреченных всю жизнь вертеться вокруг кресла, лязгая ножницами, вдыхая обрезки волос и благодарно улыбаясь подачкам «на чай». Я все время спрашивал себя: что нужно сделать, чтобы победить, чтобы иметь деньги, много денег? Мечтал найти на улице бумажник, а в нем сто тысяч песо или нежданно-негаданно получить известие о смерти какого-нибудь незнакомого родственника, завещавшего мне большое наследство. Даже подумывал об убийстве или ограблении какого-нибудь миллионера. На все был готов, я должен был сделать все, мог стать кем угодно, только чтобы не жить серой, заурядной жизнью, которой живет большинство людей. Но я знал, что деньги — не для всех, за них нужно драться. А потом можно быть добрым и отзывчивым... Мне кажется, я так и сделал. Взять, например, Томасу — ведь я удовлетворил множество ее желаний. А скольким ее подругам помог, сколько семейных очагов зажглось от моих лотерей? Иногда достаточно было Томасе сказать: «Отец умер у Ампаро», или у Челы, или у такой-то, или у другой, и я сразу оплачивал все приготовления и похороны. Всегда, встречая на улицах бездомных стариков, я угощал их самыми дорогими сигарами и давал по три-четыре песо. А сколько народу обращалось ко мне с рецептами, и я говорил Томасе: «Закажи им лекарства по телефону, расходы пусть запишут на мой счет». И на рождество не скупился на пятипесовые подарки. Иногда Томаса просила подсказать ей выигрышный номер для очень нуждающейся подруги. Я отвечал: «Послушай, Томаса, ты ничего не понимаешь в моих делах. Как же я могу дать тебе номер, на который буду делать ставку, чтобы ты сообщила своей подруге? Ты совсем не разбираешься в этих делах. Понимаешь, я сейчас, ровно в три, уезжаю на кладбище». А Томаса знала все картинки и их номера в лотереях, она улыбалась, целовала меня и говорила, что я очень добрый,— она была уверена: буду ставить на три и шестьдесят восемь. И даже теперь при всех этих неприятностях я вспоминаю, сколько всего делал, может, даже слишком много, если учесть, что мне все время нужно было бороться за себя, так как деньги от игры — деньги ненадежные, того и гляди ускользнут, у меня ведь было столько врагов!»

Ты чувствуешь какую-то тревогу даже в самом воздухе комнаты, снова выходишь на террасу, смотришь в сад и перед твоими

глазами, как по стене, выбеленной светом луны, медленно проплывает умоляющее лицо Хертрудис, бледное и застывшее, прижавшееся к черным прутьям калитки. И сразу трезвая, холодная мысль перечеркивает всю нарисованную тобой жизнь. Возвращаешься в дом. На пыльном полу валяется оставленный котами засохший кусок хлеба. Снова шагаешь, осматриваешь комнаты, закрытые двери и уже не веришь, что все, нашептываемое памятью, действительно было. Пытаешься услышать шаги в темноте, хочешь, чтобы до твоего слуха донеслись человеческие голоса. В конце коридора матовая лампочка размазывает мертвенный свет по грязной мозаике пола. А тебе нестерпимо хочется услышать смех, голоса, перезвон телефонов. Несколько мгновений ждешь, прислушиваясь. Ни звука. Ночь глуха. Ждешь еще. Нет, глубокое молчание, как во чреве у смерти. Можно сойти с ума.

Стоя босиком, она протирает полки шкафа. Распущенные волосы падают на спину, свисая ниже края домашнего халата. Халат очень короткий, и когда Магда становится на носочки, сзади он поднимается еще выше. Маркос сидит на пуфе. Вытаскивает шариковую ручку. «А я поглядываю в его сторону, и меня возмущает, что он не обращает на меня внимания. Сидит себе, будто меня совсем здесь и нет. После встречи с Армандо он стал какой-то странный. Иногда улыбается, а потом вдруг опять озабочен. Расспрашиваешь, о чем говорили, отвечает двумя-тремя словами, невразумительно, сдержанно...» Магда приводит в порядок пластинки. Расставляет по порядку набор горнов. Наклоняется, и волосы ее падают на пол. Рядом с аквариумом ставит плюшевого мишку, кукол, бархатного зайца.

Маркос открывает черный кожаный портфель, вытаскивает какую-то папку и сосредоточенно читает, подчеркивая слова Че Гевары: «...Вместе с тем — великий дух самоотдачи, великого самопожертвования не только в героические дни, но и в любой момент». Магда кладет на проигрыватель подковки, переносит на место гитару. Не выдерживает и говорит:

— А я сегодня поступила в университет.

— О, приятная новость,— отвечает Маркос, не поднимая головы.

— На первом курсе будем проходить латынь, всеобщую литературу, язык, лингвистику, марксизм, историю искусств и стилистику. Я уже купила «Курс латинского языка» Валенти Фьоля и учебники грамматики.

Маркос бросает взгляд на горку книг на софе и снова погружается в чтение. Подчеркивает: «Идти на самопожертвование и помогать товарищу, чтобы он смог выполнить свой долг в повседневной работе, чтобы он смог выполнить свой долг в учебе, чтобы он так или иначе мог стать лучше».

Магда влажной тряпкой протирает чучело крокодильчика. Кладет его на край аквариума. Кожа ее блестит от пота, а волосы спадают на лицо, и сквозь их паутину она разглядывает Маркоса, все так же сосредоточенно читающего. Вот он снова подчеркивает: «Речь идет об истинном гуманизме... речь идет о том, чтобы трудом и учебой и постоянно проявляемой солидарностью со всем народом и со всеми народами мира развивать лучшее в человеке, развить его классовое сознание, чтобы он ощущал боль, когда человека убивают в каком-то уголке мира, и радовался бы, когда в каком-то уголке мира вновь вознесется знамя свободы».

Поднимает глаза и видит, что Магда, встав на цыпочки, протирает самые верхние полки. Почувствовав его взгляд, она оборачивается. Подойдя к софе и выхватив книгу из стопки, говорит:

— Я купила Хуана Рамона [1], у него встречаются прекрасные вещи.— Не в состоянии сдержаться, читает какие-то строфы.

Захлопывает книгу и спрашивает:

— Нравится?

Маркос смотрит на нее и отвечает:

— Нравится, что голос у тебя, когда читаешь, более звучный.

— Нет, скажи правду, тебе нравится?

— Написано прекрасно. Все же Хуан Рамон. Я учил его в средней школе. Читали «Платеро и я», кое-какие его стихотворения. Потом в Мехико перечитал его полностью. Но тогда он уже не так понравился мне, как раньше. Предпочитаю Леона Фелипе или Вальехо [2].

— Почему?

— Вкусы меняются.

— Скажи, что с тобой?

— Ничего.

— Ну, вот я тебе сообщила, что поступила в университет, а это для меня значит выиграть кто знает какую битву, однако ты откликнулся лишь словами «приятная новость». Я тебе читаю стихи, а ты говоришь, что голос у меня становится звучнее, что вкусы меняются. Может быть, у тебя и ко мне пропал вкус?

— Не будь глупенькой.

— Я не глупенькая, но готова стать даже ею, лишь бы ты любил меня.

— Иди сюда. Это действительно большая радость.

Он улыбается широко и искренне. Магда садится к нему на колени, обвивает шею руками, целует, вкладывая в объятие всю силу своей радости. Он тоже хочет поцеловать ее, но она говорит:

— Я вся потная, пусти, пойду ополоснусь.

Ты остаешься и думаешь о прошедшем времени, но не хочешь ничего объяснять себе. Ясно одно — она стала другой, и ни ты, ни она не возвращаетесь больше к разговору о встрече на пляже. Так вы оба освобождаетесь от вопросов и ответов. Действительно, зачем тревожить застоявшуюся воду, затянувшееся молчание или спертый воздух? Не лучше ли открыть новый родник или подождать наступления дня, когда по-настоящему станет светло? Зачем перекраивать правду прошлого? Ведь это было. Вспоминаешь, что как-то недавно она сказала тебе: «Ты для меня — море и воздух». А ты смотрел на ее влажную голову, покоящуюся рядом с тобой на подушке, любовался ее телом, таким требовательным и податливым в любви, и думал: «Неважно, от чего она плакала и страдала в прошлом. Теперь она не та».

Магда спросила: «Тебе не кажется, что я стала другой? — подтвердив твои мысли. И продолжала: — Рядом с тобой, на твоем берегу?»

И была она как новая игрушка, нечто прозрачное и простое, подобно капле воды, и были два взгляда, устремленные в бездонную глубину друг друга. Она сказала: «Ты для меня — море и воздух». И тебе показалось, что в ее глазах сквозь новую накатывающуюся волну желания просвечивает что-то более глубокое — мечта.

Магда возвращается, пахнущая свежестью, еще в каплях воды, сверкающих на теле, и говорит:

— Если можешь, дай мне сначала прочитать, что ты там подчеркивал.

Прочтя, она хватает тебя за уши и целует в лоб своими полными губами, и ноздри ее широко раздуваются...

---

[1] Хуан Рамон Хименес (1881—1958) — испанский поэт-антифашист, умер в эмиграции в Пуэрто-Рико. Одно из самых популярных его произведений — лирическая повесть «Платеро и я».

[2] Леон Фелипе (1884—1968)— испанский поэт-антифашист, умер в эмиграции в Мексике. Сесар Вальехо (1892—1938) — перуанский писатель-коммунист.

Опыта мне не занимать, но одно дело — собирать выигрыши и другое — то, на что иду сейчас. Потому и шел, все примечая, осторожно поглядывая по сторонам. Успокаивал себя тем, что от судьбы и от смерти никто не застрахован — ни слабый, ни сильный, как говаривал один маркер в бильярдной. Понятно, я рассчитывал, что мне повезет. Так или иначе, осторожненько проскользнул в бар, как зверь в новую нору.

У деревянной стойки сидел с непокрытой головой Уркиса и разговаривал с какой-то женщиной неопределенного возраста с красной лентой на голове. Увидев, что я вхожу, он что-то сказал ей, и женщина отодвинулась от него, пересев на другой стул, подальше. Я вытащил сигарету, и Уркиса тотчас же протянул мне зажигалку, из которой мгновенно вырвалось пламя, будто она сработала еще в кармане. Он посмотрел на часы и, сделав легкое движение кистью руки, сказал:

— Сейчас должны явиться.

Женщина с красной лентой поднялась с места, пошатываясь и не сводя с нас глаз, прошла мимо. Лицо у нее было морщинистое, бурое какое-то. И тут я заметил, что она как-то странно хромает: пятка правой ноги у нее вывернута наружу. И я сказал себе: «Чур меня, чур, чур!» — вспомнив, как Томаса говорила, что встретить в ответственный момент человека с божьей отметиной — не к добру. Я заказал ром и содовую. Огляделся и почувствовал себя не совсем в своей тарелке, может быть, даже не из-за того, что творилось вокруг, а из-за собственной нервозности, с которой никак не мог справиться. Люди думают, что я всегда спокоен, но это потому, что даже когда у меня внутри все холодеет, лицо остается невозмутимым. Иначе говоря, я умею сохранять вывеску и казаться твердым и уверенным. Одним махом опрокинул в себя ром и заказал еще один — чтобы подкрепить дух. Уркиса полудоверительно, полувластно спросил:

— Деньги принес?

Я вытащил пакет не глядя, передал Уркисе, тот сунул его в карман брюк и сказал:

— У Родриго всегда порядок. Сейчас и они войдут.

Было так дымно, что воздух давил, как раскаленный туман. Ко мне подошел один из дружков Ньято и Пако и попросил угостить его глотком. Я сделал знак официанту, чтобы налил ему. Когда те появились, Уркиса толкнул меня локтем. От напряжения я даже вздрогнул, вернее, мне так показалось, потому что знаю — внешне я даже бровью не повел. Из-за этого, когда я по-крупному играл в покер, меня прозвали Мертвое Лицо. Сабино нес в руках сверток. Подошли. Монго, улыбаясь, поздоровался, похлопав нас по спинам, и заказал два пива. Он был в форме моряка торгового флота. Уркиса сказал:

— Порядок. Уже у меня.

Тогда Сабино положил сверток на стойку. Монго посмотрел по сторонам, словно карманник, который боится сделать неверный шаг, и, шевеля тонкими, как две щепки, губами, с серьезным видом прошептал мне почти в самое ухо:

— Послезавтра здесь, в это же время. Поговорим о важном деле, которое тебе подойдет.— Засунул мизинец себе в ухо и проворно начал вертеть им с каким-то неприятным звуком. Потом добавил: — А теперь мотай отсюда.

Я схватил сверток и пулей выскочил на улицу, но все-таки успел подумать: «А если они нас обманули и я несу теперь песок, наждак, землю или какую-нибудь другую ерунду, а деньги-то уже тю-тю. Как я тогда появлюсь перед Родриго?» Тут я вспомнил, что даже не заплатил за угощение приятеля. Потискал сверток в руках и не почувствовал в нем ничего мягкого — земли или тому подобного,— а

только две трубки. Этот чертов сверток жег мне руки. У кафе «Марино» я взял такси и попросил довезти до перекрестка улиц Долорес и Порвенир.

Я смотрел на Маркоса, на остальных и с особой остротой думал, как всем нам не хватает Лидии — ее жизнерадостности, энтузиазма, ее кувшина с прохладной водой и йербабуэной, укутанного в банановые листья. Какой же характер у этой девушки! Несколько раз я ездил к ней в санаторий «Ковадонга», где она находится на долечивании — проходит курс специальных упражнений. Ну и характер! Другая на ее месте давно бы отчаялась или превратилась в плаксивую размазню. А эта не сдается, не теряет присутствия духа. Среди всех женщин, которых я знавал, а учитывая мои годы, их было немало, такой не попадалось. Внешне — кроха, а какая сила воли! Стальной цветочек. Каждый раз, как я навещаю ее, она говорит: «Вот увидите, Лукас, скоро я снова вернусь к вам на фабрику». Даже к костылям относится с иронией, с каким-то веселым пренебрежением. Всякий, кто увидит ее, подумает, что ходьба для нее — развлечение и все, что случилось, не более как пустая шутка. При последнем свидании она сказала: «Да не болейте вы так за меня. Не думайте, что жизнь для меня кончилась. Жизнь прекрасна, если не киснуть, а человек не должен раскисать». Она смотрела на меня своими искристыми, чуть близорукими, но красивыми глазами и говорила, что всегда можно найти что-то, достойное любви: «Поймите, любят нас или нет — это зависит от других, но нам любить кого-то никто не может помешать». Говорит, что любовь — это подарок, дарованный нам жизнью, и, чтобы не потерять, мы носим его в сердце, поэтому никто не сможет у нас его отобрать.

В воскресенье ездили в Нуэва-Пас. Мы подготовили бригаду добровольцев для работы на табачных плантациях, но поступило срочное указание ехать на сбор помидоров, потому что они начали портиться, и под угрозой срыва оказались наши экспортные обязательства. Уже ранним утром мы прибыли на место, готовые по холодку начать работу, но не оказалось тары. До полудня слонялись без дела. Наконец Маркос решил сходить и поговорить непосредственно с руководителями хозяйства. По дороге нам встречались группки рабочих, растянувшихся в тени деревьев. Спрашивали их, почему не работают, все отвечали, что ждут тару. Маркос разозлился еще больше. В конторе мы встретили нескольких вооруженных мужчин, болтавших между собой. На них были чистенькие, накрахмаленные рабочие рубашки, брюки, заправленные в полузашнурованные ботинки. Мы спросили директора, нам ответили, что надо подождать,— он занят. Мужчины разговаривали, пересмеивались; Маркос смотрел-смотрел, а потом не выдержал, подошел и спросил, зачем у них пистолеты, не для того ли, чтобы рассчитаться с теми, кто должен обеспечить рабочих тарой, или чтобы выстрелами сбивать помидоры, а может, чтобы убивать время? Мужчины прервали разговор, смутились, перестали смеяться, но ничего не ответили. Наконец из кабинета, улыбаясь и подмаргивая стоявшим у двери, вышла какая-то девица, дожевывая галету с джемом из гуайябы.

Директор сидел за столом около вентилятора. Карманы его рубашки топорщились от бумаг и карандашей. Увидев наши лица, он отложил недоеденную галету и в замешательстве привстал. На претензии Маркоса он отвечал круглыми, заученными фразами, отговорками, годными на все случаи, всяческими бюрократическими штампами: «Проанализируйте, товарищи...», «бывают ситуации, объективно не позволяющие...», «будут приняты все возможные меры...», «мы понимаем...», «по этому вопросу нас заверили...», «нам понятно ваше беспокойство, и мы восхищаемся вашим боевым настроением...», «несмотря на то, что у нас серьезные трудности с кадрами...», «транспорт

перегружен...», «завышенные нормы...», «запланированный объем...», «вчера прибыл прекрасный контингент из университета, собрали столько, что у нас не хватило ящиков...», «это был поистине героический трудовой день молодежи...». Директор показывал бумаги, письма, меморандумы, сопроводительные, накладные. Маркос взорвался и в бешенстве закричал:

— Мы приехали не затем, чтобы слушать объяснения и глупую болтовню в ваше оправдание, а работать! Слышите — работать! И вы должны бы оплатить из своего кармана все расходы — за транспорт, за потерянное время, возместить весь ущерб, нанесенный тем, что без всякой пользы оторвали людей от их работы. Тогда бы вы меньше объясняли, а больше делали!

Маркос круто повернулся, и мы ушли. Рабочим, ожидавшим нас у выхода, он сказал:

— Есть тут одна безответственно ответственная персона, не знающая, что такое революция. Но узнает! Пошли! — И к этому ничего не добавил.

На обратном пути он был сосредоточен и хмуро молчал. Лицо его порой теряло свою обычную приветливость и становилось жестким. Наконец он сказал мне:

— Ладно, чтобы не потерять все воскресенье, поехали на фабрику.

Там мы пробыли до конца дня. В последнее время он работает по воскресеньям и вечерами. Приезжает и сразу начинает просматривать бумаги, расспрашивать, проверять. И я замечаю, что веки у него слипаются от усталости и недосыпания. На десятое у нас намечено собрание, будет решаться вопрос о его временном заместителе. В Объединении нам разъяснили, что некоторые новые обязанности не позволят Маркосу целиком отдаваться делам фабрики. Возможно, заместителем его станет Кампос. А Маркос мне сказал, что он поедет за границу учиться.

Даже не помню, шел я или бежал от того места, где бросил такси, до самого дома. Знаю только, что, когда проходил мимо дежурных из комитета, мне показалось, будто мои шаги звучали как артиллерийские залпы, а сверток, который я нес под мышкой, вот-вот вспыхнет красной лампочкой или загудит сиреной. Шел и боялся своих мыслей, своих шагов. Мне хотелось перепрыгнуть через самого себя и лететь быстрее света, быстрее мысли. Мысль работает быстрее всего, когда душа уходит в пятки.

Родриго ждал меня в своем обычном кресле, откинув голову на спинку. Казалось, спит, но, словно почувствовав мое появление, он сразу же открыл глаза и встал. Осмотрел сверток. Потер руки, и мы прошли к столу. Родриго церемонно извлек платок, пахнущий одеколоном, стряхнул пыль со свертка и развернул его. Вынул две трубки. Я не ожидал, что они такие. Трубки оказались пластиковыми флаконами из-под талька, правда, большими. Флаконы были розовые с белой пробкой, доходившей им до середины. На белом фоне пробок — красными буквами надписи: «Борный тальк. Аусония. Л. Лепония. Л. ДА. Лиссабон». Сначала Родриго смотрел на них неподвижным взглядом, как слепой от рождения. Брови на бледном лице подрагивали. Он провел пальцами по векам без ресниц, с прожилками вен. Ему хотелось открыть, и было страшно. Я подумал, что нас надули — всучили тальк вместо камешков. Тигр не ест тигра, но повадки у них коварные. А у Родриго от переживаний что-то поскрипывало во рту, наверное, зубы стучали, будто он вдруг испугался чего-то или его начала бить лихорадка. Взял один флакон, хотел открыть, но руки так тряслись, что он не смог бы сделать этого, не просыпав половины содержимого. И он положил флакон обратно. Судорожно сглотнул, стараясь прийти в себя, успокоиться. Потом сказал:

— Надо открыть их.

Торжественно посмотрел на меня и, словно священнодействуя, опять взял флакон, повернулся ко мне спиной и склонился над столом.

Я всегда говорил: когда с человеком случается несчастье или, наоборот, крупно повезет ему, это можно заметить по любой части его тела. Уши Родриго порозовели, шея радостно напружинилась, даже морщины на загривке разгладились. Он обернулся ко мне и, показывая на ладони какие-то кусочки, сказал:

— То, что надо.

Потом Родриго вынул из шкафа пустую коробку из-под сигар и высыпал в нее часть содержимого флакона. А второй положил туда же, не раскрывая.

— Лорие пока отдадим только часть. Это золото больше чем золото, и деньги больше чем деньги.

Потом попросил меня рассказать во всех подробностях, как происходила передача. Ему не понравилось, что мне назначили встречу через два дня.

— Странно, а может быть, и опасно,— сказал он.— Однако сходи, но ни во что не ввязывайся, просто выслушай и потом расскажешь мне. А теперь отнеси вот это Лорие.

Шагает быстро, как одержимый, торопящийся воплотить в жизнь свое великое изобретение. Осматривается, потом направляется по тропинке, идущей от самой больницы Абальи. Не доходя нескольких метров до опоры высоковольтной линии, ныряет в темноту. Ускоряет шаг. Шлепает по грязи: «Дрянь какая-то. Все ботинки испачканы. Надо торопиться; плохая дорога не для прогулок».

Луна освещает кладбище автобусов. Виднеются искореженные кузова, груды железного лома. Мокрая трава хлещет по брюкам до самых колен. На откосе земля суше. Он вглядывается в домишки окраины, замечает пролетающую над крышами сову, смотрит на цепочку фонарей по кромке шоссе. Пробирается вдоль забора, огораживающего поселок. Пересекает железнодорожную линию. Наконец в свете луны видит дом, за ним — марабузаль [1], поле юкки и маиса. Сквозь бумагу, прикрывающую окно, наружу проникает слабый желтоватый свет. Подойдя к двери, убеждается, что замка нет. Защелка свободно болтается. Толкает дверь, полагая, что она всего лишь прикрыта, но дверь не поддается. Вдруг слышится шум. Бумага падает с окна, и в нем показывается Лорие:

— Погоди.

Щелкает задвижка, дверь открывается.

— Камни получены,— говорит Кастаньо.

— Принес?

Кастаньо передает ему флакон. Лорие открывает его. На мгновение лицо Лорие светлеет, но тут же опять становится мрачным. Он причмокивает губами и начинает что-то искать в картонной коробке, достает какую-то трубку. Подходит к двери, закрывает ее на задвижку и направляется к верстаку. Встает на бетонное основание, фокусирует прибор. Высыпает содержимое флакона на бумажку и пальцами трогает зеленовато-синие комочки.

— Дай-ка другой флакон.

— Получено только вот это.

Лицо Лорие темнеет. На ярком свету видно, как на скулах ходят желваки щеки вваливаются а глаза сужаются и стекленеют.

— А инструмент, который я просил, привезли?

— Нет.

Лорие аккуратно пересыпает камешки обратно во флакон. Закры-

[1] Заросли колючего кустарника марабу.

вает его пробкой и кладет на скамейку. Отпивает большой глоток агуардьенте. Сплевывает и смотрит на Кастаньо сверху вниз.

— Уж если делать такое дело, то всерьез, и чтоб были все инструменты, риск ведь одинаковый — много ли, мало ли камней. Правда, что это все?

— Правда.

Лорие в бешенстве сжимает бутылку, серебряный череп на его кольце и тяжелая золотая цепь на запястье сверкают молниями, когда рука поднимается и с яростью грохает бутылкой о край стола так, что стеклянные брызги разлетаются по комнате. Левой рукой он хватает Кастаньо за ворот рубашки, а правую, сжимающую острый, щербатый осколок, подносит к его лицу и кричит:

— Должно быть больше!

Кастаньо, вытаращив глаза, в испуге жмется к стене. По его лицу текут капли пота и капли агуардьенте, на воротнике блестят мелкие осколки стекла.

— Вот тебе мой совет: не морочь мне голову. Говори: есть еще или нет?

Кастаньо утвердительно качнул головой. Лорие отпускает его. Топча ногами стекло, говорит:

— Со мной надо разговаривать начистоту. Я старика вижу насквозь и знаю: он не стал бы ввязываться в такое дело по мелочам. Передай ему, что со мной надо быть осторожнее. Похоже, он меня еще как следует не знает, но я-то его знаю хорошо. Скажи, что если я сам заявлюсь к нему, то или порежу, или обдеру. Мне терять нечего. Уже все потерял. И нет таких задвижек, дверей или запоров, которые я не смог бы открыть. Так и скажи. А тебе еще хочу дать совет: никогда не ври мне — со мной шутки плохи. Послушаешься — будешь дышать.

Один. Один. Один. Одному хорошо быть, когда ожидаешь женщину. Сколько раз ты с нетерпением ждал их. В кошачьем мяуканье есть что-то мрачно-колдовское, эти зловещие пророческие звуки так изводили Томасу. Один. Один. Один. Еще больше чувствуешь себя одиноким, когда ждешь. И еще тяжелее, когда сидишь с открытыми глазами,— зажмурившись, можно видеть под закрытыми веками былые свидания во всех подробностях. И среди них — взгляды: безумные, просительные, удовлетворенные, жгучие, как искры, полные наслаждения или боли. А вот рты — влюбленные, ненавидящие, довольные. Рты, готовые целовать или кусать, обессилевшие и яростные, сладостные и рвущиеся в атаку. Одни просят, другие кровоточат, третьи благодарят, смеются лукаво, дрожат, открытые и стиснутые, источающие нектар или горечь. И зубы — то как лепестки жасмина, то как острые ножи. Проходят мертвые лица Хертрудис и Томасы, преследующие тебя даже во сне, и ты слышишь их плач, стоны и видишь их широко раскрытые рты, готовые закричать, но из них вырываются лишь беззвучные проклятья, плавающие в воздухе над твоим одиночеством. Один. Один. Бродишь по каменным плитам, тоже заброшенным; старые, опустевшие закоулки, старая злоба, радости и скандалы, часы наслаждения или скуки — все осело на полу, подобно покрывалу, подобно старому пеплу. Слова, произнесенные или услышанные в этом, теперь пустынном доме, падают и разлетаются в ртутно-тяжелом воздухе невидимой сухой и горькой пылью, которой можешь дышать только ты. Твои воспоминания горят в твоих нервах и сотрясают тебя в обманчивой тишине дрожью и судорогами, стучат в жилах твоего одинокого тела. Один — в коридорах и комнатах, в залах и переходах. Воспоминания или страх, страх или воспоминания нарастают с умопомрачительной силой. Один. Один. Особенно одиноко, когда сидишь с открытыми глазами и слушаешь шум

ветра в лаврах, который то собирает в комок, то разбрасывает тени, вырывая их у ветвей. Один.

— Как, по-твоему, отнесется к этому Магда?

Маркос скрещивает пальцы на затылке и откидывается назад. Армандо снимает очки и, протирая их, смотрит на Маркоса.

— Не знаю.

Несколько минут оба молчат. Армандо, не сводя глаз с Маркоса, механически продолжает протирать очки.

— Но ты должен сказать ей.

— Надо подумать...

Маркос опускает руки и наклоняется вперед:

— Помнишь тот вечер у тебя в кабинете?

— А как же. У меня были сомнения. И я считал своим долгом выложить все. Жизнь подтвердила, что ты прав, и очень хорошо, что это так. Мне в первый раз приходится видеть, как, казалось бы, простое дело не удается, а трудное — получилось.

— Да, в этом случае это так.

— Но для нее новость будет ударом.

— После разрыва с отцом и старыми друзьями у нее остался только один я. Она очень ко мне привязана. И уже давно ничего не принимает от отца. Живем на мой заработок. Сейчас, ты знаешь, она учится.

— Вам надо бы пожениться. Тогда мы смогли бы переводить ей твою зарплату.

— Дело не в формальностях.

— Почему?

— У нее свои понятия.

— Какие?

— Да насчет брака. Она говорит, что ей больше нравится слово «любимая», чем «супруга».

— Каждой женщине хочется выйти замуж.

— А вот она считает, что лучше любить друг друга, чем быть приписанными друг к другу.

— Она во всем оригинальна...

— Я ее достаточно знаю. Брак для нее не главное. В другое время — может быть, а сейчас она не согласится. И я думаю, что для нее это было бы даже не лучше, а хуже. Важнее всего — подыскать ей какую-нибудь работу.

Армандо облокотился на колено, подперев подбородок ладонью, и задумался. Глаза его за толстыми стеклами очков кажутся маленькими. Несколько минут сидит молча, а потом спрашивает:

— В какое время у нее занятия в университете?

— По утрам.

— Я вот подумал об одной работе, которая не совпадала бы с ее учебными часами и в то же время была бы близкой ее будущей профессии. Мне кажется, она могла бы работать в Национальной библиотеке. Там, наверное, две смены — утренняя и вечерняя. Как ты считаешь?

— Если это возможно, то место подойдет.

— Ну почему же невозможно? Завтра же поговорю с директрисой и объясню ей обстоятельства. Уверен, что она не будет возражать. Тогда бы Магда по утрам могла учиться, а после обеда или вечерами работать. Кроме всего прочего, ей надо дать почувствовать, что она не останется в одиночестве и мы ей по мере возможностей поможем.

— Я уверен.

— Важно, чтобы она сама была бы в этом уверена. Твой отъезд может состояться со дня на день. Мне кажется, мы и так уж слиш-

ком затянули. Как только объявишь ей об этом, позвони мне — расскажешь, как она реагировала.

Лорие сделал ошибочную ставку, нарушив игру и надеясь запугать меня. Родриго выслушал мое сообщение беспокойно, недоверчиво. Так заскрипел зубами, что, казалось, они вот-вот раскрошатся. Сидел молча, будто привязанный к своему креслу. А потом вдруг разразился воплями и страшными угрозами в адрес Лорие. Затих. Некоторое время молча стучал кулаками по подлокотникам кресла. Встал и начал ходить от стены до стены, ухватившись за свою бородавку и дергая ее так, точно хотел вырвать с корнем. Немного успокоившись, начал давать мне указания, как я должен действовать, чтобы сбить его с толку, и, надо сказать, строил планы ловко — петлял, как заяц. Он считал, что ничего страшного не случится — едва Лорие увидит, как будут переливаться огнями ограненные камни, сразу смягчится и успокоится. Сказал, чтобы через четыре-пять дней я сходил к нему и объяснил, что действительно у Родриго есть еще флакон, но ради безопасности камни разрознены и спрятаны в разных местах. Скажешь ему, что материал будем передавать по мере возвращения нам готовых бриллиантов. Ты должен убедить его, что кроме платы за работу он вообще будет иметь немалый доходец. Мы ведь не сможем проверить, не оставил ли он себе какой-нибудь камешек. Прояви гибкость, но твердо дай понять, что мы не дураки и пусть не считает, будто он держит нас в своих руках, скорее наоборот. Такие указания дал мне Родриго. Он уже был более спокоен. Хотя все еще выглядел сумрачным.

А вот что мне сейчас делать — ума не приложу. Уж если Лорие так вывел его из себя, как же я скажу ему о том, что произошло здесь. Даже объяснить не смогу. Надо как-то подсластить пилюлю. Если бросить ему ее как есть, без подготовки, он в обморок грохнется. Но, по правде говоря, я ничего не мог поделать. Когда пришел, столы уже были расставлены, и мне ничего не оставалось, как войти в игру по их правилам и с их краплеными картами. Там все было подготовлено так, что мне ни сбежать, ни спрятаться. Только я появился, Сабино говорит: «Сходим в туалет». А там, не спросив меня и не получив согласия, не задавая вопросов и не ожидая ответа, сунул мне в карман две петаки [1]. Меня бросило сразу и в жар, и в холод. Потом Монго, понимая, что их гарпун зацепил меня за самое нутро, предложил мне и остальное. О деньгах, полученных от них, я, понятно, Родриго не скажу, и о делах, которые мне поручили, тоже. Остается выполнить все и рвануть из страны, имея уже кое-что за душой, ну и престиж, понятно, чтобы жить-поживать там припеваючи с Магдой. А поддержку во всем они мне обещали.

Он шлепает по плодам, опавшим с лавров. Прежде чем открыть калитку, осматривается. Обегает взглядом улицу во всю длину и ширину. С ходу вставить ключ в замок ему не удается. Наконец, немало повозившись, беззвучно открывает калитку. Войдя, торопливо закрывает ее за собой. Прижимается к калитке спиной, засовывает руки в карманы, щупает петаки. Поднимается по лестнице и видит, что на верхней ступеньке его ждет Родриго.

— Как прошло? Чего они от тебя хотели?

Кастаньо молча проходит мимо Родриго, плюхается в кресло. Вытирает лицо рукой. Родриго приближается к нему и спрашивает:

— Что с тобой?

Кастаньо сует руку в карман. Вытащив петаки, кладет их на стол:

— Это пластиковые бомбы.

Родриго пятится. Словно мгновенно обессилев, охваченный страхом, падает в плетеное кресло. И сразу делается таким маленьким, жалким, сморщенным существом, с лицом мумии, с заострившимся,

[1] Пластиковые бомбы.

пожелтевшим носом. Руки висят как плети. Правой рукой пытается поднести ко рту недокуренную сигару, но пальцы не слушаются, губы почти не раскрываются. Веки набрякли, а по груди и шее волнами прокатываются легкие непроизвольные конвульсии. Вдруг словно внутренний толчок выбрасывает его из кресла. Родриго кидает сигару на пол и, бессильно опустив руки, торопливо говорит:

— Нет-нет, только не это. Сейчас же иди и выкинь их. Заброс в море. Отделайся от них, но не здесь. Я этого не хочу. Ни в коем случае.

— Я не мог отказаться.

— Как это не мог?

— Не мог.

— Ты хоть понимаешь, что это такое?

— Послушайте, Родриго, какая разница — с тем нас схватят или с этим?

— Есть разница...

— Мне кажется, что...

— Ты знаешь, что нас ждет, если здесь обнаружат эти штуки? Расстрел, Кастаньо! К стенке! Уноси отсюда эту чертовщину немедленно!

Кастаньо забирает петаки, сует их в карманы и идет к лестнице, но слышит, как Родриго его окликает:

— Подожди. Как выбросишь эти штуки, постарайся увидеться с Пако. Нам понадобится его помощь в деле с Магдой. Пришло время убираться отсюда. Сейчас самая пора сматывать удочки. И еще ты должен поговорить с Таньо. Надо все подготовить, срок настал.

Родриго ждет, пока он спустится и закроет дверь. Гасит свет и выглядывает в окно. Видит, что Кастаньо идет не к выходу, а перелезает через ограду в сад, торопливо и боязливо пересекает его и, не разбирая дороги, направляется к гаражу. «Думает обмануть меня. Ослушаться? Не выполнить указаний? А почему?» Родриго сжимает губы. Пальцы мнут штору. Глаза сверкают в темноте, как у разъяренного кота, которому ткнули в нос раскаленным железом.

Беспокойный ветерок прокатывается по траве. Раскачиваются ветви лавров. Родриго, притаившись у окна, ждет, пока Кастаньо как тень вновь крадется по саду. Торопливо минуя живую изгородь, он подходит к калитке, тихо открывает ее и потом осторожно закрывает за собой. Тогда Родриго берет из ящика шкафа фонарь, идет в конец коридора, распахивает дверь на винтовую лестницу. В нос ударяет острый запах кошатины и прелых трав. Коты носятся и скачут по ступенькам, перепрыгивая с перил на пол, или взлетают на чердак. Он спускается медленно, ступая по кошачьему помету, отбросам, сухим листьям, которые от суматошной беготни животных вздымаются в воздух и падают, словно мертвые крылья. Сад пуст и темен, слышится лишь треск веток под лапами котов да шум ветра в траве и в ветвях лавров. Родриго осматривает место между деревянным забором и гаражом, но лишь распугивает крыс, лягушек, ящериц и пауков. Ветер ворошит кучи листвы. Родриго открывает гараж, освещая фонарем паутину в углах, свернувшуюся в темные комья, которые у трещин увеличиваются в размерах. Лихорадочно роется в железном хламе, ищет внутри машины и обнаруживает петаки, завернутые в промасленную мешковину, между двумя старыми аккумуляторами. Освещает их фонарем, но прикасаться не решается. Его лицо неподвижно, бледность приобретает зеленоватый оттенок.

Возвращается в дом, совершенно потеряв голову, закрывает все двери, проверяет запоры, накидывает щеколды и цепочки. Говорит сам с собой, беззвучно шевеля губами. Возвращается в залу и зажигает свет. Озирается по сторонам, будто ничего не узнает вокруг. Ссутулившийся, обессиленный, трогает пальцами фигуры святой Варвары и святого Хуана Боско, позолоченный сейф, покрытый пылью

стол из красного дерева. Движется, как призрачная тень, сломленный, низко опустив голову. В тусклом свете выделяются его седые волосы. А в складках белой — несвежей и мятой — одежды прячется беспокойство, неумолимо гложущее. Присаживается возле окна на стул и сжимает голову руками.

Тяжелые тучи на горизонте то собираются в груды, то распадаются, то удаляются, то подползают ближе друг к другу, тают и снова уплотняются, сливаются и опять расходятся. Внизу длинные волны разбиваются об отмели и рассыпаются по песку, по скалам, по камням, торчащим вдоль берега. Отовсюду льется свет от мельчайших живых и слепящих брызг. Справа несколько рыбаков конопатят лодки, в воздухе смешиваются запахи смолы, пеньки и моря. От огромных листьев альмендров на дорогу падают плотные тени. На шоссе раздается звук сирены патрульного мотоцикла, за ним во весь опор мчится группа велосипедистов, сопровождаемая несколькими газиками и «скорой помощью». Вот они разворачиваются и начинают удаляться. Воздух предельно прозрачен, и сквозь него хорошо виден развеваемый ровным ветром флаг на башне в Кохимаре.

Они останавливаются и садятся. Солнце, кажется, плавит песок. Оба погружены в молчание. Она рассматривает в хрустальной воде тени рыб, метнувшихся к скалам, чтобы спрятаться под ними. Яркий живой свет высекает из воды искрящиеся блестки. Гул автострады смягчается, пока не затихает совсем, все вдруг смолкает вокруг, и только море продолжает глухо шуметь. Магда сидит, опустив глаза. Оба наклонились, глядя на воду. Молчат, и кажется, можно расслышать, как на их тела, на камни, на воду падают солнечные лучи. И тогда Маркос говорит ей все — в пределах возможного.

Маркос говорил, глядя на меня, и я видела в его глазах решимость и упрямый блеск. Он обращался ко мне, и его взгляд словно исходил из далеких глубин, его глазами смотрело множество других глаз. Мы поднялись и пошли по берегу. Меня охватило такое ощущение, словно под моими пальцами оборвались струны гитары. Будто кто-то задушил всех моих рыбок в аквариуме. Будто у меня на ладонях плавились мои заветные подковки. Будто во мгновение ока вдруг высохло мое море. Мне казалось, что из всего, что я любила, у меня не осталось ничего. Я хотела сказать ему: «Значит, мы познакомились у моря и у моря расстаемся. Но мы, я чувствую, не прощаемся, а говорим друг другу: «До свидания». Рассеянно смотрела я на песок, на отпечатки наших следов — следов наших ног. Держа туфли в руках, шагала рядом с ним у самой воды, то набегавшей, то отступавшей, шагала, опустив голову и глядя на пену. Он сказал: «Это мой долг». Я ответила: «Я понимаю, но почему расставанье — такой тяжелый долг?» Наверно, я смотрела на него столь широко раскрытыми глазами, столь беззащитными в своей молчаливой тоске, что он крепко сжал мою руку. Тогда я перевела взгляд на море, на игру ветра в ярких бликах воды. Он сказал, что разлука продлится всего несколько месяцев, что потом он вернется, что будет писать каждый день и чтобы я думала не об отъезде, а о его возвращении. «Ты должна постоянно думать не о расставании, а о встрече»,— он говорил об этом уверенно и спокойно. Я ничего не ответила, но у меня в глазах стояли слезы.

От крайней озабоченности лицо его стало еще более жестким, глубже прорезались морщины. Волоча ноги, он обходит комнаты, выглядывая наружу из-за штор, через разбитые витражи, стеклянные двери и окна. «Сколько дней прошло, а Кастаньо нет...» Это странное исчезновение еще больше обостряет его беспокойство. И бродит он в одиночестве, полный подозрений, предчувствий, страха, проверяя тайники, осматривая запоры, что-то измеряет, перемеривает, ощупы-

вает сундуки и скрытые под изразцами ящики. Останавливается у золоченого сейфа, поглаживает его, бросает взгляд на стрелки часов, на огромный стол из красного дерева, на клочья паутины, свисающей с расписного потолка. В глазах появляется та мрачная неподвижность, когда человек смотрит, не видя. Обмякнув, валится в кресло.

Ни звука. Только бормотанье листвы лавров. Из окон сочится водянисто-серый свет сумерек. В его неровном движении тянется по стенам, усеянным темными пятнами сырости, бездонная река времени, в которой плывут события и лица, шепот, глаза, вскрики, руки, голоса, стоны, женские ноги, жесты, улицы, перекрестки, игорные дома, страшное грохотанье, бесстыдные визги, предсмертные хрипы, раскаты смеха, сладострастные вопли, грязная брань, вздохи облегчения. В отчаянии он беспокойно ворочается в кресле и проводит пальцами по набрякшим векам.

Скрежет тормозов заставляет его напрячься. От звяканья по ограде он вздрагивает. Вцепился в сиденье кресла, подался вперед. Щеки и нос заливает синева. Вслушивается в скрип калитки. Ноги трясутся. Никак не попадет ими в туфли. И тут раздается в тишине громкий, даже торжественный удар. Озирается по сторонам. Дрожа, встает. Мечется из угла в угол, словно кот в горящей клетке. Стук в парадную дверь отдается по всему телу. В испуге он замирает. Пот струится по лбу, вискам, затылку. Зажмуривается. А каждый стук в дверь сотрясает его, разжигает страх и ненависть. Он делает несколько осторожных, крадущихся шагов к фигурам святого Хуана Боско и святой Варвары. Вглядывается в их удлиненные, строгие, темные лики. Трясущимися руками пытается открыть в них внутреннюю дверцу, но непослушные пальцы никак не могут набрать шифр секретного замка. Он напрягается, хочет опереться о стену и срывается. Ослабевшие ноги не держат. Ухватившись за деревянные изваяния святых, он падает на пол. Дерево с треском разламывается, и на пол сыплются темно-золотистые опилки, а в них сверкают, переливаются браслеты, броши, бусы из слоновой кости, ожерелья, запонки, кольца, серьги, кулоны, аметисты, рубины, топазы, изумруды, позолоченные бильярдные шары, которые раскатываются по углам, ударяясь о ножки мебели, сталкиваясь между собой в немыслимых бешеных карамболях. Между тем настойчивый стук в дверь всё сильнее отдается в стенах и перегородках, в потолке и полу, разносится по коридору и лестницам, звучит в застойном воздухе пятнадцати нежилых комнат. Родриго, широко раскинув руки, пытается сгрести свое богатство, объять его и, наконец, надрывно дыша, тащит то, что удалось собрать, в свою комнату.

Когда возвращается в залу, стук внизу повторяется. Его охватывает слабость, горячая моча стекает по ногам. Поскользнувшись, он падает, тут же поднимается на четвереньки и жадно сгребает остальные ценности вместе с опилками и кошачьим пометом. Белая кошка с желтыми пятнами на боках подходит к нему и хочет облизать его грязные, дрожащие руки. Родриго в ярости чуть было не придавливает ее, и она вонзает клыки в его запястье. Резким движением он отбрасывает кошку, та летит по воздуху с клочком его кожи в зубах, шмякается об стену и с отчаянным мяуканьем удирает. Снова стук в дверь. Еще и еще. Родриго, распластавшись на полу, сгребает свои камни.

В дверь уже не стучат. Слышатся голоса, топот, какая-то возня. Задвижка, цепь, двойной английский замок, испанский запор. Родриго содрогается, губы покрывает густая, вязкая пена. Он слышит шум, гвердые шаги кто-то идет, удаляется, снова приближается, поднимается по лестнице. Теперь шаги совсем близко. Родриго мечется из угла в угол, прислушивается к шагам, уже близким голосам. Прижимает руки к лицу и пальцами ощупывает кости черепа, глазницы и нос, поцарапанный кошачьими когтями. Возвращается в свою ком-

нату, роется в шкафах, разыскивая что-то нужное, но попадаются только рубашки, носки, какие-то лоскутки, щетки. Того, что ему нужно, нет. Одни лишь немые свидетели.

Он бросается на кровать, сладострастно сжимая в руках драгоценности и пачки банкнот, конвульсивно опрокидывается, извивается, с горящими, словно у взбесившегося кота глазами, бегающими по сторонам, и слушает, как приближаются шаги. Вот они у одной двери, вот и другая дверь открывается, а голоса все ближе и ближе. И в тот миг, когда дверь его комнаты дрогнула, готовая распахнуться, он с воплем, похожим на душераздирающий кошачий крик, с выкатившимися из орбит глазами и пеной у рта, как старое, смертельно раненное и разъяренное животное, срывается с кровати, с силой ударяет головой и всем туловищем в дверь. Темная, как крышка гроба, дверь неожиданно захлопывается.

Ньято постукивает свернутой газетой по стойке бара. Облокачивается, прислушивается к разговорам.

— Как, по-твоему?

— Врезали.

— Только нас им не застукать, мы не сопляки.

— Собрание было бурное. Вот увидишь: или дела поправятся, или не миновать заварухи.

— Уверяю тебя, тут пахнет керосином. Теперь они уж точно разузнают, разбазариваются материалы или разворовываются.

— Да ну, будет как всегда. Схватят какого-нибудь кретина, который утащил пару кирпичей, и делу конец.

— Не скажи.

— А вот увидишь.

— А я говорю: тут дело серьезное.

— Уверен?

— Даже начальнички попадут за решетку.

— Слушай, Сегундо, кончай-ка эти делишки. Подведешь всех: и себя, и меня, и бригаду. Я не продам никого за старое, но и позволять такого больше не могу.

Группа портовых рабочих штурмует стойку бара, они переговариваются так возбужденно, что из-за сплошного гвалта Ньято не может уследить, о чем идет речь. Заказывает еще стопку. Только пригубил, видит входящего Пако. Подзывает его, спрашивает:

— Ты давно не видел Кастаньо?

— С месяц.

— На, смотри.

Ньято разворачивает газету и передает Пако. Тот листает ее, но, похоже, не находит ничего интересного.

— Читай-читай и поймешь, откуда мы выбрались.— Он тычет пальцем в газету.

«К высшей мере наказания — расстрелу — приговорены три агента ЦРУ, входящие вместе с другими осужденными в шпионскую и диверсионную сеть, созданную Центральным разведывательным управлением США для осуществления актов вредительства на судах Национального торгового флота. Они также занимались контрабандой алмазов. Приговор вынесен Революционным трибуналом Гаваны.

В числе осужденных следующие: Хосе Сабино Кобо, матрос кубинского судна «Гонсалес Лайнс», ранее неоднократно судимый за сводничество, употребление наркотиков и контрабанду; Рамон Перейра Кастаньеда, он же Монго, матрос указанного судна, бывший лейтенант фрегата военно-морского флота тирании; Рохер Сопенья Инохоса — матрос судна «Мануэль Аскунсе», также имеющий судимости за контрабанду и наркотики.

Хосе Сабино Кобо имел задание уничтожить груз в сорок

пять тысяч ящиков трески, а также осуществить диверсию в сухом доке гаванского порта, для чего получил восемь зажигательных бомб.

Рамон Перейра Кастаньеда, используя свое положение члена экипажа судна, ввез в страну четыре зажигательные петаки и два флакона с необработанными алмазами.

Рохер Сопенья Инохоса получил и ввез на Кубу мощную рацию, которую шпионская сеть использовала для передачи информации в центр ЦРУ за границей.

Лица, приговоренные к смертной казни, также поддерживали связь с военно-морской базой США в Гуантанамо через Пабло Уркису Гомеса, бывшего владельца бара, игорного и публичного домов в районе Кайманеры и судимого ранее за организацию запрещенных азартных игр и сводничество. Пабло Уркиса Гомес убит в стычке с сотрудниками государственной безопасности при попытке арестовать его в принадлежащем ему доме в окрестностях Гуантанамо. Во время перестрелки была ранена в бедро Асусена Пиментель Кавира (известная как Хулия).

Были также арестованы и осуждены за связь с указанной сетью: Луис Лорие Морэ, он же Серьга, и Луис Кастаньо Родригес, он же Везун, или Мертвое Лицо. Первый ранее привлекался к уголовной ответственности за контрабанду, за деятельность в противозаконных лотереях и за спекуляцию на черном рынке запасными частями к автомобилям. Он создал в пригороде Гаваны небольшую мастерскую, предназначенную для огранки алмазов. У него был обнаружен флакон с необработанными алмазами, а также несколько ограненных камней. Он приговорен к десяти годам лишения свободы. Луис Кастаньо Родригес, в прошлом занимавшийся запрещенными лотереями и ростовщичеством, приговорен к пятнадцати годам лишения свободы.

Установлено, что в этих преступных действиях был замешан Родриго Кастильо Фабрас, бывший во времена диктатуры известным «банкиром» запрещенных лотерей, поддерживавший тесные связи с режимом диктатуры и с мафией азартных игр, намеревавшейся превратить Кубу в большой игорный дом. В доме Родриго Кастильо Фабраса были обнаружены две петаки и большое число ювелирных изделий, драгоценных камней, много золота и крупные суммы кубинских денег, а также более восьмидесяти тысяч долларов. Родриго Кастильо Фабрас, человек преклонного возраста, вскоре после ареста скончался в результате попытки самоубийства (травма черепа) при задержании в его доме в Лоутоне».

Капли пота с лица Пако падают на газету. Глаза его будто подернулись жаркой пеленой. Ньято смотрит на него и заказывает две порции рома.

— Выпей-ка, залей страх.

Пако внимательно и жадно всматривается в его лицо, словно ожидая от приятеля какого-то объяснения или вопроса. Но Ньято сидит с отрешенным видом.

— Я так и знал...

Пако уставился в пол, где растянулись ноги Ньято, потом перевел взгляд за окно. Улица, лоцманские катера в порту, море, стрела углепогрузчика в Касабланке, серо-зеленые, мрачные и голые стены тюрьмы Ла Кабанья.

Слышится гудок теплохода. Какая-то женщина неопределенного возраста с красной лентой на голове проходит мимо, смотрит на них и удаляется хромая на правую ногу с вывернутой наружу пяткой.

— Надо уходить в тень. Солнце так жарит... смерть как жарит...

Критика

М. ТУГУШЕВА

ЗАМЫКАНИЕ РАЗОМКНУТОГО КРУГА?

К вопросу о «женской» литературе

Когда был опубликован роман Шарлотты Бронте «Шерли» (1849) в критическом ежеквартальнике «Эдинбург ревью» появилась статья: «Умственное равенство полов? Женская литература».

Название было не только развязным по тону, но и оскорбительным по существу, так как бесцеремонно подвергало сомнению саму возможность подобного равенства. Не то чтобы литературный ментор Джордж Генри Льюис был против «женской» литературы, как таковой, но он полагал, что ее нужно ограничить рамками бытонравоописательной и, пожалуй, психологической прозы. Идею эту он блестяще реализовал, направляя творчество своей гражданской жены Мэри Энн Эванс, ставшей знаменитой писательницей под мужским псевдонимом «Джордж Элиот». В викторианском мире мужское имя на титульном листе считалось как бы гарантией литературной доброкачественности, а также, разумеется, отсутствия завиральных идей вроде «умственного равенства полов» и вообще равенства. По той же причине Аврора Дюдеван стала Жорж Санд, а сестры Бронте — Шарлотта, Эмили и Энн — Керрером, Эллисом и Эктоном Беллами.

Керрер Белл умел за себя постоять. «Он» ответил своему критику убедительно и остроумно. Однако главным доводом в пользу «женской» литературы и «умственного равенства», точнее в данном случае — возможности и способности женщины писать на темы, важные для всех, явилось само реалистическое качество романа: женщина-автор превосходно справилась и с нравственно-психологическими, и с социально-политическими проблемами, волновавшими ее современников. Среди этих проблем — борьба труда и капитала, эксплуатация детей на фабриках, воспитание и образование женщины, перспективы ее личностного осуществления, независимо от того, замужем ли она или пребывает в безбрачии.

Джордж Льюис был критиком серьезным и эрудированным, но викторианские, консервативные критерии подхода к социальному положению женщины и ее начавшейся борьбе за гражданские права побудили его пренебрежительно отозваться об одном из лучших произведений классической английской литературы XIX века, а его достоинства отнести за счет «недостатков», свойственных «женской» литературе вообще: дело в том, что самым характерным признаком литературного произведения, автором которого являлась женщина, он как раз и считал постановку вопроса о равноправии полов и предоставлении женщине возможности жить полноценной гражданской, экономической и эмоциональной жизнью. Мужчина, полагал он, не станет тратить свой талант и способности на пропаганду столь сомнительных идей. Он бы весьма удивился, узнав, что его однофамилец — известный американский писатель XX века Синклер Льюис как раз о роли женщины в обществе, ее повседневном бытии, надеждах, разочарованиях и сверше-

ТУГУШЕВА МАЙЯ ПАВЛОВНА

Советский критик, литературовед, кандидат филологических наук. Автор книг «Современная американская новелла. Некоторые черты развития» (М., 1972), «Джон Голсуорси» (М., 1973), «Чарльз Диккенс» (М., 1979), «Шарлотта Бронте. Очерк жизни и творчества» (М., 1982) и многих статей по проблемам английской и американской литератур XIX и XX вв.

ниях будет писать с огромным сочувствием и вниманием, тем более понятными, что он высоко оценивал роль американки в развитии отечественной литературы и гражданского самосознания нации. Особенности исторического пути Америки определили и положение женщины в общественной и литературной жизни страны. Начиная с XVIII века обучение в школах было совместным, и девочек, вполне равноправно с мальчиками, наказывали не только за незнание катехизиса, но и за невыученный урок из Тацита. Американки рано привыкали чувствовать себя наставницами и приобщались к словесности, сочиняя религиозные, дидактические, педагогические трактаты, руководства по ведению хозяйства, а также и произведения на общественно-политические темы. Так, известная общественная деятельница и писательница Лидия Мария Чайлд была автором романов, очерков о рабочих, о состоянии нью-йоркских тюрем, памфлетов в защиту гражданских прав женщин и «тех американцев, коих именуют африканцами». Позднее американская литература выдвинула таких всемирно известных писательниц, как Гарриет Бичер-Стоу, Эмили Дикинсон, Эллен Глазгоу, Эдит Уортон. Одной из первых Уортон распознает опасность мании капиталистического приобретательства и стандартизации духа, и не случайно именно ей С. Льюис посвятит своего «Бэббита».

Синклер Льюис, как и Теодор Драйзер, симпатизировал усилившейся в первую декаду XX столетия тяге молодых американских женщин и девушек к активному участию в деловой жизни и независимости в личной. Поэтому героиня его романа «Работа» (1917) Уна Голден добивается хорошо оплачиваемого места, уходит от нелюбимого мужа и соединяется с возлюбленным. «Счастливый конец», однако, меньше всего был данью определенной литературной традиции: писатель стремился отстоять возможность и необходимость нового образа жизни, в частности право женщины и на любимый труд, и на брак по любви. В противоположность Дж. Г. Лоуренсу, провозгласившему что независимая и образованная женщина — «угроза» западному миру, Льюис считал что женщина может заниматься и общественно-полезным трудом, и одновременно быть счастливой возлюбленной и преданной матерью (что рассматривается как сугубый абсурд во многих современных женских романах на «женскую» тему). Конечно, писатель прекрасно понимал всю сложность и трудность такого сочетания в существующих социальных условиях и не случайно поэтому героиня следующей его книги, знаменитой «Главной улицы» (1920), Кэрол Кенникот терпит поражение в борьбе с провинциальной косностью. Но хотя борьба и судьба героини глубоко типичны для Америки 20-х годов (и не потеряли значения для Америки современной почему образ Кэрол по праву считается одним из самых реалистических женских образов в литературе США XX века) писатель понимал, что борьба американки за общественные свободы не только не кончена, но будет с течением времени усиливаться, несмотря на временные поражения, на приступы усталости, на искушение жить узколичной, замкнутой на своем «собственном саде» (Вольтер) жизнью — что в конце концов и предпочла его деятельная, бескорыстная Энн Виккерс («Энн Виккерс», 1933). Борьба обязательно будет продолжена, и это, кстати, предрекала потерпевшая поражение Кэрол Кенникот над кроваткой дочери, говоря мужу: «Ты знаешь, что это такое? Это бомба, которой предстоит взорвать обывательское самодовольство. Если бы вы, консерваторы, были мудры, вы арестовывали бы не анархистов, а всех этих детей... Подумай, что только этот ребенок не увидит, не натворит, прежде чем умрет в двухтысячном году». И создается впечатление, что устами Кэрол Синклер Льюис предсказывает подъем широкого, мощного демократического движения американских женщин за гражданское равноправие в 60-е годы нашего столетия.

Любопытная деталь: героини С. Льюиса всегда одушевлены желанием деятельного общественного добра, в противовес, например, драйзеровской Керри Мибер («Сестра Керри», 1900), которая, как юный Растиньяк в женском образе, устремилась на завоевание «большого города» во имя личного успеха. Однако симптоматично и то, что Энн Виккерс, разочарованная и уставшая льюисовская героиня тридцатых годов, замыкается в конце концов в узком кругу домашних забот, а Эрнита Драйзера в «красные тридцатые» находит себя в борьбе за социальные свободы и становится убежденной сторонницей социализма. Но неважно, какой путь избирали американки — и персонифицированные в литературных образах, и реальные, борющиеся сторонницы социального прогресса,— они, по словам Л. Хеллман, ощущали гнет существующей социально-экономической системы и в случае поражения «носили в душе незаживающую рану» («Пентименто», 1976). То было поколение пламенных демократок, отстаивавших право каждого члена общества, без различия половой, расовой или национальной принадлежности, на достойную и разумную жизнь. Так, Мередил Лесур [1], прогрессивная американская писательница и публицистка создает в 30-е годы книги и очерки защищая интересы рабочего класса и трудового фермерства Америки.

Спустя десять — пятнадцать лет многое изменилось. Условно говоря, дочь Кэрол Кенникот, уже взрослая и тоже мечтающая о ярком, осмысленном, полезном бытии, стала бы свидетельницей того, как усложнился общественно-политический климат в стране по сравнению с двадцатыми. Вопреки вполне реальным надеждам на то, что после войны с фашизмом в стране начнется мощный процесс демократизации общественных институтов, США вступили в долгий период «холодной войны» с такими ее характерными приметами, как «охота на ведьм» — изгнание из учреждений и университетов социалистов, радикалов и всех инакомыслящих, создание Комиссии по расследованию антиамериканской

[1] М. Лесур было предоставлено почетное право открыть съезд американских писателей в Нью-Йорке (октябрь 1981 г.), на котором она, вспоминая боевые антифашистские традиции 30-х, выступила с призывом противостоять новой волне консерватизма в общественно-политической и идейно-художественной жизни страны.

деятельности во главе с сенатором Дж. Маккарти и все возрастающий антисоветизм. Это не могло не сказаться на духовной жизни Америки. Именно тогда утверждается буржуазно-конформистская литература, низлагающая идею социального протеста и гражданственного служения женщины, все увереннее звучит и призыв укрыться от бурь современности в тихом семейном мирке.

Идеал счастливого домашнего очага утверждался американскими социологами, психологами, критиками, а нередко и литераторами послевоенных лет на консервативных представлениях о роли мужчины и женщины в семье и обществе: мужчине свойственны ум, сила, активность; женщине — пассивность, в частности социальная, неспособность к эффективному труду, за исключением домашних обязанностей, иррациональность. Эти идущие из времен Филемона и Бавкиды представления о «мужской» и «женской» психологической и эмоциональной специфике действенны и сейчас и, несмотря на некоторые успехи женщин в борьбе за гражданское равноправие, определяют социальное мышление в национальном масштабе. Однако особенно притягательными эти представления оказались именно после второй мировой войны. Именно тогда супружество и материнство провозглашаются во множестве социологических, культурологических работ, в литературе, на страницах массовой коммерческой печати главной и единственной сферой деятельности женщины. Тогда же патриархальная концепция «главных» женских обязанностей была подновлена фрейдистской теорией о нежелательности подавления сексуальных импульсов. Проникая в литературу и искусство, эта теория вызвала невиданный взрыв сексбеллетристики и сексдраматургии, как отмечал известный английский критик Кеннет Тайнен. Общая тенденция американской культуры в конце 50-х — начале 60-х годов, писал Тайнен в статье «Культуре неможется», в убежденности, что «душевная жизнь человека гораздо важнее того, что совершается с ним во внешнем мире. Это представление обычно выражается в терминах, заимствованных из философии Фрейда: человеком всевластно управляют Эго, Суперэго и Id. Иногда это представление выливается в несколько иную форму: вершина человеческих упований, его высший долг в этом мире — обретение себя в любви».

На уровне массовой культуры это представление вульгаризировалось и приобретало еще более субъективистский, консервативный характер. Понятие счастья уравнивается с материальным и физиологическим комфортом: главное — перенести центр тяжести с общественных потребностей человека на сугубо индивидуальные — такова контрполитика идеологического консерватизма, наступающего на просветительские традиции общества. В то время прогрессивно мыслящей американке пришлось отступить не с одной завоеванной позиции. Само понятие ее освобождения стало трактоваться утилитарно и узко. Практически оно сводилось к вульгарной эротической свободе в ущерб свободе общегражданской и социально-политической. И очень возможно, что в период «холодной войны» взрослой дочери Кэрол Кенникот пришлось бы читать преимущественно конформистско-эротические сочинения, утверждающие дух индивидуалистического спасения в «любовном» чувстве, черствый практицизм и потребленчество.

Однако с началом 60-х годов в США оживилось движение негров и женщин за социально-экономические и гражданские права[1]. Выходит в свет сборник статей общественной деятельницы Б. Фриден «Женская мистика» (1963)—манифест «неофеминизма», как называет женское движение буржуазная пресса. Книга Фриден — убедительная отповедь консервативному догмату веры: современные женщины — «заблудившийся пол», к социально-политическим свободам могут стремиться только «сексуально неудовлетворенные». Основной принцип Фриден противоположен: женщина должна найти и познать себя и в процессе полезной гражданственной деятельности, в борьбе против устаревшего понимания ее социальной роли. «В послевоенные годы,— пишет Фриден,— средства массовой информации успешно внедряли в сознание американок, что надо жалеть «истеричных» неженственных женщин, которые хотят быть поэтессами, физиками или руководителями фирм. Женщину убеждали, что настоящая «женственная женщина» не стремится к общественной деятельности, высшему образованию, политическому равноправию — к той независимости и тем возможностям, за которые боролись «старомодные» феминистки. Некоторые сорока- или пятидесятилетние женщины все еще помнили, с каким сожалением они расстались с подобными мечтами, но большинство молодых даже не думали ни о чем подобном. И сотни авторитетных голосов восхваляли их женственность, их приспособляемость, их зрелость».

Однако постепенно, констатировала Фриден, среди женщин стали возрастать недовольство и неудовлетворенность жизнью, психиатры встревоженно заговорили о невротическом «синдроме домохозяйки». Консерваторы, как это было испокон веку, обрушились на образование. Все было бы прекрасно, утверждали эти адепты старых викторианских мифов о роли женщины в обществе и семье, если бы не вредоносные идеи о равенстве полов и долге женщины перед самой собой: американские домохозяйки наслаждались бы мирной семейной жизнью, нимало не терзаясь мыслью о нереализованных талантах, способностях и творческих возможностях — одним словом, были бы «вечно женственны» и всем довольны, тем более что отечественная промышленность успешно насыщает рынок

[1] В силу сложившейся исторической традиции борьба женщин за равноправие и негритянского народа за гражданские свободы идет совместно, начиная с середины прошлого века. Все выдающиеся представительницы женского движения в США были, например, аболиционистками, то есть сторонницами уничтожения рабовладения: Гарриет Бичер-Стоу, Люси Ларком, Луиза Мэй Олкотт и другие. В 60-е годы нашего столетия женщины и негры Америки, естественно считавшие себя обездоленными, соединяли усилия в период активизации борьбы за гражданское равноправие.

многообразной кухонной машинерией, облегчающей домашний труд. Таким образом, нарочито суженное понятие «женщина» вытесняло из социального сознания безгранично богатое понятие «человек».

Однако, несмотря на эти почти мистические чары «истинно» женских начал и обязанностей, рекламируемые «радости потребления», в том числе и новые посудомоечные машины, американка чувствовала, что общество ее обкрадывает. Во-первых, по той причине, что эти радости потребления были доступны далеко не всем, но также и потому, что, вопреки сторонникам и пропагандистам фрейдистско-лоуренсианских концепций о женском назначении, отнюдь не все американки считали, будто судьбой им определена только роль матери, жены и хозяйки. Синклер Льюис мог бы снова констатировать то священное беспокойство, что тревожило его Уну, Кэрол и Энн, с той разницей, что условные дочь и внучка Кэрол подвергаются еще более усиленному воздействию средств массовой информации и коммерческой беллетристики, да и не только коммерческой, так как, например, такие широко известные и серьезные писатели, как Норман Мейлер, Гор Видал и Мэри Маккарти, тоже отдали дань консервативным идеям в этом вопросе. М. Маккарти в романе «Группа» (1965) старалась показать, как преданность идее политического прогресса пагубно сказалась на судьбе почти всех ее семи героинь: преуспела лишь та, что отдалась исключительно семейному долгу. Гор Видал в романе «Майра Брэкенридж» (1968) обрушивался на образованных и умных женщин, которых образованность якобы «обесчеловечивает», и советовал мужчине не отказываться от своей «чувственной власти» над женщиной. Ему вторил Н. Мейлер в эссе «Пленник секса» (1971), утверждая примат секса над любовью, а заодно — доминирующую роль мужчины в семье и обществе.

Впрочем, в особенной защите эта роль не нуждается и поныне, так как, хотя Соединенные Штаты далеко ушли от регламентации прав женщины, которая наблюдалась двести и даже сто лет назад, полное социально-экономическое и гражданское равенство полов в стране по-прежнему отсутствует. Труд работающей женщины и сейчас ценится меньше и ниже оплачивается, чем мужской, мощная «машина убеждения и развлечения» внушает женщине, как и в 50-е годы, ложное понятие о том, в чем заключен для нее «истинный» смысл жизни. Средства массовой информации усердно поддерживают в сознании народа идею, что матери семейства не следует работать, так как это обязательно во вред семье. Создается впечатление, что в современных Штатах совсем предали забвению знаменитые слова Эбигейл Адамс, жены одного из первых президентов: только разносторонне образованная женщина может быть матерью героев и философов. Разумеется, общество отнюдь не спешит облегчить положение работающей женщины и организацией государственных детских садов. По-прежнему существует и дискриминация в сфере образования. Круг естественнонаучных дисциплин, изучаемых в женских колледжах, уже, командные высоты даже в гуманитарных институтах попрежнему считаются привилегией мужчин. Женский вопрос в Соединенных Штатах — узел острейших социальных противоречий.

Нельзя не сказать, что и сторонницы женского равноправия сплошь и рядом низводят эту важную социально-политическую идею на уровень эротической «борьбы полов», якобы исконной и неизбывной борьбы мужчины и женщины за первенство в жизни. Не случайно некоторые писатели и писательницы придают чрезмерное значение распространенной в США и вообще в западном обществе идее «агрессивной», «всемогущей» женщины, желающей «поработить мужчину», отсюда и внеисторическая, антинаучная концепция направленного против мужского господства, «маскулинизма», «бунта» жен и дочерей, причем под бунтом чаще всего разумеется бунт сексуальный или «сексуальная революция» (термин не столько «феминистский», сколько официозный), застрельщиками которой, конечно же, являются сторонницы равноправия полов. Однако миф агрессивности и всемогущества женщины, желающей «поработить» мужчину, искажает истинное положение вещей: женщине в Америке (и вообще на Западе) предстоит еще нелегкая и длительная борьба за подлинное равноправие во всех областях общественной и культурной жизни, а бесконечные и ожесточенные дискуссии о пресловутой борьбе полов и сексуальном бунте уводят общественное внимание от подлинных, действительно острых социально-политических противоречий и утверждают превалирующую роль секса в жизни мужчины и женщины над всем остальным. Пример — до предела эротизированная традиционная «любовная история», которая еще в конце XIX века была средоточием улыбчивого идеализма, пошлого морализаторства и ханжеского «благоприличия»: она давно раскрепостилась. В шестидесятые годы заметную лепту в это раскрепощение внесли романы Г. Саттона, И. Уоллеса, и прежде всего романы ныне покойной, но тогда чрезвычайно популярной Жаклин Сьюзен («Долина кукол», а также «Любовная машина»), которую услужливая реклама цинично провозгласила новой Луизой Мэй Олкотт и нарекла сторонницей женского равноправия. Однако раскованная особа в романах Сьюзен всегда мечтала о благопристойном буржуазном браке (чего и в помине не было у Олкотт), почему отрывки из «Любовной машины» печатал такой непримиримый враг «феминизма», как журнал «Ледиз хоум джорнел». Подобной рекламой достигалась двойная цель: и дискредитация демократического женского движения XIX века, и опорочивание современного женского движения за гражданские свободы. Ныне «раскрепощают» умы Б. Плейн и С. Шелдон.

Консервативные тенденции в общественной жизни США особенно усилились в период первого президентства Р. Рейгана, который ратовал перед телезрителями за «возвращение женщины на кухню» и способствовал тому, что большинство в Конгрессе США провалило 27-ю поправку к консти-

туции [1], гарантирующую полное социально-экономическое равенство полов. Правда, в январе 1983 года, в перспективе приближающихся выборов, ему пришлось выделить два министерских портфеля женщинам, чтобы привлечь на свою сторону представительниц широкого движения за равноправие. Тем не менее противодействие гражданского движения женщин рейганизму стало одной из карт в игре демократов против республиканцев на выборах 1984 года. Однако У. Мондейлу, видимо, надо было не только обещать женщине должность вице-президента в своем будущем правительстве (что очень напугало многие консервативные умы, и не только мужские), но и разработать реальную социально-экономическую программу уравнения в правах.

Из экономического неравенства по-прежнему проистекает неравенство политическое и гражданское. Женщине, правда, предоставляется роль штопальщицы общественно-политических прорех в области воспитания. Женщине твердят, что ее «миссия» — цементировать семью и передавать по наследству «традиционные американские ценности»,— но в существующих социальных условиях эта миссия и эти ценности только способствуют ее гражданскому закабалению. Это отмечают даже критики и социологи консервативного направления, один из которых красноречиво признал: «Своим трудом, способностью рожать, укреплять семью и дарить чувственную радость женщина должна поддерживать государство, которое лишает ее административной и общественной власти».

Социология, публицистика, беллетристика, реклама — как часть общегосударственной информационной службы — всячески пытаются укреплять у женщины консервативные концепции и воззрения на жизнь вообще и ее женскую роль в обществе: место, которое женщина в нем занимает,— единственное, на которое ей следует рассчитывать, оно обусловлено ее «природой». Понятию «сексуальной революции» усиленно противопоставляется идея «сексуальной контрреволюции» — тоже одно из следствий рейгановского неоконсерватизма, недаром под его флагом выступают реакционные женские организации «Право быть женщиной» и «Счастье женственности». Именно они стремятся заключить современное женское движение в узкие рамки «феминизма» как проповеди эротической свободы, уравнять в общественном сознании социально-политическое, гражданственное, антимилитаристское движение с борьбой против моральных запретов, а защиту общечеловеческих прав женщины и возможности развития всех ее способностей — объявить угрозой дому, семье и обществу.

В 80-е годы и «love story» все чаще дает крен в сторону «традиционной» морали. Последовательницы Ж. Сьюзен стали осмотрительнее, они почти целомудренны, хотя иногда очень искусно подлаживаются под тенденциозную «социальность». Вот, к примеру, роман Барбары Гордон «Пороки сердца» (1982).

Героиня — телевизионный режиссер — тридцатипятилетняя Джессика Ленарт честна, красива и одинока. Она работает в студии документальных фильмов нью-йоркской телевизионной сети. Тема ее фильмов — отрицательные черты лучшего из возможных, американского образа жизни. Роман начинается торжественной церемонией: Джессике вручают награду, ведь она хороший работник. Джессика радуется и — томится от неприятного ощущения: в женщине, которую принародно награждают за труд, есть что-то «неестественное», она словно не оправдывает главных надежд, которые возлагает на нее общество. В сфере же «естественных» отношений Джессике похвастаться нечем. Впрочем, главное для нее — работа, поэтому, когда она встречает юриста Дуга Уэбера, «красивого, хмурого, с густыми вьющимися волосами и решительной челюстью», она смотрит на него только как на будущего коллегу: вместе они стремятся узнать тайну медикамента стиралона, который вызывает деформацию конечностей и пороки сердца у еще не рожденных младенцев. Джессика и Уэбер уже мечтают, как «привлекут к ответственности фирму «Макемпбелл» и Соединенные Штаты Америки». Но фирма в лице крупного бизнесмена, бывшего молодежного деятеля 60-х годов, нажимает на рычаги управления, и демонстрация фильма откладывается на неопределенное время. Однако все кончается прекрасно. Джессике предлагают ставить другой фильм — по следам ее расследований и попыток их замолчать, а Дуг, который оказался «ее мужчиной», предлагает Джессике руку и сердце, и в День благодарения они поженятся. Теперь для нее начнется новая, естественная, настоящая жизнь — жены и матери, которая будет воспитывать детей в духе уважения «традиционных американских ценностей»

Роман Б. Гордон многослоен. На первый взгляд он может показаться честной попыткой писателя обличить социальную несправедливость перед общественным мнением. Но это — оболочка повествования. Истинный его смысл, его идеологическая посылка — в доказательстве, что механизм прессы, юриспруденции, массовой информации, а главное — всей государственной, социальной процедуры в Америке так могуществен, что тайные пороки обязательно станут явными, злодеи будут наказаны, добродетельные одержат победу, и не только моральную.

Иногда роман Б. Гордон напоминает рекламный туристский проспект: рекомендуемая страна — безусловно Соединенные Штаты, призванные, как и Джессика, «изменять мир к лучшему». Восхваление американизма искусно завуалировано внешней объективностью, прямых идеологических инвектив нет. Так, Джессика, размышляя о теме следующего разоблачительного боевика, может рассеянно подумать о «русских диссидентах», а «русский коктейль», которым потчуют на приеме, подходит, по ее мнению, только для «тупоумных».

Таково одно из решений, и весьма характерное, «женской темы» в современной Америке в свете неоконсервативной ориентации рейганизма — и «кухонной» и политической: в романе есть намерение «по-новому» прочитать историю 60-х, времени

[1] «США». № 3. 1985. с. 21—25.

мощных движений за гражданское равноправие и прекращение военной авантюры США во Вьетнаме. Автор заставляет поколение 80-х годов критически смотреть на своих предшественников, которые ставили под сомнение демократический характер буржуазных институций. «Восьмидесятники» полны благонамеренности даже в «разоблачениях» и свято верят в «традиционные устои». Роман Б. Гордон, как, например, и произведения Э. Сигела, столпа современного «мещанского» романа, не только образец массовой развлекательной беллетристики, но и сознательный идеологической tour de force в неоконсервативном вкусе.

Проблема 60-х присутствует, конечно, не только в современной литературе США. Ставит ее в романе «Средний возраст» (1981) известная английская писательница Маргарет Дрэббл.

...Как жить в Англии, которая изменилась до неузнаваемости даже по сравнению с 60-ми? И как жить женщине, которая земной путь прошла не только до половины, но чуть дальше сорокового «верстового» столба? Кейт Армстронг — блестящий журналист. Ее статьи о привилегированном медицинском обслуживании среднего класса, о том, как трудно пробиться одаренным детям из бедных семей, тепло приветствовались в 60-е. Тогда Кейт была счастлива, всегда занята, ей сопутствовал успех, особенно когда она занималась «женской темой». Однако, по мере того как в мире ширилось женское движение, Кейт стала испытывать скуку и безразличие. Что же будет, если ее талант и запал иссякнут? «Что со мной происходит?» — думает она.

Происходит переоценка собственной личности, успеха, прожитой жизни. Как жить дальше — неясно, ведь кардинально ничего нельзя изменить, но страх перед будущим не уходит.

Роман Дрэббл тоже имеет несколько смысловых слоев. Он знакомит с современной жизнью и состоянием умов в Англии 70—80-х читателей разных интересов. Сама Дрэббл, как и ее героиня, разочарована в «феминизме», ей сильно прискучила коммерческая эксплуатация темы — пресловутой борьбы полов. Кроме того, Дрэббл прекрасно знает, чего сейчас ждет от нее читательская масса, которой уже надоели и фрейдистские сочинения, и серьезная литература о женщине, и она решает «феминистскую тему» романа в соответствии с консервативными настроениями момента: Кейт Армстронг — заботливая, любящая детей, бывшего мужа, бесконечных любовников, друзей и животных — несчастна потому, что истинное ее призвание — быть вовсе не блестящей журналисткой, а матерью большого дружного семейства, верной женой и помощницей мужа, радушной и умелой хозяйкой, и если бы не «эмансипация» и не XX век!..

Экскурсы писательницы в область социального мировидения выводят роман на другой, более высокий уровень проблематики: это книга и о современной английской интеллигенции, в прошлом либеральной, теперь склоняющейся к консерватизму, разуверившейся в своей жизненной «квалификации». Покачнулась сама основа жизни среднего класса, middle class. Слово middle не случайно входит в название романа, оно многозначно: это и средний возраст одной женщины, и срединное, межеумочное положение целой социальной прослойки, которой неуютно и страшно жить. Что же делать?

Вопрос поставлен, но ответа Дрэббл не дает, если не считать своеобразным ответом будничную финальную сцену: героиня никак не может решить, какое платье надеть, чтобы выглядеть получше, помоложе? И возникает еще вопрос: почему Кейт Армстронг (читай: и Маргарет Дрэббл), которой «надоела» женская тематика, кокетничает с идеей возвращения к традиционному взгляду на женщину и ее обязанности? Почему в последнем эпизоде мы застаем героиню за «самым» женским занятием — примериванием платья? Очевидно, потому, что «вечно женское» или «женственное» может показаться некой панацеей от зыбкости и неустойчивости реалий социально-политических. «Вечная» женщина всегда будет примеривать «вечное» платье, хоть трава не расти! Но, конечно, Кейт (и Дрэббл, разумеется) слишком понаторели в «опытах» быстротекущей социальной жизни, чтобы не знать и не понимать: женское неразрывно связано с социально-историческим, решить «женскую тему» в общественном масштабе можно, только изменив кардинальным образом саму систему, но это как раз и неприемлемо.

Как ни странно, апелляция к «вечно женскому» нередко звучит и в нашей литературе, критике, публицистике. Слышна она и в статье Э. Щербаненко, напечатанной в мартовской книге «Иностранной литературы» [1]. Статья написана по-журналистски остро, броско, она интересна и посвящена важной и злободневной теме.

К сожалению, автор, на наш взгляд, тоже в известной мере тяготеет к некритическому акцентированию вневременных, «извечных», «первородных» женских начал, что придает статье оттенок метафизичности.

...«Извечное женское назначение», «извечная женственность», «истинные» женские начала, «перерождение изначальных женских свойств», «смещена извечная доминанта», «первородные женские качества» — такова терминология автора, и, право, иногда она кажется позаимствованной из антифеминистского трактата, как и воспроизведенная в статье археологическая «иллюстрация»: тела мужчин (найденные в пепле вулканических извержений), пишет автор, были обнаружены «в положении сопротивления», тела женщин — «символ обреченного приятия происходящего». И создается впечатление, что автор иллюстрирует старую аристотелевскую концепцию естественной иерархии полов. А несколько ниже Э. Щербаненко утверждает, что «нормальная женщина глядит... глазами своего мужчины», и дает рекомендацию современной женщине: «борьба, работа, быт, чувства — *все это... в рамках пола*» (курсив мой.— М. Т.).

---

[1] От редакции: тема, затронутая в статьях Э. Щербаненко и М. Тугушевой в настоящее время обсуждается в советской печати. Разные точки зрения, высказываемые в этой связи, помогают полнее представить предмет разговора.

Тут невольно вспоминается диалог почти двухсотлетней давности (1792). Герой, школьный учитель Алкуин (одноименный роман Ч. Б. Брауна) спрашивает героиню о ее политических взглядах. Следует саркастический ответ: политические убеждения, как и вся жизнь миссис Картер, регламентированы «рамками» ее пола, ведь она — «представительница всего-навсего половины американского населения, политические права которой уничтожены Конституцией... вместе с правами недавних иммигрантов, нищих и негров».

Забавная перекличка через века!

Нельзя не заметить и того, что автору статьи свойственна порой неточность и вместе с тем излишняя, как нам представляется, категоричность формулировок: «в порочном обществе наиболее порочны его женщины» (потому ли, что они — «извечный» сосуд греха?); «нюансы национальной психологии... убывают» (следует ли это понимать в том духе, что «феминизм» всюду одинаков?); «дети, как известно, зеркало взрослых» (но как тогда быть с проблемой поколений и тем же «бунтом дочерей», о котором пишет автор?); «женская тема» становится... одной из ведущих» (где именно? В США она «ведущая» уже у Ч. Б. Брауна). «Исчезла без следа с литературных страниц классическая героиня прошлого, ради детей поступающаяся личным счастьем» Хотелось бы, в интересах справедливости, напомнить, что ни Анна Каренина, ни Эмма Бовари ради детей личным счастьем не поступились, а феминистка Кейт Армстронг у Дрэббл — великолепная мать, понимающая и любящая своих детей и любимая ими. Вряд ли также в современной литературе или кинематографе можно найти столь страшный пример «перерождения в женщине изначального ее женского свойства», как, например, в «Матери уродов» Мопассана.

«Смещена извечная доминанта»,— утверждает Э Щербаненко,— не женщина для детей, а они для нее. Полно, так ли уж смещена? Повседневная жизнь скорее убеждает в обратном. А если «смещена», то не в большей степени, чем в «Монахине» Д. Дидро, где мать хладнокровно заточает незаконнорожденную дочь в монастырь, чтобы та замаливала ее грехи.

Сомнение вызывает и конечный вывод автора: «Женщина вне извечных своих первородных ценностей» — это конец, вырождение человечества (как тут не вспомнить Дж. Г. Лоуренса и его утверждение, что «синий чулок» — угроза западной цивилизации?).

Вряд ли, однако, человечеству угрожает концом оскудение на планете «материнского тепла», скорее может угрожать «ядерная зима» как следствие весьма реального, не гипотетического атомного психоза.

А утверждение «извечной» женственности, сего таинственного всеисцеляющего Грааля, свидетельствует о том, что концепция «женской мистики», или мистической женственности, очень живуча: вот и Э. Щербаненко с полной серьезностью пишет о «хитросплетениях таинственной женской души», в которых писательницы лучше разбираются, чем писатели,— очевидно, тоже в силу половой принадлежности.

Что ж, это вполне логичный вывод: если борьба, работа, быт и чувства современной женщины должны быть ограничены «рамками» ее пола, то почему же и литературу не делить на приватизированные сферы «мужского» и «женского» сознания, стиля, творческих приемов — одним словом, на «мужскую» и «женскую» прозу, как это делал Дж. Г. Льюис и что нередко свойственно современной критике?

Однако утверждение вечного противостояния полов в литературе не есть ли подмена понятия социально-политического биологическим, видовым? К чему это может привести в области суждений о литературе, в частности, свидетельствует книга «Что называлось литературой?» (1982) американского критика Лесли Фидлера, который разжаловал великий антирабовладельческий и гражданственный роман Гарриет Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома» (1852) в роман, прославляющий радости домашнего очага на том основании, что в названии романа фигурирует слово «хижина» (все-таки «дом»), а сама Гарриет Бичер-Стоу была женщиной и матерью большого семейства. Очень «убедительная» попытка утвердить в литературе устаревшую концепцию иерархии полов, ограничивающую социальные и творческие интересы женщины кругом (или — «рамками») эгоистических, внеобщественных «кухонных» интересов.

◆

Отклики, встречи, впечатления

ПАРИЖ, 9 МАЯ 1985 ГОДА...

Вступление и перевод с французского ТАМАРЫ БАЛАШОВОЙ

Дни празднования сорокалетия победы народов над фашизмом я провела в Париже. Видела первомайские колонны, двигавшиеся от площади Бастилии к площади Республики под лозунгом «Мира и работы!», слышала знаменитый Парижский народный хор, исполнявший песни французских партизан и русские песни времен Великой Отечественной войны; присутствовала на военном параде в честь Освобождения у Триумфальной арки, была свидетельницей провокационного марша сторонников неофашистской партии «Национальный фронт», требовавших изгнать из Франции «негров, коммунистов и евреев»; посмотрела беспрецедентный по своей агрессивности телефильм «Война на пороге», создатели которого призывали налогоплательщиков быть пощедрее, «проявить сознательность» и подбросить пару-другую сотен франков на оплату «американского зонтика», то есть осуществления планов милитаризации космоса — якобы перед лицом «советской угрозы».

Человеку, который решил бы составить впечатление о настроениях французов на основании телепрограмм или некоторых выпущенных на экраны фильмов, могло бы показаться, что варварское время оккупации почти забыто, к проблемам войны и мира все равнодушны и заняты исключительно дискуссиями о пресловутых «правах человека».

Однако живые беседы с парижанами — писателями, критиками, молодыми профсоюзными активистами и ветеранами антифашистской борьбы, авторитетными университетскими учеными и скромными издательскими работниками — открывали совсем другую картину, позволяли почувствовать, что же на самом деле беспокоит сегодня наших современников во Франции.

В разговорах мы самым естественным образом обращались мыслью к решающей дате — 1945 году,— к урокам прошедших десятилетий. Что дал опыт сражения с фашизмом современности? Какой след оставил в литературе этот драматический конфликт идеологии «нового порядка» с гуманизмом? Что могут сделать деятели культуры, чтобы сберечь мир на планете?

Своими размышлениями об этих тревожных проблемах делятся сегодня с читателями нашего журнала французские писатели и критики.

Иные из них — Веркор, Эмманюэль Роблес, Ален Боске — хорошо знакомы советскому читателю. Издавались их романы, печатались рассказы, стихи, статьи. Журнал «Иностранная литература» за последние годы опубликовал два романа Роблеса — «Однажды весной в Италии» (1981, № 4, 5) и «Венеция зимой» (1985, № 4). Издательство «Радуга» выпустило в прошлом году книгу избранных стихов Алена Боске.

Поэтов Жана Руссело и Ива Бруссара в Советском Союзе знают меньше. Ива Бруссара «ИЛ» представляла читателям дважды — как поэта (1984, № 12) и как главного редактора выходящего в Марселе литературного журнала «Сюд» (1981, № 2). Переводы стихов Жана Руссело вошли в антологию поэзии антифашистского Сопротивления «Я пишу твое имя, Свобода» (М., 1968) и книгу «Западноевропейская поэзия XX века» (М., 1977).

Талантливый новеллист Жан-Лу Трассар, перу которого принадлежит около десяти сборников рассказов, и Роллан Десне, влиятельный литературовед, автор работ по истории и теории литературы, на русском языке печатаются впервые.

Сопоставляя суждения наших французских коллег, легко увидеть, как несхожи порой их оценки общественной ситуации и литературного процесса, как различны сферы интересов. Но с одинаковой силой звучит на этих страницах призыв к взаимопониманию и братству между народами, к культурному сотрудничеству между ними.

ВЕРКОР

До войны я был ультрапацифистом и наверное бы им остался, если бы не возникла — со всей неотвратимостью — угроза фашизма. Тогда я понял: надо воевать. Надо дать отпор фашистской армии и самой идеологии фашизма. Сразу после Освобождения, после победы, о трагических испытаниях войны во Франции писали много — выходили воспоминания, автобиографические повести, рассказы. Потом дети партизан и тех, кто вернулся из концлагерей, словно устав от воспоминаний отцов, интересовались опытом военных лет, как мне кажется, гораздо меньше. Теперь — новый поворот: внуки тех, кто сражался с нацизмом, вновь хотят знать правду о том историческом времени. Это можно считать реакцией на аполитизм отцов, возвращением к активности дедов.

Свою роль в таком повороте сыграли события 1968 года во Франции. Лозунги студентов в ту пору были противоречивы. Мы слышали от них: «Долой войну!», «Долой разговоры о войне!», «Долой равнодушие!». Именно отказ от равнодушия и привел в конце концов к новому витку в интересе к событиям начала 40-х годов. Молодежь должна знать, что такое фашизм, чтобы никогда больше не допустить торжества фашистской идеологии.

Я верю в силу общественного мнения, верю, что оно оказывает влияние на политику правительств. Сейчас напряжение в мире достигло опасной степени. Но я все-таки смотрю в будущее оптимистически и не думаю, что война неизбежна, фатальна. Перед лицом страшнейшего оружия люди не могут не осознавать, что нападение любой страны не даст никакого иного результата, кроме всеобщего уничтожения. По-моему, это понимают даже руководители армий. Наша цивилизация обязана спасти себя.

ЭММАНЮЭЛЬ РОБЛЕС

С той поры, как на планете появился человек, не обрушивалась еще на Землю трагедия, которая могла бы сравниться с трагедией второй мировой войны. Нацизм, презирающий человеческое достоинство, демонстрирующий крайнюю агрессивность и империалистические намерения, является самым большим злом, какое когда-либо знал наш цивилизованный мир. Дым крематориев — вот символ будущего, которое нацисты готовили для неарийского человечества, определяемого ими как низшая раса, пригодная в лучшем случае для рабства.

Сам я провел военные годы — пока не был освобожден Рим — в Италии, сражался в качестве офицера авиации над Германией. Победные дни мая 1945 года застали меня в Вюртемберге, на военном аэродроме, где был расположен полк наших истребителей. Я видел лежащие в руинах немецкие города — ничего похожего на «славный» могучий рейх, обещанный Гитлером. Я видел бараки концентрационного лагеря — уже без узников, подготовленные к сожжению (из-за эпидемии тифа). Я встречал на дорогах бывших заключенных в полосатых арестантских робах, разговаривал с ними, слушал их рассказы о перенесенных муках. Я располагал, таким образом, прямыми свидетельствами гитлеровского варварства.

Некоторые удивляются, почему советские писатели так часто возвращаются к событиям второй мировой войны. Мне это кажется не только естественным, вполне оправданным, но и необходимым. Разве писатели не являются хранителями коллективной памяти народа? Даже во Франции, которая не пережила, конечно, такой трагедии, как Советский Союз, потерявший на войне двадцать миллионов, писатели тоже нередко обращаются к черному периоду национальной оккупации, к ужасам концлагерей, казней и одновременно — к героике партизанской борьбы и народного Сопротивления.

Чтобы понять современную историю, следует изучить опыт не только второй, но и первой мировой войны, которая была порождена — в условиях промышленного подъема — конкуренцией империалистических держав. С моей точки зрения, Версальский договор 1919 года готовил почву, благоприятную для разгула националистических сил в Германии и за ее пределами; в нем таился расчет на ослабление молодой Советской страны и на то, чтобы помешать другим народам завоевать себе свободу.

Сумеем ли мы защитить нашу планету от новой войны? Я регулярно участвую в писательских встречах под девизом «Мир — надежда планеты», которые проходят в Софии. Писатели осуждают гонку вооружений, производство смертоносных ракет. Затрачиваемые на военные цели средства можно было бы направить в те регионы, где еще страдают от голода, эпидемий, стихийных бедствий. Подумайте только — ведь сейчас производится столько плутония, что можно готовить по бомбе каждые полчаса...

Мы во Франции высоко ценим инициативы по проведению регулярных встреч между представителями СССР и США с целью остановить гонку вооружений и положить конец их накоплению в разных странах. Советско-американские переговоры, если они подведут к решению, которое выдвинула Москва,— постепенное замораживание атомных арсеналов как в США, так и в СССР,— могут дать реальный, очень важный шанс для спасения мира.

Освободившись от страха, владеющего сейчас сознанием всех, люди могли бы счастливо отдаться мирным делам, определяющим жизнь на нашей планете, могли бы крепить солидарность и дружбу — самое прекрасное, чем отмечен жизненный путь человека.

АЛЕН БОСКЕ

Я воспитывался в традициях безусловного уважения индивидуальной свободы. Нацизм для меня — самая нетерпимая форма тирании. Право на индивидуальную свободу заслуживало того, чтобы за него сражаться. Я был мобилизован в мае 1940 года в бельгийскую армию (я жил тогда в Бельгии, которая сохраняла нейтралитет к моменту немецкого вторжения), воевал на севере Франции, а после победы немецкого вермахта над Бельгией я — как и многие мои товарищи — попросился во французскую армию. Французское правительство, как из-

вестно, капитулировало. Так в возрасте 21 года я прошел через поражение уже дважды... В конце 1941 года мне удалось добраться до Северной Африки, а потом и до Соединенных Штатов. С августа 1942 года я был в рядах американской армии, побывал в Северной Ирландии, Англии, Нормандии. В Берлин я вступил вскоре после советских солдат — в июле 1945 года. Был офицером связи оккупационных войск четырех стран, помогал работе Комиссий, в которые входили маршалы Жуков, Соколовский, Чуйков.

Нацизм побежден, но, на мой взгляд, существует конфликт между индивидуализмом и коллективизмом: каждый мыслящий человек должен отдавать себе в этом отчет.

Во французском романе образ прошлой войны предстает, с моей точки зрения, почти всегда фрагментарно. Среди лучших произведений я назвал бы «Молчание моря» Веркора — образ так называемого «пассивного сопротивления»; «Уик-энд на берегу океана» Робера Мерля. Большинство поэтических произведений Арагона, Элюара, Пьера Эммануэля очень характерны для той эпохи. Из исторических работ наиболее удачной, превосходящей многие другие публикации по степени объективности мне кажется книга Анри Амуру «Франция при оккупации» — вышло уже шесть томов, а всего будет восемь или девять.

Вы спрашиваете меня о моем романе «Ни войны, ни мира». Это вторая часть трилогии. В первой («Ребенок, каким ты был») я рассказал о своем детстве, детстве мальчика из эмигрировавшей русской семьи, о том, как превращается он в отмеченного многими буржуазными предрассудками человека западного мира. «Ни войны, ни мира» — книга, в которой нарастает драматизм, появляются сатирические ноты. Юность готовится к неизбежной войне с нацистской Германией. В третьем томе, «Жестокие празднества» (действие книги начинается в 1940-м и завершается в 1948-м), воссоздается жизнь того же героя в годы войны, его восприятие международного конфликта как проявления хаоса. Мне чужд ложный патриотизм, но философия существования в этом романе ведет к определенным выводам. Книга не навязывает какой-либо определенной моральной позиции, но должна вызвать глубокую ненависть к войне. Я хотел говорить не о хороших и плохих, не о правых и виноватых: я оплакивал род людской, терявший временами свое достоинство

К советским писателям, пишущим о войне, я всегда относился с восхищением. Я принадлежу к тем немногим пока еще во Франции людям, которые безоговорочно признают великий реалистический талант Шолохова его психологическое мастерство. Он правдиво и убедительно повествует об ужасных последствиях войны. Я восхищаюсь также поэзией, воспевающей мужество защитников блокадного Ленинграда, люблю стихи Симонова с которым мне не раз доводилось встречаться.

ЖАН РУССЕЛО

Разгром фашизма означал для меня — не только, конечно же, для меня, а для большинства людей — конец кошмара, обещание свободной и мирной жизни.

Еще правительство Народного фронта доверило мне довольно влиятельную должность в государственном аппарате, и это — во время войны — позволило мне оказать помощь в оформлении шести тысяч подложных паспортов, благодаря которым спасались коммунисты, евреи, партизаны и те, кто уклонялся от выезда на работу в Германию. В организацию «Свободная Франция» я вошел в чине капитана и должен был выехать в Лондон, но меня направили в подполье: я налаживал связь с конспиративными организациями, действовавшими в районе Орлеана. В составе группы «Полиция за освобождение» я принял непосредственное участие в боях за Орлеан, был награжден медалью «Свободной Франции» и очень дорожу ею.

Я довольно пессимистически смотрю на нынешнее положение в мире, оно представляется мне весьма тревожным — гонка вооружений меня пугает, но я все-таки надеюсь, что соглашение о всеобщем разоружении будет достигнуто.

Как могут участвовать в приближении этой цели писатели? К сожалению, сегодня французская литература меньше интересуется опытом второй мировой войны, чем сразу после Освобождения. Наверное, это объясняется тем что новые поколения писателей не испытали ужасов войны. И все же хочу обратить внимание на весьма примечательное литературное явление — творчество молодого писателя Патрика Модиано[1]: действие абсолютно всех его романов связано с событиями войны, воспоминания о которой сохранились в его семье. Совсем иначе к теме войны обратилась в последние годы романистка Режина Дефорж, представляющая совсем другое русло современной литературы. Ее последний роман «И засмеялся дьявол» воссоздает события 1939—1945 годов, которых она по личному опыту тоже не знает. На долю этого романа выпал небывалый успех — книжные магазины продали уже 3 миллиона экземпляров.

В 50—70-е годы французская литература, послушно следуя традициям индивидуализма и формализма, много занималась самой собой, увлекалась формалистическими поисками, выдвигая немалые претензии. Это, конечно, отдаляло ее от коллективной драмы прошедшей войны. И все-таки, если вдуматься, эта драма — подспудно — присутствовала даже в творчестве писателей от нее как будто совсем далеких. Я считаю даже, что и в экспериментальных опусах, оказавшихся на грани полного разрушения языка, объективно отражается — и в синтаксисе, и в типографском рисунке страницы — физический и интеллектуальный надлом цивилизации — следствие войны и открытий, связанных с расщеплением атома.

К счастью, экспериментами литература не исчерпывается. Большинство писателей отнюдь не отворачивались от коллективной драмы — ни от опыта прошедшей войны, ни от острых политических событий современности. После фигур самых значительных — Веркора, Арагона, Мальро — я назвал бы таких писателей, как Эммануэль Роблес, Ар-

[1] Подробнее о нем см. в ст. Т. Балашовой («ИЛ», 1984, № 10). *(Прим. ред.)*

ман Лану, Робер Мерль, Робер Сабатье, Роже Бордье, Жан-Луи Кюртис, Эмиль Ажар (он же Ромен Гари), Жюльен Грак, Ален Боске, Пьер Гамарра... Как и они, я не могу уйти от нашего общего исторического опыта. Он присутствует в моих новеллах (например, «Возвращение радости» из сборника «Сцепление»), в романе «Семейный пансион» и многих других произведениях.

ИВ БРУССАР

Мне было всего три-четыре года во время последней войны, но воспоминания и о ней, и о первой мировой живут в моей семье. Моя мама не знала своего отца — он воевал на фронтах 1914 года, попал в плен, трижды бежал и в конце концов был расстрелян. Отец мой в первые месяцы второй мировой войны служил на флоте, переправлял через Ла-Манш оружие и войска Когда началась война, отец отвез меня к своим родителям в Альпы. Помню, что мы пять километров шли пешком и вокруг был снег — очень непривычный для меня. Там жил и брат отца, мой дядя. Он прятался от немцев в лесах, чтобы избежать насильственной отправки в Германию, а в сумерках приходил домой, занимался вспашкой, посадками прополкой — других мужчин ведь не было. Если немцы приближались к дому — мы видели их из окна,— дяде давали знак, и он уходил огородами обратно в лес. В 1944 году, в дни Освобождения, я был под Марселем у бабушки по материнской линии. Она снабжала партизан продуктами. Когда начались бои за этот городок, дом напротив нашего заняли партизаны, а у нас залегли прямо во дворе немцы, обстреливая тот дом Помню, как поразила меня тогда смелость бабушки. Она решила увести меня, взяла за руку и, гордо подняв голову, перешагнула через винтовку немецкого солдата.

После второй мировой войны Франция вела еще войны несправедливые — во Вьетнаме, в Алжире. В мире постоянно идут войны, пора положить им конец. Когда мы слушаем выступления Михаила Горбачева, в нас крепнет надежда, что соглашение о сокращении вооружений будет достигнуто. Французский народ не расположен к антисоветским настроениям, если же иногда это случается, то только по причине плохой информированности, недостаточного знания того, что происходит в вашей стране.

Я оптимист и не верю в вероятность новой мировой войны. Неужели люди настолько безумны, что обрекут себя на этот страшный конец?! Ведь погибнет вся планета, кто бы ни напал первым. Я верю в человеческий разум.

ЖАН-ЛУ ТРАССАР

Сколько радости принесла человечеству победа над фашизмом! Люди давали клятву: «Не бывать больше нацизму!» Вспоминая страшные годы войны, хотелось бы пожелать Земле мира на вечные времена и провозгласить: «Не бывать больше войне!» В послевоенные годы люди со страхом и болью увидели, что два образовавшихся в мире блока пришли в опасную конфронтацию. Появилось атомное оружие, химическое... Неужели нам придется констатировать, что род человеческий в абсурдном упрямстве откажется от единственного достойного выхода — установить братство на всей планете, уважать разные расы и религии, разные политические системы и культурные традиции?

Мне было всего шесть лет, когда началась война: я многое видел, но для переживаний был еще мал. Помню, мы бежали по дорогам Франции, уходя от наступающих немецких армий, потом, после капитуляции, вернулись домой. В деревне были немцы, в нашем доме расположился эсэсовский офицер.

После высадки союзников я впервые увидел американцев. Но там, где я жил, в глухой деревне, не было ни сражений, ни бомбежек. Отец мой вместе с другими односельчанами каждое воскресенье отправлял посылки с продуктами тем жителям деревни, которые томились в плену. Для меня же, ребенка, война была прежде всего возвращением к средневековью — без электричества, без журналов, без шин для велосипедов — нечто вроде тревожной ночи... Моей дочери, которой сейчас семнадцать, я часто рассказываю то, что знаю про войну, что читал или слышал о ней, знакомлю ее с героическими эпизодами Сопротивления— ведь они принадлежат к самым славным страницам истории Франции.

Я знаю, что СССР потерял во время войны двадцать миллионов, и очень хорошо понимаю, почему советские писатели так много пишут о войне. Это не может не вызывать уважения.

Для меня русская литература всегда была носительницей гуманизма. Место, какое занимают переводы русских книг в моем чтении, довольно значительно. Читать я начал сравнительно поздно: в двадцать лет прочел «Преступление и наказание». Очень полюбил Чехова — драматурга и новеллиста, Тургенева, особенно его «Записки охотника». Я всегда был неравнодушен к картинам природы, вот почему с увлечением прочел, например, переведенную с русского языка книгу А. Н. Формозова «Учебник охотника»: хотя это и не литературное произведение, но как прекрасно описаны там леса и степи России!

В «Мертвых душах» Гоголя мне тоже больше всего запомнились пейзажи — деревни, постоялые дворы, дороги, убегающие вдаль. И еще люблю Пушкина, Горького, Булгакова, Мандельштама, чарующий «Петербург» Андрея Белого и, конечно, Лескова: сейчас я как раз читаю его повесть «Овцебык», получая настоящее удовольствие.

Из авторов — наших современников — хорошо знаком с творчеством Паустовского. Высоко ценю его произведение «Во глубине России» Он так интересно пишет о преобразованиях в русской деревне, вступающей в эру механизации

Сам я крепко связан с землей и поэтому в русских книгах ищу прежде всего то, что говорит мне о русской деревне. Что я чувствую при этом? Я заворожен бескрайними просторами вашей страны; даже если в книге о них не идет речь, все равно я ощущаю присутствие этого пространства. Да и читая пьесу, где совсем нет описаний. я.

следя за диалогом, одновременно словно бы смотрю в окно, стараюсь представить себе местность, где происходит действие, дороги, хлеба в полях, ширь лугов...

Вот почему и советские кинофильмы так волнуют меня. Я страстно люблю Эйзенштейна, но не меньше, пожалуй, Марка Донского, особенно за его кинотрилогию по произведениям Горького «Детство», «В людях», «Мои университеты»... Право же, ваши кинофильмы очень близки мне. В них — удивительная, бередящая душу нежность, как и в традиционных русских песнях, что выводят мужские голоса. Нежность и любовь к России, которую нельзя не понять, если любишь свою собственную землю.

Из всех произведений, которые во Франции приходится читать и видеть, мне, как писателю, больше всего дают именно русская литература и русский кинематограф. Прочитав вашу книгу или посмотрев фильм, пришедший из вашей страны, я всегда ощущаю прилив творческих сил, они побуждают меня полнее выразить щедрость моего родного края, терпение тех, кто возделывает землю, передать красоту неба, которое над нами.

Ваше искусство помогает мне верить в мирные устремления руководителей Советской страны, руководителей и даже военных. Хорошо, если американские руководители проявят стремление к миру. Я думаю, что мирные предложения, сформулированные Михаилом Горбачевым, для всех нас сейчас добрый знак к сближению между народами, к лучшему взаимопониманию между Западом и Востоком.

Зачем нам жить в постоянном страхе перед изобретенным смертоносным оружием если наши народы могут сами избрать тот образ жизни, который им подходит, и установить братские отношения друг с другом?

РОЛЛАН ДЕСНЕ

Я полагаю, что необходимо глубоко изучать опыт второй мировой войны. Во-первых, сегодняшняя Европа — порождение тенденций, имеющих непосредственное отношение к завершившейся войне. Во-вторых, обращение к прошлому помогает лучше понять нынешнюю борьбу за национальную независимость, против расизма, которая носит демократический характер и имеет целью установить равноправие народов и мир на земле.

Вторая мировая война была страшным испытанием, она принесла разрушения, трагедии, миллионы смертей. Разобраться в причинах и следствиях этой трагедии, постигшей нашу цивилизацию, необходимо, если мы хотим предотвратить новую войну в дальнейшем и способствовать установлению прочного мира.

Конечно, параллели между второй мировой войной и антиколониальными войнами последних десятилетий проводить не стоит. В одном случае речь идет о сражении народов против фашизма, за освобождение собственной родины. В другом — и о колониальных войнах, последних в истории. В войнах, развязанных французским правительством в Индокитае и Алжире, французов вынуждали воевать против тех, кто защищал свою родину. Поэтому французы, прошедшие опыт сопротивления немецкому нацизму, были первыми среди тех, кто восставал против несправедливых войн, которые вела Франция во Вьетнаме и Алжире.

В эпоху оккупации и Сопротивления испытывались на прочность национальные, патриотические, прогрессивные традиции, испытывались те идеи, которые связаны с этими традициями. Осмысление опыта Сопротивления (да и позорного коллаборационизма) поможет нам противостоять опасной тенденции — представлять фашизм почти «домашним», банальным явлением.

Как проявляются все эти идеологические тенденции сейчас, особенно в литературе? Одно время можно было говорить о некотором равнодушии к опыту военных лет. Сейчас наблюдается скорее повышение интереса к нему. Но интерес этот носит двойственный характер. С одной стороны, интерес формируется на прочной исторической основе. Он, собственно, существовал всегда и был связан с деятельностью прогрессивных партий и движений. Можно привести в пример недавно созданный «Центр по изучению истории двух мировых войн».

С другой стороны, существует феномен моды «ретро», порожденной ностальгией старшего поколения (тех, кому сегодня 45—60 лет) по времени своего детства, своей юности. Создаются и песни и фильмы на тему войны, но они отнюдь не обязательно ведут к обретению исторического самосознания. 1939—1945 годы в сознании наших современников обретают двоякий смысл. Поскольку прошло много лет и сильно изменились социальные, экономические, культурные условия, это время принадлежит истории. Но оно по-прежнему часть жизни наших современников, неотделимо от нее, и в этом смысле война принадлежит живой памяти. Она постоянно присутствует в статьях, различных публикациях — документах, книгах, она живет в воспоминаниях индивидуумов, семей, групп.

Хочется верить, что эта память поможет человечеству избежать грядущей военной катастрофы. Перспективы сохранения мира связаны, с моей точки зрения, с двумя задачами. Во-первых, с активизацией общественных, общенародных движений (особенно молодежных) за разоружение, в первую очередь за запрещение атомного оружия, с активизацией любых инициатив, направленных на международную разрядку (культурные, спортивные встречи и т. п.). Во-вторых, перспектива сохранения мира зависит и от активности и доброй воли правительств, вступающих в переговоры. Все проблемы, которые являются или могут оказаться источником конфликта, должны выноситься на обсуждение.

Речь идет сегодня не только о том, чтобы сохранить мир, но и о том, чтобы его еще установить: по статистическим данным, после 1945 года в войнах, бушевавших в Азии, Африке, на Ближнем Востоке, погибло больше людей, чем за годы второй мировой войны. Повсюду, где возникает риск войны, необходимо сразу же садиться за стол переговоров.

◆

ЛАРИСА ВАСИЛЬЕВА

ДЖЕЙМС ОЛДРИДЖ — СЫН СВОЕГО ВЕКА

Поэта можно узнать по глазам: они смотрят распахнуто и в то же время как будто несколько в себя, обнаруживая, как мир, отраженный в глазах, прошел сквозь поэтическую душу, какой оставил след, дабы, преобразившись в слово, вновь стать достоянием человека. Прозаик — другое дело: его взгляд нетрудно спутать со взором ученого, испытателя, философа. Но есть исключения.

Вот уже много лет, встречаясь и разговаривая с Джеймсом Олдриджем, глядя в его светлые глаза, я скорее интуитивно, чем осознанно вижу в них взгляд поэта. И, поддавшись интуиции, говорю с ним, как говорила бы со стихотворцем,— порой алогично, порой излишне эмоционально. Ни разу не осталась непонятой, с удивлением осознавала, что он может думать, как поэты, он, написавший более десятка романов, пьес, множество политических статей и памфлетов, он, не выпустивший ни одного сборника стихотворений,— не знаю, писал он их когда-нибудь, скорее всего писал в юности, иначе откуда бы взяться этому взгляду? Однажды я даже попыталась перечитать его роман «Дипломат» (1949) под углом зрения поэта, ничего поэтического в романе не нашла. Хотя...

В начале 50-х годов эта книга была в нашей стране тем, что англичане и американцы называют бестселлером. Зачитанные до дыр экземпляры бережно передавались из рук в руки, о книге спорили дома и на работе, в героя и героиню влюблялись, как в живых людей. И дело тут не столько в том, что роман «Дипломат», по мнению критиков, отлично показывал, как на фоне острополитического сюжета развивается столкновение лорда Эссекса и Мак-Грегора, олицетворяющее собой столкновение идей реакции и прогресса, сколько в несомненном даровании художника, сумевшего сделать политику фактом литературы, а идеи воплотить в живых людях, вместе с которыми становишься словно реальным соучастником событий романа.

В палитре художника Олдриджа много разнообразных красок — деля мир на черное и белое, он отлично знает, какое множество оттенков вмещают в себя эти оба цвета: к примеру, разоблачение лорда Эссекса ведется тонко и медленно, характер этого «истинного» англичанина раскрывается не сразу, и читатель незаметно для себя совершает переход от явной симпатии к полному отрицанию личности, являющейся носительницей реакционной идеологии своего класса.

В связи с этим мне вспомнились слова знаменитого английского поэта, прозаика, теоретика литературы Филипа Сидни, жившего в XVI веке: «Я не геральдист, чтобы исследовать родословную людей, для меня достаточно, если я знаю их достоинства». Сидни принадлежал к высшей английской знати того времени и декларировать пренебрежение к геральдике мог в силу происхождения. Олдридж, сын своего века, не может позволить себе быть равнодушным к геральдике, однако его неравнодушие основывается на четких классовых позициях, определившихся именно в этом времени, этом веке.

ВАСИЛЬЕВА ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА

Советский поэт, прозаик, литературный критик, переводчик. Автор поэтических сборников «Льняная луна», «Огневица», «Поляна», «Русские имена», «Листва» и др., романа «Книга об Отце», сборника критических статей «Созвучия», книги художественно-документальной прозы «Альбион и тайна времени» — о жизни современной Англии, книги художественных переводов «Зеркало».

Стихи и проза Л. Васильевой переведены и изданы во многих странах.

Я была ребенком, но отлично помню, как взрослые зачитывались «Дипломатом». В послевоенную жизнь нашей страны восстающей из пепла, вошли люди другого мира, недавние союзники, уже переступившие грань «холодной войны», совсем, казалось бы, незнакомые и все-таки чем-то удивительно напоминающие тех, кого мы знали давно: герой «Дипломата» Мак-Грегор казался весьма похожим на молодого Копперфильда, а лорд Эссекс напоминал сразу нескольких отрицательных героев Фильдинга — эти сравнения напрашивались сами собой, и не они ли были явным свидетельством того, что новый писатель, однако, хранит традиции классической литературы.

Смолоду не склонная подобострастно относиться к знаменитостям, я все же довольно долго испытывала неловкость от необходимости общаться «на равных» с автором «Дипломата» — иного общения в дружбе он не признает,— говорить ему «Джимми» и даже спорить с ним, если казалось, что он не прав. Кидалась в разговор как в бурное течение — авось вынесет — и всегда выносило, ибо Олдридж — сама естественность, простота и цельность. Вот уж кого нельзя назвать противоречивым писателем — заложенное в самом характере стремление к гармонии определило постоянство его взглядов и чувств на фоне сложнейших катаклизмов века. В этом отношении он уникален среди западных писателей нашего времени.

Помню, на одном посольском приеме в Лондоне немолодая английская аристократка спросила меня:

— Кто этот красивый светловолосый джентльмен?

И, услышав имя Олдриджа, высоко подняла брови:

— Надо будет почитать его повнимательней. В Англии к нему относятся с прохладцей: слишком прямолинеен в своих красных взглядах.

Позднее я поинтересовалась ее впечатлением от прочитанных романов Олдриджа и услышала неожиданно:

— Он внутри так же красив, как внешне. Прямая традиция от Олдингтона и Хемингуэя. Только Олдридж более цельный. Теперь я понимаю, почему он не так знаменит у нас. Стоит ему хоть немного изменить убеждениям, пресса подхватит его имя и сделает миллионером.

Старый прием. Стоит изменить убеждениям...

Он родился в 1918 году в провинциальном австралийском городке Уайт-Хилсе вскоре после Октябрьской революции, происшедшей очень далеко от Уайт-Хилса, но четко разделившей мир надвое и давшей отсчет веку на семнадцать лет позже календарного. Дух нового века вошел в плоть сына провинциального газетчика и определил его мироощущение раз и навсегда. Вынужденный работать по ночам, чтобы оплачивать свое образование, Олдридж рано определился как личность. «Я прошел политическую школу, осознав общность своих интересов с интересами того класса, к которому я быстро примкнул, даже независимо от своего желания, когда в силу создавшихся в стране экономических условий семья моя оказалась в одинаковом с ним бедственном положении Переход интеллигента в ряды рабочего класса совершается в трудные времена самым быстрым и естественным образом».

Определив свое духовное геральдическое древо, человек должен жить согласно его законам, в соответствии с духом времени. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Олдридж, окончив Оксфордский университет, занятия в котором не переставал совмещать с активной журналистикой, стремится в такие места, которые мы сегодня называем горячими точками планеты. Заканчивает школу летчиков. Прилагает массу усилий, чтобы попасть в воюющую Испанию. Получает отказ в визе со ссылкой на несовершеннолетие. Преодолев возрастной рубеж, Олдридж едет военным корреспондентом в Норвегию, Ливан, Иран, Албанию. Работая в этих странах, он видит жизнь такой, какова она есть.

Ему пытаются «прищемить хвост» — после открытого протеста против клеветнической книги американца Уайта «Я был в России» увольняют из «Нью-Йорк таймс».

Греция, 1940 год. Олдридж — военный корреспондент в английских экспедиционных частях, посланных на помощь этой стране в борьбе с фашизмом. Он видит растерзанную землю, понимает всю тщетность и лукавство английской политики и не может молчать.

Судьба молодого английского летчика Джона Квейли, воюющего в Греции,— это судьба сына века, осознавшего, что́ на его веку есть правда, что́ ложь. Так появляется первый роман Олдриджа «Дело чести» (1942), в самом заглавии несущий идею автора.

Праздник Победы над фашизмом — девятое мая 1945 года — Олдридж встречает корреспондентом в Москве. С того времени он, верный своим пристрастиям и убеждениям, становится другом нашего народа.

Впервые я пришла в его дом на узкой улице Керсли лондонского района Баттерси в 1973 году, чтобы взять интервью для «Литературной газеты». Приготовила множество банальных вопросов о творчестве, о взглядах на жизнь. Но почему-то получилось так, что спрашивал он, а я отвечала на неожиданные вопросы об Алтайском крае, тюменской нефти, Пушкинских горах. Уходя, посетовала на свою неудачу. Джеймс расхохотался:

— На ваши вопросы можно было получить ответ, не встречаясь,— перелистать мои книжки, статьи, интервью. О том, над чем работаю, я мог бы сообщить вам по телефону. Зато мне сегодня повезло — вспомнил Советский Союз и даже попутешествовал в тех краях, где еще не бывал.

«Из Англии в Советский Союз я обычно еду поездом,— пишет Олдридж во вступлении к роману «Сын земли чужой»[1].— И когда после долгого путешествия по Европе поезд пересекает советскую границу под Брестом, у меня всякий раз такое чувст-

[1] Под этим названием в «ИЛ», 1968, № 3—5 были опубликованы романы Олдриджа «Плененный чужой страной» (1962) и «Большая игра» (1966). *(Прим. ред.)*

во, точно я приехал домой: ведь Советский Союз во многом стал моим вторым домом».

Олдридж не просто любит нашу землю, не просто хорошо относится к советским людям и нашему общественному строю. Для его активной борющейся натуры созерцательная, умиротворенная любовь невозможна. Рядовой англичанин, каждый день читающий «Таймс», «Гардиан», «Дейли телеграф», другие газеты,— каких только ужасов не узнаёт о нас. Олдридж считает своим долгом «объяснить англичанам истинные цели Советского Союза».

Думаю, Олдридж относится к нашей стране тоже как к горячей точке планеты — здесь для него сосредоточен счет времени для ищущего во тьме человека.

— В моих книгах,— сказал он мне в 1973 году,— главная тема всегда одна и та же — выбор. Выбор пути, выбор действия, выбор мировоззрения

В архиве писателя множество писем, и немало — из Советского Союза. Я обратила внимание на некоторые конверты: «Великобритания, Джеймсу Олдриджу». Или: «Лондон, Олдриджу».

— Такой адрес меня всегда очень трогает, волнует. Вы подумайте — в нем есть здоровая человеческая логика: страна и имя — самые точные опознавательные знаки. Конечно, это весьма осложняет работу почты, но, видя такой адрес, я невольно ощущаю уверенность моего корреспондента в том, что письмо непременно должно достичь адресата,— говорил он, перебирая конверты.

Вернувшись тогда от Олдриджа, я взяла в руки его книгу, открыла наугад и наткнулась на строки: «Последний дюйм, который разделяет всех и вся, нелегко преодолеть, если не быть мастером своего дела»

Мне встречались люди, которым творчество Олдриджа решительно не нравится. Не только в Англии, но и у нас. Ничего криминального. Вот Лев Толстой не любил Шекспира, а Ивана Бунина до полного неприятия раздражала Марина Цветаева. Как говорится, «на вкус на цвет товарищей нет». Но с Олдриджем — дело тонкое. Его неприятели (от слова приять, признать, принять, что почти и есть, впрочем, синоним слова «враг») — люди, как правило, двух категорий: открытые политические противники, в качестве сомнительного аргумента выставляющие эстетические претензии, чтобы не фокусировать внимания на главном, и обыватели, во всем мире предпочитающие чтиво чтению. Стоит ли принимать их всерьез? Стоит. Для того хотя бы, чтобы еще раз поразмыслить, что же это за художник и что это за новая у него идея, прямо противостоящая идее старой, вековой.

Формально Олдридж не новатор, он скорее писатель традиционный. Если иные его герои порой напоминают персонажей Диккенса, ситуации военных романов — сюжеты Олдингтона и Хемингуэя, а отношения между людьми, особенно в рассказах, нередко бывают «цитатами» из Джека Лондона, то сам Олдридж, на мой взгляд, командир корабля, идущего новым курсом со старыми пассажирами и прежней командой. Подтверждение этой мысли я нашла, прочитав «Последний взгляд» (см. «ИЛ», 1978, № 12) — роман-вымысел о путешествии двух реально существовавших великих писателей Фицджеральда и Хемингуэя. В нем автор скорее невольно, нежели осознанно открыл курс «корабля», столкнув позиции — буржуазную (Скотт) и бунтарскую (Хемингуэй),— он не отдал ни одной из них предпочтения. Третий герой, юноша Кит, наблюдая поединок этих гигантов, даже незрелым умом своим понимает, что полной правды нет в позиции ни одного из них.

Мир героев Олдриджа — это мир мужчин, борющихся, преодолевающих препятствия, яро спорящих, терпящих поражения и одерживающих победы. Они часто похожи друг на друга: молодые, сильные, упрямые, вырастающие страница за страницей в значительные характеры — иногда в подлинных героев времени: англичане Джон Квейль и Айвор Мак-Грегор, грек Нис Галанос, канадец Рой Мак-Нэйр. Они, бывает, заблуждаются, порой трагически (как шотландец Нэд Гордон из романа «Герои пустынных горизонтов», 1954),— но все они жаждут света, ищут света, идут к свету.

Олдридж — англичанин, родившийся в Австралии, прошедший множество дорог по планете,— на редкость «многонационален» в своих произведениях. В героях — англичанах, австралийцах, греках, американцах — писатель мастерски угадывает черты национального характера, одновременно высветляя в каждом общечеловеческое и — что для него самое важное — классовое сознание. «...Все казалось ему безнадежным, но не потому, что он не сумел воодушевить полсотни бродяг на фантастический подвиг, каким должен был явиться захват аэродрома. Причина была в самих этих людях, в чем-то глубоко вкоренившемся в их души. Вековая привычка к угнетению и нужде вытравила в них всякую надежду, и эта безнадежность передавалась Гордону, он не мог заставить себя произносить вдохновляющие речи перед этими обнищавшими духом людьми И в то же время он знал, что вина не их, а его, что он просто оказался не в силах выполнить ту вполне конкретную задачу, которая его сюда привела»

Писатель жесток к своему герою: не сумевший победить в себе себя, не отважившийся вырвать из груди корни классовых предрассудков, он для Олдриджа обречен Обречен жить по-рептильи или умереть, осознав свою беспомощность Олдридж выбирает для Гордона второй путь, ибо любит его. «Я умираю в страхе перед этим миром Мне уже не быть свободным! О гнусность! Иного выхода нет. Только один. Только один. Мне уже не быть свободным!.. Мне уже никогда не быть свободным!

Крик его осекся, перешел в стон и, постепенно затихнув, оборвался То была последняя яркая вспышка сознания; за ней, как он и предсказывал сам, наступил распад и смерть»

В стране мужчин, по Олдриджу, иначе нельзя: расплата за слабость всегда одна

Образ летящего в небе человека — из самых любимых у Олдриджа. Он встречается в его произведениях на протяжении многих лет и часто наполнен разным смыслом

Если в рассказе «Последний дюйм» мальчик, ведущий самолет, спасает отца и себя, одновременно спасая их дружбу, их будущее взаимопонимание, то в рассказе «Неотвоевавшиеся солдаты» люди несут на крыльях своих самолетов смерть, и только ее.

Давно отгремела вторая мировая война. Старые летчики — немец Мюллер и англичанин Керр — зарабатывают в кинематографе «себе на мечту». Двадцать минут испытанные асы должны вести в воздухе бой, чтобы в фильме он длился всего четыре минуты. Бывшие враги, за давностью лет примирившиеся друг с другом, оказываются один на один в чистом небе. В пылу игрушечного боя, забыв, что это игра, они сталкиваются насмерть.

«Их убило давно умершее прошлое. Они стали металлом войны, ее сущностью, ее оружием, ее пушечным мясом и в завершение — ее жертвами»,— делает Олдридж свой главный вывод.

Верный себе, писатель не любит расставаться с героями. Роман «Горы и оружие» (1974) снова ведет по жизни героя «Дипломата» Айвора Мак-Грегора. Не случайно первая публикация этого романа в журнале «Иностранная литература»[1] (почти все произведения Олдриджа начинают свою жизнь на русском языке со страниц этого журнала) была предварена словом об Олдридже Бориса Полевого. Он ведь тоже из страны мужчин, его Алексей Маресьев — прямой родственник мужественных парней Джеймса Олдриджа.

«...Я понял,— писал Полевой,— что для Олдриджа этот интерес к героическому был не данью моде, а органическим интересом к сильным характерам, к людям, умеющим грести против течения, к благородной и бескорыстной самоотверженности».

Мир сильных, ищущих и борющихся людей диктует писателю форму, образную систему, метафорические ряды. Если изучать поэтику произведений Олдриджа,— а это, по-моему, делается крайне редко,— то очевидно, что прозаик Олдридж не раз, не два, а частенько попадает в плен поэтического мироощущения, великолепно используя в прозе приемы поэзии. Особенно видно это в его романе «Правдивая история Лилли Стьюбек», который публикуется в этом номере.

Я бы осмелилась назвать этот роман поэмой в прозе, так много в нем чисто поэтических построений. Лилли, этакая австралийская Мариула,— сам порок и сама добродетель, исчадие ада и ангел во плоти. Тонко и точно, как истинный мастер слова, писатель рассказывает нехитрую историю полунищей, «полуцыганской» девочки, взятой на воспитание богатой леди. Два мироощущения — свободный дух и дух плененный — начинают яростную борьбу с первой минуты сосуществования.

Здесь Олдридж вроде бы изменяет своему привычному миру мужчин, проникая в женскую психологию, но это всего лишь «вроде бы», на первый, поверхностный взгляд. Здесь тот же круг сильных натур — писателю нечего делать со слабыми, его перо равнодушно к ним. И чем сильнее благополучная, добродетельная власть пожилой леди, чем безжалостнее стремится она поработить полуголодного ребенка, чем откровеннее действует закон купли-продажи, тем сильнее, ожесточеннее протест плененной души.

Злая сила не понимает, почему так сопротивляется благополучию это юное существо, она использует все, даже болезнь Лилли, чтобы целиком подчинить ее себе. И кажется, достигает результата. В душе повзрослевшей девочки происходит сложная борьба — сталкиваются ненависть к зависимости и благодарность, жажда свободы и чувство долга. Это война не на жизнь, а на смерть. Лилли слабеет в борьбе — и тогда оживает ее покровительница, хотя она тяжко больна. Но девушка находит в себе силы устоять — и тогда начинает угасать ее противница, которая, впрочем, даже после смерти не ослабляет пут, завещая Лилли все свое большое состояние при условии, что та останется полновластной хозяйкой в ее доме, ставшем тюрьмой для вольного духа Лилли.

Жители маленького городка, подобно греческому хору, наблюдают завершение поединка. На их глазах происходит необъяснимое: Лилли вместе с нищими братом и возлюбленным покидает богатый дом. За его порогом она тоже вновь становится нищей, но свободной.

Это все тот же Олдридж, однако несколько более поэт, чем прежде. Роман «Правдивая история Лилли Стьюбек» — гимн свободе и свету в человеческой душе. Написан он без обычного для Олдриджа обилия диалогов, в повествовательно-лирической манере. Перевернув последнюю страницу его, я вспомнила строки Бориса Пастернака:

> Нельзя не впасть в конце, как в ересь,
> В неслыханную простоту.

В сравнении со всеми предшествующими романами Олдриджа поэма о Лилли в самом деле написана просто, мудро, я бы сказала, задумчиво. В зрелости немолодой художник как бы подвел итог развитию сильных характеров, проследив их зарождение от истока. Но почему на сей раз женщина? Писателю наскучили герои из страны мужчин? Или само время подсказало явление героини? Наверное, даже если бы сам Олдридж смог логично объяснить это, я до конца не захотела бы поверить ему, ибо ясность замысла не всегда необходима читателю,— о чем тогда размышлять и догадываться? Думаю, он и не стал бы объяснять.

Какую же я написала нелепость, приведя строки Пастернака! О каком конце может идти речь в разговоре об Олдридже, которому не так давно исполнилось шестьдесят пять — возраст для прозаика почти молодой.

И все-таки мне кажется, «Правдивая история Лилли Стьюбек» знаменует некий итог работы писателя в жанре романа. Это своего рода загадочная точка на законченной странице, которая непременно будет перевернута.

[1] «ИЛ», 1975, № 1—3.

Лилли Стьюбек — воспоминание о детстве. Когда обращаются к воспоминаниям, а не продолжают следовать по горячим следам времени, что всегда было свойственно Олдриджу, не означает ли это усталости от повседневных, животрепещущих тем?

Может быть, и означает, но ведь жизнь есть жизнь, ее законы неопровержимы. Вот только в зрелости своей и «усталости» Олдридж по-прежнему удивительно молод. Рисуя затхлый мирок провинциального австралийского городка, он «взрывоопасен» не менее, чем в знаменитых своих памфлетах и статьях на острые политические темы.

Мы виделись несколько месяцев назад. Он, как всегда, в движении, в делах: пишет статьи, ездит из страны в страну, борется, побеждает. Он — человек без возраста: шестьдесят пять ему не дашь, а тридцать, по логике, быть не может.

Глядя на него вспоминаешь слова Н. Бурденко: «Тот, кто работает, всегда молод. Иногда мне кажется, что, может быть, труд вырабатывает какие-нибудь особые гормоны, повышающие жизненный импульс».

Вот я, кажется, и разгадала тайну молодости Джеймса Олдриджа.

«Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан».

Поэтом в общепринятом значении этого слова он не стал. Зато как гражданин известен всему миру, почитаем одними, ненавидим другими.

Буржуазный снобизм, столь часто проявляемый в отношении Олдриджа-писателя, не может им восприниматься иначе как комплимент: значит, задевает за живое, значит, цель достигнута. А Время — оно разберется.

Статьи и эссе Джеймса Олдриджа — тоже произведения человека из страны мужчин, может быть, самого последовательного, самого непримиримого в убеждениях, в правоте дела, которому служит.

Его роль в борьбе за мир широко известна, он лауреат международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами».

Его речи на международных встречах, симпозиумах и фестивалях всегда разнообразны, но всегда постоянны его убеждения.

Он — истинный сын XX века.

Назвать знаменитого писателя сыном века — значит сказать о нем все и не сказать ничего. Все мы — дети века, в котором нам суждено было родиться, все мы несем в себе главные его черты. И по ним, именно по ним будут узнавать потомки писателей — наших современников, как узнаем мы Гомера, Шекспира, Льва Толстого не только по деталям и характерам, но и по той неуловимой атмосфере, которая пронизывает их книги, оставленные нам на радость и в назиданье.

Джеймс Олдридж каждый день, каждую минуту, что бы он ни делал, где бы ни выступал с призывом к миру, остро реагирует на свой день, свое время. Возьмите любую его книгу — пропитанность духом времени почувствуется с первых страниц и не покинет вас до конца.

Если Земле суждено обращаться вокруг Солнца и впредь, то, как бы ни менялись времена, для меня несомненно — потомки не обойдут своим вниманием писателя удивительного постоянства взглядов, с завидной отвагой несущего свою правду.

Но почему на этих страницах я все стремилась убедить читателя в том, что творчество Олдриджа содержит в себе большой поэтический потенциал? Интуитивно чувствую: в сказанном им до сегодняшнего дня исчерпаны некоторые типы человеческих характеров и приметы времени, зато запас поэтического мироощущения не исчерпан — именно в нем мне видится залог творческой молодости зрелого писателя и тех неожиданных художественных открытий, которые он может дать миру.

◆

К 80-летию МУЛКА РАДЖА АНАНДА

Е. ЧЕЛЫШЕВ

«МНЕ БЛИЖЕ ВСЕГО ГОРЬКОВСКИЙ ГУМАНИЗМ...»

Как-то, отвечая на вопросы, связанные с его биографией, Мулк Радж Ананд сказал мне, что он родился в год первой русской революции. Его поколение вынесло на своих плечах всю тяжесть антиколониальной борьбы в Индии, оно закалялось и мужало в этой борьбе. С четырнадцати лет включился будущий писатель в движение за независимость. Как и многих его соотечественников, Ананда вдохновляли идеи Великой Октябрьской социалистической революции. Об огромном их значении для Индии, для судеб всего мира он говорил в 1948 году во время визита в нашу страну. Великий Октябрь, по его словам, означает «...дату рождения нового человека — человека раскрепощенного, свободного от эксплуатации, человека, которому дано полностью проявить свои творческие возможности».

Когда угроза фашизма и войны нависла над Европой, М. Р. Ананд решительно занял антифашистскую позицию.

В 1935 году он принимает участие в Международном конгрессе писателей в защиту культуры, собравшемся в Париже, где впервые встречается с советскими писателями: М. Кольцовым, И. Эренбургом, Б. Пастернаком, А. Толстым, Г. Табидзе, Н. Тихоновым, М. Шолоховым, И. Бабелем. А год спустя отправляется в составе Интернациональной бригады в сражающуюся Испанию в качестве военного корреспондента. Но еще до того, в начале 30-х годов он побывал в Советском Союзе туристом, и эта первая встреча с нашей страной произвела на него, по его собственному признанию, огромное впечатление. В своем творчестве М. Р. Ананд всегда опирается на лучшие традиции народной культуры, труды выдающихся индийских мыслителей-гуманистов — Свами Вивекананде, Ауробиндо Гхошу, М. К. Ганди, на творческое наследие своих великих предшественников и учителей — Рабиндраната Тагора, Мухаммада Икбала, Премчанда. В годы студенчества в Англии М. Р. Ананд глубоко изучал лучшие достижения гуманистической духовной культуры Запада, познакомился с марксистской литературой.

В становлении М. Р. Ананда как писателя немаловажную роль сыграли русская классика и советская литература. Он писал: «Не говоря уже о Пушкине, Гоголе, Толстом, Достоевском, Чехове, Горьком, индийская литература неизменно черпает вдохновение у Маяковского, Есенина, Тихонова, Шолохова и других советских писателей. Искры ее жаркого пламени постоянно воспламеняют нас».

Слившись воедино, эти животворные источники определили творческий почерк и самого Ананда — писателя-гуманиста. С первых шагов в литературе он пишет о простых людях Индии, об их нелегкой жизни и борьбе за лучшее будущее.

М. Р. Ананд — один из создателей Ассоциации прогрессивных писателей Индии, первой в стране организации литераторов, выступающих против колониального гнета и социальной несправедливости. В 1986 году Ассоциации исполняется полвека.

Движение прогрессивных писателей способствовало укреплению интернациональ-

ного начала в индийской словесности, установлению ее контактов с мировой прогрессивной литературой, в том числе с советской. У истоков советско-индийских литературных связей стоит и М. Р. Ананд, у которого много друзей в нашей стране.

Вспоминая историю создания своей первой книги — романа «Неприкасаемый» (1935), М. Р. Ананд рассказывал: «Может быть, не так скоро обрел бы право на существование мой роман «Неприкасаемый», описывающий всю грязь тогдашней нашей жизни... если бы не был уже опубликован к тому времени в Индии рассказ Горького «Двадцать шесть и одна». После Бальзака и Толстого никто в мировой литературе не посвятил себя борьбе за человека с такой же страстью, как Горький».

Роман «Неприкасаемый» был замечен в Советском Союзе: отрывок из него в русском переводе опубликовал журнал «За рубежом» (1935, № 23). А в 1941 году с предисловием известного ученого И. Рейснера вышел на русском языке роман Ананда «Кули» (1935).

В годы второй мировой войны, как и многие прогрессивные писатели, М. Р. Ананд включается в широко развернувшееся движение солидарности с героической борьбой советского народа против гитлеровской агрессии. «Наши взоры обращены к вашей стране. Каждый день мы читаем великую историю, которую вы пишете своей кровью. Мы уверены в вашей победе над фашизмом. На этом зиждется и наша надежда на будущее всех угнетенных народов мира»,— писал он в журнале «Интернациональная литература» в сентябре 1941 года.

С первых шагов Индии по пути независимого развития М. Р. Ананд становится соратником и помощником Джавахарлала Неру в его работе по культурной интеграции страны — работе, являвшейся необходимым условием консолидации многонационального индийского государства. М. Р. Ананда можно считать одним из зачинателей индийской литературы социалистической ориентации, ставшей действенным средством распространения в стране демократических идей. Это направление возникло в литературах Индии в 20—30-е годы и связано с подъемом гражданских, патриотических чувств, с ростом национального и классового самосознания народных масс. В русле его выступали не только художники — сторонники социалистической идеологии и марксистского мировоззрения, но и широкие революционно-демократические круги интеллигенции — те, кого привлекали идеи национального освобождения, антиимпериалистической борьбы и прогрессивных социальных преобразований.

Чутко прислушиваясь к веяниям времени, наблюдая перемены в жизни народа и стремясь осмыслить их в своем творчестве, М. Р. Ананд, как и другие прогрессивные индийские писатели, ищет нового героя, который выражал бы передовые идеалы эпохи.

В ранних его произведениях в центре внимания — люди труда: рабочие с плантаций, рикши, неприкасаемые — те, кто находился на самых низких иерархических ступенях традиционного индийского общества. Писатель увидел человеческое достоинство, которое они сумели сохранить, несмотря на униженность своего положения, почувствовал их жажду новой жизни. По словам известного индийского критика К. Р. Сриниваса Айянгара, он «вторгался в литературную сферу, до тех пор игнорировавшуюся индийскими писателями». Человек — беззащитная жертва социальной несправедливости, вызывающая лишь сострадание, в произведениях М. Р. Ананда уступил место человеку, не желающему мириться со своим рабским положением, произволом и насилием, человеку, поднимающемуся на борьбу за свои права.

Как литератору, М. Р. Ананду удалось в значительной мере избежать «болезней» становления, которые не миновали иных его собратьев по перу: вульгарного социологизаторства, нанесшего известный ущерб движению прогрессивных писателей, с одной стороны, и чрезмерного увлечения модернистскими веяниями — с другой.

Как-то в разговоре (помню, это было в Хельсинки на Международном конгрессе в защиту мира в 1965 году) М. Р. Ананд высказал суждение о близости своих героев горьковским и о том, что величие Горького, с его точки зрения, определяется прежде всего тем, что в людях, отверженных обществом, он сумел распознать истинное человеческое достоинство. «Мне ближе всего горьковский гуманизм»,— сказал он тогда.

Уже в тех первых книгах М. Р. Ананда появляются и образы вожаков трудящихся масс, стремящихся и способных организовать стихийное рабочее и крестьянское движение. В романе «Кули» таким предстает рабочий Ратан, опытный профсоюзный деятель, помогающий многим персонажам найти свое место в рядах сознательных борцов за освобождение трудящихся. Герой другого его романа, «Большое сердце» (1945), Ананта, также рабочий, обладающий большим опытом политической борьбы. Вся жизнь его служит вдохновляющим примером для братьев по классу, о которых он говорит: «Нужно вдохнуть в них силы, нужно, чтобы они из жалких, беспомощных, запуганных созданий превратились в мужественных борцов». Саршар из романа «Меч и серп» (1942) — революционер, оценивающий события с марксистских позиций. Он осуждает непротивленческие настроения среди участников национально-освободительного движения, доказывает несостоятельность и тактики террора, распространившейся в то время в Индии. С симпатией и сочувствием изображая тех, кто отвержен эксплуататорским обществом, писатель противопоставляет им мир господ. Широко используя арсенал сатирических художественных средств, он беспощадно разоблачает их хищническую идеологию, причем обличает не только открытых врагов демократии и прогресса, но и всех тех, кто якобы защищает интересы простых людей с отвлеченно гуманистических позиций. В романе «Большое сердце» это националист Ханс Раджа, демагог-политикан Меджида, провокатор Сатьяпал. В «Личной жизни индийского раджи» (1953) выведен отвратительный образ магараджи Ашока Кумара, торгующего интересами соотечественников, предлагающего американцам территорию своего княжества для использования ее в военных целях.

В конце 50-х годов творчество М. Р. Ананда приобретает новую идейно-эстетическую направленность. Он стремится художественно осмыслить судьбы индийской интеллигенции в стране, уже добившейся национальной независимости.

Более четверти века работает М. Р. Ананд над грандиозным по замыслу литературным трудом — семитомной беллетризованной автобиографией, которую он назвал «Семь возрастов человека». По замыслу автора, она должна стать эпическим повествованием о судьбах его поколения, «главной книгой», целью и содержанием всей его жизни. «Во всех семи томах романа мне важно показать осознание человеком своего развития,— писал М. Р. Ананд,— ибо без этого ему не выйти из тисков индивидуализма и не научиться душевной чуткости, чтобы любить и сострадать, чтобы жить достойной жизнью и полностью реализовать себя.. Я задумал это эпическое повествование ради того, чтобы мраку философии пессимизма противопоставить творческий дух великих мировых революций»[1]. Опубликованы первые четыре тома: «Семь лет» (1959), «Лик рассвета» (1966), «Признание влюбленного» (1976) и «Пузырь» (1984). С двумя первыми романами анандовской «семирицы» советские читатели знакомы в русских переводах.

Героем — двойником писателя — в романе является Кришан Чандар Азад. Поиски им ответов на вопросы, поставленные историей перед молодым поколением Индии,— о долге перед родиной о взаимоотношениях человека и общества, о роли Индии в современной общественно-политической жизни, о выборе насильственных или ненасильственных методов в борьбе за независимость — составляют стержень романов Отдельные части произведения воспринимаются как исповедь автора о личных. порой интимных переживаниях.

Перу М. Р. Ананда принадлежит 60 книг, из них 26 художественных произведений — романы, повести, сборники рассказов, публицистические произведения. Он также автор многих работ по истории, искусству, философии, литературоведению, эстетике. В течение многих лет он издает в Бомбее искусствоведческий журнал «Путь» («Марг»), играющий важную роль в изучении и популяризации индийского искусства, в культурной интеграции Индии.

Общеизвестна активная общественная деятельность М. Р. Ананда как борца за мир, за дружбу между народами. В 1953 году он стал одним из первых в Индии лауреатов Международной премии Мира.

«Нужно исходить из того,— писал М. Р. Ананд в ответе на анкету «Иностранной литературы» «Ответственность таланта»,— что разумный мир на планете лучше, чем война, ненависть, жестокость, варварство,— все то, что стоит на пути формирования гармоничного человека... Я много размышляю над такими вещами, как политическая свобода — в противовес чужеземному владычеству и войне. Я пытаюсь показать, что одна из причин тревожности нашего времени коренится в ненасытности «общества изобилия», в его ненависти к бедным странам и стремлении насильственно распорядиться их судьбами. И когда жертвы такого общества страдают от страха, зависти, ненависти друг к другу, за всем этим, по-моему, кроется все та же причина причин — жажда власти, типичная для агрессоров, торговцев смертью и их приспешников»[1].

Творчество М. Р. Ананда пользуется популярностью и в нашей стране. 23 его романа изданы у нас тиражом в 1,5 миллиона экземпляров на 8 языках народов Советского Союза Множество рассказов опубликовано в сборниках и периодической печати.

В свои восемьдесят лет Мулк Радж Ананд не стареет душой, сохраняет бодрость духа, энергию жизнелюбие, интерес ко всему новому поистине неиссякаемый юмор. Главное же. что он полон творческих замыслов, не утратил работоспособности и стремления воплотить задуманное в жизнь

[1] «ИЛ», 1982, № 5, с. 179—180.

[1] Там же, с. 180.

◆

СУБЪЕКТИВНАЯ ХРОНОЛОГИЯ ЮДОРЫ УЭЛТИ

ИОАКИМ БЭР

Голос памяти

В связи с 75-летием (13 апреля 1984 года) Юдоры Уэлти — крупной американской писательницы и уж наверняка самой значительной из ныне здравствующих писателей американского Юга, Гарвардский университет обратился к мисс Уэлти с просьбой прочитать цикл из трех лекций в рамках постоянной программы «История американской цивилизации». Лекции состоялись в апреле 1983 года и опубликованы издательством Гарвардского университета под названием «Истоки одной писательской жизни». Фрагмент этой новой работы Юдоры Уэлти был напечатан в «Нью-Йорк таймс бук ревью» под заголовком «Вслушиваясь во тьму»; и как только он появился, рецензенты стали писать о нем под броскими заголовками вроде «Юдора Уэлти: воспоминания свежие, как цветы магнолии» («Крисчиен сайенс монитор») или «Опираясь на жизнь: грандиозное искусство Юдоры Уэлти» («Лос-Анджелес таймс»). А весной 1984 года издательство университета в Джексоне, Миссисипи, опубликовало под редакцией Пегги У. Преншоу книгу «Беседы с Юдорой Уэлти» — сборник интервью и воспоминаний о личных встречах с писательницей за последние сорок лет (1942—1982).

Столь большое внимание свидетельствует о том, что у мисс Уэлти есть в Америке почитатели и на склоне лет она пользуется репутацией, какой мало кто из живущих американских писателей может похвастать.

«Истоки одной писательской жизни», без сомнения, одна из самых интересных книг, появившихся на американской литературной сцене в 1984 году. С особым, свойственным только ей юмором Юдора Уэлти дает читателю возможность проникнуть в свою жизнь и проследить ее начиная с ранних дней детства вплоть до периода зрелости, когда она стала признанной и популярной писательницей. Она оглядывает прожитые годы с точки зрения художника, разделяя весь материал на три части: «Вслушиваюсь», «Учусь видеть» и «Ищу свой голос».

«Вслушиваюсь» идет первой и начинается с утренней перепалки между ее отцом наверху, в ванной, и матерью внизу, в кухне, со звуков старого фонографа-виктролы, ответов матери своим телефонным собеседникам («Я настаиваю», «Не может быть», «Конечно нет») и голоса старой черной портнихи Фанни, которая, примеряя платье кому-нибудь из детей, сообщает последние сплетни. Мать Юдоры прерывает ее: «Фанни, мне не хотелось бы, чтобы Юдора это слышала». А я страстно желала услышать именно «это», о чем бы ни шла речь. «Я не хочу, чтобы она подхватила сплетню», будто сплетня — это корь и я могла ею заразиться. Кое-какие я подхватывала, конечно, но мало».

Детское ухо, однако, восприимчиво не только к сплетням. Мать читала ей вслух, и это чтение из уст женщины, чьим любимым автором был Чарльз Диккенс, позднее настроило ухо девочки на слово, литературное слово: «С тех пор как мне начали читать, и потом, когда я стала читать сама, не было ни одной строчки, которую бы я не *слышала*. По мере того как глаза мои прослеживали фразу, какой-то голос тихо произносил ее для меня. Это не был голос моей матери или вообще какой-то конкретный голос, тем более не мой собственный. Это человеческий голос, но внутренний, и слышу я его тоже как бы внутри себя. Для меня это голос самого рассказа или стихотворения».

Такая способность *слышать* голос рассказчика и голоса персонажей литературного произведения — особый талант и источник утонченного литературного восприя-

тия. Ученые-литературоведы называют его «филологией уха». Порой мы можем оценить красоту текста лишь тогда, когда нам его читает либо сам автор (так читал свои стихи Роберт Фрост), либо выдающийся актер (чтение Шекспира Дж. Гилгудом или Толстого В. Качаловым). Однако незаурядный, одаренный неповторимым талантом читатель *слышит* голоса с печатного листа, без посредников: как музыкант, который слышит музыку, написанную на нотной бумаге, внутренним слухом, не прибегая к помощи музыкального инструмента. Юдора Уэлти уже в юности была именно такой читательницей, а впоследствии стала писательницей, чей стиль отмечен своеобразием звукового строя. Это своеобразие, щедро проявившееся в романе «Проигранные сражения» (1970), к сожалению, не всегда можно воспроизвести при переводе. Точно найденное соотношение между звучанием и словесной тканью речи персонажей порой рождает в ее произведениях юмористический эффект. Зачастую это смесь гипербол, аллитераций и неожиданных сравнений.

Звуки и слова, переполнявшие воображение Юдоры Уэлти еще в юном возрасте, стали тем семенем, из которого проросли ее будущие рассказы. Она сама обращает на это внимание: «Задолго до того как начать писать рассказы, я вслушивалась в рассказы. *Вслушиваться* — умение более редкое, чем *слушать*. Я думаю, это начальная форма участия в описываемых событиях. Дети, умеющие слушать, верят, что то, о чем говорится в рассказе, *действительно происходит*». В этой работе, как и в предыдущих, именно звуковые и словесные ассоциации приводят в действие механизм ее памяти. Она вспоминает, например, как одна из школьных подруг употребила дважды сослагательное наклонение (диалектная грамматическая форма, распространенная на Юге) «я б могла провела бы», отвечая на ее вопрос: «Можешь провести со мной день?», и как кто-то из учителей нечаянно услышал эту грамматически недопустимую фразу: «Если я еще хоть раз услышу, что ты говоришь «я б могла провела бы», будешь оставаться без обеда целую неделю! Надеюсь, вам обеим достаточно стыдно?»

Юдора Уэлти показывает, как с раннего детства глаз и ухо ее были настроены на комическое. Она говорит об этом, вспоминая своих младших братьев, Эдварда и Уолтера («Проигранные сражения» посвящены их памяти), и обобщает воспоминания о них, отмечая: «Нас всех объединяло одинаковое чувство юмора». Злость, напротив, по ее собственным словам, «эмоция, наименее присущая какому бы то ни было из моих произведений. Я никогда не пишу из злости».

Но «Вслушиваюсь» — лишь одна из заповедей искусства Юдоры Уэлти. В этой главе есть очень точное наблюдение, которое разъясняется в следующей, «Учусь видеть»: «Мое природное чутье — драматургическое чутье — должно было в конце концов вывести на верный для рассказчика путь: *любой эпизод* был для меня полон намеков, подсказок, предположений и обещания находок и нового знания о человеке. Я вынуждена была, взрослея, учиться вслушиваться в то, что не сказано, так же как и в то, что сказано,— и чтобы знать правду, я должна была распознавать фальшь».

Эта мысль очень важна, особенно если соотнести ее с замечанием, процитированным выше («Я никогда не пишу из злости»). Всю жизнь Юдора Уэлти живет в Миссисипи, одном из штатов глубоко на Юге, приблизительно половину населения которого составляют черные и где доход на душу населения самый низкий в стране. Процесс ее взросления включал не только частые визиты с родителями к дедушкам и бабушкам в Западную Виргинию (на родину матери) и в Огайо (на родину отца)— их она подробно и с любовью описывает в главе «Учусь видеть»,— он подразумевал также постижение собственного окружения. Когда в 1930 году она возвратилась в Джексон, завершив образование в аспирантуре коммерческого факультета Колумбийского университета (Нью-Йорк), началась Великая депрессия (продолжавшаяся вплоть до второй мировой войны). Свою первую должность Юдора получила в возрасте двадцати двух лет в управлении развития общественных работ — федеральном органе, учрежденном президентом Рузвельтом. В третьей главе автобиографического рассказа («Ищу свой голос») она так описывает эту работу: «Путешествуя по всему Миссисипи, сочиняя статьи для провинциальных газет, фотографируя, я увидела свой штат вблизи практически впервые».

Об этом периоде своего профессионального становления (не как фотографа, конечно, а как писателя, который учится вслушиваться в «невысказанное слово») она написала несколько лет назад в книге «Однажды, в одном месте. Миссисипи в годы депрессии. Альбом моментальных фотографий» (1971). Это отличное собрание снимков в четырех частях («Будни», «Суббота», «Воскресенье», «Портреты»), представляющее людей (преимущественно чернокожих) и картины из жизни больших и малых городов Миссисипи. В предисловии к книге Юдора пишет: «Не испытывала ли я, как белый человек, чувства стыда за ту правду, которая могла проступать сквозь мои фотографии из жизни негров? Нет, я была слишком поглощена стремлением поставить себя на их место, чтобы делать обобщения. Своими снимками я столь же мало хотела обвинять кого бы то ни было, доказывать что-либо или опровергать, сколь не стремилась причинить вред людям, на них запечатленным, и не ждала никакой неприятности для себя с их стороны».

Хоть сама Юдора Уэлти говорит, что в ту пору лишь «училась смотреть», некоторые фотографии свидетельствуют об уже обретенной ею обостренной способности видеть. Привлекая внимание к лицам людей (черных и белых) и их делам, к их работе и отдыху, эти картинки недавнего прошлого Америки дают возможность разглядеть не фасад, а человеческую жизнь изнутри во всем многообразии ее проявлений. Ее любимая фотография — помещенный на титульном листе портрет чернокожей женщины, о которой Юдора говорит: «Глядя на героическое лицо, подобное лицу женщины в глухом свитере — этот снимок,

думаю, по праву открывает книгу,— я и сейчас, так же как тогда, когда увидела его впервые, думаю не о депрессии, не о чернокожих, не о Юге и даже не о вечной мировой скорби, я думаю о том, что вся история жизни этой негритянки запечатлена в ее лице».

Так Юдора, молодая тогда девушка, «училась видеть» — видеть не глазами, а сердцем. Она училась вслушиваться «в то, что не сказано, так же как и в то, что сказано».

Путешествия по Миссисипи в качестве фотокорреспондента способствовали совершенствованию дара, которому посвящена глава «Учусь видеть». Здесь Юдора Уэлти прослеживает сложный процесс: как в память ее врезáлось все то, что видел глаз. И подробности самой жизни постепенно превращались в искусство. Все эти подробности следовало запомнить, чтобы из бесконечного множества их («всегда было что видеть, что обонять, куда карабкаться») выбрать нужные. Без отбора был бы хаос, но найти «свой голос» (третья часть автобиографических заметок, напомню, называется «Ищу свой голос») — значит помимо всего научиться соразмерять то, что видишь, со словами, которыми описываешь то, что видишь. Разумным выбором художественных средств дышит каждая страница ее автобиографии. Повествование разворачивается, воссоздавая звуки, запахи, атмосферу,— это снимок, сделанный не через объектив фотоаппарата, а при помощи более богатых и разнообразных возможностей языка.

Юдора Уэлти нашла свой голос как бы невзначай, упражняясь в искусстве слова. Она нашла его, по ее собственным словам, когда осознала: «...это я сама прохожу перед своим мысленным взором, и ...это мое собственное эгоцентричное детство закончилось... Я обнаружила внешний мир, открывшийся, когда память прикоснулась к тому, что я видела, любовь же соединилась с тем, что открылось. .» Память — могущественный инструмент творческого процесса. «Истоки одной писательской жизни» вызваны к жизни исключительно силою памяти, но стремление найти «собственный голос» включает и другие элементы. Например, писательница обращается к одному из персонажей своего сборника «Золотые яблоки» (1947), учительнице музыки мисс Экхарт: «Чем дольше я вглядывалась в этот страстный и странный характер в поисках прототипа, тем больше осознавала, что мисс Экхарт произошла от меня самой... В нее я вложила главную страсть собственной жизни, страсть к искусству».

Писательница имеет в виду, что ее искусство, писательство как профессия, неотделимо от ее личности. Профессия рассказчика оказалась для нее органичной и с годами делалась органичной все более и более: «...становясь старше, я училась доверять себе. Я научилась думать, что делаю все, на что способна. Теперь мне ясно: возьмись я переделывать написанное — только бы все разрушила Что я пытаюсь делать, так это находить контакт между воображением писателя и воображением читателя. Я не пишу специально для кого-то... Я пишу ради самого рассказа. Рассказ — это все». (Преншоу. «Беседы с Юдорой Уэлти».)

Процесс поисков «своего голоса» оказался, однако, нелегким. Тренировка слуха и зрения была необходима как предварительное условие. Позднее пришел жизненный опыт и то, что она называет «открытием *последовательности* в опыте, исследованием причин и результатов событий собственной жизни». Ее частые разъезды в тридцатых— сороковых годах между Джексоном (Миссисипи) и Нью-Йорком, где она посещала своих вероятных издателей, были ступенькой на пути к обретению этого опыта («Путешествие само по себе — часть более долгой непрерывности»). Она с любовью описывает подробности своих путешествий: нарисованный от руки плакат под дуговой лампой («Где ВЫ собираетесь провести вечность?» — тот же плакат упоминается в «Проигранных сражениях»), интерьеры вокзалов, негритянку — дежурную по станции с кофейником в руке в белой, украшенной оборками шляпке, и звук ее низкого голоса, когда она выкрикивала названия станций, где должен был останавливаться ее направляющийся на север поезд («Каждое название произносилось неторопливо, как произносятся слова в церкви»). «Бирмингем... Чаттануга... Бристоль... Линчберг... Вашингтон... Балтимор... Филадельфия... и Нью-Йорк».

Найти «свой голос» — означало обобщить опыт и художественно претворить его. Да, суть художественного видения Юдоры Уэлти требует иного определения. Она очень коротко касается этого вопроса и потом иллюстрирует его цитатой из романа «Дочь оптимиста» (1969) [1]: «Я готова теперь к тому, чтобы произнести чудесное слово *слияние*, которое существует одновременно и как реальное понятие, и как символ. Для меня, как писателя, это единственный род символа, имеющий значение, воплощающий модель, всеобщую модель человеческого опыта». Цитирует она из того места романа, где для героини, Лоурел, сплавляются воедино сон и реальность, где прошлая жизнь с мужем и настоящий момент в Маунт-Салюсе после похорон отца сливаются в ее представлении, как реки Миссисипи и Огайо у городка Кайро (Иллинойс), сплетаются, как ветви деревьев на земле, сталкиваются, как птицы в небе. Если смотреть с «большой высоты», все в конце концов сливается: «И они оба тоже были частью этого слияния мира... Они участвовали в нем, они ехали впереди, первыми. «Пришло наше время! — радостно думала Лоурел.— И жить мы будем вечно».

Заключительная мысль Юдоры Уэлти в этих раздумьях о своей жизни и творчестве опять-таки связана с памятью. Именно в памяти происходит это слияние — «наиболее драгоценный и бережно мною хранимый дар жизни и писательства. Настал момент слить воедино все прожитое мной время».

Память дала толчок этой работе. В «Истоках одной писательской жизни» в возрасте семидесяти пяти лет Юдора Уэлти столк-

[1] В русском переводе вышел в сб. Юдора Уэлти. Дочь оптимиста. Роман, рассказы, М., «Прогресс», 1975.

нулась с вопросом, который встал в свое время перед ирландским поэтом Уильямом Батлером Йейтсом: «В чем смысл всей песни?» — вопросом, на который он ответил себе так: «Пусть все проходит». Юдора добавила бы к этому: «...*и сливается*». Тот факт, что ничто не существует само по себе, искупает для нее смысл жизни и искусства. Все соединилось в памяти, жизнь — это целое. «Истоки одной писательской жизни» можно читать и как итог богатой человеческой биографии, целиком удерживаемой в памяти.

Книгу удачно дополняют прелестные фотографии, на которых изображены разные поколения семьи Юдоры: она сама — ребенком и молодой женщиной, ее братья, родители, родители родителей.

Сейчас Юдора Уэлти по-прежнему живет в Джексоне (Миссисипи), в доме отца, построенном незадолго до его смерти в 1931 году. (Кстати, дом, где она родилась в 1909 году, на Конгресс-стрит, тоже все еще стоит.) Это «крепкий городской дом, без кондиционеров, кирпичный, оштукатуренный. Здесь, за столом, стоящим в верхней спальне перед окном, работает мисс Уэлти, которая так и не вышла замуж. Она ходит в соседний магазин, участвует во всех событиях местной культурной жизни, гуляет у себя во дворе и постоянно пишет» (Пренщоу. «Беседы с Юдорой Уэлти».)

ЮДОРА УЭЛТИ

Из книги «Истоки одной писательской жизни»

...В тот раз меня не впервые привезли к бабушке в Западную Виргинию, но первый визит я почти забыла. Помню лишь, что место, где я оказалась, было внутренней частью дома, в котором родилась моя мать и где она выросла. Это был приземистый, посеревший от непогоды деревянный дом с разделяющим его пополам широким холлом, в который с двух сторон проникал через окна дневной свет, это был дом, который Нед Эндрюс, ее отец, построил так, чтобы он стоял на самой вершине самой высокой горы, какую только Нед смог здесь найти.

В округе не было адвоката моложе Неда Эндрюса. Он очень скоро приобрел известность, кстати, и как оратор. Моя мать сохранила экземпляр приветственной речи, которую он сочинил в честь открытия нового здания суда в графстве Николас, Западная Виргиния. В ней восхваляется архитектура здания: «Наблюдатель со вздохом облегчения поворачивается от крошащихся столпов и колонн Афин и Александрии к симметрическим формам колоссальных храмов Нового Света. По мере того как время разъедает благородные эпитафии на старинных надгробиях и покрывает пирамиды мхом забвения, он обращает свой взор к новым храмам искусства и прогресса, которые в глазах всего мира делают Америку маяком Истории».

Возможно, в те времена люди и считали, что ораторское искусство должно быть таким напыщенным, но вряд ли они ожидали, что у Неда обнаружится к тому же чутье следователя. Шел судебный процесс по обвинению в убийстве. Подсудимая занималась предсказанием судьбы — некто слышал, как она, гадая на картах какому-то старику, сказала, что дни его сочтены. Когда на следующий же день этот старик был найден в собственной постели скончавшимся от огнестрельной раны, публика решила, что предсказательница, должно быть, знала об этом слишком много. Она предстала перед судом как убийца. Нед Эндрюс построил защиту на том хорошо известном факте, что покойный всегда держал заряженным ружье, висевшее над изголовьем его кровати. Нед утверждал, что застрелило его ружье: старик легко мог по неосторожности сам разрядить его, ложась в кровать. В порядке доказательства Нед предложил проделать эксперимент на глазах у всех сомневающихся. Поднявшись вместе с ними к хижине старика, он повесил ружье на прежнее место, предварительно зарядив его холостыми патронами, и у всех на виду, подражая старику, с ходу плюхнулся на кровать. Ружье сорвалось с места и, падая, выстрелило в него. На этом защита закончила предоставление доказательств. Предсказательницу без дальнейших усилий со стороны Неда объявили невиновной.

Он был до краев полон талантами. Посещал Тринити-колледж (позднее университет Дьюка), где организовал литературный кружок; был журналистом и фотокорреспондентом в Норфолке, Виргиния, и в Западной Виргинии, куда сбежал в поисках приключений и где потом стал служителем закона. Рыбачил в тамошних горных речках и был, очевидно, так фантастически удачлив, что местные рыболовы-спортсмены до сих пор рассказывают о нем легенды. Нед был невосприимчив к пчелиным укусам, и его часто просили поймать дикий рой. Когда кто-нибудь проваливался в пустой колодец, посылали за Недом, потому что он не боялся, обвязавшись веревкой, спуститься на дно, где скапливались смертоносные газы, и вытащить наверх потерявшую сознание жертву.

Человеческие слабости которые другим людям моя мать склонна была прощать в последнюю очередь, вызывали у нее лишь нежную снисходительность, когда речь шла об отце.

Я догадалась — не сразу, с годами,— что иногда он выпивал. Он рассказывал невероятные истории своей жене, Юдоре Карден. Первую он поведал, чтобы жениться

© 1983, 1984 by Eudora Welty

на ней; в этой байке говорилось, что по возрасту он может это сделать, между тем как было ему всего девятнадцать и он был на четыре года моложе ее. Она была суеверна, он обожал дразнить ее и с помощью одного из своих маленьких сыновей устраивал тщательно придуманные розыгрыши, пугая ее привидениями. Он потряс ее рассказом (мама утверждала, что нет никаких доказательств, опровергающих его достоверность), будто один из предков Эндрюсов был повешен в Ирландии. Юдора Карден происходила из семьи глубоко верующего баптистского проповедника, муж ее был по отношению ко всем проповедникам непочтителен и несдержан.

Не знаю, откуда он взялся и куда делся, но однажды старый самодельный рисунок генеалогического дерева Эндрюсов попал в руки моей матери. Он был свернут в рулон, если его разворачивали, он в следующий же момент стремительно, с грохотом скручивался снова. Дерево было изображено как настоящее, от уходящего в землю корнями ствола разбегались большие ветки, от них — тоненькие веточки и листья, прорисованные четкими линиями, на каждом имена и даты, написанные каллиграфическим почерком. Наиболее впечатляющей была толстая ветвь, отходившая от главного ствола почти у его основания: она была сломана ближе к концу, голому и засохшему, и над ней было помечено: «Джозеф. Убит молнией».

Рисунок был выполнен тончайшим пером, какое только можно себе представить, чернилами, выцветшими от времени, так что было похоже, будто рисовали разведенным кленовым сиропом. Листья не были строго продолговатыми или традиционно эллипсообразными, одинаковыми, каждый имел остроконечную верхушку, был изящно очерчен и по-своему повернут на черенке, словно бы это генеалогическое дерево овевал легкий ветерок. Все оно в целом представлялось мне тогда детской головоломкой, в которой нужно найти маму. Я свою нашла — всего лишь крошечный листок на прутике одной из самых верхних веточек, едва ли достаточно прочной, чтобы удержать ее коротенькое имя — Чесси.

Та ветвь Эндрюсов, к которой принадлежала моя мать, представляла собой смесь, весьма типичную для юго-востока страны: английская кровь, шотландская, ирландская с примесью крови французских гугенотов. Первый американец в этой ветви, Ишем, который сражался в Войне за независимость, родился в Виргинии и перебрался в Джорджию, где жили и следующие поколения семьи. Эндрюсы не были сельским кланом, как Уэлти, они жили в городах, были учителями или проповедниками, встречались среди них и бродячие методистские священники; один кузен Неда (Уолтер Хайнс Пейдж) был послом в Англии. Некоторые получили образование в Тринити-колледж — учился там и Нед, правда весьма недолго. К тому времени, когда в 1862 году родился отец моей матери Эдвард Рэбото Эндрюс (Нед), семья возвратилась в Виргинию. Нед порвал с традициями и восемнадцати лет от роду сбежал из дома родителей, бабушек, дедушек, сестер, братьев и тетушек в Норфолк, чтобы стать первым в семье западновиргинцем.

Здесь, посреди кухни Эндрюсов, за тем самым длинным столом, за которым семья всегда обедала, неподалеку от места, где бабушка, казалось, постоянно хлопотала у горячей плиты, Нед сидел и обдумывал свои выступления в городском суде Клея — городок находился далеко внизу, у подножия горы, и отсюда виден не был. Мама вспоминала, как он, сидя на этом же месте, делал переложения музыкальных пьес для оркестра: он выписал инструменты, собрал музыкантов и начал обучать их игре в ансамбле, выстраивая для этого на лужайке перед зданием суда — у него была сильная тяга к музыке. Детям тоже были куплены инструменты, на которых они учились играть. моей матери он предназначил корнет. Вспоминая теперь, как она, мо́я посуду, пела «Благословенную неустрашимость», я понимаю, что высокие ноты она выводила голосом так, как они звучат на корнете.

На этой покрытой пикейным покрывалом кровати в передней комнате дома он лежал так страдая от боли (вероятно, это было воспаление аппендикса, которое и погубило его), что однажды он сказал моей матери, маленькой девочке, чтобы она принесла из кухни нож и всадила ему в бок; и она, загипнотизированная, почти поверила, что должна это сделать. Вот из этой двери она вышла с ним в морозную зимнюю ночь потом, когда стало ясно, что ему нужно в больницу. Дороги в горах были непроходимы, в реке Элк плавал лед, но сосед поклялся, что сможет провести по ней плот. Чесси было пятнадцать лет. Оставив дома мать и пятерых маленьких братьев, она отправилась с отцом. Он лежал на плоту возле огня, который развели, чтобы согреть его, Чесси сидела рядом. Соседу удавалось, отталкиваясь шестом, протискивать плот сквозь ледяное крошево. Они пристали к берегу как раз против станции железной дороги. Сигнализируя флажками остановили поезд...

Из Балтимора маме пришлось возвращаться одной, в том же поезде она везла гроб с телом отца. Он умер на операционном столе в больнице Джона Хопкинса от прободного аппендицита в возрасте тридцати семи лет. Последнее, что он внятно произнес, обращаясь к матери, было: «Если ты позволишь им привязать меня, я умру...»

Интересно, что думал мой отец, Кристиан Уэлти, по поводу всех этих историй о дедушке Неде, которые рассказывала мать? Я этого так и не узнала. Мой отец был прямой противоположностью Неду: уравновешенный, молчаливый, замкнутый, охотно проявляющий терпение, если нужно; и все, что он говорил, сомнению не подлежало. Как-то еще до рождения моих братьев, когда мы с мамой одни гостили у бабушки, отец приехал забрать нас

домой. Возможно, я не очень хорошо понимала тогда, что происходит, но была не таким уж несмышленышем, чтобы не заметить и не запомнить, как все изменилось при его появлении. Что бы мы ни делали, все было по-другому, словно ветер переменился. Дело в том, что мы с матерью были единственными, кому действительно до смерти хотелось, чтобы он приехал. Конечно, он был старше их, ее братьев (он был на шесть лет старше Чесси, а она была старшей сестрой), к тому же янки, но позднее я поняла, что служило истинной причиной вежливой отчужденности, сквозившей в их гостеприимстве: с того самого момента, когда он начал ухаживать за Чесси, они знали — он здесь для того, чтобы увезти от них сестру...

Должно быть, ее семье казалось, что она оторвана от них навсегда. С ее уходом из дома так и не смирились...

Ферма, на которой вырос мой отец и где жили дедушка Уэлти и бабушка находилась в южном Огайо, среди холмов графства Хокинг, неподалеку от городка Логан. Их дом был одним из тех чистеньких, с узким крыльцом, двухэтажных беленых фермерских домов, какие строили в Пенсильвании немецкие колонисты. Напротив фасада росли какие-то махровые цветы и кусты пионов величиной с бочку — источающие густой аромат пестрые бутоны выглядывали из листвы. В стороне, в конце узенькой тропинки, стоял флигелек со стенами всего в кирпич толщиной, перед ним рос яблоневый сад, а позади виднелись хлев, выгон и поля кукурузы и пшеницы. Время от времени какие-то звуки доносились из хлева да каркали вороны, а в остальном все было тихо.

В доме мертвая тишина стояла, как мне представлялось, всегда, в любое время дня, кроме обеденного. Кто бы ни был здесь, он все равно казался невидимым, но это потому, что все были при деле. Сейчас я думаю, что отец приурочивал наши визиты к моменту, когда требовалась помощь в уборке урожая, и, конечно, сам весь день работал в поле или в саду. Брал с собой и моего брата Эдварда.

Мать, как то было ей вообще свойственно, так и не изменила своего *первого* впечатления о дедушке Уэлти. Ее оскорбило, что он приехал к поезду в рессорной телеге, а не в легком экипаже. На протяжении всего пути домой, на ферму, он не сказал ей ни слова. «Но это было *обычно* для него,— объясняла она мне много лет спустя.— Он вообще мало разговаривал, пока не наставала пора мне уезжать. Тогда, в последний день, по дороге на станцию — а она была долгой — он не умолкал ни на минуту. Он мог заговорить человека». Они очень симпатизировали друг другу.

Когда мы гостили у них, он, пока было светло, копошился в хлеву или работал в поле. Это был тихий, добрый человек с пышными усами, редко разговаривавший дома с женщинами и детьми; если же присаживался иногда, то обычно на качелях, подвешенных во дворе, с трубкой в зубах и одним из дворовых котят на колене. Время от времени он брал на руки меня, и тогда я могла подержать котенка.

Бабушка Уэлти доводилась моему отцу мачехой. Моя мать, бывало, говорила: «Надо отдать должное матушке Уэлти: она печет самый вкусный хлеб, какой я когда-либо брала в рот». Это, насколько я помню, единственное, что она вообще о ней говорила, но уж от этого замечания часто не могла удержаться — и никогда она не сказала о бабушке Уэлти ничего другого, даже после того, как старушка умерла.

От бабушки Уэлти, у которой каждый день недели был строго предназначен для определенного дела, тоже не ждали особой разговорчивости. Конечно, лучше всего я помню пятницу — день, когда в доме пекли. Ее пироги, которых достало бы на неделю, выставлялись в кухне на подоконниках остывать, они лежали рядком, похожие на щекастые мордашки будто дразнившиеся: «Ну-ка съешь меня!»

Как ступица вокруг которой, будь то возможно, вращался бы обеденный стол, стоял в центре его стакан в форме тюльпана, в котором до блеска начищенные чайные ложечки — столько, что их хватило бы любой самой многочисленной семье — сияли головками внутрь, спинками наружу. Я не помню, чтобы когда-нибудь этот стакан с ложками убирали со стола. Даже в спящем доме, в полночь, в темной столовой он стоял там в полной боевой готовности. И запахи всех этих караваев хлеба и груд пирогов никогда не выветривались. А гостиную с опущенными шторами насквозь, насквозь, насквозь пронизывал запах отсутствия людей.

По сравнению с кланом Эндрюсов семья Уэлти во время первого запомнившегося мне визита была чрезвычайно бедна по части дядюшек, кузин и старших поколений родни. Хотя дедушка Джефферсон Уэлти был младшим из тринадцати детей, но только его я и видела; его родителями были Кристиан и Сейломи Уэлти — одни из самых ранних колонистов в Мэрион-Тауншип, графство Хокинг. Уэлти — выходцы из немецкой Швейцарии, первыми, кто приехал в Америку, еще до Войны за независимость, были три брата, от которых и пошел весь род, как я понимаю.— напоминает традиционный зачин немецких волшебных сказок, не так ли?

Все это я знаю не от отца, он так и не рассказал мне ни одной семейной истории; может быть, потому, что наслушался историй об Эндрюсах? Впрочем, думаю, потому, как он сам говорил, что его совершенно не интересовало прошлое: только будущее, считал он, имеет значение. В то же время он был чрезвычайно предан своему отцу, ездил повидать его при каждом удобном случае и регулярно писал ему, сидя дома за столом; в детстве мне были хорошо знакомы длинные конверты, надписанные четким, аккуратным почерком моего отца: «Джефферсону Уэлти, эсквайру». Отец употреблял слово «эсквайр» только в этом случае, он берег его для своего отца. Для меня оно было формой почтительного обращения, полагаю, и отец воспринимал его так же: мы всегда знали, что папа обожал дедушку.

Когда мы возвращались на Конгресс-стрит и отец отпирал дверь закрытого, ждущего дома, я бросалась вперед, в безвоздушный холл, и ураганом неслась вверх по лестнице, молотя по ковру на каждой ступеньке обеими руками и окуная лицо в облако милой мне пыли нашего долгого отсутствия. Я как бы приветствовала всех нас снова дома. Делая в сущности то же самое, отец ходил из комнаты в комнату, заводя часы.

Теперь, обращаясь памятью к тем летним путешествиям и множеству других, более поздних, на машине или в поезде, я думаю, что еще одно обстоятельство, должно быть, сильно повлияло тогда на меня. Каждая из поездок была чем-то целостным, завершенным. Они были рассказами. Не только по форме, но и по движению, развитию сюжетов, поворотам событий. Они меняли что-то в моей жизни: каждый приезд имел особый смысл, хотя я вряд ли могла бы выразить его словами. Но по прошествии лет я оглядывалась и видела, что они открывали мне много нового, внушали какие-то предчувствия, вселяли надежды — я и сейчас так думаю, и они продолжают влиять на меня. Когда я начала писать, короткий рассказ был жанром, который уже сложился у меня в голове и ждал своего часа. Неудивительно и то, что, впервые попытавшись написать роман, я заново вступила в знакомый с детства мир — таинственный мир дельты Миссисипи,— как ребенком въезжала в него на поезде...

События жизни происходят последовательно во времени, но по своему значению для нас выстраиваются в иной порядок — строгая хронология здесь не обязательна, вероятно и невозможна. Рассказы и романы зачастую пишутся в соответствии с нашей субъективной хронологией, она — бесконечная нить откровений.

Перевод с английского И. ДОРОНИНОЙ

Послесловие

Предваряя эту публикацию, И. Бэр заметил, что Юдора Уэлти «пользуется репутацией, какой мало кто из живущих американских писателей может похвастать». Быть может, это слишком сильно сказано, бесспорно, однако же, что вот уже почти полвека новеллы и романы Ю. Уэлти вызывают у публики и критиков живой интерес.

Чем питается он? — вопрос не праздный.

В литературе ищут отклик на тревоги текущего времени, а проза Ю. Уэлти, казалось бы, вызывающе неактуальна. Перед ее глазами прошли крупные, даже эпохальные события, во многом изменившие картину американской и мировой жизни, а она повествует о южных кланах, южных привычках, скрупулезно воссоздает южную атмосферу.

В литературе ценят значительные характеры — их нет у Ю. Уэлти, есть милые, чудаковатые люди, упорно цепляющиеся за привычный быт, люди, для которых сдвиг в рутинном распорядке частной жизни равен мировой катастрофе.

В литературе любят динамику повествовательного действия, четкость линий, а проза Ю. Уэлти — это размытая акварель: сюжет отсутствует, и если что и придает ей цельность, то лишь единство настроения, лирическое чувство автора.

Так почему же, повторяю я свой вопрос, читают ее книги, что привлекает в них?

Конечно, Юдора Уэлти — первоклассный мастер. Она обладает неподражаемым умением пластически оживлять образы памяти, этого неизменного источника ее творчества. Памяти собственного детства, которое встает перед нами в публикуемых фрагментах. Памяти исторической, доставшейся ей как наследство американского Юга, сохранившейся в его легендах и хрониках. Да даже и памяти искусства — начиная писать, Ю. Уэлти опиралась на уже развитую традицию литературы «южного ренессанса» (эта близость, надо сказать, оборачивалась порой, особенно в начале пути, нетворческими заимствованиями). Образы памяти под пером Ю. Уэлти утрачивают временну́ю закрепленность — легко и естественно прорастают в настоящее, сохраняя вечную живость, которая и лишает ее прозу сентиментальной расслабленности.

И все же этого мало, чтобы удержать стойкое читательское внимание.

Убежден, что дело не просто в мастерстве, не просто в виртуозном владении формой. Сама эта форма насыщена серьезной и высокой идеей.

Несомненно, этнография, событийная и духовная, имеет огромное значение в прозе Ю. Уэлти. И все-таки не затем возвращается она, мне кажется, вновь и вновь к южным преданиям и складу жизни, чтобы во всех подробностях запечатлеть в слове тот социально-нравственный порядок, конец которого с беспощадной правдивостью показал литературный учитель Юдоры Уэлти — Уильям Фолкнер. Описывая нравы южной «общины», погружаясь в томный мир южной природы, писательница преследует и ясную нравственную цель — напомнить о ценностях человеческой души, которые не подвержены тлену и способны сопротивляться любым соблазнам буржуазного эгоизма. И не затем она столь тщательно оттачивает фразу, чтобы достичь просто совершенства рисунка. Как для писателей прежних времен, например Флобера, Генри Джеймса, Уайльда, красота искусства становится для нее способом критики действительности, утратившей главное — человека.

Так эстетика оборачивается этикой.

Литература XX века, особенно послевоенная, прекрасно научилась изображать падение личности в условиях позднебуржуазной цивилизации; но лишь немногим писа-

телям удается воплотить гуманистическую веру в живых образах людей, чья жизнь достойна называться нравственным образцом.

Юдора Уэлти принадлежит к числу таких писателей, и, думаю, этим не в последнюю очередь объясняется ее неизменно высокий писательский авторитет.

Правда, в позиции Ю. Уэлти, как она творчески осуществилась в ряде произведений 30—60-х годов, заключается некоторый изъян. Защищая высокие идеалы, она не рискует испытать их на прочность, мир дорогих ее сердцу героев и традиций существует словно отдельно от того мира, где несправедливость и насилие превратились в норму. Даже как фоновая величина он, этот мир, возникает в ее книгах чрезвычайно редко.

Тем более значительным представляется тот факт, что уже далеко не в юном возрасте Юдора Уэлти на такой риск пошла — и получилась книга конфликтная, остро драматическая. Я имею в виду известный советскому читателю роман «Дочь оптимиста», где добро, красота и нравственность отстаивают себя в остром противоборстве с цинической моралью вульгарного потребительства. Добро, как и обычно у Ю. Уэлти, побеждает, но цена самой победы неизмеримо повышается.

В свете этой, лучшей, по моему убеждению, книги Ю. Уэлти я читаю и «Истоки одной писательской жизни». Здесь оживает память о былом, здесь говорится о всегда таинственном превращении факта жизни в факт искусства, здесь раскрываются основы неизменно здоровой души художника — но это уже закаленное испытаниями здоровье.

Завершая книгу, автор пишет: «Я представляю собой тип писателя, который вырос из замкнутой жизни. Но замкнутая жизнь может быть в то же время отважной жизнью. Ибо всякая отвага зарождается внутри».

Универсальной силы этот закон не имеет, но применительно к собственному опыту Юдора Уэлти права.

Н. АНАСТАСЬЕВ

◆

Редакцию «ИЛ» посетили...

Главный редактор западногерманского литературно-критического журнала «Кюрбискерн» Фридрих Хитцер и руководители региональных отделений Союза писателей ФРГ Ангела Бауман (Нюрнберг) и Кошка Хильдебранд (Эрланген).

Фридрих Хитцер — писатель, критик, журналист, переводчик, — давний друг Советского Союза. Он — автор работы о советском кино 30-х годов, книг «Альтернативы оппозиции» (совместно с Р. Опицем), «Ленин в Мюнхене». Его публицистика хорошо известна читателям «Иностранной литературы». Фридрих Хитцер передал редакции юбилейный номер журнала «Кюрбискерн», посвященный сорокалетию Великой Победы над фашизмом.

Этой же дате посвящена и одна из последних работ Фридриха Хитцера — документально-драматургическая композиция «О начале и конце второй мировой войны». Среди других его недавних публикаций — очерковая книга «Лето в Сибири». Готовится к выходу в свет книга воспоминаний под названием «Из старых школьных тетрадей». Сейчас писатель заканчивает новый роман, который, по его словам, будет во многом перекликаться с крупным эпическим произведением Петера Вайса «Эстетика сопротивления».

Ангела Бауман и Кошка Хильдебранд пока неизвестны советскому читателю. В Советский Союз они приехали впервые.

Ангела Бауман опубликовала сборник рассказов «Видение» и книгу стихов «Камни, брошенные из стеклянного дома». Сейчас она работает над новым романом. Кошка Хильдебранд также пишет стихи и прозу. Недавно вышла в свет ее книга рассказов «Зеленая дверь».

Гости рассказали о своих впечатлениях от поездки в Сибирь и Киргизию, где они встречались с Чингизом Айтматовым, о литературных новинках, поделились творческими планами.

Публицистика

Л. ТОДОРОВА

ПРОТИВ ИНФОРМАЦИОННОЙ АГРЕССИИ

После второй мировой войны международные организации стали ареной особенно острых идеологических и политических столкновений. В разные периоды в них отражалось соотношение сил в мире, проявлялись важные тенденции развития национально-освободительного движения, ибо молодые независимые государства, отстаивая свои национальные интересы, боролись и продолжают бороться за самостоятельный внешнеполитический курс, оказывая последовательное сопротивление грубому американскому диктату в международных отношениях, экономической и культурно-информационной экспансии Соединенных Штатов.

Проблемы обмена информации в мире служат предметом обсуждений на различных международных форумах, в правительственных и неправительственных организациях, на многосторонних и двусторонних встречах, региональных и международных конференциях и симпозиумах. С особым вниманием и тщательностью их роль и значение для современности рассматриваются в ООН и ЮНЕСКО.

Естественно, далеко не все государства — члены ЮНЕСКО одинаково оценивают назначение массовой информации в свете кардинальных проблем человечества. Расхождения эти объясняются в первую очередь идейно-политическими установками представителей определенных кругов Запада, которые вопреки велению времени и интересам общественности стремятся помешать деятельности Организации по установлению нового международного информационного порядка.

В 70-е и в особенности 80-е годы США развязали бурную кампанию против любых инициатив и мероприятий развивающихся стран за установление нового информационного порядка. Особо грубым нападкам ЮНЕСКО подверглась со стороны рейгановской администрации. Вашингтон открыто выступил против каких бы то ни было перемен в «американском информационном порядке», навязанном в свое время Организации под прикрытием привлекательного лозунга «свобода информации». США говорят о финансово-технической помощи развивающимся странам, а на деле стремятся к еще большей зависимости этих стран от транснациональных корпораций.

Почти четыре десятилетия США ведут борьбу за так называемый «свободный поток информации», причем «свободный» прежде всего от государственного контроля. Это чистой воды демагогия, ибо ЮСИА с бюджетом в 1 миллиард долларов, занимающаяся вопросами культуры и информации, как и ЦРУ, которое на одну только информационную деятельность расходует свыше 280 миллионов долларов в год, является государственным ведомством, и, следовательно, их информация контролируется

ЛИЛИЯ ТОДОРОВА

Болгарский ученый-социолог. Автор ряда статей по вопросам философии и современной культуры. В «Иностранной литературе» напечатаны ее работы: «Мифы о конвергенции и культурный обмен» (1978, № 1), «Свободный поток информации, или Культурно-информационный экспансионизм США» (1980, № 9), «Социальная бесполезность, или Социальная ответственность литературы и искусства» (1981, № 12), «Перспективный диалог» (1984, № 9).

Публикуемая статья получена редакцией в рукописи.

Вашингтоном. Достаточно бросить взгляд на владельцев крупнейших информационных агентств и телевизионных корпораций в США, чтобы убедиться, что хозяева этих монополий связаны с членами правящей администрации, а в иных случаях это одни и те же кланы, одни и те же лица. Это лишний раз свидетельствует о фальшивости столь упорно навязываемой идеи «свободного потока информации», которая на самом деле подразумевает злонамеренную дезинформацию, фальсификацию фактов, идеологические диверсии во всем мире. Агрессивной политике США в области культуры и информации ЮНЕСКО и противопоставила новый информационный порядок. В результате Соединенные Штаты заявили о своем выходе из Организации системы ООН по вопросам образования, науки и культуры.

Надо сказать, что США не раз демонстративно покидали международные организации. В 1977 году, к примеру, они объявили, что выходят из МОТ (Международной организации труда), указав в качестве причины на ее «политизацию». В 1980 году Вашингтон вернулся в МОТ. Осенью 1982 года США прекратили взносы в МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии). На этот раз из «солидарности» с Израилем. В 1983 году они возобновили участие в нем.

Как сообщил заместитель государственного секретаря США Г. Ньюэл, в его ведомстве вот уже полтора года изучают вопрос о целесообразности дальнейшего участия США в шести организациях ООН, таких как МАГАТЭ, МОТ, ЮНЕСКО, Международный союз электросвязи. Некоторые крайне правые круги в США восприняли заявление о выходе из ЮНЕСКО как сигнал к отказу США от членства в самой Организации Объединенных Наций.

Однако до сих пор выход США из той или иной международной организации не сопровождался особой шумихой. Впрочем, без шума обходилось и возвращение. Теперь же команда вашингтонской администрации не только предупредила за год до срока о своем намерении, но и поставила условия, которые должны были вынудить ЮНЕСКО изменить цели и характер своей деятельности под диктовку США.

Наряду с этим США рассмотрели вопрос о принятии специальных мер против двух органов — Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) и Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях.

Что заставило США разыграть непристойный сценарий открытого шантажа в отношении ЮНЕСКО?

Анализ деятельности США в Организации показывает, что камнем преткновения для них стал «новый международный информационный порядок». По сути дела у этого вспыхнувшего в 1983—1984 годах конфликта своя предыстория, своя логика и свои объективные причины.

США были одними из инициаторов создания ЮНЕСКО, но теперь уже стало совершенно очевидным, что в течение минувших сорока лет США преследовали свои корыстные политические и экономические цели. Они использовали ЮНЕСКО для своей все более расширяющейся культурной экспансии, а постоянные попытки утвердить принцип «свободы информации», понимаемой по-американски, доказывают, какое значение США придают информационному проникновению во все уголки земного шара.

Уже при создании ЮНЕСКО комиссия американских экспертов разработала идею «свободного потока информации» (заметим, не свободный обмен мыслями и знаниями путем использования всех видов информации). Первый доклад Национальной комиссии США по делам ЮНЕСКО, представленный государственному секретарю в 1947 году, содержал следующую рекомендацию: «Американская делегация (в ЮНЕСКО) должна выдвигать и поддерживать предложения, направленные на устранение препятствий с пути свободного потока информации, в соответствии с положениями доклада Консультативного комитета государственного департамента по проблеме «Средства массовой информации и ЮНЕСКО».

Создание Организации в 1946 году пришлось на тот период, когда в мире преобладали американские средства массовой информации. В первые послевоенные годы западные державы, используя созданную ими «машину голосования», навязывали Организации свои принципы и решения После вступления в ряды Организации Советского Союза (1954 год), других социалистических стран, а в 60-е годы — сразу нескольких десятков молодых независимых государств, ЮНЕСКО стала приобретать универсальный характер, смогла по-настоящему заняться крупными, общечеловеческими проблемами. Это позволило на 14-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в 1966 году принять по инициативе социалистических стран следующий текст: «Культурное сотрудничество должно выдвигать идеи и ценности, которые способствовали бы созданию обстановки дружбы и мира. Они должны содействовать распространению достоверной информации». А на 16-й сессии социалистические страны внесли проект резолюции, вызвавший острое столкновение по поводу формулировки о том, что «пропаганда войны, расизма и ненависти между народами с помощью средств массовой информации несовместима с целями и принципами ООН и ЮНЕСКО».

В 1969 году при ООН была создана рабочая группа по проблемам технических возможностей телевизионных передач через спутники. В 1972 году ЮНЕСКО приняла «Декларацию руководящих принципов по использованию вещания через спутники для свободного распространения информации, развития образования и расширения культурных обменов». В ней отмечалось, что «государствам необходимо, принимая во внимание принцип свободы информации, достигать соглашения или поддерживать ранее заключенные соглашения, касающиеся прямого вещания через спутники для населения стран, иных, чем страна — источник передачи». Сформулированное таким образом предложение было в том же году поставлено на голосование на сессии Генеральной Ассамблеи ООН и принято 102 голосами против одного — голоса США. Американской стороне, таким образом, был оказан единодушный отпор — все

страны выступили против ее политических и идеологических целей, против присвоенного себе права навязывать миру свои концепции по жизненно важным проблемам сегодняшнего и завтрашнего дня.

Голосование в ООН в 1972 году по существу было выражением стремления к ограничению монопольного права США на беспрепятственное распространение своих телевизионных программ через спутники. И уже тогда, десять с лишним лет назад, США открыто выразили сожаление по поводу «тирании большинства», объявив ООН и ЮНЕСКО «политизированными».

Одна из первых угроз США Организации раздалась накануне 19-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Найроби (1976 год), которая собиралась принять проект декларации об основных принципах использования средств массовой информации по укреплению мира и международного взаимопонимания. Представители Соединенных Штатов заявили, что они не уплатят взнос в ЮНЕСКО и даже могут выйти из нее. Однако США и некоторые их союзники поняли, что им грозит самоизоляция именно тогда, когда надо было решить чрезвычайно важные вопросы о том, какими должны быть принципы нового информационного порядка, какую «свободу» оставит за собой буржуазный «свободный поток информации» и кто займется проблемами создания современной технологической базы средств массовой информации в развивающихся странах. Вашингтон тщился обречь развивающиеся страны на новую кабальную зависимость с помощью новой техники — кассетных, роликовых и прочих устройств, а следовательно, и соответствующей информации. Вашингтон рассчитывал, что он лишит развивающиеся страны возможности остановить «свободный поток информации», понимаемый по-американски.

На 20-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже в 1978 году были утверждены основные требования в связи с созданием нового информационного порядка, причем руководитель американской делегации Дж. Рейнхарт обещал большую техническую помощь, если будут предоставлены неограниченные права крупным транснациональным корпорациям и международным банкам США.

В 1980 году в Белграде на очередной сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО были приняты огромного значения документы и прежде всего резолюция об учреждении МПРК — Международной программы развития коммуникации, имеющей целью кроме прочего оказание развивающимся странам эффективного содействия и финансовой помощи в деле создания национальных и региональных информационных систем. Реакция США по этому вопросу была ясна заранее. Представитель Вашингтона заявил, что США не хотят оказывать помощь через ЮНЕСКО, что они будут предоставлять ее только тем странам, которые, по их мнению, заслуживают американской поддержки. Против нового информационного порядка, против деятельности независимо настроенных освободившихся стран выступили США и Великобритания, которые не желали изменения статус-кво и которым прежняя «свобода» информации предоставляла широчайшие возможности для идеологического, политического, экономического и культурного влияния в Азии, Африке и Латинской Америке.

ЮНЕСКО решила взять твердый курс на оказание молодым независимым государствам полного содействия в организации национальных органов информации и проведении в этой области самостоятельной политики; администрация Рейгана путем давления и шантажа пыталась удержать прежние позиции. МПРК имеет серьезное идеологическое, политическое и практическое значение для установления нового информационного порядка — ликвидации диспропорции в обмене информации в мире, демократизации международных информационных отношений на базе Декларации ЮНЕСКО 1978 года. США, не гнушаясь никакими методами, начали ее бойкотировать. Создание мощных национальных региональных информационных систем означало для Соединенных Штатов значительное ограничение деятельности агентств ЮПИ и АП, сокращение радио- и телевизионного присутствия США в Азии, Африке и Латинской Америке. А это, в свою очередь, ограничивало американскую информационную экспансию, возможности манипулировать общественным мнением, проведение идеологических диверсий и дезинформации. Когда в ООН и ЮНЕСКО рассматривались проблемы информации, США, как правило, голосовали против всех программ оказания развивающимся странам организационной, финансовой и других форм помощи.

Стоит вспомнить, что еще в 1974 году под воздействием неприсоединившихся стран, которые на своей встрече в Алжире подчеркнули роль информации в международных политических и экономических отношениях, Генеральная конференция ЮНЕСКО заменила формулировку «свободный поток информации» выражением «свободный и сбалансированный поток».

Затем развитие событий ускорилось. Доклад Международной комиссии по изучению проблем коммуникации (комиссии Макбрайда) позволил ЮНЕСКО в 1980 году наметить контуры нового информационного порядка, важную роль в реализации которого призвана играть Международная программа развития коммуникации. США вознамерились под прикрытием МПРК контролировать капиталовложения в области информации.

На 1-й сессии Межправительственного совета Международной программы развития коммуникации, состоявшейся в Париже в 1981 году, а также на остальных сессиях антиимпериалистически настроенные развивающиеся страны неоднократно подчеркивали, что Программа должна помогать сотрудничеству в области коммуникации, не становясь «улицей с односторонним движением», где помощь идет от промышленно развитых стран развивающимся странам и где последние не смогут участвовать в международном обмене как равные партнеры. Информационный обмен должен осуществляться на основе уважения национального суверенитета, культурной самобытности, национальных целей и задач, что избавит развивающиеся страны от «навязанной» помощи. Это означало выработку собственной

национальной политики каждой развивающейся страной в области коммуникации. США стремились дискредитировать политический аспект движения за новый международный информационный порядок и принизить практический смысл претворения его идей. Они пытались использовать Международную программу развития коммуникации как канал для проникновения в развивающиеся страны и под видом «помощи» продолжать проводить политику информационного империализма.

Один из защитников «свободы информации» — Филипп Пауэр, бывший представитель США в ЮНЕСКО, владелец компании пригородных коммуникаций, издающий 42 газеты в штатах Мичиган и Огайо, писал: «В начавшейся битве [по вопросу о свободе коммуникации] на карту будет поставлено само существование крупных компаний, производящих компьютеры и оборудование для сбора и передачи информации для зарубежных стран, дающие миллионные прибыли; телесети и кинорынка, развлекательная продукция которых питает весь мир; авиалиний, банков и финансовых учреждений, чьи потребности и данные, передаваемые одним компьютером другому, играют определяющую роль в их деловых операциях; международной индустрии рекламы, оперирующей миллионами долларов...» Бесспорно, господин Пауэр очень точно оценил, что могут потерять США в этой начавшейся битве при условии, что Вашингтон будет вынужден отказаться от пресловутой концепции «свободы информации» или, точнее, изменить характер своей внешней политики в области культуры и информации.

Чем плотнее ЮНЕСКО подходила к выполнению своих программ изменения существующего международного информационного порядка, тем ожесточеннее становилась борьба Соединенных Штатов против Организации, дерзнувшей посягнуть на их экспансию в области информации и коммуникации в мире.

После 20-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в 1978 году и Белградской сессии в 1980 году, на которых обсуждались и были приняты декларация и резолюции относительно принципов работы средств массовой информации, США выступили категорически против всех принятых программ и решений. Для этой цели по их инициативе в мае 1981 года во французском городке Таллуар была созвана конференция представителей «независимых средств информации» под громким названием «Голоса свободы». На этой тщательно подготовленной встрече развитые капиталистические страны в декларации, принятой по предложению американской делегации, потребовали, чтобы «ЮНЕСКО и другие межправительственные организации отказались от попыток регулировать содержание информации и формулировать правила для печати». Но, как справедливо заметил Генеральный директор Организации Амаду-Махтар М'Боу, «свобода теряет смысл, если поток информации носит односторонний характер».

Требования, изложенные в «Таллуарской декларации», легли в основу программы, которой определялась борьба США и их союзников против Международной программы развития коммуникации.

В том же 1981 году правительство США обсудило конкретные программы тотального информационного наступления в мире с помощью спутникового телевидения. Задача реализации этих амбициозных замыслов была поставлена перед пропагандистскими звеньями ЮСИА, ЦРУ, Пентагона, а также перед транснациональными корпорациями и их научно-исследовательскими центрами. Были запланированы новые субсидии. Стало ясно, что США вступают в новую фазу проведения своей информационной агрессии, гораздо более наступательную, чем все предыдущие.

На XXVIII пленарной ассамблее Всемирной Федерации ассоциаций содействия ООН (октябрь 1981 года) американская делегация распространила «Таллуарскую декларацию», принятую западными странами. Тем самым они выступили против нового международного информационного порядка и внесли предложение утвердить «свободный поток информации» на основе частного предпринимательства. Ассамблея отвергла это предложение и одобрила доклад «комиссии Макбрайда», подготовленный по поручению ЮНЕСКО. Под общеизвестными и давно скомпрометировавшими себя лозунгами «плюрализма» информации США пытались проводить политику диктата в отношении развивающихся стран — с тем, чтобы манипулировать информацией в мире. «Таллуарская декларация» по сути дела была объявлением США открытой войны ЮНЕСКО. Однако вторая аналогичная конференция, проведенная два года спустя, в октябре 1983 года в Таллуаре, показала, что позиция США не находит единодушного одобрения у участников, и совместная декларация не была принята.

Все попытки дестабилизировать ЮНЕСКО составляют часть общей реакционной внешней политики США, развернутого ими «крестового похода» — в том числе против специализированных организаций ООН и против самой ООН.

К методической обработке общественного мнения Соединенные Штаты приступили еще до открытия Таллуарской конференции. Сотрудниками Национального совета по вопросам информации было изучено 448 корреспонденций и 206 редакционных статей всех американских штатов, 80 процентов которых принадлежало корреспондентам АП и ЮПИ. Все материалы были посвящены проведению 21-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, длившейся почти 40 дней, но... ни в одном из них не упоминались выступления, резолюции или доклады по таким важным вопросам, как борьба с неграмотностью (хотя в мире насчитывается 800 миллионов неграмотных), охрана исторических памятников, финансирование фундаментальных исследований в области океанологии, энергетики и т. д. Зато 173 корреспонденции и 181 редакционная статья были посвящены политике в области коммуникации, причем 158 из них были написаны в резко враждебном тоне, а в 27 предлагалось, чтобы США вышли из ЮНЕСКО.

В последующие годы в 400 материалах, подготовленных АП и ЮПИ, «доказывалось»,

что новый информационный порядок «не соответствует интересам «третьего мира».

В американской печати появился ряд материалов, не скрывавших, что Таллуарская конференция была задумана как первая часть организованного США бойкота планов ЮНЕСКО в связи с созданием нового международного информационного порядка, что конференция выработала «скоординированную стратегию и тактику Запада в отношении ЮНЕСКО». Затем последовали сфабрикованные статьи и выступления, «разоблачающие деятельность ЮНЕСКО», в прямом смысле информационная агрессия против Организации и ее Генерального директора М'Боу.

22-я сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО, состоявшаяся в Париже в конце 1983 года, приняла по предложению СССР резолюцию «Равноправное и взаимовыгодное международное культурное и научное сотрудничество — важный фактор укрепления мира, дружбы и взаимопонимания между народами». Кроме того, были приняты следующие документы: «Роль ЮНЕСКО в создании общественного мнения в пользу прекращения гонки вооружений и перехода к разоружению», «Вклад ЮНЕСКО в дело мира» и «Задачи ЮНЕСКО в оказании содействия осуществлению прав человека и ликвидации колониализма и расизма».

Принятие этих документов вызвало негодование американской делегации, обвинившей ЮНЕСКО в «чрезмерной политизации», в превышении рамок своей компетенции, в ослаблении внимания к проблемам культуры и информации. Наиболее острое столкновение произошло в связи с вопросами массовой информации и в особенности с борьбой ЮНЕСКО за новый информационный порядок, с тем чтобы средства массовой информации служили интересам прогресса человечества во всех областях духовной и материальной сферы, укреплению взаимопонимания и доверия между народами. США продолжали настаивать на принципах «свободного потока информации» и «отсутствия контроля над средствами коммуникации». Они обвинили руководство ЮНЕСКО в том, что оно якобы выделяло слишком большие средства на создание нового информационного порядка. Достаточно проанализировать проект бюджета на 1984—1985 годы, чтобы убедиться, что расходы на программу «Коммуникация на службе человека» составляют лишь 7 процентов двухлетнего бюджета — намного меньше, чем расходы на программы в области образования, культуры и научного обмена. Когда осенью 1983 года США участвовали в обсуждении этого бюджета, их поведение диктовалось политическими и идейными мотивами, это была открытая конфронтация с ЮНЕСКО, а не частные расхождения по вопросам методов руководства организацией.

Настоящая же причина действий США заключалась в другом. Они понимали, что именно в ЮНЕСКО вырабатываются концепции по проблемам информации и связи и что развивающиеся страны продолжают дальнейшее обсуждение нового международного информационного порядка в других международных организациях — Международном союзе электросвязи, МОЖ, Международном бюро по информатике, объединяющем большинство развивающихся стран.

Угрожая выходом из Организации, США тем самым надеялись заставить группу государств — членов ЮНЕСКО пойти на уступки и таким образом блокировать возможности распространения новых принципов информации и коммуникации на другие международные организации. Для того чтобы добиться успеха в этом направлении, США старались не подчеркивать экономический аспект информации и коммуникации, а прибегли к аргументам, касающимся свободы печати и журналистской деятельности, стремясь доказать, что нет смысла предоставлять какие-то права странам, которые не дают гарантии в этом отношении.

Выход США из ЮНЕСКО обычно истолковывают как проявление ужесточенного курса внешней политики вашингтонской администрации. Но по некоторым признакам можно судить о заранее продуманной позиции. Американское решение было принято в тот момент, когда дискуссии по поводу нового информационного порядка вступили в критическую фазу. США пытаются свести новый информационный порядок только к оказанию технической и финансовой помощи развивающимся странам. Впрочем, сам директор американского информационного агентства ЮСИА Ч. Уик безапелляционно предупредил с трибуны французского Института международных отношений: «Если ЮНЕСКО не будет действовать согласно представлению США о ее функциях, то последуют американские ответные акции: США вообще могут покинуть эту организацию. Попробуйте только противопоставить ваш информационный порядок нашему». Более откровенного ультиматума еще никто и никогда не ставил ЮНЕСКО.

29 декабря 1983 года Дж. Шульц направил Х. Пересу де Куэльяру послание, в котором заявил, что США выходят из ЮНЕСКО. По существу это был шантаж. Подобная угроза понадобилась США для того, чтобы поставить свои политические условия, ЮНЕСКО надлежало привести свою деятельность в соответствие с внешнеполитическими интересами США. Шеф госдепартамента отметил, что в 1984 году США, видите ли, готовы милостиво предоставить ЮНЕСКО потенциальную возможность... «значительно измениться». Расчет тут был на то, что в 1984 году США удастся убрать нынешнее руководство ЮНЕСКО, если оно добровольно не откажется от своей независимой политики. Недовольство Вашингтона было вызвано прежде всего тем, что ЮНЕСКО не только интересуется правами человека, но и стремится защищать права целых народов.

В том же 1983 году в США обнародовали «Программу демократии и публичной дипломатии». Но «демократия» осталась пропагандистским понятием, лишенным содержания, ибо при нынешней вашингтонской администрации политика США характеризуется крайней реакционностью и агрессивностью и опирается на принципы, ничего общего с демократией не имеющие.

Мировая общественность вряд ли может счесть проявлением демократизма в международных отношениях стремление американских правящих кругов посредством ЮНЕСКО навязать 150 государствам американский политический курс и угодные им идеологические и экономические цели.

Решение о выходе из ЮНЕСКО не было чем-то новым в международной деятельности США, не было оно и неожиданным для тех, кто следил за нарастанием противоречий между позициями США и ЮНЕСКО по вопросам информации. Известно, что уже в 1981 году палата представителей американского конгресса потребовала «прекратить финансовую поддержку ЮНЕСКО, если будут предприняты какие-то шаги к осуществлению планов контроля и регулирования распространения информации и печати».

«Мы можем потерять многих сторонников, но никакие страны в мире не могут заставить нас, космическую державу, санкционировать конвенции, которые не отвечают нашим интересам» — такова логика большинства приверженцев твердой американской позиции в сфере спутникового телевидения»,— пишет И. де Сола Пул, профессор политических наук Массачусетского технологического института, в своей работе «Спутники для прямых передач и национальная целостность культур».

Государственный секретарь США Шульц, как сообщала американская пресса в апреле 1984 года, заявил Генеральному директору ЮНЕСКО Амаду-Махтару М'Боу, что Вашингтон «не смягчит своих требований коренных реформ в ЮНЕСКО как условия дальнейшего участия США в деятельности этой организации». Преднамеренно искажая конкретную деятельность ЮНЕСКО, Вашингтон обвинил ее в «чрезмерной политизации» всех проблем, в покушении на устои западного мира, в безудержном росте бюджета.

О. Харрис, один из представителей реакционной общественной организации «Херитидж фаундейшн», в статье, опубликованной в «Нью-Йорк таймс», тоже заявил, что ЮНЕСКО — всецело политизированная организация, выступающая с нападками на основополагающие ценности, интересы и институты Запада, считающая, что буржуазная западная культура угрожает национальной самобытности других народов, критикующая экономику свободного рынка и транснациональные корпорации. Решения ЮНЕСКО по сложным проблемам мира и разоружения, в которых она, по его словам, некомпетентна, враждебны Западу и прежде всего США. Она неосновательно предпринимает постоянные нападки на Израиль и помогает Организации освобождения Палестины.

Кажется, никому еще из администрации Рейгана не удавалось с такой полнотой, хотя и лаконично, высказать все обвинения в отношении ЮНЕСКО по поводу того, что она вот уже более десяти лет имеет четко обозначенную антиимпериалистическую и антиколониальную направленность.

Всем известно, что главная задача ЮНЕСКО — развивать культурное сотрудничество между странами. В этой организации обсуждаются важнейшие вопросы образования, науки, культуры, информации, пути обмена идеями и знаниями в этих областях человеческой деятельности. Лишь за период 1979—1983 годов ЮНЕСКО осуществила свыше тысячи проектов почти в 100 странах. Для этой цели она выделила более 400 миллионов долларов. За такой сравнительно короткий срок ликвидирована неграмотность 15 миллионов человек, не охваченных школьным образованием. В одном только 1980 году подготовлено 30 тысяч учителей, 40 миллионов долларов вложено в широкую кампанию по спасению памятников культуры. Ежегодно свыше 4 тысяч научных работников проходят стажировку при содействии ЮНЕСКО. Но все эти факты не помешали американской представительнице в ЮНЕСКО Джин Джеральд заявить: «Я думаю, что эта организация столь радикально политизирована, что она не служит тем целям, которым, как предполагается, должна служить, то есть целям развития». Правда, Джеральд не уточняет характер «развития». По ее мнению, как и по мнению остальных участников вашингтонской команды, развитие означает, что мир должен неуклонно следовать путем США, принимать их политическую, экономическую и культурную модель. Любое отступление, любое мнение и действие, идущее вразрез со вкусами и политическими интересами США, осуждается и вызывает в ответ «крестовый поход».

Серией ультиматумов и заявлений о выходе из международных организаций — ЮНЕСКО и ООН — Соединенные Штаты продемонстрировали полнейшее безразличие к насущным проблемам мира, разоружения, культуры, образования, свое высокомерие и чувство превосходства над остальными народами. Они не скрывают своего негодования по поводу того, что в последние годы международные организации вышли из-под непосредственного контроля Вашингтона и перестали быть послушным орудием Белого дома.

Даже в партийной программе республиканцев не был обойден вопрос об отношении США к международным организациям. «Президент Рейган,— отмечается в ней,— объявил, что мы выйдем из худшей из этих организаций — ЮНЕСКО... Мы будем применять те же критерии ко всем международным организациям. Мы будем наблюдать за их деятельностью и результатами голосования в них и особенно за голосами государств-членов, которые получают американскую помощь». Республиканцы не потрудились найти для своей программы более благовидную формулировку грубого и бесцеремонного подхода, применяемого годами в отношении развивающихся стран.

США постоянно твердят о том, что ЮНЕСКО «политизирует» свою деятельность, а это, на их взгляд, несовместимо с задачами, во имя которых была создана эта Организация. Но призывы к «деполитизации» не помешали США на 21-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в 1980 году потребовать включить в повестку дня «афганский вопрос» и рассмотреть «нарушения прав человека в социалистических странах», хотя даже при наличии самой неуемной фантазии подобные вопросы никак не приобщить к культурологической и информационной тематике. Зато американ-

ские представители в Организации упорно настаивали на сессии Генеральной конференции в ноябре—декабре 1982 года, чтобы из среднесрочного плана деятельности ЮНЕСКО на 1984—1989 годы была снята тема мира, хотя Организация считает содействие укреплению мира и безопасности основной задачей.

Отвечая на обвинения США в том, что ЮНЕСКО стала «чрезмерно политизированной», Генеральный директор Амаду-Махтар М'Боу в интервью корреспонденту английской газеты «Дейли телеграф» сказал: «Будучи правительственной организацией, она едва ли может иметь иной характер. ЮНЕСКО всегда была трибуной, форумом для выражения различных, порой даже прямо противоположных точек зрения, на которых стоят государства — члены ЮНЕСКО с их различной культурой, вероисповеданием и идеологией. Но необходимо представлять факты. Следует помнить о том, что программы или бюджет ЮНЕСКО утверждаются всеми членами, включая США».

ЮНЕСКО является политической организацией в силу своего Устава, согласно которому Генеральная конференция как высший орган состоит из представителей правительств государств-членов, а они, естественно, выражают мнение своих правительств, их политические и идеологические взгляды и представления о развитии международных отношений в области культуры. В Уставе организации, в разделе «Цели и обязанности», подчеркивается, что ЮНЕСКО будет содействовать укреплению мира и безопасности путем расширения сотрудничества народов в области образования, науки и культуры. Вместе с тем ЮНЕСКО по своей сущности, структуре и принципам действия является одной из самых демократических международных организаций.

Существует еще одна причина, в силу которой США заявили о своем выходе из Организации. Нынешняя американская администрация не раз обсуждала вопросы о средствах, которые правительство может предоставлять развивающимся странам по линии оказания разных видов «помощи», в том числе в сфере культуры и информации. Еще в период обсуждения и подготовки программ «Истина» и «Демократия» Вашингтон предупредил, что «помощь» будет оказана лишь тем странам, правительства которых проводят согласованную с США внутреннюю и внешнюю политику. Другими словами: «помощь» — это плата за послушание.

Дополнительное обстоятельство, не менее серьезное и значимое, заставило США повести более решительную войну против ЮНЕСКО. Мир стоит на пороге применения еще одной победы научно-технической революции — введения в повседневный быт прямого спутникового вещания. В ближайшие два-три года США готовятся осуществлять 24-часовые телевизионные передачи через космос, охватив ими почти все страны и континенты. США вкладывают миллиарды долларов, чтобы к 1987 году вывести 75 спутников для прямых телевизионных передач (предполагается, что к концу текущего десятилетия число их превысит 120). После выхода из ЮНЕСКО администрация Рейгана автоматически перестала считаться с существующими международными нормами, развязав себе руки для ведения такой пропагандистской деятельности, которая полностью соответствует американской гегемонистской политике. Но, лишний раз выказывая полное пренебрежение к международным организациям, демонстрируя свой изоляционизм и высокомерие, США безнадежно теряют международный авторитет.

В 1984 году с разных уровней правящей администрации в Вашингтоне непрерывно диктовались условия, которые ЮНЕСКО должна была выполнить, чтобы США пересмотрели свое решение о выходе из Организации. Все они сводились к одному основному требованию: ЮНЕСКО должна пренебречь интересами 150 стран и целиком подчиниться политике США. Поначалу Рейган считал, что он будет удовлетворен, если М'Боу подаст в отставку. Для этой цели США предприняли клеветническую кампанию против Генерального директора ЮНЕСКО. Американский «свободный поток инфомации» полился по заранее подготовленному и дирижируемому из США сценарию, который должен был убедить миллионы людей в том, каким коррумпированным и одновременно некомпетентным является руководство международной организации. В американской печати стали появляться сообщения о плохом ведении документации и расхищении огромных средств, обвинения в нерациональном использовании бюджета ЮНЕСКО. США потребовали провести финансовую ревизию. Обвинения в расточительстве в устах видных идеологов и политиков США прозвучало парадоксально. Ведь известно, что именно США тратят 1500 тысяч долларов в минуту на военные цели, что 500 тысяч ученых заняты исследованиями в одной лишь военной сфере, что развивающимся странам было предоставлено в виде военной помощи 400 миллиардов долларов, а экономической — всего только 25 миллиардов.

Напряжение нарастало. 21 марта 1984 года вечером в штаб-квартире ЮНЕСКО в нескольких местах вспыхнул пожар — враги ЮНЕСКО не удовлетворились одними угрозами, а перешли от угроз к действиям. После этого преступления в американской печати появились клеветнические статьи, авторы которых объявили инициатором пожара М'Боу, который-де таким образом решил уничтожить «следы злоупотреблений». В борьбе против ЮНЕСКО США использовали широкий диапазон проверенных методов и средств — шантаж, компрометацию, ложь, клевету, грубый нажим, преступления, угрозы.

Пустив в ход давление — политическое, экономическое, идеологическое, США стараются склонить к выходу из ЮНЕСКО другие государства.

Заявления Великобритании о выходе из ЮНЕСКО объясняются не только ее «преданностью» США. Нельзя забывать, что борьба за новый информационный порядок затрагивает интересы английских «гигантов информации» — агентства Рейтер, Би-би-си и других. США надеются, что их примеру в отношении ЮНЕСКО последуют и

некоторые другие страны — «жест послушания» обеспечит им несколько десятков миллионов долларов военной помощи, однако это ни в коей мере не ослабит острой конкуренции между империалистическими державами.

В марте 1984 года США и несколько западных государств — членов ЮНЕСКО представили Генеральному директору М'Боу список перемен, которые следовало бы осуществить в кратчайшие сроки. Инициатором и организатором разработки этого «документа», озаглавленного «Кризис в ЮНЕСКО», были США. Одно из главных предложений в нем касается изменения системы голосования в ЮНЕСКО, которое позволило бы западным странам усилить контроль над расходованием средств, то есть они предлагали ввести право на вето как форму голосования и в этой сфере деятельности Организации.

Причина недовольства западных держав заключалась в том, что их предложения не принимаются большинством государств-членов, в то время как они вносят значительные суммы в бюджет ЮНЕСКО. Поэтому они настаивали на том, чтобы разрешить странам, вносящим в бюджет крупные суммы, пользоваться правом вето. В указанном документе предлагается свернуть Крупную программу I ЮНЕСКО, сформулированную по инициативе М'Боу и предусматривающую изучение проблем в связи с перспективными целями, стоящими перед всем миром. Западные «оппоненты» заявляют, что эта программа — напрасная трата времени и средств, она побуждает ЮНЕСКО занимать враждебные Западу позиции по разоружению и другим проблемам, выходящим за рамки ее компетенции, и ограничивать свободу информации. Так, США попытались вновь, с помощью коллективного ультиматума, заставить ЮНЕСКО отказаться от своих идей. Более тщательный анализ списка подписавшихся под «Кризисом в ЮНЕСКО» в значительной мере выявляет причины появления этого документа, а также и его цели. Кроме того, он обозначает пределы возможностей США диктовать свою волю другим странам, интересы которых не во всем совпадают с американскими, но политическое бессилие которых делает их послушными марионетками в руках самого мощного империалистического государства.

В одном из ноябрьских номеров за 1984 год «Интернэшнл геральд трибюн» рассказала о состоявшихся в Нью-Йорке и Вашингтоне пресс-конференциях, на которых представители Исполнительного комитета Национальной комиссии США по делам ЮНЕСКО заявили, что участие в организации принесло большую пользу правительственным и частным организациям в США. Заместитель председателя комиссии заявил, что, когда в США обсуждались вопросы ЮНЕСКО, факты извращались, важные обстоятельства замалчивались, серьезные дискуссии были скомпрометированы догматическим подходом. В таком же духе высказался и один из членов этой комиссии Самюэл де Пальма, выразивший удивление тем, что большинство в комиссии поддерживает ЮНЕСКО, а администрация Рейгана игнорирует мнение этого большинства, ссылаясь на то, что оно «не совпадает с принятыми политическими решениями». Национальная комиссия старательно перечислила все выгоды дальнейшего участия США в Организации, сделанный ею анализ показал и возможный урон, который причинит США выход из Организации,— моральный, политический, культурный и финансовый, тоже, кстати, имеющий немалое значение (одна только зарплата американских чиновников в ЮНЕСКО превышает 12 миллионов долларов).

Но правительство, вопреки всем этим доводам, вывело США из ЮНЕСКО.

Не добившись того, чтобы навязывать свое мнение и диктовать содержание резолюций и документов относительно будущего международного информационного обмена, США заявили о своем выходе из ЮНЕСКО. Это было для них единственной возможностью не соблюдать никаких общепринятых международных принципов и решений, руководствоваться лишь своими экономическими, политическими и идеологическими интересами и развернуть информационную экспансию.

В Вашингтоне назвали это единственным полезным решением. Это мнение неоднократно подчеркивали в первую очередь государственные служащие из администрации Рейгана. Как правило, они истолковывали этот международный политический акт американского правительства как «выгодное», «полезное», «лучшее решение», как «разумный выход» и т. п. Но в чем состоит выгода для США? Только наивные люди могут поверить, что 86 миллионов долларов, вносимых США раз в два года,— разорительный расход. Эта сумма составляет 1/6000 часть военного бюджета США. Теперь Соединенные Штаты будут предоставлять «помощь» не всем развивающимся странам, а лишь тем из них, правительства которых будут послушно исполнять американские приказы и откроют двери транснациональным корпорациям, как отмечает «Интернэшнл геральд трибюн». В данном случае эта «помощь» становится инструментом манипулирования и нажима на правительство «нуждающейся» страны. Кроме того, немаловажно и то, что Соединенные Штаты, пытаясь создать американскую «империю коммуникаций», хотят навязать миру свои прямые телевизионные передачи, а вместе с ними и свои интересы.

Именно против такой информационной агрессии и выступает ЮНЕСКО. В трудной политической, экономической и моральной битве международная организация отстаивает интересы десятков стран, поставивших своей целью создать национальные и региональные информационные системы.

София, сентябрь 1985 г.

◆

ПАМЯТИ
Льва Залмановича ЭЙДЛИНА

28 октября 1985 г. скоропостижно скончался Лев Залманович Эйдлин, выдающийся советский ученый-китаист, крупнейший переводчик китайской поэзии, ветеран партии, доктор филологических наук, заведующий сектором литературы Дальнего Востока и Индо-Китайского полуострова Института востоковедения АН СССР, профессор, Заслуженный деятель науки РСФСР, член Союза писателей СССР, член редколлегии и постоянный автор нашего журнала.

Диапазон научной, творческой и общественной деятельности Льва Залмановича был столь широк, что трудно определить меру утраты, которую его смерть принесла советской науке и культуре, всем нам, его друзьям и коллегам. Ушел из жизни блистательный знаток и исследователь китайской и, шире, дальневосточной классической и современной поэзии и литературы, человек не только глубоко чувствовавший и знавший историю культуры Китая, но умевший также ярко и тонко, со своей, только ему присущей интонацией, передавать другим живое чувство сопричастности всему, что составляет вершины взлета китайской духовной традиции, и мудрость понимания испытаний, выпавших на долю Китая за многие века его истории.

Лев Залманович Эйдлин создал свои принципы перевода китайской поэзии, перевода высочайшего класса. В востоковедении давно общепризнано понятие «школа В. М. Алексеева» — ее продолжением и развитием в филологии можно назвать «эйдлиновское направление», важнейшая индивидуальная черта которого — строгость перевода. Своими статьями, переведенными на иностранные языки, докладами и выступлениями за рубежом Л. З. Эйдлин достойно представлял советскую востоковедную науку.

Лев Залманович Эйдлин родился 5 января 1910 г. в Чернигове. В 1932 г. вступил в члены ВКП(б). В том же 1932 г. стал студентом Московского дирижаблестроительного института; в 1935 г. перешел в Московский институт востоковедения, который окончил в 1937 г. После аспирантуры в 1940 г. работал старшим преподавателем китайского языка в Институте востоковедения, а в 1942—44 гг. — старшим преподавателем и начальником кафедры Военного Института иностранных языков Красной Армии (ВИИЯ КА). С 1944 г. Лев Залманович постоянно работал в Институте востоковедения АН СССР.

Одной из любимейших, а потому и магистральных тем исследовательской и переводческой работы Л. З. Эйдлина было творчество Тао Юаньмина (365—427). Ему посвящено самое фундаментальное исследование — «Тао Юаньмин и его стихотворения» (Москва, 1967), за которое Л. З. Эйдлину в 1968 г. было присвоено звание доктора филологических наук. Переводы этого поэта составили также сборник «Тао Юаньмин. Стихотворения» (Москва, 1972) и вошли в другие сборники и журнальные подборки (например, сборник «Китайская классическая поэзия», Москва, 1975, 1984). Верность Л. З. Эйдлина поэтическому творчеству Тао Юаньмина в немалой степени предопределена его собственной позицией в вопросах этики творчества, соотношения традиционных методов и ценностей с исследовательской новизной. Лев Залманович был стойким приверженцем новаторства, смягченного традицией и, таким образом, не попирающего предшествовавших достижений человеческой культуры.

Те же темы привлекали внимание Л. З. Эйдлина (а благодаря его переводческому таланту и внимание читателей) к поэзии Ли Бо, Ду Фу, Бо Цзюйи и других китайских классиков. И последней публикации переводов, сопровожденных вступительной статьей и комментариями Л. З. Эйдлина в № 10 «Иностранной литературы» за 1985 г., предпослан заголовок: «Человек в китайской классической поэзии».

Этика научного творчества и научного общения, преемственность поколений ученых отражаются в ряде его трудов историко-культурологического, науковедческого плана — во вступительных статьях к различным книгам, среди которых на первое место должны быть поставлены статьи, открывающие посмертные издания трудов академика В. М. Алексеева («Китайская народная картина», Москва, 1966; «Китайская литература», Москва, 1978; «Наука о Востоке», Москва, 1982).

Льва Залмановича, всегда перегруженного творческой работой и организационными заботами, отличало удивительное умение сохранять исполненную достоинства неторопливость. Он никогда не писал наспех — его служение науке и поэзии не знало суеты.

Облик Льва Залмановича Эйдлина, его ни с кем не схожий творческий и человеческий голос сохранятся в памяти всех, кто знал его, имел счастье учиться у него или хотя бы просто слышал его выступления, читал его переводы и статьи. Все это и складывается в яркий образ большого ученого и литератора.

Коллектив редакции

АНДРЕЙ ПЛАХОВ

МЫ ЖИВЕМ В ОДНОМ ДОМЕ...

Заметки о XIV Московском кинофестивале

...Париж времен гитлеровской оккупации. Режиссер театра на Монмартре, беженец из Германии, прячется в подвале от расистских преследований, препоручив руководство труппой своей жене-актрисе. Нацисты расхаживают по увеселительным заведениям, пресса захлебывается в антисемитских злобствованиях, гестапо занято разбирательством доносов и арестами подозрительных лиц. В самом центре города взрывается бомба — это действует Сопротивление. А в сумерках, пока позволяет комендантский час, парижане стекаются в театр. Что это — бегство от ужасов войны в мир иллюзий? В том, как решает тему взаимосвязи искусства и действительности Франсуа Трюффо в фильме «Последнее метро», видится другое: неистребимость духовной жизни даже в самые тяжкие часы истории. «Туманная скандинавская пьеса», которую репетируют актеры театра на Монмартре, пусть в опосредованной форме, выражает неприятие подавляющим большинством французского народа зла и насилия, которые принес человечеству фашизм.

Примерно в то же время, только по другую сторону Ла-Манша, происходит действие английского фильма «Костюмер» (режиссер Питер Йейтс). Под грохот бомбежки и хлопанье зениток на провинциальной сцене разыгрывается бутафорская буря из «Короля Лира». Казалось бы, что́ этим уставшим от невзгод и недоедания людям веками отыгранный Шекспир? Но оказывается, страсти, раздирающие его героев, метания между добром и злом имеют самое непосредственное отношение к событиям в современном мире. Не только потому, что искусство моделирует вечные ситуации и конфликты. Но и потому также, что сам факт существования неравнодушного, думающего и взволнованного искусства по природе своей противостоит силам зла и разрушения, несет в себе начало творческого активного гуманизма.

Обе картины были показаны на XIV Московском кинофестивале: одна в ретроспективе французского режиссера Франсуа Трюффо, другая — во внеконкурсной программе. И обе, несмотря на камерность положенных в их основу психологических коллизий, оказались в весьма характерном круге размышлений прогрессивного кино о роли, которую способно сыграть гуманистическое искусство в раздираемом противоречиями мире. И потому закономерным было то, что в соседних залах кинотеатра «Зарядье» шли ретроспективные показы фильмов Григория Козинцева в свое время перенесшего на экран и гоголевскую «Шинель», и «Гамлета», и «Короля Лира», и «Дон Кихота» — третья, самая значительная по масштабу ретроспектива, собравшая лучшие произведения антифашистского и антивоенного кино из разных стран.

Казалось, большинство включенных в нее и по-своему этапных лент было нам давно хорошо знакомо. Но показанные вместе, они свидетельствовали не только о том, что их идеи и пафос не устарели; взаимодействие разных картин, с присущим каждой из них авторским и национальным своеобразием, дало как бы новое более объемное измерение нашему восприятию. И мы с

ПЛАХОВ АНДРЕЙ СТЕПАНОВИЧ (род. в 1950 г.)

Советский кинокритик, кандидат искусствоведения. Автор статей и книг о советском и зарубежном кино.

особенной отчетливостью осознали: антифашистская тема — не временное, не локальное явление в киноискусстве; и хронологически, и, главное, художественно она не вмещается в рамки первоначальных задач, выходит на виток вечного и самого современного спора о человеке и мире, о том, как сохранить этот мир открытым для будущего.

Между тем 1985 год, возможно, будет отмечен историками кино как поворотный в разработке сюжетов из эпохи второй мировой войны. За сорок лет, прошедших со времени ее окончания, таких сюжетов накопилось множество, но количественное накопление тем более взывало к принципиальным качественным сдвигам. Режиссеры, критики с тревогой заговорили о девальвации военного материала на экране. В одних случаях его формально использовали для построения остросюжетных жанровых моделей, в других — он обнаруживал власть канонов и штампов художественной трактовки. Чтобы быть полноценным явлением культуры и при этом вызвать живой интерес новых поколений зрителей, антифашистская тема должна была открыть невостребованные доселе ресурсы эмоциональности и философичности.

Когда на конкурсном экране фестиваля был показан советский фильм «Иди и смотри» режиссера Элема Климова — возникло общее ощущение закономерности такого поворота. Обнаженность трагедии, которую навязал нашему народу фашизм и которая показана в фильме жестко, без эстетических прикрас, была воспринята зрителями как суровое, предостерегающее послание. Послание людям 80-х годов, современникам нейтронной бомбы и «звездных баталий», готовых, по замыслам безумцев, перекочевать с экранов кинотеатров в масштабы целой вселенной. Гуманистическая сила советской картины задала тот высокий критерий мысли и чувства, по которому зритель и критика оценивали другие ленты московского смотра.

В дальнейшем из фестивальной панорамы мы выделим те произведения западного кино, которые имеют отношение к художественной постановке серьезных общественных и духовных проблем. Попытаемся понять, чем эти произведения, рожденные в иных общественных условиях, оказались близки нам и девизу Московского фестиваля.

«Верность, надежда и любовь», «Парень, у которого было все», «Дама в цвете» — эти ленты, представленные на конкурс кинематографистами Дании, Австралии, Канады, посвящены судьбам молодежи, столь часто драматичным в западном мире, и в этом смысле, безусловно, заслуживают доверия. Как и новозеландский фильм «Вожак», и финский — «Клан», и западногерманский — «Водцек». В большинстве из них есть тонко разыгранные лирические сцены — и есть осознание враждебности духовной атмосферы общества юным помыслам и чистым порывам. Нередко эти картины насыщены литературными, живописными и кинематографическими ассоциациями.

Вот, к примеру, «Дама в цвете». Бездомных детей привозят в католический приют под надзор воспитательниц-монахинь. Но сами дети, в свою очередь, обязаны ухаживать за душевнобольными, помещенными здесь же, в приютских стенах. Весьма своеобразно понятая идея «трудового воспитания»...

Абстрактная борьба добра и зла, о которой твердят монахини, окрашивает существование детей в унылые черно-белые тона. И единственным источником «живой жизни» становится для воспитанников безумный художник, который рисует фантастические, странные картины. Среди подростков вспыхивает бунт, и большинство героев ленты бежит из приюта. Уходит и одна из воспитательниц, срывая с себя монастырские одежды и превращаясь в ту самую «даму в цвете», пленившую ребят на полотне художника. Но финал картины, живописно стилизованный под «безумный мир» Босха, горек: искренняя и чистая девушка Аньес, ставшая жертвой религиозных проповедей и не решившаяся порвать с приютом, пополняет контингент пациентов психиатрической лечебницы.

Характерно, что в фильме канадского режиссера Клода Жютра́ воспитательное заведение для подростков являет собой как бы модель общества. Отчасти этот же прием использован в картине «Вожак» (режиссер Майк Уокер), только там вместо приюта мы попадаем в исправительную колонию для несовершеннолетних. Впрочем, новозеландская лента грешит облегченностью в разрешении конфликта, а сама атмосфера жизни в колонии выглядит приукрашенной.

И это не частный недостаток одного фильма. Во многих западных картинах о молодежи художественный мир слишком элементарен, тоже по-своему «двухцветен», он то отдает розовой сентиментальностью, то низвергается в бездну «черных» психических аномалий.

Удивительно: сходные процессы, общность мироощущения художников с близким возрастным и социальным опытом порождают однотипные художественные конструкции в столь далеких — хотя бы в

Юным героям нелегко отстоять чистоту своих идеалов.

(«Верность, надежда и любовь», Дания)

географическом смысле—кинематографиях. В фильме датчанина Билле Аугуста «Верность, надежда и любовь» мы встречаемся с тщательно воссозданной атмосферой 60-х годов, сталкиваемся с психологическими проблемами молодых людей. И в художественном плане эта лента знакомого нам режиссера (на прошлом Московском фестивале был показан его фильм «Заппа») не уступает другим молодежным картинам аналогичного строя. В них много красивых, одухотворенных юных лиц. Тем горше: сколько унизительного для человеческого достоинства приходится пережить героям, как трудно не сломаться, не поддаться соблазнам конформизма, отстоять чистоту своих идеалов!

Эти фильмы и призваны воспитать чувство ответственности, преподать нравственный урок. Задача, что и говорить, благородная. Однако недостаток профессионального опыта приводит к тому, что не всегда ощущаешь истинный драматизм существования молодых людей, видишь и сам их внутренний мир «в цвете», в реальной пестроте и противоречивости человеческих проявлений. А главное — хочется видеть более отчетливо выраженную авторскую точку зрения, поднятую до философской высоты, до художественного обобщения. Без этого иные «истории из жизни» рискуют остаться милыми зарисовками, не более того...

В картине известного итальянского режиссера Дамиано Дамиани «Человек из пиццерии» ставится иная задача — показать тлетворное влияние на молодую душу атмосферы страха, насилия, клановой подчиненности, которая сегодня как никогда расцвела в западном мире. Не случайно события фильма разыгрываются в Палермо, крупнейшем центре сицилийской мафии. В центре сюжета — судьбы двух братьев: старший, Марио, связан с заокеанским филиалом преступной организации, младший, Микеле, оставшийся без работы, праздно шатается по улицам; именно он наделен природным инстинктом гуманности и порядочности, который не позволяет ему стать профессиональным убийцей,— таким, в какого давно превратился его старший брат.

Центром сюжета, однако, оказывается не противостояние, а кровная, психогенетическая связь братьев. Не кто иной, как Марио в конечном счете помогает юноше сохранить свою личность и выпутаться из сетей преступного мира. Ради этого он идет на бунт против клана и в финале погибает. Структура мафии остается таинственной, а критика в ее адрес несколько абстрактной. Будучи, как и все фильмы Дамиани, произведением честным и актуальным, «Человек из пиццерии» остается все же в рамках кинематографа благих пожеланий: политический конфликт сводится в нем к дидактически преподнесенной нравственной дилемме.

По иным причинам не стали явлениями высокого художественного порядка некоторые другие итальянские фильмы, показанные в Москве. «Фортепьяно» Франчески Коменчини — о двух наркоманах, пытающихся излечиться от пагубной привычки,— ввиду его посредственного художественного уровня. «Секреты, секреты» Джузеппе Бертолуччи и «Бьянка» Нанни Моретти, поднимающие острейшие проблемы психологии терроризма и кризиса идей левацкого молодежного бунта,— из-за чрезмерной зашифрованности их содержания психоаналитическими схемами, введенными в узкоспецифический культурный контекст.

И тот и другой факторы определили неудачу западногерманской ленты «Ночь Каминского» (режиссер Михаэль Лан). Впрочем, здесь как раз не идет речь о трудности прочтения авторского замысла: напротив, этот замысел давит на восприятие, диктуя ему прежде всего эмоциональные, рефлекторные реакции. Смотреть на то, как «блюститель закона» Рольф Каминский на протяжении условной «ночи» в полицейском участке садистски измывается над своими жертвами,— более чем тягостно. И дело даже не в патологической жестокости, которой переполнен экран, к финалу буквально заваленный трупами. Дело в том, что, вопреки усилиям актера Клауса Лёвича проникнуть в бездны подсознания своего героя, его жестокость получает крайне банальное и вульгарное объяснение. Оказывается, неудовлетворенная любовь к жене, женщине, в свою очередь, неудовлетворенной, мстит за себя уродливыми выплесками дикой злобы, жертвами которой оказываются все — и любовник жены, и случайно подвернувшаяся больная неустроенная девчонка, и в итоге сам Каминский. Замахнувшись на исследование корней социального насилия, авторы приходят к чисто биологическому его обоснованию, а фильм обретает явный оттенок бульварщины.

На иной уровень размышлений мы выходим, встречаясь с фильмами художников «большого стиля». В них находят отражение те же весьма острые проблемы буржуазного общества, но осмысляются они в иной системе координат. Эти ленты не просто полны ассоциаций; они сами существуют в русле исторического движения философской мысли и духовной традиции.

Французский фильм «Деньги» дает возможность прожить полтора часа в мире Робера Брессона — в аскетичном мире страстей, спрятанных глубоко внутри человеческой души и выходящих наружу лишь чередой внешне бесстрастных поступков. Возможность, прямо скажем, не частую: за 78 лет своей жизни режиссер снял немногим более десятка картин.

Для русского зрителя «Деньги» представляют особый интерес: в основу фильма положена повесть Льва Толстого «Фальшивый купон». Повесть из тех, которые сам автор считал нравоучительными, при этом несущая на себе печать острой наблюдательности и духовных прозрений великого психолога.

Брессон принципиально антипсихологичен: его персонажи, которых никогда не играют знаменитые актеры, могут показаться одномерными. Но вглядитесь в их лица: в каждом из них, даже самом заурядном, есть отблеск потаенной красоты, но именно только отблеск, ибо источник света незрим, как незримо над их головой небо на протяжении почти всей картины. Небо мелькнет в кадре лишь однажды — когда

по улице пройдет немолодая печальная женщина, которой вскоре суждено стать жертвой избравшего преступный путь Ивона, главного героя фильма. Все остальное время, когда люди на экране разменивают фальшивые купюры, предстают перед лицом закона и лжесвидетельствуют, когда воруют, покрывают или предают друг друга и, наконец, отнимают последнее, что есть у человека — жизнь, мы ощущаем низкую, локальную точку съемки, как бы давящую, пригибающую героев, замыкающую их в стенах квартир, магазинов, судебных помещений и тюремных камер.

Мы не видим отражения душевной жизни в их глазах, не слышим человеческих нот в диалогах. Самые страшные поступки совершаются молча и деловито, без надрывов и аффектов, самые тяжкие потрясения переживаются бессловесно и бесслезно. В этой гулкой тишине и безмолвии существует только один персонаж, который выделен особо,— это деньги, «презренный метал», а фактически разрушающие человеческую душу бумажки, переходящие из рук в руки. И в связи с этим сами руки, хватающиеся за топор... И не только руки. Крупно акцентированная деталь — развернутая карта Парижа, по которой выверен план ограбления, или письмо жены Ивона, где она сообщает о том, что уходит от него,— становится в фильме сквозным приемом. Брессон — один из немногих режиссеров современности, которые работают в классической манере, близкой немому кино с его приверженностью к крупному плану, к детали, к отраженному действию. Так отраженно показано и самое страшное преступление Ивона: мы не видим, как он убивает целую семью, видим только лежащие бездыханные тела, мечущуюся собаку, слышим удар топора по лампе, от которого гаснет последний отблеск света на лице той самой печальной женщины, приютившей героя и безвозмездно творившей добро.

Говорят, фильм сделан под знаком не столько Толстого, сколько Достоевского, которого Брессон в свое время экранизировал. Но разве двух гигантов русской литературы не объединяет отвращение к бескрылому прагматизму, который ведет к пониманию свободы как материального процветания и моральной вседозволенности? В своем нравственном максимализме Брессон близок к Толстому: нет маленького зла, а есть его большие последствия. Разумеется, при этом Брессон остается художником своего времени и общества. Эскалация зла, эта вечная проблема, введена режиссером в контекст тревожных раздумий о судьбах личности и морали, о той бездуховной атмосфере, которая формирует на Западе поколение, стоящее на пороге самостоятельной жизни.

Труднее понять, откуда рождается в фильме толстовская идея «поглощения» зла добром. Скорее всего, из статичной, но внутренне напряженной, напоминающей фламандскую, живописи человеческих портретов. Они словно несут в себе возможность сострадания и очищения. Финальное признание Ивона в содеянном — следствие неистребимости, странной «живучести» добра. В отличие от Толстого

Этот фильм Висконти — трагическая сага, представляющая фашизм в зеркале истории и морали.

(«Гибель богов», Италия)

Брессон не развивает тему «наказания», нравственного перерождения героя. Это фильм о преступлении, которому потворствуют корысть, ложь, разобщенность людей, слепой случай, всегда враждебный человеку.

Если Брессон исследует «будничный» лик современного аморализма, некоторые фильмы, показанные в антифашистской ретроспективе, ставят вопрос об исторических корнях его. И находят эти корни в ницшеанстве и декадансе, которые явились своего рода «культурным удобрением» общественной почвы, взрастившей фашизм.

Крупнейший итальянский режиссер Лукино Висконти — антифашист по убеждениям, по фактам личной биографии, по сквозным мотивам творчества. И все же именно «Гибель богов» — одна из художественных вершин «висконтианы» — единственный фильм мастера, прямо и непосредственно показывающий, что́ есть фашизм в зеркале истории и морали. Эта трагическая монументальная сага — один из самых сильных образцов мирового антифашистского кино, и вполне понятно, что она оказалась в центре внимания зрителей ретроспективы.

Известно, что работе над картиной предшествовала идея создать экранную версию современного «Макбета» — неумирающего сюжета о губительности кровавой власти. Позднее центр тяжести замысла был перенесен в сферу немецкой культуры. В подтекстах фильма возникли переосмысленные Висконти мотивы из Гёте и Ницше, Вагнера и Томаса Манна. На материале немецкой истории удалось особенно глубоко проследить, как фашизм, который отнюдь не сгинул с крахом гитлеровского рейха, рождается из определенного соотношения общественных сил, но является также манифестацией зла, подтачивающего буржуазную культуру, зримым свидетельством ее вырождения.

...Одно за другим в семье, владеющей гигантскими сталелитейными заводами, происходят убийства: сначала главы династии, затем его сына, наконец, вдовы другого сына и ее нового жениха. Через всю картину проходит образ младшего наследника династии Мартина. Юноша с болезненной психикой оказывается под влиянием эсэсовца Ашенбаха, натравливающего его на мать, которую сын в итоге подвер-

гает грубому насилию и принуждает совершить самоубийство.

Чтобы понять, для чего Висконти понадобилась столь жестокая, исключительная коллизия, надо проникнуть в глубинную структуру фильма, пронизанную античной символикой. В мифологическом сознании прочно закрепилась связь понятий «мать— кровное родство — родина». Надругательство над матерью, которое совершает тиран,— величайшее преступление против природы и родной земли, в конечном счете самоубийственное. Именно таким злом становится фашизм для Германии. Если античных героев преследовал рок, то суд над современными тиранами, ослепленными властью, возомнившими себя богами,— это суд самой Истории. Финальные сцены фильма с их, казалось бы, безысходным трагизмом полны предчувствия очищающей исторической расплаты.

Пятнадцать лет назад, когда картина только появилась, она вызывала и споры и упреки. Одни вменяли ей в вину академизм и эстетство, другие — искажение подлинных реалий и подмену их формулами аналитической психологии. Прошли годы — и стало очевидно, что сложность культурно-символического контекста ничуть не мешает проявиться главному историческому смыслу. Висконти, делавший картину «на все времена», утверждает гибельность пути под фашистским знаменем, показывает обреченность союза духа со злом.

Можно привести и другие примеры, когда показанные в ретроспективах далеко не новые работы крупных мастеров заметно влияли на качественный уровень всего фестиваля и пользовались явным предпочтением московской публики. Среди них и такие, в которых духовный антифашизм находит опосредованное, но весьма сильное художественное выражение, будучи преломлен сквозь призму жанра условности, где важную роль играет лейтмотив-метафора. Таково знаменитое «Кабаре» Боба Фосса, фильм, который, сколько бы ни смотреть его, доставляет огромное художественное наслаждение и вместе с тем далек от развлекательной «приятности». Бравурная драматургия мюзикла помогла его создателям гротескно представить среду зарождения фашистской психологии и морального попустительства бредовым шовинистическим идеям.

Другим важным произведением метафорического плана, исследующим корни «чумы двадцатого века», явился испанский фильм «Черная стая» режиссера Мануэля Гутьерреса Арагона.

По некоторым внешним признакам картина напоминает структуру «Гибели богов», только главный герой здесь еще моложе, совсем мальчишка, и это обстоятельство вступает в резкий контраст с той нечеловеческой, бессмысленной жестокостью которую выказывает Татин (так зовут героя). Первый — реалистический — слой фильма вскрывает подрывную деятельность фашиствующей группы, громящей книжные магазины и другие центры левых сил. Здесь же следует рассказ о мальчике который делает три кровавых надреза на ладони, клянясь выполнить три условия, чтобы стать «настоящим мужчиной» и полноценным членом группы.

Дальнейшее, однако, столь невероятно, что напоминает дурной сон. Тринадцатилетний мальчишка сходится с взрослой молодой женщиной, даже испытывая при этом подобие любовного чувства, но сразу же после момента интимной близости зверски ее убивает с возгласом: «Испания! Испания!» Так герой фильма освобождается от «обязанности любить». Потом он закапывает мертвое, все еще прекрасное тело в лесу и втыкает в могилу молодое деревце с корнями. Смыв с себя кровь в реке, Татин бежит затем к шоссе, где стоит машина с оставленной в ней маленькой дочерью убитой. Наверняка он не пощадил бы и ее. Но девочка исчезла...

Ясно, что трактовка подобного финала может быть только символической. Татин живет уже в послефранкистский период, но он, как и его единомышленники, весь пропитан миазмами фашистской эпохи, ее гнилостной романтикой. Подобно Татину, франкизм, начинавший с националистической фразеологии, с прокламируемого «культа родины», на деле самым жестоким образом терзал живое тело нации. А ее душа, подобно ребенку из машины, была спасена вопреки грозившей и ей смертельной опасности.

Еще Сократ утверждал, что жизнь тирана подобна жуткому, инфернальному сновидению: «Освободившись от связующей силы общего для всех закона, он попадает в ситуацию полной вседозволенности и безответственности, его своеволие высвобождается из-под власти всех запретов и заветов, как это случается в сонном забытьи». Испанское кино буквально одержимо мотивом тирании; когда-то в силу цензурных обстоятельств, а теперь вследствие сложившейся традиции оно пользуется при этом условным, метафорическим языком: Да и вся атмосфера наиболее серьезных испанских фильмов представляет собой развернутую метафору: она соотносится с реальностью так же, как «вещий сон», не допуская буквализма в его трактовке и сообщая экранному миру качества глубоко субъективного восприятия. С этим связан и столь важный для нового испанского кино мотив детского инфантильного сознания. Он проходит через многие фильмы Карлоса Сауры, через картину того же Арагона «Демоны в саду».

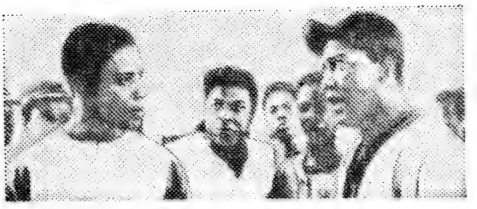
Надо учитывать все эти моменты, чтобы понять замкнутый метафоричный мир испанских фильмов, многие из которых художественно значительны и связаны между собой как бы системой взаимных аргументов. Почему, например, в «Черной стае» женщина, олицетворяющая Испанию, показана столь терпимой к проискам фашиствующих юнцов? Не было бы преувеличением сказать, что, прежде чем стать их жертвой, она с ленивой расслабленностью и мазохизмом поощряет действия «стаи».

Косвенный комментарий к этому дает другой испанский фильм — «Стико» режиссера Хайме де Арминьяна. Его герой — профессор-интеллектуал, переводящий Вергилия и Цицерона, знающий все тонкости римского права и философско-юридиче-

ские системы позднейших эпох. К какому же выводу приходит в результате своих изысканий дон Леопольдо? «Абсолютно бесполезно»,— пишет он на своей научной картотеке. И объясняет собственную позицию: лучше всего, видите ли, жили рабы в Риме, ибо, в отличие от патрициев, они не несли никакой ответственности. Не хочет нести ответственность и дон Леопольдо: приняв имя Стико, он отказывается от конституционных прав гражданина и идет в добровольное рабство к своему бывшему ученику, преуспевающему публицисту и политическому деятелю. Отныне Стико, повесивший на себя бирку раба, превращается в обслуживающий персонал: он моет посуду, работает на птицеферме, пишет хозяину доклады и переводит его дочке латинские тексты...

Смысл этой философской трагикомедии многозначен. В ней прочитывается и сатира на общество, в котором, лишь продав свой ум, интеллектуал получает иллюзию внутренней духовной свободы, а заодно... средства к существованию (ведь прежде чем стать рабом, дон Леопольдо находился на грани нищеты). И все же наиболее интересен образ самого героя, построенный остропарадоксально. Этот человек, не желающий участвовать в политических играх современной буржуазной демократии, видящий насквозь всю ее показушность, предпочитает круг конкретных, «безличностных» обязанностей. Он и впрямь вызывает симпатию своей человечностью, толикой внутреннего достоинства, которое умудряется сохранить в самых унизительных обстоятельствах. Но есть в герое и нечто прямо противоположное. Живой человеческой болью и одновременно самым едким сарказмом наполняет образ Леопольдо-Стико замечательный актер Фернандо Гомес (он же автор сценария). Конечно, перед нами гротеск, но вырастающий из живой испанской действительности, в которой наследие франкизма породило неверие в разум и прогресс, безволие, пессимистические настроения, в том числе в среде интеллигенции. Недаром Стико говорит: «Война прошла, и я сдаю позиции» Своей экстравагантной выходкой герой фильма не только решает собственную судьбу, но, по существу, потворствует насильственной власти.

Как оказалось возможным, например, в эпоху телевидения и всеобщей информации то, что случилось в лесных чащах Амазонии и послужило сюжетной основой бразильской ленты «Семена мести» (режиссер Зелито Виана)? По заданию капиталистической компании, которая ищет доходные земли, банда наемных убийц, оснащенная автоматами, гранатами и даже самолетом, учиняет расправу над мирным индейским племенем аваете, буквально стирая его с лица земли. Самолет появляется и в фильме крупного западногерманского режиссера Вернера Херцога «Там, где спят зеленые муравьи»; и в этой картине мы становимся свидетелями того, как горнорудная компания позарилась на права одного из племен, хотя действие на сей раз происходит в глубинных районах Австралии. Отчаявшиеся аборигены садятся в «летающую машину белых людей», надеясь попасть в



Картина уродливой деформации человеческой психики предстает перед нами в ленте «Армейская история». США.

мифическую страну своих верований, и сами погибают при этом. Им тоже нет места на делающейся все более тесной планете...

Сходство гуманитарной проблематики обеих картин, в художественном плане весьма различных, вытекает не только из экзотичности материала — с точки зрения европейского восприятия. Расовая нетерпимость, рознь и насилие способны давать дикие всплески не только в местах, удаленных от центров человеческой цивилизации, но и там, где она культивируется испокон веков. Кинематограф, исследуя корни так называемого бытового расизма, показывает, сколь сложно переплетаются в них самое примитивное стяжательство, косная власть предрассудков и порой весьма «утонченные» идейные мотивы, раздувающие этнические различия и национальную исключительность.

В фильме французского режиссера Роже Анэна «Адский поезд» использован документальный факт: осенью 1983 года трое будущих наемников — солдат «иностранного легиона» избили и выбросили из железнодорожного экспресса алжирца на трассе Бордо — Вентимиль. Подлинное происшествие, которое можно было бы квалифицировать по разряду обыкновенной уголовщины, художественно переосмыслено авторами картины: они пытаются обозначить более глубокую связь между расистскими настроениями, поесловутым лозунгом «Франция для французов» и идейным наследием фашизма, находящим опять-таки убежденных апологетов даже в среде интеллигенции.

Сходный, но вместе с тем совершенно иной случай прослеживает в зоей «Армейской истории» маститый американский режиссер Норман Джюисон, снявший когда-то знаменитую антирасистскую картину «В душной южной ночи». Опять убийство, теперь уже сержанта-негра, и опять расследование. Но не конфликт между чернокожим следователем-капитаном и белым офицерским окружением, не явные симптомы расизма занимают нас: эта линия картины решена традиционно, побуждая вспомнить многие другие антирасистские фильмы. Интересен сам психологический облик убитого сержанта: в его плоть и кровь въелись поощряемые официальной пропагандой представления о неполноценности негритянской расы, и методы, с помощью которых он руководит своими же собратьями, недалеки от фашистских.

Картина об уродливых деформациях людской психики оказывается у Джюисона объемной еще и потому, что ее события разыгрываются в дни второй мировой

войны, в американской армии, которая, как известно, сражалась с нацизмом. Важно, однако, не только время, но и место действия: Юг США, эпицентр расовых конфликтов, глубоко уходящих корнями в американскую историю, а своими «разветвленными» последствиями — в сегодняшний день. И если по времени, которым датированы события, фильм перекликается с экранизацией романа Уильяма Стайрона «Софи делает выбор»[1], то по историческим и географическим связям он оказывается ближе еще одной американской картине — «Место в сердце».

Фильм «Софи делает выбор» интересен прежде всего высоким качеством актерского исполнения: главную роль играет Мэрил Стрип, придавая фильму глубокую психологическую убедительность даже там, где режиссер Алан Пакула остается в рамках довольно приблизительных представлений о том, чем жила Европа в черные дни фашистской оккупации. Ощущение глобального кошмара, нависшего над человечеством, звериный лик нацизма, готового уничтожить каждого «неарийца», — все это передано через изломанную, на грани безумия, реальность потрясенного сознания, но при этом исторический фон фильма остается условным в своей подчеркнутой живописности.

Напротив, картина «Место в сердце» привлекла американцев выразительным воссозданием материальной среды эпохи экономического кризиса 30-х годов — среды, еще не тронутой всеобщей машинизацией и хранящей известную патриархальность отношений. Впечатляет и образ самоотверженной женщины, матери двоих детей, вынужденной после смерти мужа в одиночку тянуть каторжную лямку на хлопковом поле (в роли Эдны — Салли Филд).

Что касается социально-нравственной концепции, то в фильме Роберта Бентона «Место в сердце» (советские зрители помнят его ленту «Крамер против Крамера») нетрудно заметить черты консервативной утопии, в которой утраченная прелесть нежных и преданных семейных отношений соседствует с декларативно поданной идеей расового мира. Погибший от руки пьяного негра муж Эдны «отомщен» традиционным для американского Юга способом: убийца подвергнут суду Линча. Зато сама Эдна, храня для мужа законное место в сердце, полна мудрой терпимости, а в финале, где негры и белые собрались на религиозную службу, выступает провозвестницей всеобщей гармонии. Да, фильм осуждает насилие. И однако же если бы все было так просто...

Насколько нелегко в действительности сломать социально-психологические барьеры, воздвигнутые между людьми разных традиций и культур, об этом свидетельствует фильм старейшего английского режиссера Дэвида Лина «Поездка в Индию» — экранизация романа Э. М. Форстера.

Поездка молодой английской леди к своему жениху в «страну чудес» поначалу воспринимается как завязка мелодрамы в стиле «ретро» (действие происходит в 20-е годы), с выигрышным налетом восточной экзотики. Но богатая тончайшими нюансами игра актрисы Джуди Дэвис, умелая поддержка со стороны ее партнеров и тщательная, несколько старомодная режиссура неожиданно рождают новое качество. Наблюдая в ходе неторопливого повествования за тем, как героиня фильма Адела вступает в неосознанный пока разлад с чопорными нравами местного английского клуба, как она испытывает все большее отчуждение к самодовольному, недалекому жениху и тянется к интеллигенту-индийцу Азизу, в котором угадывает целый неведомый ей мир, мы осознаем, какая пропасть грозит поглотить столь естественное стремление людей друг к другу.

Эта пропасть, о которой охотно распространяются «британские патриоты», поглотила бы и Аделу, и обвиненного в изнасиловании Азиза — абсурдное недоразумение было бы возведено тенденциозным судом в ранг еще одного свидетельства «порочности» чуждой расы и вписалось бы очередной строкой в летопись несправедливостей, совершенных по расистским мотивам. Если бы... Если бы сама молодая англичанка не нашла в себе сил пойти против воли своих соотечественников и искусственно возбужденного «общественного мнения», прислушаться к внутреннему голосу доверия и отказаться от обвинения.

Голос доверия... Он звучит в фильме сильнее, чем набат народного гнева, хотя отзвуки зреющего краха британского колониального господства отчетливо слышны в финале. Но и этот тихий голос, аранжированный создателями картины с тактом и деликатностью, вписывается в общую мелодию человеческого взаимопонимания, порой готовую оборваться на трагически безысходной ноте, но возрождающуюся вновь и вновь.

Вдумываясь в существо конфликтов и отмечая общий гуманистический пафос фестивальных лент, осознаешь некое важное качество нынешнего кинематографа вообще. Являясь неотъемлемой частью культуры XX века, он ставит проблемы широкого гуманистического плана, стремится в лучших своих проявлениях быть на уровне сегодняшней философской мысли, сочетать современность истории, историзм современности.

Мы вспоминали кинематограф Висконти и Брессона. Произведением большой впечатляющей силы стал также «Хаос» итальянских режиссеров Паоло и Витторио Тавиани, основанный на сицилийских новеллах Луиджи Пиранделло. Так случилось, что он оказался во внеконкурсной фестивальной программе рядом с получившей на Западе высокие награды картиной «Париж, Техас», снятой в Америке западногерманским режиссером Вимом Вендерсом.

Тавиани и Вендерс сегодня — одни из самых авторитетных художников западноевропейского кино, признаны они и за океаном. Но пути, которыми каждый из них пришел к успеху, в корне различны, несхожи и «формулы» самого успеха.

Вендерс продолжает разрабатывать актуальную для всего западного общества проблематику человеческого отчуждения и

[1] См. главы из романа в «ИЛ», 1981, № 1.

тотального одиночества, знакомую—в классическом уже варианте — по двадцатилетней давности фильмам Антониони. Перед нами своего рода новый виток этой проблематики, казалось бы уже исчерпанной до предела. Дальнейшее движение в данном направлении оказалось возможно, ибо Вендерс нашел эмоциональный ключ к раскрытию доведенной до крайней степени бездуховности прагматической цивилизации. «Асфальтовые джунгли» современного Хьюстона показаны в фильме «Париж, Техас» как галлюцинация больного, дисконтактного сознания: она сродни воспаленному от жары зрению героя, бежавшего от «кошмара повседневности» и затерявшегося в техасской пустыне. Общение даже самых близких людей происходит противоестественным образом — через стекло дома свиданий, пропускающее свет только с одной стороны, а человека — с другой, заставляющее бесконечно вглядываться в зеркальную глубину собственного отчаяния.

Но Вендерс учел и тот факт, что современный зритель устал от интеллектуального холода авангардистских картин, и потому он оставляет для своих изверившихся героев возможность душевного соприкосновения. Здесь есть определенный компромисс с американской моделью мелодрамы, но налицо и потребность художника осветить свое полотно мерцающим светом надежды. Понятый и понятный всюду, фильм Вендерса апеллирует к простым человеческим чувствам. Это, бесспорно, «чувства добрые». И все же в данном случае не приходится говорить о явлении столь же самобытном, сколь и универсальном в культурном смысле. Определенное упрощение ситуаций и духовных конфликтов, внедрение в структуру картины элементов «китча» — все это взаимосвязано с космополитическим мировоззрением режиссера.

Напротив, братьев Тавиани часто упрекают в «регионализме». Однако «Хаос», как и предыдущая их работа — «Ночь святого Лаврентия», свидетельствует о другом. Замкнутый, архаичный мир крестьянской культуры (речь идет о сицилийской деревне начала века) может быть осмыслен с позиций остросовременных. Это ни в коей мере не обращенная в прошлое идиллия, а утверждение выработанных народом нравственных ценностей, хотя и поглощенных в значительной степени «обществом потребления», но по-прежнему образующих фундамент человеческой цивилизации. Когда речь идет о судьбе всего «здания», сохранение именно этих ценностей, а не вычурных надстроек становится первоочередной задачей.

И все зависит от того, решает ли ее художник-философ, проникнутый заботой об общем доме человечества, в котором мы все живем, или пассивный наблюдатель, поглощенный описанием частных сторон людского общежития, пользующийся для их преподнесения готовыми «рамками».

Подобные размышления тем более напрашиваются, что западное кино было представлено в нынешнем году в Москве крупными фигурами: это позволяет делать выводы если не обо всех, то об основных его тенденциях. Ведь сколь бы очевидной ни была коммерциализация западных экранов, сколь ни явен общий крен в сторону технических эффектов и «аттракционности», художественный процесс существует до тех пор, пока он окончательно не поставлен на конвейер, пока существуют творческие индивидуальности, способные вызывать наш живой, неослабевающий интерес. Поэтому мы замираем от одного имени Феллини и стремимся попасть на новую картину Бергмана, даже если «А корабль плывет...»[1] нас в чем-то разочаровал, а часовое знакомство с творческой мастерской шведского режиссера («После репетиции») показалось недостаточно ярким. Мы ждем потрясения от картин Франческо Рози, пускай сама встреча с его «Кармен» вызвала догадку, что крупнейший мастер политического кино оказался во власти всеобщего «оперного» поветрия. И мы — говорю «мы» символически, но уверен, многие подпишутся под этим,— предпочитаем «Коттон-клуб» Копполы, в котором еще различимы признаки «штучного» искусства, полной унификации «Голубого грома» и подобных ему коммерческих лент.

Быть может, самую отчаянную попытку сплавить воедино историю и мелодраму, глобальные философские сентенции и обывательские вкусы, рационализм экранного построения и эмоциональный нажим являют собой два новых фильма Клода Лелюша.

«Эдит и Марсель» — картина небезынтересная по замыслу и по конструкции хотя бы потому, что история великой Эдит Пиаф и ее друга, знаменитого боксера Марселя Сердана, охотно отступает на второй план, предоставляя возможность развиваться отношениям совершенно заурядных людей, с главными героями никак не связанных. Связывает их между собой мелодраматический антураж — неожиданные изломы судьбы, встречи, разрывы, измены, ревность... Но странное дело — Лелюш лишь доказывает, что все это успешно может служить «фоном», как служат «фоном» и исторические события (оккупация, война с фашизмом), и мелькание на периферии картины Мишель Морган, Жана Кокто и других характерных для эпохи лиц, как даже участие в фильме Шарля Азнавура в образе самого себя. Если это фон, то что же является главным? Нехитрая мысль о том, что все на свете, начиная с ростановского «Сирано» и кончая «Унесенными ветром» (этим романом зачитывались в дни войны и зачитываются сегодня), является «одной и той же историей любви», в своей основе банальной.

Французская критика разругала ленту «Эдит и Марсель», зато была благосклоннее к фильму «Уйти и вернуться», назвав его самым личным и продуманным созданием Лелюша. В нем и впрямь есть форсированная лирическая интонация, поддержанная музыкой второго концерта Рахманинова, которая звучит почти не умолкая. Есть и магия кинематографического «включения» в атмосферу фильма — начиная с долгого пробега автомобиля по пустому шоссе под дождем. Это своего рода метафора погружения в прошлое, в загадку человеческих судеб — ветвящихся, сплетающихся, но всег-

[1] См. «ИЛ», 1984, № 9.

да похожих. Драма предательства, вследствие которого попадает в гестапо и погибает целая семья, опять-таки интересует режиссера не сама по себе и не в связи с потребностью высказаться об уроках второй мировой войны. Это скорее повод разыграть «романтическую историю для фортепьяно, оркестра и кинокамеры», насытив ее рассуждениями о переселении душ, атмосферой томительных предчувствий и жестоких страстей. Недаром торжество исторической справедливости выражается в надуманном «возвращении» погибшего музыканта, душа которого переселяется спустя годы в новую телесную оболочку. А высокая музыка Рахманинова призвана подтвердить, что жизнь и искусство сплетаются в общем потоке повторяемости человеческих эмоций.

Но такая позиция опровергается и логикой исторической жизни, и художественной доказательностью тех произведений искусства, которые — независимо от того, какого масштаба задачи перед собой ставят,— из этой логики исходят, ею питаются.

Это вовсе не исключает особой, во многом алогичной природы художественной жизни. И здесь уместно вернуться к двум картинам, с которых мы начали разговор. Ведь и «Последнее метро» и «Костюмер» трактуют вечную проблему отношения искусства к действительности. И было бы недостаточно на их основе сказать, будто театр, кино, творчество существуют благодаря конфликтам окружающей жизни, являются их продолжением, отражением. Они существуют словно бы и вопреки этим конфликтам, порой неразрешимым в рамках судьбы отдельного человека и его ближайшего круга. Искусство, не разрешая противоречий жизни непосредственно, дает людям заряд духовной силы, доброты, стойкости, помогающей им выдерживать нечеловеческие испытания.

Неповторимость судьбы, ценность конкретной человеческой жизни, вплетенной в ход истории,— вот о чем говорят оба фильма. И не случайно оба построены на блестящей, психологически тонкой игре актеров. Премьер шекспировской труппы (Альберт Финни) поражает нас силой сценического перевоплощения, на глазах превращаясь из больного, морально сломленного человека в могучего шекспировского героя. Но все же он уступает место в на-

Театр — одно из высших проявлений гения нации и одновременно прозаическая правда о ее буднях.

(«Костюмер», Великобритания)

Последний фильм Франсуа Трюффо — о стойкости и мужестве двух парижских актеров; их играют любимцы публики Катрин Денёв и Жерар Депардье.

(«Последнее метро», Франция)

ших сердцах скромному костюмеру (Том Кортни), преданность и любовь которого к искусству несут неповторимо личный характер, делают из него в жизни героя шекспировского ранга. И становятся понятными брошенные с экрана слова, объясняющие фанатичную преданность театру: «В театре боль терпима». То, что в силу множества причин неосуществимо в жизни, оказывается возможным в мире духовных, идеальных ценностей. Возможным — без всякой мистики и натужного эстетизма.

Тема искусства звучит и в «Последнем метро». Катрин Денёв и Жерар Депардье играют здесь партнеров по сцене, которых связывает с каждым днем нарастающее взаимное чувство. Но Марион осознает свой долг перед преследуемым нацистами мужем — режиссером, который из подвала слушает запись репетиций, все понимая по нюансам интонаций. «Елена, вы приносите мне страдание».— «Вчера вы говорили: радость»,— звучит диалог со сцены. «И радость и страдание». С каждой репетицией он наполняется все более глубоким эмоциональным смыслом. И все же героям Трюффо, поставленным почти в безвыходную ситуацию, удается вынести из всех испытаний духовный стоицизм, не потерять уважения ни к себе, ни друг к другу, сохранить незапятнанным, самоотверженным свое чувство. Искусство для этих людей, как и любовь,— высшая и самая стойкая форма духовной жизни.

Десятки фильмов, показанных в дни Московского фестиваля, свидетельствовали именно об этом: кинематограф — будь он разгневанным, эпически масштабным или интимным, лиричным — обретает значение общественного, культурного события лишь при условии, что он затрагивает разум и чувства наших современников. На глазах постаревшая «десятая муза» в этом году отмечает свое девяностолетие. Она уже обрела свое место в семье искусств. И большинство фильмов прогрессивных художников, о которых здесь говорилось, представили ее достойно: в них налицо и социальная зоркость взгляда, и нравственный пафос, и мудрость.

◆

Документальная проза

ГЕНРИХ БЁЛЬ

ПИСЬМО МОИМ СЫНОВЬЯМ,

или Четыре велосипеда

Дорогой Рене, дорогой Винсент, если в том, что я здесь пишу, вам почудится или послышится маленький налет героики выживания или восстановления — перечеркните это, высмейте, комментируйте зло и едко, но поверьте, мне чужд лейтмотив старшего поколения, которое во что бы то ни стало хочет объяснить молодежи, как тяжко было «нам» и как легко живется и жилось ей. Ах, эти жизнерадостные любители «засучивать рукава», они все еще их засучивают, снова и снова засучивают, и сейчас тоже — я пишу между 8 и 13 мая 1984 года,— когда пресловутый закон об амнистии вызывает громкий восторг совсем уж прожженных (один из них несколько дней назад кричал в Штутгарте: «Деньги, деньги, деньги!»— и в его крике явственно слышалось: «Деньги гони!»), совсем уж прожженные как раз засучили рукава, чтобы основательно вывернуть наизнанку Федеративную Республику.

Нет-нет, вам не легче, чем было нам; не поддавайтесь этому внушению. В последнюю войну еще можно было выжить, и я хочу попытаться описать вам это: описать, как мы пережили ОКОНЧАНИЕ ВОЙНЫ. «Рассказывать»— это опасное занятие, в «рассказчике» всегда таится бахвал, хвастун, который-де, в сущности, был героем или по меньшей мере мучеником.

«Одиссея» тоже полна бахвальства, хвастовства, а то, что я хочу вам описать,— маленькая одиссея. «Рассказал» я о войне достаточно, вы можете это почитать, в том числе и то, что я сам пережил; кое-что мне сегодня кажется изрядно выспренним, очень «литературным»; читайте со снисходительностью, и если вы там — как и в этом письме — найдете, что в написанном слышится жалоба, тогда это может быть жалоба только на германский рейх, на его руководителей и его обитателей, но никогда ни на одну из держав-победительниц, то есть и не на Советский Союз. Кстати, у меня нет ни малейшего основания жаловаться на Советский Союз. То обстоятельство, что я там несколько раз болел, был там ранен, заложено в «природе вещей», которая в данном случае зовется войной.

ГЕНРИХ БЁЛЬ — HEINRICH BÖLL (1917—1985)

Известный немецкий писатель (ФРГ), лауреат Нобелевской премии. Многие произведения Г. Бёля переведены на русский язык: романы «Где ты был, Адам?», «И не сказал ни единого слова», «Дом без хозяина», «Бильярд в половине десятого», «Глазами клоуна» («ИЛ», 1964, № 3), «Групповой портрет с дамой», повести «Хлеб ранних лет», «Поезд пришел по расписанию», «Самовольная отлучка» «Чем кончилась одна командировка» («ИЛ», 1966, № 11, 12), «Ирландский дневник», сборники рассказов, публицистические выступления. «Письмо моим сыновьям, или Четыре велосипеда» было опубликовано в еженедельнике «Цайт» («Brief an meine Söhne, oder Vier Fahrräder» «Die Zeit», 15 März, 1985). Полный текст перевода «Письма...» Г. Бёля публикуется впервые в этом номере «Иностранной литературы» (сокращенный текст напечатан в «Литературной газете» 3 июля 1985 г.)

и я всегда понимал: нас туда не приглашали. Так уж водится на войне, там стреляют; были там и «катюши» и тому подобное; случается на фронте — ешь и пьешь что попало, а когда от жажды чуть не сходишь с ума (этим опытом я хочу поделиться с вами: жажда хуже голода!), пьешь даже из луж, забывая всякие предостережения насчет бактерий, микробов и т. п. Я не стремился попасть в советский плен — вы можете судить об этом по тому, что с осени 1944 года я держался «западного направления», хотя меня охотно послали бы снова на «восточное». Для этого мне пришлось немножко помочь самому себе. Солдатам — а я был солдатом — следует жаловаться не на тех, против кого их послали воевать, а только на тех, кто послал их на войну.

Давно уже я задумал небольшую работу, для которой пока не нашел времени: «Солдат в сказках», в том числе и у Гриммов. Королям, и кайзерам, и всяким «главнокомандующим» в них всегда достается. Во всех сказках подчеркивается их гнусность. В этом сказки куда реалистичнее, чем большинство военных романов, где гнусность всяких «главнокомандующих» обычно остается без внимания, на переднем плане почти всегда «враг» — чей враг? Если мне ниже придется както коснуться плена, следите за тем, чтобы я не жаловался на американскую или британскую армию. После войны, после такой войны, я ожидал наихудшего: десятилетий принудительного труда в Сибири или в другом месте; а все оказалось не так уж страшно, если вы учтете, какое разорение причинила война, а также учтете, что без немецкого вермахта, в котором я служил, ни один концлагерь и года не продержался бы.

Вы должны также знать, что смертность в немецких лагерях для советских военнопленных составляла 57,8%, это означает три миллиона триста тысяч мертвых военнопленных; смертность среди немецких военнопленных в Советском Союзе — от 35,2 до 37,4%,[1] то есть от одного миллиона ста тысяч до одного миллиона ста восьмидесяти пяти тысяч. В первую мировую войну смертность среди русских военнопленных в Германии составляла 5,4% и тоже была больше, чем среди военнопленных из других стран — 3,5%. Смертность советских военнопленных во вторую мировую войну была в десять с лишним раз выше, чем в первую. Вы обратили внимание? Это было УНИЧТОЖЕНИЕ, главное занятие нацистов. УНИЧТОЖИТЬ Советский Союз им все же не удалось, все-таки кое-кто выжил и уцелели кое-какие дома, в которых можно было жить. Так же не удалось нацистам УНИЧТОЖИТЬ Германию, где тоже кое-кто выжил и кое-какие дома уцелели.

Как выжить в условиях УНИЧТОЖЕНИЯ и ХАОСА в среде, где каждый мог быть доносчиком, но, к счастью, не каждый им стал? Читайте отчеты, статистику, документы о Советском Союзе и последствиях войны, все, что я не могу здесь перечислить. Более пяти миллионов поляков было убито, из них девять десятых — гражданское население, в Югославии соотношение между гражданским населением и солдатами — три к одному. Не пренебрегайте статистикой, пусть она порой и бывает неточной или «приблизительной» — кто же в состоянии посчитать и перечислить всех, всех мертвых?

Цифры, если понять, что́ за ними стоит, приобретают ошеломляющую наглядность. Еще одну цифру я хочу тут привести: из 55 миллионов убитых в Европе 40% — граждане Советского Союза.

С чего мне начать, если я хочу не «рассказать», а только информировать о том, как мы пережили ОКОНЧАНИЕ ВОЙНЫ? Лучше всего начать со смерти моей матери — она умерла 3 ноября 1944 года в Арвайлере, когда я лежал в госпитале в Бад-Нойенаре. В госпитале? Не беспокойтесь, я не был ни болен, ни ранен, незадолго до этого меня перевели из Арвайлерского госпиталя в Дрезден, там выписали, отправили обратно в Арвайлер, а по истечении моего отпуска я, дабы снова стать пригодным для госпитализации, опять немножко помог себе — с помощью снадобий, полученных от одного и поныне здравствующего кёльнского врача. После похорон матери мы покинули, кажется 7 или 8 ноября, гостиницу в Арвайлере; вероятно, смерть матери спасла нам жизнь: через несколько дней после нашего «переезда» гостиница была полностью разрушена прямым попаданием бомбы. «Переезд»? Нет, не хочу и пытаться описать его. Это был бы приключенческий роман, а приключенческих романов предостаточно. Важно только одно: водитель грузовика остался в нашей памяти как «святой»: терпеливый, мягкий, дружелюбный.

Мы поселились у Марии, Алоиса, Марии-Терезии, Франца и Гильберта в Мариенфельде, там, где похоронен ваш маленький брат Кристоф. Новое прибежище приветствовало нас в духе времени: на соседнюю деревню упали первые за всю войну бомбы. Не буду говорить о жилищных условиях и снабжении. Все это достаточно часто описывалось. В одной пристройке шестеро взрослых и трое детей. Мой отец — ему было уже почти 75 лет — все еще любил сигары. Нашим единственным надежным «табачным источником» был польский военнопленный, который работал в соседнем доме в столярной мастерской. Его звали Тони, по одежде и манерам он выглядел настоящим аристократом.

У нас было одно-единственное желание, то желание, которое доводило до белого каления еще Старого Фрица: мы хотели жить, пусть не вечно, но хотя бы еще некоторое время, мы хотели пожить без нацистской чумы.

Сколько романов потребовалось бы, чтобы описать время с 3 ноября 1944 года до апреля 1945-го? Примите во внимание, что рейхсминистра внутренних дел звали Гиммлером и что Гиммлер после 20 июля стал главнокомандующим ре-

[1] В источнике, которым располагал автор, цифра завышена. *(Прим. ред.)*

зервной армии, м о и м, н а ш и м главнокомандующим. Внутриполитический террор между 20 июля и окончанием войны еще не описан, он должен стать темой исследования Института современной истории.

У нас было лишь легкомысленное желание — пережить этот террор, и еще было чувство голода; надо было кормить девять, временами десять, одиннадцать человек. Расспросите Аннемарию, вашу мать, при случае порасспрашивайте ее как следует: она вязала перчатки, которые вызвали бы восхищение в любом «салоне мод», и получала за это полведра подгнившей картошки. Зима была холодной, как все военные зимы. Почему в с е военные зимы в нашей памяти х о л о д н ы е? Не знаю, какими были на самом деле метеорологические сводки. Что еще нам оставалось, как не попрошайничать и красть? Крали только дрова — в соседнем лесочке женщины рубили деревья, стоя по колено в снегу, по строгим указаниям вашего дедушки, он потом профессионально распиливал их на кухонном столе в заселенной девятью человеками пристройке, предварительно наточив — столь же профессионально — пилу. Вы когда-нибудь слышали звук, с каким зуб за зубом натачивается трехгранным напильником пила? Дерево из лесочка сырое, бумаги мало; каково было вашему деду разжечь огонь?— а он непременно делал это сам. Наша пристройка когда-то служила «пасторским зальцем», забраться туда можно было только со двора по приставной лестнице, в кладовке хранились шесты, служившие во время праздника тела Христова и других процессий для транспарантов. Дерево сухое, размер шеста идеальный. Мы называли их «пастырями»— в память о том, что на одном из транспарантов, которые несли на процессиях праздника тела Христова, было начертано: «Хайль нашему пастырю». Порой приходилось в темноте тайком доставать из закромов такого «пастыря», распиливать по размеру печи и раскалывать его, и мы часто задавались вопросом, хватит ли нам «пастырей» до конца войны (позднее, в лагере для военнопленных, когда приближался праздник тела Христова, я беспокоился, что случится, если жители деревни обнаружат нехватку своих «пастырей»!). Но и сухими пастырскими дровами, и клочками бумаги не растопить печь; нужны спички или зажигалка, а у нас не было ни того ни другого. И потому ваш дедушка темными зимними утрами стоял с шести часов перед дверями дома и ждал, пока удастся запалить скрученную бумагу от чьей-нибудь зажигалки; он ругал крестьян, которые, по его понятиям, вставали слишком поздно; всю свою жизнь он привык вставать между половиной шестого и шестью часами — и идти к мессе.

Ваш дядя Алоис, из ранних бунтарей, имел понятную, но опасную склонность то и дело отлучаться без разрешения из своей части, что могло бы быть истолковано как дезертирство. Официально он «служил», то есть ничего не делал, в Кёльн-Мюльгейме, в недоброй памяти (также и для меня) Хакетойерской казарме. Он раздобыл велосипед и прикатывал, взмокший от пота и обессиленный, через Мух в Мариенфельд. В результате к нам несколько раз наведывались полевые жандармы (именуемые «цепными псами»). Полевая жандармерия — это было смертельно опасно не только для Алоиса, которого могли пристрелить за ближайшим углом или повесить на ближайшем дереве, я тоже имел основания бояться визита этих господ, потому что не всегда поспевал с подделкой бумаг. Однажды я спасся в узком шкафу, чулане для мётел, в который цепные псы, к счастью, не заглянули. Кроме того, маскировкой и отвлекающим средством являлись трое маленьких детей. К счастью, мы, братья, походили друг на друга, так что соседи никогда не знали точно, сколько тут обретается — один или двое. Поэтому мы и не могли при дневном свете помогать в рубке дров.

Здесь следует помянуть добрым словом крестьянина Иоганна Петерса из Берцбаха под Мухом, без ноги, ампутированной в первую мировую войну, католика, анархиста; он не только давал нам ежедневно (!) за две ничего не стоящие нацистские военные марки два литра (!) молока, но и прятал у себя на печи двух немецких дезертиров, дал им не на одну трубку табака, который был куда дороже, чем две нацистские военные марки. О, эти молочные супы зимы 44— 45 годов, может быть, именно им, именно крестьянину Иоганну Петерсу мы обязаны своей жизнью! Два литра молока ежедневно — в военную зиму. Вечерний молочный суп был единственной надежной трапезой. Доставка молока при дневном свете стала опасной для жизни — несколько раз Аннемария с Марией-Терезией смогли спастись от низко летящих самолетов, только спрыгнув в придорожный ров.

Страх и голод, голод и страх перед немцами. Может быть, теперь вы, Винсент и Рене, лучше поймете то, что мы часто пытались вам объяснить: еще и сегодня каждая из моих покупок — это покупка, продиктованная страхом; именно поэтому я то и дело покупаю слишком много хлеба, слишком много молока, яиц и масла, а сигареты по возможности блоками; может быть, вы лучше поймете, почему я не перестаю удивляться, что остаток своей жизни не провел сидя у печки, с книжкой и сигаретой; ведь как-никак я женат на прилично обеспеченной учительнице реального училища, жалованья которой, хотя и в обрез, хватило бы для нас. Сидеть у печки и читать, хоть несколько часов не испытывать страха перед «цепными псами», господином рейхсминистром внутренних дел Гиммлером и господином главнокомандующим Гиммлером с его законами и эмиссарами; вы, наверное, лучше поймете, почему даже едва уловимый дух фашизма повергает меня в панику; почему я держу свою машину всегда полностью заправленной, в кармане ношу деньги по меньшей мере на неделю и поселился неподалеку от

голландской и бельгийской границы. Сумасшедший, сумасшедший, знаю.

Может быть, вы поймете также, что смелым человека делает страх, положение, в котором у него нет иного выбора, кроме как погибнуть или быть смелым,— именно страх придал мне храбрости жить по поддельным бумагам, которые я отважно менял в какой-нибудь инстанции германского вермахта на подлинные, а потом снова их подделывал. Не воспринимайте все это, Винсент и Рене, как совет или указание — это только информация о моем поведении, которое я тогда считал «исторически» правильным, соответственно близкому ОКОНЧАНИЮ ВОЙНЫ, хотя историки смотрят на это совсем по-другому. Если что-нибудь потом произойдет, это произойдет для вас совсем иначе. Советы тут мало помогут.

Первую подделку я совершил ранней осенью 44 года, когда уговорил девушку, заполнявшую мне в одном венгерском госпитале выписку, оставить незаполненным место, где после «в...» указывался пункт назначения. Тем самым моя авторучка, которой я в туалете поезда вписал после «в...» самый западный из еще не сданных городов — Мец, по всей вероятности, спасла мне жизнь, ибо по правилам я должен был бы направиться на какой-то «фронтовой сборный пункт» в Дебрецен, а о том, что творилось осенью 44 года на балканском военном плацдарме, вы можете прочитать в любом историческом очерке. Из Венгрии через Аравайлер в Мец, из Меца через Аравайлер в Дрезден, из Дрездена через Аравайлер и Бад-Нойенар в Мариенфельд. О д и н эпизод из этого прошлого я все же попытаюсь вам описать: когда я — должно быть, в октябре или сентябре 44 года — в Ремагене, пересаживаясь из поезда, прибывшего из Мюнхена или Вены, спускался по лестнице подземного перехода к поезду на Аравайлер, по противоположной лестнице спускалась Аннемария, ваша мать,— и мы встретились внизу, в туннеле! Можете вы понять, что и теперь, сорок лет спустя, у нас все еще сердце трепещет, да — сердце трепещет, когда мы проезжаем Ремаген?

В Мариенфельд я ехал еще с подлинными документами — выпиской нойенарского госпиталя. Когда приблизился срок явки, я запаниковал, снова немножко помог себе, явился в Зигбург с повышенной температурой, и мне продлили срок; но затем и подделанная дата наступила, гражданский врач в Мухе, к которому я тоже явился с повышенной температурой, продлил подделанную дату, и она стала теперь почти «официальной» (кстати, то, что сделал врач в Мухе, было недозволено, но он это сделал). Я подделал «официально» продленную дату, опять ее просрочил, и клочок бумаги мало-помалу так истрепался, столько там было подписей и печатей, что никуда не годился. Стоит ли говорить, что мы не просто ждали прихода американцев, мы их заклинали, проклинали? А они все не шли и не шли. Стоит ли описывать наш страх, когда мой брат Алоис предпринимал все более безумные отлучки из своей части?

Я вспомнил, что у меня был еще один козырь. Все-таки после трех-четырех месяцев пребывания в госпитале и многочисленных заболеваний дома я по правилам германского вермахта все еще был «выздоравливающим» и, прежде чем снова отправиться воевать, имел «право»— какими уж «правами» обладали при господине министре внутренних дел и главнокомандующем Гиммлере!— на «отпуск для долечивания». Ну, ввиду моего совершенно растерзанного «документа», я счел наилучшим припасть к проклятой груди подразделения, которое именовалось «резервной воинской частью» и пребывало в какой-то дыре южнее Мангейма. Я поехал туда. Да. Поехал. Все вокзалы походили на огромные караван-сараи, кишели измотанными, раздраженными, грязными толпами с их жалким багажом: гражданские, «нормальные» пассажиры, беженцы, солдаты, военнопленные, полицейские самых разных категорий — тут у меня многое путается, и с хронологией я тоже не совсем в ладах, ограничусь лишь несколькими абсурдными, но точными деталями.

Эта резервная воинская часть располагалась в какой-то баденской «табачной» деревне, название которой я забыл. В моей роте (обычно состав роты сто с лишним солдат) было 800 человек — и вот они стоят, ворча и ругаясь, на поверке: с ампутированной рукой, ампутированной ногой, дважды ампутированные, трижды ампутированные (без обеих ног и одной руки), на костылях, с самодельными протезами, ожидая назначения пенсий, увенчанные наградами, стоят в очереди за порцией сушеных овощей, на дворе январь или февраль, стужа, а шинель получают лишь значащиеся в списке KV (годные к строевой службе) или добровольно в него записавшиеся. Спят в сараях для хранения табака, из которых он предусмотрительно вывезен или конфискован; ночью протезы висят на крюках и гвоздях; все затхлое, жалкий эрзац-кофе, черствый хлеб с капелькой повидла. Как бы то ни было, я избавился от своей раздрызганной, подозрительной бумажки, снова стал легальным; я мерз, голодал, мне пришлось ждать несколько дней, пока настала моя очередь. По вечерам в задних комнатах пивных и в крестьянских кухнях проворачивались табачные махинации; ни одной девушки нигде не видно, крики на поверке, проклятия, ругань,— о, благородное отечество, как ты обращаешься со своими героями, своими искалеченными героями (см. сказки)!

Аннемария дала мне в дорогу свою чудесную, легкую и теплую красную турецкую шаль,— закутанный в красное, я привлек к себе внимание. Я сразу же записался в KV, получил шинель и — что столь же важно — подлинную бумагу. Эта подлинная бумага была «свидетельством об отпуске для долечивания» — и бесчинствующие патрули мне были нипочем. Ах, расспросите Аннемарию о п р е д ш е с т в у ю щ и х годах, о встрече в Ремагене, о неделях в Меце, о кёльн-

ских жилищах. Вы, наверное, теперь понимаете, какие чувства и воспоминания вызывают в нас вокзалы Ремагена, Бонна, Кёльна? Когда мы навещаем в Кёльне наших друзей на Нойенхёфер аллее, где они живут — как раз напротив того дома, в котором мы, только что на рубеже 42—43 года поженившись, пережили самые страшные бомбежки,— неизбежно и незвано приходит воспоминание: об о д н о м из наших жилищ, где я ночевал то ли семь, то ли шесть или пять раз, в последний раз в ночь с 29 на 30 июня 1943 года, когда Кёльн разбомбили почти до основания.

Мне не удалось разыскать приказ Гиммлера, изданный в эти последние недели войны; приказ гласил, что каждый солдат может застрелить любого солдата, которого он встретит там, где не слышно «боевой тревоги» или «шума битвы». Таким образом, каждый немец стал для каждого немца потенциальным военно-полевым судом, даже когда тот, кто встретил другого «вдали от шума битвы», сам находился «вдали от шума битвы». Соответственно и число казней достигало десятков тысяч. Теперь мы знаем, что Гиммлер издал этот приказ незадолго до того, как сам попытался спастись через графа Бернадотте посредством «сепаратного мира», о котором Гитлер, разумеется, ничего не ведал. Ведь гиммлеровская честь — верность! Девиз эсэсовцев! Главнокомандующий пытался спастись, в то время как позади него, перед ним, вокруг него по е г о приказу вешали или расстреливали десятки тысяч.

Германия между 20 июля 1944 года и ОКОНЧАНИЕМ ВОЙНЫ — это был т о т а л ь н ы й террор господина министра внутренних дел Гиммлера. А по радио — вопли Геббельса. Знаете, американская армия в Европе казнила о д н о г о дезертира — одного, и его вдова многие годы, если не десятилетия, вела судебную тяжбу с Пентагоном. Число казненных немецких служащих вермахта точно неизвестно; известно только, что их было более тридцати тысяч. Пыталась ли хоть одна немецкая вдова, невеста, сестра, мать подать в суд на «Германский рейх», или на его наследников, или на одного из выживших из ума фельдмаршалов, в сфере подчинения которого был совершен расстрел или повешение? Разумеется, я также не знаю, сколько казненных статистики протащили по графе «павшие» и, возможно, даже увековечили их имена на памятниках павшим героям войны.

Я не хотел быть одним из них. Ваш дядя Алоис не раз был близок к тому, чтобы попасть в их число. Тем, что он выжил, он обязан не только своему сказочному везению, но и своей жене, тете Марии, вашей матери Аннемарии и в особенности вашей тете, моей сестре Мехтильде. К счастью, женщины и не подозревали, в какой опасности находился Алоис, они шли с почти гениальной наивностью и поразительной смелостью в логова различнейших львов, скажем в Кёльн или в Энгельскирхен, и добивались для него отсрочки. Меня подмывает сказать: отсрочки казни. Чтобы описать его отлучки из части, его удачи, потребовался бы новый роман. В конце концов обнаружилось, что он страдает заболеванием почек и давно уже вполне легально должен находиться в госпитале, из которого он потом, во избежание плена, в одеянии католического священника подался через американские линии домой.

Одного дезертира, которого потом расстреляли, я знал. В небольшом селении под названием Кальдауэн вблизи Зигбурга он заговорил со мной, когда я возвращался в ряды германского вермахта; унтер-офицер с удивительной фамилией Шмиц — Клякса, тихий человек, заговорил со мной, потому что знал мое имя от Марии и Алоиса. После войны я узнал, что его расстреляли за дезертирство. Он направлялся с фронта — селение Кальдауэн находилось в 3 — 4 километрах от Зигбурга — навестить родителей, вероятно выпить кофе; видимо, какой-то легальный немецкий убийца схватил его «вдали от шума битвы». Тогда дело быстро делалось, никто и пискнуть не смел. В начале 50-х годов немецкие женщины тоже без всякого противодействия одобрили перевооружение. Я никогда этого не мог понять; может быть, вам это удастся.

Был я и в Майнце, в феврале 45 года. Возможно, опять в поисках подлинных бумаг, т о л ь к о — и вот этого я никак в толк не возьму — из Майнца я опять поехал прямиком обратно. Во всяком случае, я был в Майнце, и, так как я ненавижу затхлые вокзальные караван-сараи, я пошел в город,— да, на самом деле, за достоверность этой истории я ручаюсь!— и вдруг увидел вывеску «Гарнизонная комендатура», зашел туда, не спрашивайте меня зачем, я и сам не знаю, может быть, я уже сошел с ума,— итак, я зашел туда, справился — надо же!— где здесь офицер трибунала, и попросил, имея в кармане поддельную увольнительную, доложить ему обо мне.

Был ли я настроен на самоубийство? Нет, я все еще был исполнен желания, которое Старый Фриц считал столь легкомысленным: я хотел жить. Офицер, майор, принял меня, и я изложил ему небольшой роман: по дороге в свою часть я узнал о смерти матери (она умерла пять или шесть месяцев тому назад) и мне необходимо на похороны, кроме того, я узнал, что наша квартира в Кёльне разбомблена (ее разбомбили полтора года назад); таким образом, мне необходимо попасть как на похороны, так и в Кёльн, чтобы спасти мою библиотеку и мои бумаги, которые в связи с предстоящей защитой диплома имеют для меня жизненно важное значение (в моей солдатской книжке в графе «профессия» было записано «студент», и офицер, конечно, не мог знать, подозревать или даже проверить, что в середине первого семестра я был призван в армию). И вот этот удивительный человек, майор, а возможно подполковник, который выглядел ужасно строгим и очень прусским, п о в е р и л мне или — эта мысль мне пришла в голову позднее — сделал вид,

что поверил, потому что он знал, что война проиграна, и хотел спасти любую жизнь. Он предоставил мне четырнадцать дней отпуска, и я опять имел подлинную бумагу и отпуск. Одно вы, вероятно, знаете, при случае имели возможность убедиться, и потому это не хвастовство, а констатация: если нужно, я умею быть довольно хладнокровным.

Одно знаю и я: эта увольнительная истекала 2 марта 1945 года, значит, в Майнце я был — не могу сказать, каким образом,— примерно в середине февраля, с шинелью.

Четырнадцать дней: это было великодушно, это была вечность — должны же когда-нибудь прийти американцы. Эти четырнадцать дней, с подлинным документом в кармане, были бы почти б е з м я т е ж н ы м и, если бы не страх за брата, который был в большей опасности, чем подозревали женщины. В эти четырнадцать дней я поехал на велосипеде Тиллы в Кёльн взглянуть на нашу квартиру и достать на черном рынке сигареты. Но потом — потом все снова перепуталось: я действительно знаю точно, что 2 марта я стоял на Зигбургской горе Михаэль и видел, как огромная туча пыли, которая прежде была Кёльном, двигалась над равниной в сторону Зигбурга. Т а к ж е точно я знаю, что 2 марта истекал срок моей последней законной увольнительной справки, и я просто не помню: подделал ли я ее до того, как ехать в Зигбург, или после? По всей видимости — до, ибо 2 марта я слишком легко попался бы в лапы бесчинствующих патрулей — они б е з р а з б о р а хватали солдат и подвозили в ближайшие воюющие части, то есть к пресловутому «шуму битвы».

На сей раз подделка состояла в том, что на старой пишущей машинке отца я после двойки впечатал пятерку; пятерка легла криво, шрифт тоже был другой; с такой подделкой, попадись она в руки настоящего криминалиста, я недалеко ушел бы, потом — не знаю, не решаюсь и думать об этом,— потом меня, скорее всего, застрелил бы какой-нибудь немец — законченный идиот. Не знаю, почему я после двойки не впечатал девятку; я, правда, выиграл 23 дня, двадцать три вечности, но почему я не взял 27 дней? Независимо от подделки, удостоверение и без того было не очень надежным, ведь в этой фазе войны никому не дали бы в общей сложности пять недель отпуска. Возможно, мы были уверены, абсолютно уверены, что д о т е х п о р американцы, наши освободители, н е п р е м е н н о будут уже тут.

Ну, и 25 марта американцев все еще не было, хотя они взяли Кёльн и 7 марта через Рейн двинулись на Ремаген. Ремаген! Можете вы себе представить, что значит для нас это название? Не только из-за с к а з о ч н о - н е о ж и д а н н о й встречи, которая у нас там произошла, не только из-за форсирования Рейна американской армией, но и потому, что с июля 43 до ноября 44 года Аннемария почти ежедневно делала в Ремагене пересадку по дороге из Арвайлера в Кёльн, чаще всего вместе с моим отцом, который там присматривал за своим «предприятием» (дел хватало: чинить окна!). Аннемария ездила в Кёльн, чтобы уводить своих учениц в бомбоубежище. Не знаю, сколько сотен бомбежек ей пришлось пережить. (Расспросите, порасспрашивайте ее как следует. У нее прекрасная память на детали, спросите у нее, на что она жила.) Это было уже безумие, изо дня в день усиливающееся безумие.

Помню — точно не могу сказать, когда это было,— и разбомбленный Бонн, где мы блуждали с Аннемарией, вероятно в поисках госпиталя, чтобы там я мог опять немножко помочь себе. На сей раз тщетно. Однажды — да, это звучит как в сказке,— однажды я побывал с моей сестрой Мехтильдой в Энгельскирхене, где Тилла опять что-то передавала для Алоиса. Низко летящие самолеты, штабквартира господина генерал-фельдмаршала Моделя, одного из наводивших ужас убийц, который любезнейшим образом застрелился в апреле в небольшом лесу между Дуйсбургом и Дюссельдорфом в возрасте 54 лет, двумя годами моложе своего верховного военачальника, девятью годами старше Гиммлера (да-да, Гиммлеру в 1945 году было 45 лет, подсчитайте при случае, сколько убийств приходится на каждую минуту его жизни!). На улицах орды: солдаты, беженцы, эвакуированные, уезжающие и возвращающиеся,— тому, кто хотел бы нынче снять это для кино, пришлось бы нанять сотни тысяч статистов; отступающие войска, наступающие войска — кто вообще знал, где фронт, где тыл?

Из иностранных радиопередач (слушать которые было опасно для жизни!) мы, конечно, знали, что американцы по автостраде давно продвинулись из Ремагена до Хеннефа, они стояли на реке Зиг, от которой мы жили всего в двенадцати километрах. Ну, у них были другие стратегические планы, они продвинулись на восток до Касселя, создали, вместе с британской армией, двигавшейся от Арнхайма, «рурский котел», куда потом загнали большую часть немецкого вермахта,— но вот до Мариенфельда они еще не дошли! А 25 марта приближалось, и подделывать больше нечего было, а без бумаг, вдали от «шума битвы», я скоренько закачался бы на виселице, как вы можете это увидеть на иллюстрациях к «Симплициссимусу».

Иногда я думаю, что хаос во время Тридцатилетней войны и после нее не может сравниться с тем, что было во вторую мировую войну и после нее. Население на тех пространствах, где происходили обе войны, тем временем многократно, если не десятикратно увеличилось, возможности для хаоса значительно умножились, а нашими врагами были ведь не продвигающиеся вперед американцы и англичане, нашими врагами были великие специалисты по убийству и хаосу, один из которых назвал себя фюрером и забился в свою бетонированную башню из слоновой кости в Берлине, другой был господин рей-

хсминистр внутренних дел и главнокомандующий резервной армией Гиммлер плюс еще зараженные манией уничтожения подведомственные ему органы, к которым следует причислить и часть населения.

Вы всегда сможете различать немцев по тому, как они называют 8 мая: днем поражения или днем освобождения. М ы ждали наших «врагов» как освободителей. Один из выживших из ума генерал-фельдмаршалов потом называл это не «поражением», а «утраченными победами». Читайте это письмо не как отчет о приключениях, хотя некоторые приключенческие элементы неизбежны, читайте это как «крими», который не может быть о ч е н ь увлекательным, поскольку ведь на главный для «крими» вопрос: схватят ли героя?— уже дан ответ: я остался в живых, и это неопровержимо. Увлекательным может быть в лучшем случае вопрос: как он ухитрился спастись?

Наступило и 25 марта, а американцы все еще не перешли Зиг и не освободили нас; можно было бы найти утешение в том, что и впечатанная после двойки девятка мало что дала бы, ибо и 29 марта они не перешли Зиг.

Выбора не было: обратно в германский вермахт. Вопрос тогда стоял так: где больше шансов выжить — в армии или вне ее? После глубокого раздумья мы решили: в армии. Вне армии без бумаг — это была бы игра опаснее русской рулетки. Но вернуться в армию — это означало расставание, снова разлуку; разлука во время войны, тем более н а ц и с т с к о й войны, всегда может быть окончательной, и мало пользы от мысли, что «теперь это действительно не может долго продлиться». Ведь и после Сталинграда все это продолжалось еще более двух лет, а от немцев можно было ожидать, что и знаменитое «пять минут после двенадцати» они растянули бы до рассвета, будь у них хоть малейшая возможность.

Мы оттягивали расставание. Аннемария пошла со мной в ближайшую воинскую часть, расположенную в нескольких километрах от нас вблизи деревни Бруххаузен. Это оказался штаб: сплошь штаны с красными лампасами, нервничающий штаб, которому было не до какого-то приблудного обер-ефрейтора, к тому же у них не было гербовой бумаги, чтобы заменить мою одиозную бумажку на легальную. Меня направили в деревню Бирк на трассе Зигбург — Мух, снабдили походным пайком, в который входили хлеб, колбаса, маргарин, сигареты, и мы продлили расставание, устроившись где-то в стороне от дороги между Бруххаузеном и Мариенфельдом и уничтожив мой походный паек — голодны мы были оба, и ваша мать была беременна. Аннемария прошла со мной дальше, до Муха, всю длинную дорогу под гору, которую она затем должна была проделать обратно в гору, и там, на перекрестке внизу в долине, где толпы гражданских и солдат текли, иногда сливаясь, друг мимо друга, мы и расстались. Вся Германия была в движении, а у меня в кармане была ничего не стоящая, подозрительная бумажка. Да. Разлука. Я не описываю ее. Как мне описать четыре десятка, а то и сотню разлук? В Кёльне, в Арвайлере, в Мариенфельде и еще бог знает где, в Меце, в Бише, Сент-Авольде и еще бог знает где.

Я побрел дальше, в направлении Бирка, с совершенно не соответствующей уставу палкой в руке, которая заставила проезжавшего мимо офицера полевой жандармерии остановиться и строго напомнить мне, что это недостойно немецкого солдата. Я был слишком подавлен, чтобы хотя бы прикинуться смущенным, объяснил ему, куда еду, и он приказал мне сесть в машину; он был строгой, официальной повадки, и я боялся — все-таки офицер полевой жандармерии,— как бы он не потребовал мои документы и тут же не арестовал.

Он не сделал ни того ни другого, молча высадил меня в Бирке у канцелярии тамошней части, подождал, пока я вошел, и поехал дальше. Я доложился в канцелярии, предъявил свою бумагу; прежде чем обер-ефрейтор смог ее внимательно изучить, его позвали в соседнюю комнату, а я забрал свой клочок, настоящий corpus delicti[1], и, когда он, вернувшись, спросил меня о нем, я сказал: «Так ты же взял его с собой». Он удивился, смешался, но не настаивал; я был внесен в список роты и снова стал легальным. Это одиозное отпускное удостоверение, этот документ, возможно спасший мне жизнь, где-то еще лежит среди моих неразобранных военных писем.

«Крими» продолжается. Я испытывал облегчение и печаль; после полугода я впервые был разлучен с Аннемарией и родными, снова был в германском вермахте. Вылазки в табачную деревню, в Майнц и другие места были, правда, рискованными, но на их исход можно было больше полагаться. Я был удручен, тем более что не мог и позвонить, а в прежние военные годы это всегда служило утешением. Вечером я в подавленном настроении гулял по Бирку и раздумывал: не скрыться ли мне попросту, но где, где? И тут я встретил в Бирке на главной улице дочь одного кёльнского лавочника, у которого мы часто — годами — в долг покупали продукты. Милая девушка, которую я, к сожалению, никогда больше не встречал. Она взяла меня с собой «домой»: временное пристанище, где был и ее отец; он дня два назад бежал от призыва в фольксштурм. Мы разговорились, и господин Фог — так его звали — сказал, что он собирается бежать дальше, навстречу американцам, и спросил, не сможет ли он на день-два спрятаться в Мариенфельде. Я обещал, и он попросил меня найти там для него, так сказать, квартиру; в качестве аванса он дал мне 25 фунтов сахара в прочном мешке.

25 фунтов сахара в конце марта 1945-го! Как доставить его в Мариенфельд, поздно вечером? Ну, я ведь был сумасшедшим, девушка одолжила мне свой

[1] Улика *(лат.)*.

велосипед, я закрепил мешок с сахаром на багажнике и пустился в дорогу. Это было безумием, и, может быть, эта самовольная отлучка для доставки сахара — как и позднейшая велосипедная поездка при сходных обстоятельствах, о которой я еще расскажу,— и была моим единственным «подвигом»: сахар для Мариенфельда! Я ехал проселочными дорогами, объезжая опасные перекрестки, где караулили полевые жандармы и патрули, и втаскивая на откосы велосипед и сахар,— и я действительно добрался, обливаясь потом, с сахаром в Мариенфельд — вот это была встреча! Неожиданная и все же печальная — снова встала проблема: остаться или поехать обратно. В конце концов победило мое «чувство чести»: я обещал девушке вернуть велосипед, а в те времена велосипед был драгоценнее, чем целая автоколонна. Велосипеды вообще решали мою судьбу, в конечном счете — к благу. Итак, я отправился среди ночи обратно, вернул велосипед и пробрался на свое место. Снова легализован.

Теперь начинается последняя фаза, которую я не хочу описывать в деталях, так как об этом можно прочитать в любой книге о войне. В Кальдауэне я встретил унтер-офицера Шмица, который позднее был расстрелян как дезертир в нескольких сотнях метров от родительского дома. Потом меня перевели в Нидерауель. Там мы стояли напротив американцев, разделенные только рекой Зиг, и могли видеть собственными глазами — б е л ы й, б е л ы й хлеб, он светился, как луна. Никто не стрелял, стрелять было, так сказать, запрещено, потому что, если бы раздался о д и н немецкий выстрел, в ответ обрушился бы целый шквал американских снарядов. Разложение, хаос, скудное питание — мы воровали, доили коров, старались ночевать в хлевах около теплого скота,— и снова велосипед решил мою судьбу. Вы спросите, почему я не бежал сразу к б е л о м у, такому белому хлебу? Ответ прост: я хотел не просто выжить, я хотел выжить по возможности без плена — легкомысленное желание. Мы с Алоисом раздумывали, не спрятаться ли нам на некоторое время в кладовке среди остававшихся «пастырей» и переждать «развитие событий». Я хотел к Аннемарии, хотел домой, кроме того, мне пришлось бы переплывать или переходить вброд холодную реку Зиг. Я выжидал. В загоне открыто поговаривали о «перебежке»; некоторые даже пытались это делать — их семьи жили в уже оккупированной американцами области,— ползком и карабкаясь, перебирались через разрушенный мост и были обстреляны, так как их приняли за разведгруппу. Нет, я выжидал, и снова велосипед ввел меня в искушение.

Нам поручили сопроводить в Нидерауель наших сменщиков — роту самокатного подразделения Кёльнской полиции,— ночью, через Бёдинген в Альнер, где мы и встретили полицейских. От Альнера до Мариенфельда недалеко: двенадцать, может быть пятнадцать, километров. Мне удалось уговорить одного полицейского чиновника одолжить мне велосипед. Наверное, это был святой, ибо, как я уже говорил, велосипед был драгоценнее, чем целая автоколонна, и кто уж в начале апреля 1945 года, в апогее немецкого хаоса, мог кому-то доверять? Ну, он дал мне велосипед (не знаю его фамилии, не то я и ему, как крестьянину Петерсу, поставил бы памятник), и ночью я поехал в Мариенфельд, повидал Аннемарию, привез несколько сигар отцу — и снова дискуссии вокруг проблемы: остаться или не оставаться, забраться наверх в кладовку к «пастырям» или вернуться в Альнер, что примерно было равнозначно возвращению на фронт. В пристройку тем временем подселили еще одного квартиранта; человек разумный, он советовал мне выбрать кладовку, но я видел перед собой славное, честное лицо полицейского чиновника, которому обещал вернуть велосипед «из рук в руки», и вот я темной ночью отправился окольными дорогами обратно в Альнер. Позднее я слышал, не знаю где, что вся рота полицейских вместе с велосипедами была уничтожена.

Мы же — часть, в которой я числился,— потащились дальше, через Брёльталь, в Вальдбрёль, совершенно расхристанные, мы плелись туда, вперед, опять назад. Я помню, однажды мы шли по краю деревни и увидели там развевающиеся белые флаги. Каким-то образом — не знаю каким — все наше воинство распалось, и я зашагал по направлению к дому, пока какой-то лейтенант посреди шоссе не приставил мне пистолет к груди и не заставил присоединиться к его «войсковой части», носившей нелепое название «Боевая комендатура Брюхермюле» (эта деревушка, лежащая где-то между Денклингеном и Вальдбрёлем, дала название последней части германского вермахта, к которой я принадлежал). Мне показалось разумнее не сопротивляться этому маньяку, и таким образом я после нескольких неприятных дней попал наконец около Брюхермюле в американский плен. Наконец? Это было для меня неожиданностью: ведь мы американцев ждали, заклинали, проклинали, это же освобождение — НАКОНЕЦ МЫ ИЗБАВИЛИСЬ ОТ НЕМЦЕВ, и тем не менее вот что оказалось неожиданным: мне было трудно поднять руки вверх, трудно, но я это, конечно, сделал.

Остальное не так важно. Прохладная ночь в импровизированном лагере под Росбахом на Зиге — все еще шепотом ведущиеся разговоры об окончательной победе; фантастическая поездка через горы Вестервальд в Линд, через Рейн в Зинциг (почитайте, перечитайте стихи, которые написал об этом Гюнтер Айх), Намур, Аттихи — огромный лагерь. Разумеется, все это не санаторий. Повторяю: я ожидал наихудшего, а оказалось не так плохо, лишь «наполовину плохо», и самыми опасными были по-прежнему немцы, чинившие самосуды, в результате которых не один человек, не один «пораженец» исчез в выгребных ямах — в апреле 45 года, когда советская армия уже побра-

талась на Эльбе с американцами. Нет, нет, никаких жалоб.

Важно только, что мне удалось — не спрашивайте, каким образом, это был бы маленький «крими» в «крими»— избежать физической работы, на которую нас завлекали улучшенным питанием. Я так думал: если ты теперь будешь работать, а «работа» была абсурдной, тогда тебе придется работать годы, если не десятилетия; я так думал: лучше еще несколько месяцев поголодать, чем годы где-то работать. Возможно, я тогда впервые вел себя «исторически сознательно». Позднее, когда лагерь — будто бы 200 000 человек — ликвидировали и передали (продали) французам, мне удалось, после тщательнейшей проверки работоспособности, попасть в категорию «профессионально непригодных»— странное обозначение, если учесть, что моя профессия —«студент». И теперь, поскольку из будто бы 200 000 человек шестьдесят были объявлены «профессионально непригодными», американцы проявили свой неожиданный, порой здравый смысл: нас отделили, отдельно кормили, лучше, почти хорошо, приставили даже санитаров, которые приносили нам воду для мытья, пока нас снова не перевели и не передали англичанам, в лагерь неподалеку от Ватерлоо.

Англичане были совсем другими, не столь помешанными на гигиене, как американцы, нам давали хорошую еду и много чая с сахаром и молоком — таким чаем немцы пренебрегали. Я тоже не был чаевником, но стал им, почувствовал прелесть этого несравненного английского чая и собирал остатки в литровую пивную бутылку бельгийского происхождения, которая стала моим самым драгоценным достоянием. Ваша мать, Аннемария, во время войны не имела возможности показать мне, как хорошо она умеет заваривать чай. Ах, знаете, в Ирландии и Англии мы стали любителями чая. Из английского лагеря нас распределили по административным округам. Таким образом я узнал о существовании административного округа Арнсберг, к которому относится Гельзенкирхен, откуда родом Ада, единственный друг, оставшийся после войны и плена, вы его тоже знаете. Кёльн — это уже было потом, остальное вам известно.

Следует упомянуть еще один велосипед. Он принадлежал Хильде Мерль из Зигбурга; она одолжила мне его, когда я, отпущенный бельгийцами из британского плена, прибыл октябрьским днем 1945 года в Зигбург, но время было слишком позднее, чтобы успеть еще до комендантского часа добраться до Нессховена, где Аннемария достала комнату. Я ехал с наивозможной быстротой вверх по дороге, по которой с полгода назад вез мешок сахара, и еще до комендантского часа, потный и измотанный, прибыл в Нессховен. Так рано меня не ждали, велики были удивление и радость, а через несколько дней — горе: мы похоронили вашего маленького брата Кристофа, нашего сына.

Вы спросите, что же я делал эти полгода. Не помню, знаю только: немногое. В кухне и без того было полно людей, иной раз, если мои бумаги были действительно в порядке, я отправлялся мешочничать, ждал американцев, читал, читал даже дневники Кьеркегора, лишь однажды побывал, на велосипеде Тиллы и с безупречными бумагами, в Кёльне, чтобы спасти еще несколько «ценных вещей» и достать сигареты. Во многих местах моего письма вы обнаружите наш семейный цинизм и легкомыслие, может быть, посмеетесь. Смейтесь на здоровье: мы выжили и, конечно, не всегда пребывали в унынии. Расспросите основательно вашу мать, порасспрашивайте вашу тетю Марию и вашу кузину Марию-Терезию, ваших двоюродных братьев Франца и Гильберта, как все это запомнилось им, совсем по-другому, чем мне, и иначе, чем рассказал бы Алоис.

Слишком многое взбаламучивается, слишком многое поднимается в душе, и надо кончать, иначе получится все-таки полромана, я начну «рассказывать», то есть вступлю на скользкую стезю, а ведь нельзя покидать «твердой почвы» «действительно пережитого». Может быть, вы теперь лучше поймете многое из того, что до сих пор казалось вам странным, даже необъяснимым: что нам не только тяжело, невозможно выкинуть хлеб; что мне тяжело вылить чай или кофе; что эти остающиеся от завтрака драгоценные благородные напитки я забираю в свою рабочую комнату; что я не могу бросить сигарету и что мои продовольственные закупки всегда носят панический характер. Знайте, что в скитаниях 1939—1945 годов ни одна Цирцея не могла бы меня завлечь на свою скалу. В нечистоплотной половой жизни на вокзалах, вокруг них, в поездах того времени не таилось никакого соблазна, а Пенелопа была одновременно и Цирцеей и самой собой. Знайте, что в американском лагере сидели дважды ампутированные, которых схватили с фауст-патронами,— стратеги конечной победы, и что на одном нижнерейнском вокзале возвращающиеся домой британские солдаты, чей поезд стоял параллельно нашему, совали нам окурки.

Может быть, вы теперь лучше поймете, почему нас больше всего раздражали типы наподобие Фильбингера и Кисингера, которые, улыбаясь в своем буржуазном самодовольстве, гладко, беспрепятственно прошли через все перипетии времени, и знайте, что знаменитое аденауэровское освобождение военнопленных касалось главным образом офицеров высоких рангов, для которых вообще силу сохранил не девиз «поражение», не «освобождение», а «утраченные победы» и которые, поскольку они живут дольше, чем какой-нибудь больной и израненный солдат, значительно обременяют пенсионные кассы и хорошо пригодились при восстановлении германской армии, именуемой бундесвером. Лучше вы поймете, может быть, и то, что наши многочисленные поездки всег-

а носят характер бегства, бегства от юдей типа Фильбингера, который уже е помнит, что участвовал в казни приоворенного им к смерти! (Подумайте олько: он не помнит!) Сколько немцев е помнят, сплошь те, кому я мог попасться в руки,— не все они судьи, зао потенциальные палачи.

А уж «немецкие матери», эта высочтимая категория «немецкой женственности»,— сколько из них не только без опротивления, бывало, и без особой нужы, а то даже и с воодушевлением позолили своим четырнадцати — семнадатилетним сыновьям ринуться навстреу смерти, принесли их «в жертву фюреу»! Был такой Фердинанд Шёрнер, дин из любимцев Гитлера,— его воено-полевые суды были столь же печальо знамениты, как суды господина Моеля; он носил почетную кличку «Кроавый пес», его «дисциплинарные меры» агоняли ужас на солдат. Он умер не в 945 году, как его любимый фюрер, он мер в 1973 году в Мюнхене; я думаю, н тоже из числа освобожденных Адеауэром немецких военнопленных.

Лет шестнадцать тому назад, дорогой Винсент, дорогой Рене, один из сыновей удольфа Гесса написал мне, не внесу ли свое имя в обширный список тех, кто одатайствует за досрочное освобождие из тюрьмы господина Гесса. Я не ог, я НЕ СМОГ ЭТОГО СДЕЛАТЬ, и аже теперь, когда Гессу 90, я НЕ МОГУ ЭТОГО СДЕЛАТЬ. Еще в 1946 оду в Нюрнберге эта диковинная «птиа мира» твердила, что Гитлер величайий сын, которого породила тысячелетяя история Германии. У меня в ушах се еще звучит его заклинающий, фатический расистский голос, который , шестнадцатилетний, слышал по радио, не могу забыть его лица, которое виел в кинохронике: сверлящие глаза, ребующие жертв и жертвы свои полуающие. Нет, протестовать против его осрочного освобождения я не стану, одатайствовать за него я не могу.

Знайте, что я отказался участвовать расчистке Кёльна от развалин, что менялось в обязанность каждому возвратившемуся с войны. Я не дотронулся ни до одного камня, я расчищал — тихо, в одиночку, аккуратно сбивая штукатурку с каждого камня,— мастерскую своего отца на Фондельштрассе, которой занимался тогда Алоис; с общественных камней — ни с одного. Не рассказал я о женщинах, которым пришлось выдержать будни войны и нацистского господства с их повседневными тяготами и абсурдностью.

Я хочу еще раз напомнить вам о четырех велосипедах, о которых здесь говорилось.

1) Велосипед Тиллы, на котором я примерно в феврале 1945 года покатил в Кёльн, чтобы побывать в нашей квартире на Нойенхёфер аллее, спасти украшения, тяжелое фамильное серебро Аннемарии (оно еще и сегодня, в 1984 году, лежит нетронутым и нераспакованным в красных футлярах) и достать на черном рынке сигареты.

2) Велосипед дочери Антона Фога, на котором я ночью нелегально отвез 25 марта 1945 года из Бирка в Мариенфельд 25 фунтов сахара.

3) Велосипед незнакомого полицейского чиновника из Кёльна, на котором я апрельской ночью 1945 года поехал из Альнера в Мариенфельд — тоже ночью.

4) Велосипед Хильды Мерль, на котором я в октябре 1945 года отправился из Зигбурга в Нессховен, чтобы еще до наступления комендантского часа увидеться с Аннемарией.

Несколько дней тому назад, в середине июля, когда я заканчивал это письмо, в возрасте 84 лет умер генерал СС Карл Вольфф, авантюрнейший нацист, еще в 1937 году получивший генеральский чин в СС, начальник личного гиммлеровского штаба, который в конце февраля 1945 года все-таки пришел к выводу, что война проиграна (можете посмеяться: в конце февраля 1945 года он пришел к этому выводу!). После того как через посредников он провел переговоры с Аланом Даллесом, германский вермахт капитулировал в Италии; все-таки, все-таки; потом Вольффа приговорили к четырем годам трудового лагеря, из которых он отбыл одну неделю. Потом, обвиненный в причастности к гибели 300 000 евреев, он отрицал, что знал о существовании лагерей уничтожения (это шеф-то личного штаба Гиммлера!). Он получил 15 лет тюрьмы, через семь лет был освобожден. И после этого прожил еще 13 лет на свободе! Это не шутка, дорогой Рене, дорогой Винсент, так было НА САМОМ ДЕЛЕ. Это немецкая история.

Ваш отец

Перевод с немецкого Е. КАЦЕВОЙ

◆

Антирубрика

ФРЭНК САЛЛИВЕН

РАССКАЗЫ

Перевод с английского СЕРГЕЯ БЕЛОВА

Нет, нет и еще раз нет!

Нижеследующая речь составлена так удачно и с таким знанием тонкостей ораторского искусства, что с равным успехом может быть произнесена на предвыборных съездах и республиканской и демократической партий. От оратора требуется только в нужных местах вставлять прилагательное «демократическая» или «республиканская». Мы также предусмотрели паузы — для смеха и аплодисментов. В заключение остается подчеркнуть, что сей поистине бесценный документ создан нами совершенно бесплатно в порыве патриотических чувств.

Итак, текст речи.

Господин председатель!

Дамы и господа!

В исключительно сложной и напряженной обстановке мы, представители великой республиканской (демократической) партии, собрались сегодня, чтобы вспомнить о тех великих принципах, которыми мы всегда руководствовались, разработать программу и выбрать из нас самого достойного, того, кто бы с честью пронес,— и так далее и тому подобное.

Пожалуй, никогда за всю историю нашей великой страны перед республиканской (демократической) партией не стояло более трудной и вместе с тем более почетной задачи. Полностью отдавая себе отчет в том, сколь велика наша ответственность перед Америкой, мы все как один полны решимости — и так далее и тому подобное, и так далее и тому подобное.

Друзья мои! Нам выпало жить в трудное время. И вместе с тем мы исполнены оптимизма. Мы убеждены, что в этот нелегкий час республиканская (демократическая) партия не подкачает. Мы убеждены, что даже перед лицом нарастающего кризиса республиканская (демократическая) партия с ее славными традициями — и так далее и тому подобное, и так далее и тому подобное, и так далее и тому подобное.

Случалось ли когда-нибудь, чтобы республиканская (демократическая) партия подводила Америку? (Возгласы «Нет! Никогда!») Бывало ли хоть раз, чтобы партия Гамильтона (Джефферсона), Линкольна (Кливленда), Рузвельта (Вильсона) ударила лицом в грязь, не оправдав безграничного доверия граждан великих Соединенных Штатов? Тех самых Соединенных Штатов, которые — и так далее и тому подобное, и так далее и тому подобное, и так далее и тому подобное.

ФРЭНК САЛЛИВЕН — FRANK SULLIVAN (1892—1976)

Американский писатель, один из видных представителей американской юмористики 1920—1930-х годов. Его рассказы, бурлески, пародии постоянно печатались на страницах «Нью-Йоркер», «Вэнити Фэр» и других журналов. Автор нескольких книг сатирических и юмористических рассказов.

Публикуемые рассказы взяты из сборника «Американский юмор. XX век. На английском языке» («The Book of American Humor». М., «Радуга», 1984) и из сборника «Невинным взглядом» («Innocent Bystanding», N. Y., 1928).

Нет, друзья мои! Нет, нет и еще раз нет! Республиканская (демократическая) партия всегда была на страже национальных интересов, и сегодня мы вспоминаем об этом с чувством законной гордости. В ответ на происки наших недругов мы можем со всей прямотой сказать: какие бы испытания ни выпадали на нашу долю, республиканская (демократическая) партия по крайней мере не имеет ничего общего с проходимцами из Таммани [1] (шайкой Гардинга [2]).

Друзья мои! Наша родина сейчас сталкивается с серьезнейшими проблемами, о чем вы и без меня прекрасно знаете: ведь здесь собрались люди мыслящие, горячо любящие свою страну! Ну а поскольку в зале страшная духота и у нас впереди еще масса дел, я постараюсь не злоупотреблять вашим вниманием. Я буду краток. Подумать только, говорят, что мы живем в разгар депрессии! (Смех в зале.)

Увы, друзья мои, это было бы смешно, если б не было так грустно. (Аплодисменты.)

Кто же, спрашивается, виноват в этой самой депрессии?

Я охотно скажу вам, друзья! Я напомню вам, кто виноват! Виновата демократическая (республиканская) партия! (Бурные аплодисменты.)

Да, да! Та самая демократическая (республиканская) партия, которая из года в год обрушивает на американцев потоки звонкой, пустопорожней болтовни насчет своей божественной миссии и заботы о всеобщем благе. Та самая демократическая (республиканская) партия, друзья мои, которая теперь, в час нелегких испытаний, так постыдно, так скандально и так бесповоротно опозорилась. (Бурные аплодисменты.)

Уважаемые господа, участники съезда — ох, да,— и, конечно, дамы тоже, разве можем мы забыть об очаровательных представительницах прекрасного пола, без нежной прелести которых сии начинания увяли бы, не успев расцвести (смех в зале, аплодисменты),— я возлагаю всю полноту ответственности за те трудности, которые испытывает в настоящее время наша великая держава, на демократическую (республиканскую) партию! (Аплодисменты.)

Я обвиняю демократическую (республиканскую) партию в бедах, выпавших на долю американских фермеров! (Аплодисменты.)

Я обвиняю демократическую (республиканскую) партию в разгуле беззакония, от которого страдает Америка! (Аплодисменты.)

Я обвиняю демократическую (республиканскую) партию в безразличии к участи миллионов безработных, что наводняют улицы наших городов. Я обвиняю эту партию — и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. (Бурные, продолжительные аплодисменты.)

Нам говорят, друзья мои, о тарифе! Да будет вам известно, что введение тарифа Смута-Холи [1] принесло огромную пользу (причинило страшный вред) развитию коммерции. Этот тариф весьма способствовал укреплению (по сути дела разрыву) экономических связей Соединенных Штатов с другими странами. Я взываю к руководству демократической (республиканской) партии — если я не прав, докажите, не откладывая это в долгий ящик! Милости просим! (Продолжительные аплодисменты.)

Нам говорят о Лиге Наций! Позиция республиканской (демократической) партии в этом вопросе совершенно однозначна. Что касается Лиги Наций, друзья мои, то я убежден, что теперь, как никогда прежде, в наших отношениях с прочими мировыми державами надо держать ухо востро (держать ухо востро!). (Бурные аплодисменты.)

Кроме того, я обвиняю демократическую (республиканскую) партию в неуважении к ветеранам войны. Те храбрецы, те герои, которые в 1917 году покинули родные берега, чтобы защищать высокие принципы демократии в далекой Фландрии, являются тем-то и тем-то для нашей страны. Мы заслужили бы название нации неблагодарных, если бы проявили к ним то-то, то-то и то-то. Так давайте же, как сказал поэт, «не забывать» [2].

Дорогие друзья, как прекрасна наша страна в лучах заходящего солнца... наши славные традиции... отцы-основатели... непоколебимый дух... суровые пейзажи Новой Англии... бескрайние прерии Среднего Запада... Вашингтон, Джефферсон... истинная демократия... Линкольн... звездный флаг... святые традиции... прибежище слабых и угнетенных... да никогда не вспыхнут костры коммунистической пропаганды... Америка, страна будущего... с честью преодолеет нынешний кризис... и в конце концов благодаря республиканской (демократической) партии... возглавит силы мирового прогресса... и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Уважаемые дамы и господа! Благодарю за внимание. (Продолжительные аплодисменты.)

Убийственные совпадения

Некая миссис Джорджес Льюис подала в суд на Юджина О'Нила, обвинив его в плагиате: по убеждению миссис Льюис, драматург использовал в своей «Странной интерлюдии» отрывки из ее пьесы «Храм Афины-Паллады». В подтверждение сего она привела следующие примеры:

«Я должна стать матерью».— «Ты должна стать матерью».

«К моему глубокому разочарованию...» — «К твоему глубокому разочарованию».

---

[1] Таммани-холл — так в XIX — начале XX века назывался исполнительный комитет демократической партии округа Нью-Йорк (а также демократической партии в целом); это название стало своеобразным символом политической коррупции. *(Здесь и далее прим. перев.)*

[2] Уоррен Гардинг (1865—1923) — президент США от республиканской партии (1921—1923); с деятельностью администрации Гардинга связано немало скандалов, вызванных взяточничеством и прочими злоупотреблениями.

[1] Законопроект, введенный в 1930 г. по предложению республиканцев, согласно которому значительно повышалась пошлина на ввозимые в США товары.

[2] Аллюзия на стихотворение Редьярда Киплинга «Последнее песнопение».

«Старая лиса!» — «Старая лиса!»

«О боже!» — «О боже!»

«Тоска зеленая!» — «Тоска зеленая!»

Лично я тоже намерен подать в суд на Юджина О'Нила. А заодно и еще на нескольких известных драматургов. Не уйти от ответственности и миссис Джорджес Льюис, ибо, как ни странно, в моей пьесе «Забытая галоша» есть не только реплика «К его глубокому разочарованию», но и слова «Тоска зеленая!». Уж не знаю, как станут выкручиваться Джорджес с Юджином. Случаются, конечно, самые неожиданные совпадения, но в данном случае что-то явно не так. Лично мне эти «общие места» кажутся очень и очень подозрительными.

Пусть непредубежденный читатель сравнит отрывки из моей исторической драмы «Комод» с некоторыми репликами из пьес современных авторов — думаю, что после этого никто не скажет, будто мои опасения насчет плагиата менее обоснованны, чем претензии миссис Льюис. Итак, за дело. Сначала приводится отрывок из моего «Комода», затем подозрительная цитата с указанием пьесы и автора [1]. Пусть же восторжествует справедливость и трепещут горе-драматурги! Пора дать решительный отпор наглым плагиаторам!

1. Я люблю тебя (это, напоминаю, из моей драмы «Комод»).
   Я люблю его (О'Нил. «За горизонтом»).
   Ну как, улавливаете сходство?
2. Негодяй, зачем ты привел меня сюда?!
   Мерзавец, зачем ты привел меня сюда?! (Марк Конелли. «Зеленые пастбища».)
3. А вот и принц Майкл!
   А вот и принц Феликс. (Оуэн Дэвид. «Скованные льдом».)
4. Эд, я хочу, чтобы у нас родился ребенок.
   Эд, я хочу, чтобы у нас родилась двойня. (Фло Зигфельд. «Улыбки».)
5. Черт побери, Этта, ты женщина, а я мужчина. Я не каменный!
   Черт побери, Мейзи, ты женщина, а я мужчина. Я не каменный! (Максуэл Андерсон. «Королева Елизавета».)
6. Нуби не плохая. Нуби хорошая!
   Нуби не хорошая. Нуби плохая! (Анна Николс. «Ирландская роза Эйби».)
7. Детектив Джонсон, это вы убили Ла Фламма!
   Детектив Джонсон, это вас убил Ла Фламм! (Ноэл Коуард. «Частная жизнь».)
8. Сегодня в полночь я жду вас у себя, леди Гинзбург!
   Сегодня в полночь я жду вас у себя, леди Мерфи! (Чаннинг Поллок. «В этом красивом доме».)
9. Дела! Дела! Дела! Неужели ты не можешь понять, Чарлз, чего хочет женщина? Женщина хочет любви!
   Дела! Дела! Дела! Неужели ты не можешь понять, Пегги, чего хочет мужчина? Мужчина хочет любви! (Эдна Фербер и Джордж С. Кауфман [1]. «Королевская фамилия».)
10. Да перестаньте же, мистер окружной прокурор! У каждого человека есть своя цена.
    Да перестаньте же, мистер окружной прокурор! У каждого человека есть своя жена. (А. Вулкотт и Джордж С. Кауфман. «Дорога».)
11. Вам два куска сахара или один, лорд Фрэнсис?
    Вам два куска сахара или четыре, лорд Фрэнсис? (Лоренс Столлингс, Максуэлл Андерсон, Джордж С. Кауфман. «Сколько стоит слава?»)
12. Конечно, я смогу полюбить такую прелесть, как ты!
    Конечно, я смогу убить такую прелесть, как ты. (Сэр Джеймс Барри и Джордж С. Кауфман. «Двенадцать фунтов».)
13. Папочка!
    Папочка! («Отелло». У. Шекспир и сэр Джордж С. Кауфман.)
14. Прощайте, мой генерал. Да здравствует Франция!
    Прощайте, мой генерал. К черту Францию! (А. А. А. А. А. А. А. А. Милн. «Винни Пух».)

На этом, пожалуй, можно поставить точку. Думаю, что теперь ни у кого не останется сомнений насчет справедливости моих претензий. Но это далеко не все. У меня найдется кое-что про запас, а потому очень советую вышеупомянутым плагиаторам не доводить дело до суда и возместить мне ущерб. Я требую десять долларов.

Ну хорошо, пять.

Три доллара, и ни центом меньше. Это моя последняя уступка.

Подождите, куда же вы? Согласен на один доллар.

Даже на пятьдесят центов.

Одолжите, пожалуйста, пять центов на чашечку кофе...

[1] Герой рассказа называет реальные пьесы реальных драматургов — английских и американских, но порой приписывает им реплики собственного сочинения.

Крошка Америс

Наш корреспондент из Сан-Паулу (Бразилия) сообщает о чудо-ребенке, мисс Америс Маттар, сорока трех дней от роду. Малышка умеет прекрасно говорить. Когда ее отец, придя домой поздно вечером, сообщил жене, что задержался, потому что работал сверхурочно, дочурка заметила: «Неправда. Он развлекался с приятелями»

Из газет.

Дом семьи Маттар. Шесть часов утра.

АМЕРИС *(из колыбельки).* Эй вы, сони! Подъем!

МАТЬ *(протирая глаза).* А? Что случилось?

АМЕРИС. Уже шесть часов. Вот что случилось. Хочу бутылочку. Ну и парочка! Шесть утра, а они дрыхнут без задних ног.

[1] Американский драматург Дж. С. Кауфман (1889—1961), как правило, работал в соавторстве (в том числе и с Эдной Фербер), что и обыгрывается далее. «Творческие союзы» в примерах 10—13 — плод фантазии Салливена.

МАТЬ. А ты тоже поспи, моя радость, дай папочке с мамочкой немножко отдохнуть.

АМЕРИС. Прямо! Сейчас! Если б я умела ходить так же, как говорить, то обошлась бы без вашей помощи. Ну и жизнь у меня!

Просыпается папа Маттар.

ОТЕЦ. Что такое? Что происходит?

АМЕРИС. Ничего особенного! Я хочу есть!

ОТЕЦ. Всему свое время, моя прелесть, всему свое время. Поспи еще немножко.

АМЕРИС. Черта с два! Подумать только, как обращается со мной родной отец. Да вы должны быть на седьмом небе от того, что ваша дочь в полтора месяца говорит не хуже вас.

МАТЬ. Мы очень гордимся тобой, душечка, но...

АМЕРИС. Никаких «но». Другие родители из кожи бы лезли вон, чтобы угодить чудо-ребенку. А что я слышу? Одну лишь брань.

МАТЬ. Не плачь, моя милая. Сейчас мамочка встанет и даст своей девочке бутылочку.

ОТЕЦ. Ты что раскипятилась? Мы тебя и не думали обижать.

Бормочет что-то себе под нос.

АМЕРИС. Мама! Он ругается. Думает, я не понимаю. Он сказал, чтобы я катилась к чертовой бабушке!

МАТЬ. Эстеван, не надо! Она же еще ребенок. Ей всего полтора месяца.

ОТЕЦ. Я ничего такого не говорил. Это ей померещилось. Ох, как я был бы рад, если б она лежала себе и помалкивала!

АМЕРИС. Мама!

МАТЬ. Да, моя радость?

АМЕРИС. Мамочка, скажи, пожалуйста, неужели, когда я стану большая, я выйду замуж за такого же олуха, как наш папа?

МАТЬ. Тсс! Папа вовсе не олух.

ОТЕЦ. Вот она, твоя кровь, Долорес!

МАТЬ. Ничего подобного. Это вылитая твоя мать. И характер и язык...

АМЕРИС. Вы только взгляните на мойку. Посуда с вечера не вымыта. Ты, мамочка, совсем не занимаешься хозяйством.

МАТЬ. Мамочка вымоет посуду, как только даст своей доченьке бутылочку Доченька не должна сердиться на свою мамочку.

АМЕРИС. Папочка тоже хорош. Глаза красные, как у кролика! Не иначе как вчера опять надрался.

ОТЕЦ. Ах, ты...

МАТЬ. Эстеван!

ОТЕЦ. Сил моих больше нет. Эта п-р-о-к-л...

АМЕРИС. Вот умора, он думает, что если будет говорить плохие слова по буквам, то надует меня.

ОТЕЦ. У-у-ух!

АМЕРИС. У него во рту сейчас, наверное, как в коровнике!

МАТЬ. Америс! Ты хоть немного уважаешь своего папочку?

АМЕРИС. Да, мамочка. Пока уважаю...

МАТЬ. Слава богу.

АМЕРИС. Но скоро перестану...

Родители вздыхают.

ОТЕЦ. Мой напарник на заводе рассказывал вчера, что его сыну Пепито больше года, но он еще не говорит.

Родители опять вздыхают — на сей раз с завистью.

АМЕРИС. Он, наверное, слабоумный.

ОТЕЦ. Вовсе не обязательно.

АМЕРИС. А наш папочка, судя по всему, заговорил лет в пять, никак не раньше.

МАТЬ. Америс!

АМЕРИС. Но зато уже в год начал прикладываться к бутылочке.

МАТЬ. Америс!

АМЕРИС. Причем когда я говорю «прикладываться к бутылочке», я имею в виду вовсе не...

МАТЬ. Сию же минуту прекрати, Америс!

АМЕРИС. А что ты так разволновалась? Я про тебя и не такое знаю! Помнишь, папочка, ты дал маме деньги, чтобы внести страховой взнос?

ОТЕЦ. Да, ну и что?

АМЕРИС. А то, что она истратила их на новую шляпку.

МАТЬ. Но я...

АМЕРИС. Только не надо врать! Ты же прекрасно знаешь, что я говорю правду.

Мать плачет.

ОТЕЦ. Ладно, мать, не расстраивайся, с кем не бывает...

АМЕРИС. Что это ты такой покладистый? Ты не рехнулся? Впрочем, как сказал поэт, «хоть это и безумие, но в нем есть последовательность»[1]. Ты знаешь, мамочка, почему он простил тебе шляпку? Потому что вчера вечером он гулял не с дружками, а с очаровательной блондиночкой.

ОТЕЦ *(с тихой решимостью)*. Мать, мне надо с тобой поговорить.

Они шепчутся.

МАТЬ. Эстеван, ведь в конце концов...

ОТЕЦ. Это единственный выход.

МАТЬ. Но это ужасно.

ОТЕЦ. Ерунда. Или она, или мы. Америс!

АМЕРИС. Ну?

МАТЬ. Что это за «ну»?

АМЕРИС. Не твое дело. И вообще говори яснее: я ничего не понимаю.

МАТЬ. Нет, ты прекрасно понимаешь, что я хочу сказать. Нельзя так разговаривать с родителями.

АМЕРИС. Идите к черту!

ОТЕЦ. Ничего, мать. Америс, сокровище, мы с мамочкой хотели бы поделиться своими соображениями насчет будущего нашей крошки...

АМЕРИС. Что бы вы ни сказали, я этого не одобряю.

ОТЕЦ. И на здоровье. Все равно это ничего не изменит.

АМЕРИС. Что же вы задумали?

ОТЕЦ. Усыпить тебя хлороформом, наше золотко!

АМЕРИС. Что?! И я не смогу по-прежнему радовать вас?

---

[1] У. Шекспир. Гамлет. II. 2. Перев. М. Лозинского.

ОТЕЦ. Надеюсь, что нет, ангел наш небесный.

АМЕРИС. И не буду вашей опорой, когда вы состаритесь?

ОТЕЦ. Нет, моя радость. Если, конечно, у нас хватит хлороформа.

АМЕРИС. Дудки! Я не согласна.

МАТЬ. Дорогая дочь, вопрос стоит так: или ты, или мы с отцом. Если мы проведем в твоем обществе еще месяц, то просто рехнемся. Разве наша крошка хочет, чтобы ее папочка и мамочка — ее любимые и единственные папочка и мамочка — вдруг сошли с ума?

АМЕРИС. Я больше не буду. Я завязала! Ой, мамочка, извини, пожалуйста. И ты, папочка, тоже. Не надо меня усыплять. Крошка Америс не хочет хлороформа! Крошка Америс хочет жить. Крошка Америс исправится. Она будет хорошей девочкой.

ОТЕЦ. Сомневаюсь. Ну ладно, не капризничай, слушайся родителей. Думаешь, нам не больно? Мать, где хлороформ?

МАТЬ *(живо)*. Вот он.

АМЕРИС. Не хочу! Негодяи! Полиция! Караул!

Ох уж этот водный туризм!

Некто мистер Хилл пытался спуститься по р. Ниагара в бочке, но попал в водоворот и был вытащен сыном.

Из газет.

Дом Хиллов сразу после происшествия. Входят отец и сын, промокшие до нитки.

МИССИС ХИЛЛ. Господи боже мой! Где вас черти носят?

СЫН. Отец решил...

ОТЕЦ. Замолчи. Ты и так все время лезешь, куда тебя не просят.

СЫН. Не буду я молчать! Мам, он решил...

МАТЬ. Можешь не продолжать. Мне и так все ясно. Странно, что я раньше не догадалась. Опять за старое?! Опять водный туризм?

ОТЕЦ *(с вызовом)*. Хотя бы и так!

СЫН. Я его еле вытащил, ма!

ОТЕЦ. Я тебя об этом не просил!

СЫН. А что бы ты без меня делал? Ты же попал в водоворот, и бочка стала тонуть.

ОТЕЦ. Я бы прекрасно обошелся без твоей дурацкой помощи. Подумаешь, беда! Преспокойно бы выплыл сам.

МАТЬ. Могу себе представить! А ну-ка, уйди с ковра. Ты только взгляни на себя, с тебя же льет ручьем.

ОТЕЦ. Подумаешь, ценность — ковер. Да пропади он пропадом!

МАТЬ. Ну вот! Теперь он еще и грубит. День-деньской я хлопочу по дому, верчусь как белка в колесе, а ты развлекаешься — катаешься в бочке по реке. Мало того, что я все время волнуюсь, как бы с тобой чего не стряслось на этой чертовой — прости господи — реке, так ты еще и ребенка за собой потянул.

ОТЕЦ. Я уже сказал тебе: никто не просил этого чертенка...

МАТЬ. Бедная я, несчастная! У всех мужья как мужья!

ОТЕЦ. Не так уж тебе не повезло...

МАТЬ. Сколько раз ты клялся, что больше этого не будет. Но стоило мне на минуту отвернуться, как тебя и след простыл. Опять на реку удрал! Помяни мое слово, в один прекрасный день ты докатаешься. Ох, уж этот мне водный туризм!

СЫН. Ма, когда я увидел, что бочка угодила в водоворот, я обвязался веревкой и бросился на помощь.

МАТЬ. Тоже хорош. Зачем ты туда сунулся? Пусть бы отец сам расхлебывал эту кашу!

СЫН. Ма, он бы утонул.

МАТЬ. Туда ему и дорога! Ему и его паршивой бочке!

ОТЕЦ. И это говорит моя жена!

МАТЬ. А что еще мне, по-твоему, говорить? Или я должна помалкивать, глядя на твои фокусы? Разве Джо Ши хоть раз выставлял себя на посмешище, гоняя по реке в дырявой бочке? Или Боб Моуди? Или Эд Энгли? Нет, они не такие дураки! По вечерам они, как и все нормальные люди, сидят дома, и их жены не сходят с ума от страха...

ОТЕЦ. Ну ладно, ладно...

МАТЬ. Вот я начну кататься в бочке — что ты тогда запоешь?

ОТЕЦ. Только попробуй! Место женщины дома, у очага!

МАТЬ. Наш дом из-за тебя стал хуже омута. Хорош домашний очаг! Шляешься бог знает где, а потом приходишь мокрый, хоть выжимай!

СЫН. Если б не я, ма, он бы ни за что не выплыл...

ОТЕЦ. Неправда, прекрасно выплыл бы, если б ты не совал нос не в свое дело и оставил меня в покое. Но тебе же надо показать всему миру, какой ты пловец. И заодно — какой твой отец кретин! Эка невидаль: попал в водоворот. Нам не привыкать.

МАТЬ. Это точно. Лично я барахтаюсь в водовороте с того самого дня, как меня угораздило выйти за тебя замуж. Завтра ты свалишься с воспалением легких. Но учти — я пальцем о палец не ударю — лечись сам. Ты только посмотри, во что превратился новый костюм твоего сына.

ОТЕЦ. Костюм! Подумаешь, ценность!

МАТЬ. Тебе непременно надо лезть в воду в воскресенье, когда ребенок нарядно одет. Пойди, сынок, сними костюм — если, конечно, сможешь.

ОТЕЦ. Уж нельзя немножко поразвлечься в выходной день!

МАТЬ. Где ты раздобыл эту бочку?

ОТЕЦ. Не твое дело. И вообще, Сара Хилл, с меня хватит! Давай решим раз навсегда, кто здесь хозяин.

МАТЬ. Да замолчи же! И сойди с ковра, сколько раз повторять. Ты только посмотри на себя!

ОТЕЦ. И вообще, когда я в следующий раз захочу покататься... А-апчхи!

МАТЬ. Ну вот! Докатался!

ОТЕЦ. А-апчхи! А-апчхи!

МАТЬ. Я ведь предупреждала.

ОТЕЦ. Уйди, дай человеку — апчхи! — спокойно умереть.

МАТЬ. Ишь чего захотел! Сними все мокрое. А ты, мальчишка, что разинул рот? Принеси таз, гусиный жир, камфорный спирт, горчичники, аспирин и касторку. И сними наконец свой воскресный костюм. Не хватает, чтобы и ты заболел!

СЫН. По-моему, ты сказала, что, если он заболеет, ты его лечить не будешь?

МАТЬ. Помалкивай и делай, что тебе велено. Неужели тебе не жалко бедного отца?

Совет маленькой девочке

Передо мной письмо девятилетней Бернис Эрлих из Белвилла, штат Нью-Джерси. Она передала это послание своему отцу с тем, чтобы тот вручил его судье. Отец же, прочитав письмо, решил, что не стоит добиваться принятия тех решительных мер, на которых настаивает дочь, не проконсультировавшись с опытным сердцеведом, знающим, что посоветовать представительницам прекрасного пола всех возрастов, испытывающим затруднения в общении с нахальными, грубыми и все-таки неотразимыми мужчинами.

Вот оно, письмо Бернис:

Дорогой сэр!

Я хочу, чтобы вы приказали арестовать троих мальчишек. Это самые настоящие хулиганы. Они дерутся, колотят девочек и швыряются камнями. Пожалуйста, посадите их в тюрьму, ваша честь.

Искренне ваша,
Бернис.

P. S. Их зовут Джозеф, Джимми и Генри.
P. P. S. Они ругаются, обзываются и озорничают.

И вот что я решил ответить.

Дорогая Бернис!

Если ты очень настаиваешь, я, конечно, могу сделать так, чтобы твоих обидчиков посадили в тюрьму. Мне это раз плюнуть: я в приятельских отношениях с одним судьей, и он будет только рад помочь посадить за решетку того, кто мне не нравится. Теперь все знают, что я с судьей на короткой ноге и со мной шутить опасно — можно в два счета угодить в кутузку (кутузка — это то же самое, что тюрьма). Но прежде чем идти к судье, я хотел бы поговорить с тобой, потому что у меня создалось впечатление, что ты неправильно поняла Джозефа, Джимми и Генри.

Все мальчишки, дорогая Бернис, одинаковы. Они ругаются, обзываются и озорничают. А потому, если мы упрячем за решетку эту троицу, мало что изменится. Ты и оглянуться не успеешь, как вместо них появится шестеро новых озорников. Справедливости ради нам придется посадить и этих шестерых. Кончится тем, что в один прекрасный день мы пересажаем всех нормальных мальчишек и на свободе останутся одни маменькины сынки. Ты ведь не хочешь водиться с маменькиными сынками?

Очень скоро, дорогая Бернис, ты загрустишь от одиночества, но все это только цветочки по сравнению с тем, как тоскливо тебе станет лет через десять, когда тебе исполнится девятнадцать. Нет, нет, не топай ножкой и не говори, что ненавидишь всех мальчишек и без них прекрасно проживешь. Я-то стреляный воробей и знаю, что, когда тебе будет девятнадцать, ты прибежишь ко мне и станешь умолять меня сделать так, чтобы озорников выпустили на свободу.

Ты говоришь, что Генри стукнул тебя палкой. Но он сделал это только для того, чтобы ты обратила на него внимание. Он хотел сообщить всем, и тебе в частности, что ты ему не безразлична. По сути дела это был комплимент. Надеюсь, ты не дала ему сдачи? Ведь это означало бы взаимность! Через десять лет — если он по-прежнему будет жить на одной улице с тобой а ты правильно поведешь себя — он уже не станет колотить тебя палкой, чтобы привлечь твое внимание. Он станет дарить тебе цветы и конфеты, приглашать тебя на танцы и студенческие балы. Палка же снова пойдет в ход, только когда вы поженитесь.

Что же касается ругани и разных неблаговидных поступков, то за это мы должны не осуждать Джозефа, Джимми и Генри, а благодарить. Сама посуди: кто бы ругался и озорничал, если бы вдруг не стало мальчишек? Нежные создания вроде тебя и твоих подружек не справились бы с этой тяжелой и неблагодарной работой. Да и не женское это дело. Тут нужны мужчины.

Поверь мне, милая Бернис, что без озорных мальчишек нам никак не прожить. Кроме того, рано или поздно они станут мужчинами. От мужчин, конечно, много беспокойства, но пока что женщины не научились без них обходиться. Кто, скажи на милость, разжигает огонь в камине, покупает уголь на зиму и засыпает его в подвал? Кто ругается, обзывается и озорничает?

Когда подрастешь, ты поймешь, милая Бернис, что у женщин порой возникает настоятельная потребность кого-то холить и лелеять — опять-таки мужчины тут могут очень даже пригодиться. Они, например, легко заболевают и делаются страшно беспомощными, предоставляя женщинам выхаживать их и снова ставить на ноги.

Короче говоря, дорогая Бернис, даю тебе на размышление десять лет. Если и тогда ты не откажешься от намерения упрятать за решетку Джозефа, Джимми и Генри, то дай мне знать. Я обязательно попрошу моего приятеля судью оказать тебе эту маленькую услугу — при условии, конечно, что за эти годы никто из моих недругов не войдет к нему в доверие и не попросит упрятать за решетку твоего покорного слугу.

Среди книг

Издано в СССР

ЮГОСЛАВСКИЙ РАССКАЗ СЕГОДНЯ

Набросок сценария со счастливым концом. Рассказы югославских писателей. Составление Н. Яковлевой. М., «Радуга», 1984.

Конечно, и этот сборник рассказов писателей Югославии, как и выходивший ранее в издательстве «Художественная литература» («Последняя высота», 1970), не антология, а, так сказать, «проба», снятая с национальных литератур наших югославских народов-братьев. «Последняя высота» (составителем сборника, кстати, была тоже Н. Яковлева, известный специалист по литературам народов СФРЮ) — книга, где представлены двадцать три рассказчика, среди которых крупнейшие писатели,— выглядит предпочтительнее, как бы солиднее. «Набросок сценария...» по этим параметрам скромнее. И по именам и по «габаритам». Однако только такой подход к сопоставлению был бы поспешным.

Сборник «Последняя высота» знакомил нас с периодом 60-х годов, в известной мере переломным в истории развития югославской прозы. Точно выбранные рассказы позволяли судить как о новых тенденциях (крайние формы условности, мир грез, гротеск, символика, миф), так и о добром старом реализме, главным образом опиравшемся на драматическую историю народной жизни. Недаром заглавие предисловия, написанного автором этих строк к «Последней высоте»,— «Эхо большой войны».

«Набросок сценария...» собрал некоторые рассказы 70—80-х годов. Это уже другой период. Тут эхо звучит иначе. Составитель — опять же в полном согласии с реальностью литературной жизни — дает примеры творчества писателей, наиболее типичных для этого момента истории. Главная особенность их прозы — психологическая углубленность в мир личности. Это, скажем так, попытка или «набросок» нового «сценария» жизненного поведения личности.

Советский читатель откроет здесь и новые для себя имена.

Милорад Павич, поэт, прозаик, крупный литературовед, знаток старой сербской, русской и украинской литератур (в том числе украинского барокко), переводчик и толкователь Пушкина (я имел удовольствие анализировать его перевод «Евгения Онегина»), выступает здесь с двумя рассказами. «Пароль» и «Тайная вечеря» — примеры притчеобразного, мифологизированного повествования, где «эхо большой войны» дано как отзвук больших исторических событий, как легенда о повторяющейся мистерии духа. «Пароль» — рассказ о русской песне, которая шла с востока, несла музыку будущего, но ее не услышал маленький музыкант, преданный учителем. Таинственное слово «продромос», услышанное мальчиком во время сна, означало «предтеча», предшественник. Фашисты убивают музыканта, убивают песню, которой не пришло время созреть... В «Тайной вечере» маленький человек, робкий копировальщик фресок, считающий себя Христом, оказывается Иудой — выдает немцам подпольщика. В обоих рассказах за многослойной символикой скрыта пытливая мысль о человеке, его сущности, предназначении в этой жизни. «Все мы здесь, возможно, просматриваемся насквозь, и просто не существует того, что кажется нам спрятанным и мрачным, все мы на деле открыты друг другу вплоть до самых потаенных уголков, и каждый, являясь собою, бывает и кем-то еще. Каждый из нас, может статься, заключает в себе всех прочих...» Тенденцию этого направления в искусстве (читатель, несомненно, распространит ее признаки и на рассказы хорватского писателя Антуна

Шоляна[1] «Птица господня» и «Пятьсот ступенек») охарактеризовал в свое время писатель из Сараева Байрам Реджепагич на встрече в редакции «Иностранной литературы»[2]. «Взаимопроникновение универсального и национального, когда на местном материале... через эпос, легенду, фольклор поднимается определенная проблема и трактуется таким образом, что приобретает всеобщий характер. Это очень ярко выразил в своих произведениях Иво Андрич».

В том разговоре в редакции принимал участие и молодой сербский рассказчик Йован Радулович. Он говорил тогда о такой типической для новой сербской прозы черте, как «депоэтизация». Ирония, но высокой пробы, наподобие той, что в «Дон Кихоте». В сборнике помещены два рассказа Й. Радуловича — «Колодец» и «Граната». Два разных взрыва служат сюжетами этих историй. Старый партизан-подрывник помогает соседу соорудить колодец, проводя мирный взрыв по всем правилам военного своего искусства. Мальчишка подрывается на старой гранате. В обоих рассказах серьезная мысль развивается в обычной бытовой атмосфере, не без юмора, с иронической наблюдательностью. Но в каждом эпизоде что-то перехватывает тебе горло — мужественный юмор как бы боится сентиментальности, но смех не лишен горечи, а видимые нами картины замутнены непрошеной слезой. В новом «сценарии» авторы боятся патетики и морали конечных выводов.

Больше всего места в сборнике уделено словенскому рассказчику Бено Зупанчичу. Семь рассказов — в основном о любви, о «текучести» человеческих чувств и состояний. Об этом и произведение, давшее название сборнику. Выдуманная страсть, которая хочет быть на высоте страсти подлинной («Золотое яблоко»), воспоминания о юности, которые давно умерли, «словно потонули в шкафах, постелях, коврах», но отдаются «тупой болью» («Праздник Французской революции») неуловимость родства душ, зыбкость близости в любви («Ева полна тайн»), наконец, тайна чужой души, разные досужие предположения о ее мире, отзывающиеся типичной ошибкой априорных выводов («Путешествие с Одиссеем»). Почему писатель заканчивает «Путешествие с Одиссеем» на лукавой ноте: настоящий конец этой истории мы откладываем на будущее? Вероятно, потому, что человеческая жизнь, судьба личности еще не стала той самодостаточной целью общего интереса, который достижим лишь в будущем гармоническом общежитии. «Неизвестно, кому пришла в голову мысль написать на листочке, прикрепленном к временному деревянному столбику: «Альбин Облак. найден в 1919 году, потерян в 1977 году» Насчет того, что герой «найден», все просто — он был сирота, найденыш военного времени. А вот вторая часть надписи на могиле — «потерян» — заставляет грустно улыбнуться. Потерян герой потому, что от его жизни, мыслей, надежд, особой судьбы осталось ничтожно мало: домыслы, угадывания, предположения... «Одиссей» — его отец, воин, не вернувшийся домой в свою «Итаку», быть может, бродит и по сей день где-нибудь по миру, приемного отца застрелили немцы, а приемную мать замучили в концлагере. Потерян он и потому, что, по собственному убеждению, «он уверен, хотя и сам не знает почему, что человеческая жизнь... должна обладать некой законченностью». А герой наш гибнет в авиакатастрофе, не подведя итогов для себя, не дав и нам повода сказать себе: мы поняли его жизнь...

Эту тоску по сильному, «законченно» гармоничному человеку своеобразно передал и македонский писатель Димитар Солев. Мастер филигранного рассказа, с пристальным вниманием к быту на грани абсурда мелочного существования, он внимательно и тонко прослеживает путь героев — чаще всего запуганных, робких обывателей, в которых тем не менее всегда живет подспудное желание добра и деятельной жизни. Юмор и ирония Д. Солева направлены на такие качества окружающей действительности, которые препятствуют самоосуществлению личности как человека общественного. Писатель использует сказовую манеру письма («Никому ничего»), прибегает к гротесковым ситуациям («Бронзовая голова», «Трость»), чтобы выявить нелепость пустого существования. «Сознавая, что жизнь уходит сквозь пальцы,— говорит герой одного из рассказов, ожидающий приглашения на вечер однокашников,— мне остается лишь ждать решения инициативной группы о праздновании двадцатилетия зрелости моего поколения». Горькая ирония!

В рассказах Д. Солева найдем мы и ощущение исчерпанности тех времен, когда революционность понималась как полная отрешенность ото всего «старого»: «Все мы первые, до нас не было ничего, после нас будет все. А ведь на этой тряской земле, куда ни ступишь, где ни копнешь, куда ни бросишь взгляд, всюду видишь, что не ты первый роешься в этой земле».

Есть, видимо, своя закономерность в том, что именно черногорский писатель (Богдан Шеклер в рассказах «Два Миляна», «Визит дяди», «Слезы на телеграфных проводах») развивает тему историзма в виде драматической элегии о потере ценных нравственных традиций прошлого. В горах Черногории особенно долго держалась патриархальная нетронутость нравов и обычаев. Но время неумолимо. И писатель с болью отмечает общие для всех сегодня утраты, наносимые цивилизацией в сфере этической. Есть что-то родственное «Прощанию с Матерой» Валентина Распутина в рассказе Б. Шеклера «Два Миляна». Всегда связанная с поэтикой фольклора, черногорская литература бережно сохранила образы похоронных ритуалов: покойного надо оплакать вслух, пропеть над ним и сказать о нем слово. На этом построен рассказ «Слезы на телеграфных проводах». Холод душевный, распад родовых связей олицетворяются белой пустыней телеграмм, пришедших вместо людей на похороны родственника. Пронзительная память о детстве — трудном, но неповторимом — доносится запахом печеного домашнего хлеба и в пу-

[1] Рассказы А. Шоляна печатались в «ИЛ», 1983, № 7 *(Прим. ред.)*

[2] См. «ИЛ», 1982, № 4.

стыню близ Асуана, куда судьба занесла черногорца,— это из «Пекарни Нишавича», рассказа о родине, о прочных, почти мистических корнях личности.

Картины народной жизни, суровой и драматической истории соотечественников рисует хорватский прозаик Драго Кеканович. У советского читателя рассказы его «Зеленое окно», «Холодный лес», «Известь и слезы» вызовут, мне кажется, ассоциации с повестями Василя Быкова, особенно со «Знаком беды». Сильные и резкие характеры, безнадежная нужда, предельное напряжение эмоциональных сил, истовая вера во власть труда, честного и смелого поступка.

Разрушение человека и хутора в рассказе «Ужин на веранде» дается правдиво до жестокости, но сын своего озлобленного отца, герой рассказа, остается на опустошенной земле, откуда увозят последние бревна,— так сильна проснувшаяся в ушедшем когда-то в город Павле власть земли, на которой трудилось не одно поколение. Его маниакальное желание починить мост через ручей воспринимается как подспудное живое чувство надежды на связь былого и нынешнего состояния его, прерванную, казалось, навсегда.

Мастерски написан рассказ Д. Кекановича «Зеленое окно». Бывшие батрак и батрачка, Филипп и Драгица, на старости лет соединяются, чтобы начать новую жизнь, едва ли не перед смертью, но жизнь эта н о в а для всех — совершилась революция, раздают землю, и надо попробовать прожить человеком хотя бы конец жизни. Старики с мучительным напряжением сил строят хибару, но ее разваливает первый же снегопад, а самих их из жалости насильно увозят в дом престарелых. Вещь эта разрывает душу.

«Известь и слезы» — история материнской верности и любви. Единственный сын уехал на заработки в дальние страны. Мать ждет его, строит для него дом. В последней открытке сын пишет, что вряд ли вернется. Почтальон боится отдать открытку матери. Ее берет сосед, Марко. Вот финал рассказа: «Дом Каты стоит мрачный и безмолвный. Пахнет известью. Разглядев в мерцании полуночного неба вышитое полотенце и зеленую ветку на крыше дома, Марко остановился. Затем резко повернулся, сунул руку в карман и скомкал открытку в маленький комочек, сжимая до боли кулак. «Я бы никогда не смог быть почтальоном»,— подумал он. Спускаясь в долину, Марко разорвал эту блестящую открытку на мельчайшие клочки, чтобы никто никогда не смог их собрать и прочесть, что там было написано».

В этих «набросках сценария» не всегда счастливые концы. Но рассказы югославских писателей 70—80-х годов дышат неподдельной любовью к человеку. Авторы этой книги избрали очень верный путь к сердцу читателя — они говорят правду о многоликой и непростой жизни современника.

ВЛАДИМИР ОГНЕВ

ШВЕЙЦАРСКАЯ ПОВЕСТЬ В ДВИЖЕНИИ ЛЕТ

Современная швейцарская повесть. Перевод с немецкого. Составление и предисловие В. Седельника. М., «Радуга», 1984.

Хорошо, когда есть возможность следить за текущей литературой. Ее поток смывает одни имена, выносит на поверхность новые, да и оценка прежних часто заметно меняется. В итоге целое — «оркестр литературы» — оказывается в 70—80-е годы существенно иным, чем было, скажем, в 60-е.

Книга «Современная швейцарская повесть» позволяет почувствовать это движение, ограничиваясь, правда, одним из четырех языковых регионов страны — немецкоязычной Швейцарией и одним литературным жанром — повестью. Но и тут видишь многое.

Антология с таким названием, выйди она в 60-е годы, не обошла бы Фридриха Дюрренматта, прославившегося не только пьесами, но и прозой, памятной и у нас. Первое место в ней занял бы Макс Фриш, знаменитый тогда не только малой прозой, но прежде всего романами (в конце 50-х вышел его «Homo Фабер», в середине 60-х «Назову себя Гантенбайн»). По названию прозы Фриша «Цюрих транзитный» и был озаглавлен сборник рассказов швейцарских писателей, вышедший у нас в 1970 году. В статьях и заметках о швейцарской литературе мелькали имена Дигтельмана и Федершпиля, Урса Егги и Вальтера Фогта, высокую оценку сразу же получили первые произведения Отто Ф. Вальтера и Петера Бикселя, тогда же представленные нашему читателю. Среди обилия явлений и талантов чье-то творчество, например старого писателя Людвига Холя, спокойно шедшего своим путем, невнимательный глаз мог и не заметить (этот упрек я отношу прежде всего к себе, так как даже не упомянула о Холе в опубликованной «Вопросами литературы» в 1969 году статье «Времена года швейцарской литературы»). Другие авторы, чьи повести вошли теперь в рецензируемую книгу, тогда лишь начинали. Адольф Мушг, в частности, только что опубликовал свой первый роман «В лето зайца» (1965), сразу отмеченный критикой.

И вот перед нами швейцарская повесть в отборе 1984 года. Конечно, всякий отбор субъективен, особенно когда он ограничен объемом и приходится поневоле отказываться от многого. И все-таки этот отбор кажется мне характерным и неслучайным. В книге нет Дюрренматта, хотя этот крупнейший писатель не исчерпал себя: в западногерманском издательстве «Зуркамп» недавно вышло собрание его сочинений в тридцати томах. Уже из этого следует, что из Дюрренматта, как и из Фриша, есть что переводить и издавать. Кроме того, давние их достижения, быть может, и выше того, что предлагает текущая литература. И все-таки...

Макс Фриш (как раз в 70—80-е годы он обратился к жанру повести, неожиданно вырвавшемуся вперед и во всей швейцар-

ской литературе) представлен «Синей Бородой». Читатель узнает здесь привычные темы Фриша — трагическое несоответствие между тем, что человек есть, и тем, чем он — в зависимости от меняющейся ситуации — кажется окружающим. Напомню, что не так давно у нас была опубликована и его повесть «Монток» — прелестная и тонкая проза позднего Фриша

Особый интерес вызывают в сборнике две вещи — «Восхождение» Людвига Холя и «И больше нечего желать» Адольфа Мушга.

Чудаковатый анахорет Людвиг Холь (он провел большую часть жизни в Женеве, но жил чрезвычайно замкнуто, развешивая в каком-то подвале на длинных веревках листочки своих записей) известен книгой афоризмов и малой прозой. Над повестью «Восхождение» он работал сорок лет. Это поистине классическое произведение: мысль автора и описанный мир поданы с предельной ясностью и выразительностью Быть может, и прав был отчасти Дюрренматт (но только все же отчасти), написавший как-то не без иронии по отношению к себе и с величайшим уважением к Холю: «Холь необходим, мы случайны...»

Неверно было бы увидеть в «Восхождении» произведение на спортивную тему, неверно, хотя описана тут история гибели двух альпинистов, а автор задает нам как будто давно примелькавшиеся, банальные вопросы: зачем человеку это изматывающее силы карабканье по горам? Или: почему ничего не дает человеку та же высота, когда он набирает ее — куда легче — на лифте или на самолете.

Суть повести в том, как описано восхождение, во время которого один из эгоизма, трусости, внутренней вялости предает другого, второй же идет вперед и борется за каждый сантиметр продвижения вверх по отвесной скале. За конкретностью частного случая раскрываются просторы куда более дальние — просторы вечности. Природа такая, какой она была бы и без людей, без этого брошенного карабкающегося вверх человека. А он воспринимается читателем как представитель рода человеческого — маленький, обессилевший, но не упускающий своим творческим разумом ни одной возможности сопротивления. Макс Фриш охарактеризовал произведения Холя «отстраненными» и современными — это определение кажется точным.

Адольф Мушг (он родился в 1934 г.) представлен повестью иного рода. Один из крупнейших прозаиков сегодняшней Швейцарии (он известен также и как драматург), Мушг — мастер психологического письма. С годами его психологизм приобретает все более определенный социальный характер. Но в отличие от Фриша создающего модели социально-психологического поведения личности, Мушг «не отпускает» конкретности частного случая и неповторимой ситуации У нас была недавно издана книга рассказов Мушга «Поездка в Швейцарию». Повесть «И больше нечего желать» расширяет это знакомство.

Случай, рассказанный в повести несомненно, важен, но, казалось бы, важен лишь для самого героя и его судьбы. Преуспевающий юрист, переваливший за пятьдесят, в жизнь которого незаметно вкралась усталость, загорелся любовью к молодой девушке. Несколько раз по ходу действия он лелеет надежду на взаимность, и, как оказывается, понапрасну. Но суть рассказанного заключается в том, что напрасна не только эта его надежда.

Сидя за рулем на пути к Анне и предаваясь воспоминаниям, герой Мушга вдруг замечает, что воспоминания ненадежны. Напрягая память, он все-таки «не мог настичь» таившуюся за ними правду. Точно так же ускользает от человека, устало сидящего за рулем, и его быстротекущая жизнь. В герое Мушга угадывается автобиографичность. Но в том-то и состоит секрет искусства, что нечто сугубо частное вплавлено в гораздо более широкий контекст В повести нарисован человек, который «никак не может настичь» себя, свою жизнь смысл своего пребывания на земле. Название повести (в целом отлично переведенной М. Рудницким) в оригинале звучит как обычный вопрос кельнера: «Что еще желаете?» Суть ответа заключается в том, что после крушения любви, с которой связывались все возможные и невозможные надежды, других желаний не находится. Любимая героем Анна отнюдь не счастливей его, но огромное ее преимущество в том, что она живет, а он лишь изредка пробуждается к жизни.

Можно прочесть повесть Мушга по-разному. Законно усмотреть в ней сатиру на отчужденного интеллигента, покорно вписавшегося в механизм буржуазного существования; можно увидеть в судьбе героя драму возраста и посочувствовать человеку или предаться приевшимся размышлениям о феминизации мужчин. Вернее всего сказать, что эта повесть о непорядке в жизни, неспособной ответить людям, как только они начинают задумываться и задавать вопросы. И все-таки вывести общую ее формулу трудно.

Почти двадцать лет назад, в 1966 году, на страницах швейцарской прессы прошла дискуссия, начатая по инициативе Макса Фриша. Фриш упрекал тогда молодых литераторов в том, что, склоняясь, подобно Фридриху Дюрренматту и ему самому, к иносказаниям или параболам, писатели недостаточно отражают действительность своей страны. С тех пор литература совершила поворот: швейцарская повседневность и ее проблемы заняли важное место в писательском творчестве, что не означает, разумеется, как доказывает хотя бы пример Холя, полного исчезновения параболы. Выход к широким, мировым горизонтам осуществляется теперь другим путем: в частном, швейцарском видится и всеобщее.

Для 70 — 80-х годов характерна вошедшая в книгу повесть «Как бетон прорастает травой» Отто Ф. Вальтера, посвященная проблемам молодежи и молодежного бунта в Швейцарии,— это ли не актуальная тема для литературы страны, где молодежный бунт казалось, невозможен! И «Старое дерево» Вальтера Кауэра, выступившего с первым романом в середине 70-х. Его поэтическая и грустная повесть рассказывает о бесцеремонном вторжении в страну западногерманского капитала

Но может быть, и не стоит подвергать анализу все повести книги. В коротком отзыве мне хотелось сделать другое — оце-

нить в целом их художественную значительность и представительность для сегодняшней литературы Швейцарии.

Н. ПАВЛОВА

Издано за рубежом

ДРЕВО ЖЕЛАНИЯ

Jaromíra Kolárová. Chtěla bych ten strom Praha, Československý spisovatel, 1984.

Яромира Коларова. Хочу это дерево. 1984.

Передо мной в кресле сидит немолодая женщина с очень ясными, светлыми глазами. Это чешская писательница Яромира Коларова. Я спрашиваю ее о романе, который только что вышел. Она беспокоится за его читательскую судьбу. «Это жесткая книга»,— говорит она.

Книга действительно жесткая, но читательский интерес она вызвала большой.

...Дерево, увиденное героиней романа, двадцатилетней Зузанкой, из окна чужой квартиры, вызывает у нее особое чувство радости и полноты жизни. С ним связано сильное поэтическое переживание. Правда, настораживает безапелляционное: «Хочу!» Чего же хочет героиня?

Она хочет счастья! А кто его не хочет, особенно в двадцать лет! С работы пришлось уйти из-за приставаний пожилого бухгалтера. Первая любовь тоже обманула, и у покинутой Зузанки осталось в душе чувство горечи, неуверенности и обиды.

Новая работа также не обещает ничего хорошего. Зузанка поступает секретаршей к директору большого торгового предприятия, и директор, малопривлекательный внешне, грубоватый человек, на первых порах ей не нравится. Однако потом все меняется. И складывается столько раз описанная в литературе и нередко встречающаяся в жизни банальная ситуация — начинается роман пожилого директора с молоденькой секретаршей.

Впрочем, если всмотреться внимательно в то, что происходит с людьми, то в банальной ситуации всегда можно увидеть нечто своеобразное. Недаром директор Бездека говорит: «В теории имеют обычно дело с каким-то рассчитанным до деталей, среднестатистическим человеком, но ведь в живом человеке столько неожиданных подводных течений». В умении показать сложность человеческих характеров и отношений и проявляется в полной мере талант Коларовой-романистки.

Постепенное пробуждение у Зузаны сильного чувства, далекого от каких-либо меркантильных расчетов, воссоздано мастерски. Зузана стойко переносит допросы и увещевания, которые обрушивают на нее возмущенные и в то же время сгорающие от любопытства старшие по возрасту сотрудницы. Они так и рвутся защищать доброе имя директора. А Зузана совсем не думает о будущем, буквально растворяясь в чувстве любви. Надо сказать, Бездека поначалу сопротивляется охватившему его влечению к девушке. Он дорожит своей хорошо налаженной и по-своему счастливой семьей, его вовсе не радуют те служебные осложнения, которые неизбежно вызывает роман с секретаршей.

Однако в конце концов Бездека, преодолев все препятствия, женится на Зузане. Ей даже удается осуществить и другую мечту: они едут в свадебное путешествие в Италию. И во время этой поездки открывается то, что оба не принимали до сих пор во внимание: огромная разница в мироощущении, в опыте и в потребностях. Зузана переживает все как прекрасную сказку, а Бездека испытывает усталость от перемены мест, красоты Италии его мало волнуют, и он с досадой прикидывает те материальные сложности, которые вызовет дорогостоящая туристская поездка.

Вдобавок поначалу новобрачным предстоит жить вместе с матерью Бездеки, другого выхода нет. Зузанке придется приспособиться к женщине, которой уже исполнилось восемьдесят лет.

«— Ты хочешь сказать, что она скоро даст дуба?

— Зузанка! Просто страшно, что ты позволяешь себе говорить!»

Резковатый молодежный слент шокирует Бездеку, но именно Зузана потом самоотверженно и ловко ухаживает за прикованной к постели свекровью, а вовсе не любящий сын.

Пути и перепутья человеческих чувств порой бывают непредсказуемыми, и можно ли обвинять Бездеку за то, что позже он вернется в оставленную семью — после того, как с его взрослой дочерью Сашёной случается несчастье: она сближается с проходимцем, пытается покончить с собой, а теперь, оставшись одна, ждет ребенка. Бездека понимает, что с разумной первой женой, которую он хоть и разлюбил, его слишком многое связывает. Напротив, Зузане он кажется теперь чужим. Неудивительно, что смерть свекрови почти автоматически прерывает их недолгий брак.

О чем же этот роман? О том, что пожилому человеку не стоит ломать семью и жениться на девчонке, а юной девушке — заглядываться на своего далеко не юного начальника? Нет, писательница далека от надоедливого морализаторства. Это она подтвердила своими предыдущими произведениями, прежде всего романом «Мой мальчик и я»[1], духовной биографией поколения взявшего после Освобождения на свои плечи многие тяготы, с которыми столкнулось построение социализма в Чехословакии.

А первый ее роман носил название «Только о делах семейных», и оно звучало иронически. «Только» о делах семейных Коларовой писать не свойственно. Не ограничивается она семейными делами и в рома-

[1] Отрывки из романа опубликованы в «ИЛ», 1975, № 1.

не «Хочу это дерево», хотя речь идет главным образом о них. Коларова не вводит, как это нередко бывает, «параллельный сюжет», в котором воспроизводится «производственная атмосфера», но сами отношения Зузанки с шефом заставляют девушку переживать те трудности, конфликты и столкновения с людьми и обстоятельствами, которые сопряжены с жизнью большого торгового предприятия. Именно деловая активность Бездеки, его настойчивое стремление достойно управлять сложным производственным организмом во многом и способствуют возникновению любви Зузанки. Надо сказать, роман проникнут каким-то особым, отнюдь не показным уважением к честному, активному, слаженному труду. Это сказывается, например, в сцене субботника, когда служащие предприятия берутся наводить порядок в складских помещениях. Между прочим, в разговоре с Бездекой Зузанка замечает, что ее отец, мастер на все руки, и мать, образцовая хозяйка, дали ей «старомодное воспитание», и она не умеет работать недобросовестно, она не боится никакого труда, что потом очень помогло девушке, когда ей пришлось ухаживать за беспомощной капризной свекровью. И Бездеку, конечно же, покорила не только девичья прелесть его секретарши, но ее трудолюбие и деловитость.

Тонкий психолог, умелый мастер изображения человеческих характеров, Коларова связывает решение проблем личной жизни с пониманием социального долга и ответственности.

«Ответственность» — это главное слово, без которого нельзя обойтись, говоря о ее романе. Речь идет, конечно, и об ответственности зрелого, опытного человека. Но писательница вовсе не считает, что «рано» принимать на себя ответственность за свои решения и поступки и в двадцать лет. Однако Коларова и тут далека от банального морализаторства. Она достаточно строга к своим героям, но ее цель не судить их, а раскрыть те сложные «подводные течения» бытия, которые, порой коверкая человеческую жизнь, отнюдь не снимают с людей ответственности за их поступки. Понятие ответственности распространяется не только на судьбы связанных с тобою людей и за собственный жизненный путь, но включает широкий круг этических и общественных проблем.

...Дерево, фигурирующее в названии романа, Зузанка увидела из окна квартиры старого доктора, который буквально подобрал ее на улице после одного из драматических эпизодов, сопутствовавших началу ее романа с Бездекой. Это неожиданное знакомство с высокоинтеллигентным человеком разбудило в Зузанке сильное духовное начало, скрывавшееся за ее подчеркнутой резкостью и тем «наплевизмом», который абсолютно не соответствовал ее натуре, но который она считала современным «хорошим тоном». Именно эта пробудившаяся духовность и горький жизненный опыт, вместе с унаследованными крепкими основами трудовой и человеческой морали, позволяют надеяться, что «завтра» Зузаны, хотя, может быть, и не принесет ей исполнения желаний, но выведет из круга запутанных личных переживаний на широкую дорогу познания и самопознания, научит ответственности за себя и других, позволит занять достойную нравственную позицию.

И. БЕРНШТЕЙН

ВЕНЕЦИЯ, ВЕНЕЦИЯ...

Pere Gimferrer. Fortuny. Barcelona, Editorial Planeta, 1983.

Пере Жимфере. Фортунь. 1983.

Рецензия, предлагаемая вниманию читателей, написана по просьбе журнала «Иностранная литература» известным каталонским критиком, вице-президентом МАЛК, членом правления смешанной советско-испанской комиссии по литературным связям. Хуан Рамон Масоливер — большой и давний друг нашей страны. Еще в 20-е годы он вместе с друзьями и единомышленниками выпускал литературно-критический журнал «Шелиш», где немалое место уделялось вопросам развития молодой советской литературы. Хуан Рамон Масоливер известен у себя на родине и как вдумчивый, беспристрастный исследователь проблем европейской культуры.

Именно культурологический аспект и привлек его в книге Пере Жимфере (род. в 1945 г.), удостоенной в 1983 году одной из самых почетных литературных премий Каталонии — имени Рамона Льюля[1]. «Фортунь» — первый роман Пере Жимфере, автора литературоведческих эссе, нескольких поэтических сборников, в том числе «Море пылает» (1966), отмеченного Международной премией в области поэзии. Несколько поколений семьи Фортунь сыграли значительную роль в культурной жизни Каталонии второй половины XIX — начала XX века. Заметим, кстати, что в октябре 1984 года в одном из самых больших выставочных залов Мадрида открылась экспозиция «Венецианский Фортунь», посвященная художнику Марiá Фортунь-и-Мадрасо, о котором идет речь в романе Жимфере. Книга Жимфере воссоздает, пусть мозаично, целую эпоху в духовной жизни Каталонии, эпоху, которой сами каталонцы очень гордятся, считая ее своим вторым Золотым веком, и которая немыслима без новаторской и просветительской деятельности семьи Фортунь. Однако хотя судьба и творчество семьи Фортунь связаны с жизнью Каталонии, действие романа происходит в Вене, Париже, главным образом — в Венеции. Это объясняется, с одной стороны, чисто биографическими моментами: бóльшая часть жизни Марiá Фортунь-и-Мадрасо прошла в Венеции. Вместе с тем Венеция выступает в книге как символ и средоточие европейской культуры. Чтобы показать художественные искания своего героя, писатель воссоздает на страницах романа атмосферу, в которой он жил и сформировался духовно, культуру, которую впитал. В книге на равных правах сосуществуют Генри Джеймс и создание его фантазии — Джеффри Асперн Марсель Пруст и его персонажи. Для того чтобы читателю было удобно ориентиро-

[1] Рамон Льюль — выдающийся каталонский философ и прозаик XIII—XIV веков.

ваться в этом сложном мире, в конце книги Жимфере дает список действующих лиц с подробным пояснением к каждому имени.

Хронологически роман охватывает период от конца XIX до середины нашего века. Как же вмещает все это небольшой по объему художественный мир произведения? Книга Жимфере состоит как бы из отдельных мизансцен, связанных между собой не четкой сюжетной канвой, а сквозными персонажами, представителями различных поколений семьи Фортунь — они-то и цементируют это хаотичное на первый взгляд повествование. При всей необычности, в содержательном плане роман приближается к жанру семейной хроники. В то же время на творческой манере Пере Жимфере, безусловно, сказалось некоторое экспериментаторство, что отражает одну из тенденций развития современной каталонской литературы. Для нас, однако, важнее и значительнее другое — сегодня, после предоставления Каталонии автономии, ее культурная жизнь характеризуется, не в последнюю очередь, стремлением к изучению и осознанию собственного прошлого, традиций, национального начала. Именно этому стремлению и обязан своим появлением роман Жимфере «Фортунь», именно этим объясняется его огромный успех у каталонских читателей и критики.

Н. МАТЯШ

VENETIA, VENECIA, VINIEIXA, VENICE, VENISE, VENEDIG...[1]

Столько имен для одного города — неповторимого и вместе с тем не меняющегося на протяжении веков, города, живущего под постоянной угрозой затопления и все-таки невредимого, пережившего и победившего столько столетий, города, не подвластного действию времени! Этот образ Венеции встает со страниц романа «Фортунь»... В строгом смысле слова книгу эту нельзя назвать ни романом, ни хроникой — ведь в тех должно быть развитие сюжета,— нельзя отнести ее и к поэтическому жанру или хотя бы к поэтической прозе. Перед нами — пиршество слова, где соседствуют строгий литературный язык и выразительная непосредственность каталонской разговорной речи, оттеняемые лексикой золотого века каталонской словесности, лексикой тех времен, когда люди, говорившие на этом языке, жили в дружбе со всем Средиземноморьем. Книга Жимфере вызывает в памяти известные строки Унамуно: «Я думаю чувством, я чувствую мыслью».

Со страниц романа встает и Венеция, Венеция тех времен, когда благородные сенаторы из Аквилеи использовали как укрытие маленькие островки лагуны, недоступные для конницы Аттилы, а затем — для лангобардов.

Венеция скоро превратилась в своего рода Византию Запада и стала владычицей морей. Одновременно это были и ворота на Восток — ведь именно в Венеции купцы и крестоносцы постигали науку изысканности, превращая город в центр роскоши, утонченности и наслаждения. Именно в Венеции рождалась традиция городских карнавалов, где каждый преображался, надев маску. Сравниться с карнавалом могут только блестящие празднества в лагуне — торжественная церемония обручения дожа с морем, величественный праздник Освободителя, с вереницей гондол на канале Джудекка и устраиваемая в первое воскресенье сентября историческая регата, участники которой одеты в народные костюмы,— настоящий фейерверк красок и веселья. Праздниками для глаза стали также бьеннале и кинофестиваль. И все же Венеция всегда остается неизменной, будто город с его старинными, хрупкими на вид, розоватыми зданиями, отражающимися в воде, запечатлен на гравюре, не подвластной времени.

Для Жимфере словно не существует границ исторических или временных: персонажи разных времен и эпох постоянно чередуются, обмениваются масками — как герои карнавала. К середине книги в этом калейдоскопе проступают контуры Истории, но Истории как представления, как зрелища. Для Пере Жимфере изображать Историю — значит творить ее. История видится ему то полишинелем, то собранием ужасов, то мгновением, когда чудовища и марионетки застыли перед всемогущим и жестоким богом. И наконец, История — это туника, расписанная Фортунем.

Именно семейство Фортунь в центре повествования. Несколько поколений мастеров и художников из провинциального городка Реус близ Таррагоны, носящих эту фамилию и родовое имя Мариа, соединив в своем творчестве экзотику Востока, мистицизм крестоносцев и цветовую гамму эпохи Возрождения, добились триумфа в католическом Риме и значительно повлияли на вкусы и нравы парижской belle epoque. Одно за другим следовали поколения искусных на выдумку творцов с утонченным вкусом и той толикой безумия, что необходима каждому художнику: старший, «сеньор Марианито, изобретатель игрушек», создавший передвижной музей восковых фигур; его внук, гениальный художник Мариа Фортунь-и-Марсаль, умерший в возрасте всего 36 лет, и сын этого художника Мариа Фортунь-и-Мадрасо, автор гравюр и фотографий памятников искусства, сценограф, придумавший купол системы Фортунь для имитации дневного света, антиквар, декоратор, импресарио, создатель рисунков для парчи и женских украшений, рисунков, вдохновленных великой венецианской школой живописи. Образы прадедушки и отца нужны Жимфере, чтобы подчеркнуть своеобразие сына, великого человека искусства, человека масштаба эпохи Возрождения, подлинного homo universalis, каким был венецианский Фортунь, отразивший настроения Европы последней четверти XIX века, накануне и после первой мировой войны. А это Европа Рескина, Вагнера, Генри Джеймса, Габриеле Д'Аннунцио, Европа Дузе, Гофмансталя, Пруста, Карузо, Валентино, Чаплина... но и Муссолини, Гитлера. Кроме упомянутых реальных лиц на страницах романа мы встретим еще около семидеся-

[1] Венеция — на различных европейских языках и диалектах.

ти вымышленных персонажей. Всех их автор выводит на подмостки, запечатлевая порой их единственный жест; эстампы сменяют друг друга, образуя нечто вроде серии монтажных листов, складываются в целостную картину мира.

В этой картине смешано все — живопись, народное творчество, фотография, комиксы; здесь тасуются эпохи, художественные стили, разные маски примериваются на одних и тех же персонажей. Произведение Жимфере — роман мимолетного взгляда; взгляда автора — читателя — зрителя. В детстве, когда мы болели и нам неожиданно выпадало свободное время, мы неторопливо листали пожелтевшие страницы «Испанской и латиноамериканской иллюстрации»— и это было для нас своего рода школой, а по фотографиям еженедельников «Черное и белое», «Мир графики», «Сфера» мы узнавали что-нибудь новое о королях, актерах и звездах немого кино. Для молодого Жимфере такой школой тоже были журналы и фильмы, но уже другого времени. Если наше воображение питалось из источника немого кинематографа, где простое движение и жест казались колдовством (оно было для нас как музыкальная партитура, открывающая нескончаемые возможности для фантазии), то в детстве Жимфере было не только звуковое кино, но и телевидение, и эти технические достижения не оставляли прежнего простора для полета воображения. Слово вытесняет на второй план жест, цвет не дает развернуться фантазии, и постепенно тот, кто в моем детстве был «читателем», почти соавтором творческого процесса, теперь становится, по современной терминологии, просто «воспринимающим».

В этой книге искусное чередование сцен и персонажей, выхваченных наугад из различных времен,— мне хочется сравнить повествовательную формулу Жимфере с тем, как наугад, одну за другой, мы берем вишни из вазы,— редко сопровождается авторским комментарием. Жимфере апеллирует скорее к нашему слуху, обонянию, вкусу — ведь для того, чтобы построить свой пластичный мир, возвести эту сложную конструкцию, он целиком вверился магической силе слова, порождающего мысль и высшую реальность, реальность мира бесконечного и населенного фантазиями, как во сне. Таким образом, слово, обладающее властью вызывать к жизни тени прошлого, стирать пыль времен со старых масок и распределять их по своему капризу, чтобы создать серию эстампов, становится властелином и главным героем книги. Только слово может победить время. Оно и строительные леса, и конечный смысл книги.

Благодаря искусному соединению повседневной, подчас вульгарной речи с изысканным языком, со средневековыми архаизмами (иногда это тонкая стилизация), язык становится хозяином повествования, силой, его организующей. Художественная палитра Жимфере очень разнообразна, особенно он любит прибегать к приему многократного повторения одного и того же слова, чуть сдвинув его значение: «У той, что наверху,— глаза сокола, у той, что внизу,— глаза павлина, у обеих глаза стальные — чтобы ранить, свинцовые — чтобы сжигать, железные — чтобы пригвождать, бездонные — чтобы впитывать все краски мироздания первобытного хаоса».

Для меня — а я никогда не признавал игру слов как самоцель — ключ к книге, к этой огромной фреске, в двух фразах: «Глаз мешает глазу увидеть дно глаза» и «Нет ни времени, ни смерти во времени, запечатленном на коврах дворца Орфей[1]».

[1] Особняк в Венеции, в котором жил и умер Фортунь.

ХУАН РАМОН МАСОЛИВЕР
Барселона

◆

Из месяца в месяц

АЛЖИР

«РАЗБОЙНИКИ С ГОР АТЛАСА»

Парижское издательство «Галлимар» опубликовало роман молодого алжирского писателя Аззеддина Бунемера «Разбойники с гор Атласа». У себя на родине роман получил первую премию во время торжеств, посвященных двадцатой годовщине независимости Алжира.

Действие романа развертывается в 50-е годы, в период французской колониальной оккупации. «Разбойники» в произведении Бунемера — это народные мстители, выступающие против произвола и угнетения.

Как отмечает автор рецензии, помещенной в тунисском журнале «ИБЛА», повествование Бунемера выдержано в строгом стиле, писателю не свойственна «чрезмерность в выражении чувств», и тем не менее книга читается с неослабным интересом.

БОЛГАРИЯ

ПРЕМИИ СОЮЗА БОЛГАРСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Состоялось присуждение премий Союза болгарских писателей за 1984 г. В жанре поэзии их получили уже известные поэты: Людмила Исаева — за сборник «Письма из белого дома», Иван Давидков — за сборник «Коррида», Матей Шопкин — за книгу любовной лирики «Нежность». Впервые премий были удостоены и два молодых поэта — Владимир Попов за сборник «Страница» и Добромир Тонев за сборник «Нежная машина». Это вторые книги поэтов, творчество которых болгарская критика высоко оценила.

В жанре прозы премии присуждены Герчо Атанасову за роман «Я грешил до конца», Марию Ягодову за книгу новелл «Заупокойная по неудачникам» и Димитру Коруджиеву за сборник «Сад с дроздами».

В области драматургии премия присуждена Стефану Цаневу за пьесу «Жизнь — это две женщины», которая с успехом идет на сцене софийского «Театра 199».

БОЛГАРСКАЯ КРИТИКА О РУССКОЙ И СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Русская и советская литература — предмет пристального внимания болгарских исследователей. Статьям о ней отводится значительное место не только в периодической печати, но и в книгах болгарских критиков. Две такие книги видных русистов Ивана Цветкова и Ивана Пауновского отмечены в последние два года премиями Союза болгарских писателей.

В книгу И. Цветкова «Взгляд на две литературы» наряду со статьями о болгарских писателях включены также очерки о мастерах русской и советской литературы — М. Горьком, А. Чехове, А. Белом, Л. Леонове, К. Федине, М. Булгакове. Работы И. Цветкова, отмечает журнал «Септември», объединены одной задачей — показать связь двух литератур, их глубокую внутреннюю общность, их взаимопроникновение. Особенно наглядно эта связь прослеживается в статьях о Горьком, раскрывающих влияние его произведений на современную болгарскую литературу. К числу наиболее интересных, подчеркивает журнал, относятся также страницы, посвященные Л. Андрееву и М. Булгакову.

В книге И. Пауновского «Впечатления» помещены статьи о великих русских художниках слова: Пушкине, Достоевском, Гоголе. Наибольший интерес, по мнению еженедельника «Литературен фронт», представляет статья о Гоголе «Исчезнувший нос, или Мост».

«Чтобы написать такую статью,— пишет «Литературен фронт»,— нужно не только изучить творчество писателя, но и хорошо знать всю русскую классику знать эпоху, в которую создавалось произведение. Необходимо также обладать даром первооткрывателя и пытливостью исследователя верящего, что не все еще открыто, не все раз и навсегда установлено».

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

К СТОЛЕТИЮ ДЭВИДА ГЕРБЕРТА ЛОУРЕНСА

Знаменательным событием литературной жизни Великобритании стала публикация неизвестного, лишь в рукописи сохранившегося романа Дэвида Герберта Лоуренса «Мистер Нун». Как сообщает рецензент журнала «Букс энд букмен», этот роман — произведение незавершенное. До известной степени его можно воспринимать как продолжение «Сыновей и любовников», книги, занимающей особое место в наследии писателя.

Лоуренс, пишет критик, начал работу над «Мистером Нуном» в мае 1920 г., но уже в 1921 г. отложил рукопись, переключившись полностью на завершение романов «Жезл Аарона» (1917—1920) и «Кенгуру» (1922). Писатель, по-видимому, решил больше не возвращаться к «Мистеру Нуну», понимая, что ему не удастся опубликовать его: родные миссис Лоуренс крайне болезненно отнеслись к тому, что на страницах книги автор весьма откровенно рассказал о своих отношениях с женой. Стремясь избежать скандала и обвинений в диффамации, Лоуренс отдал черновики (пять записных книжек) и машинописный вариант романа на хранение своему американскому издателю Томасу Зелтцеру. С тех пор никаких сведений о «Мистере Нуне» не было вплоть до 1972 г., когда на знаменитом английском аукционе «Садебиз» были выставлены эти записные книжки и машинописная копия. Их приобрел за весьма солидную сумму Техасский университет. В течение нескольких лет, пишет критик, шла работа над подготовкой романа к печати. Было решено приурочить публикацию к столетию со дня рождения Лоуренса, которое приходится на сентябрь 1985 г.

Читатель, указывает рецензент, может усомниться в подлинности «Мистера Нуна»: настолько стиль этой книги не похож на стиль Лоуренса в других романах: «Сыновья и любовники», «Радуга», «Любовник леди

Чаттерлей». Видимо, высказывает предположение критик, это объясняется тем, что роман не прошел той авторской переработки, которой обычно подвергал свои книги Лоуренс, прежде чем они доходили до читателя. Но в этой незавершенности есть и свое очарование. Особым лиризмом отмечены описания природы. Безусловный интерес представляет автопортрет писателя, выдержанный преимущественно в комических тонах. Но все же самое существенное в этом романе, подчеркивает рецензент, непосредственный рассказ Лоуренса о себе, о том, как постепенно создавалась его теория «взаимоотношений полов», занявшая столь существенное место в его творчестве.

НОВЫЙ РОМАН МЮРИЭЛ СПАРК

Как признается сама Мюриэл Спарк, толчком к написанию романа «Самая важная проблема» стала картина Жоржа де Латура «Иова посещает жена». В ней художник с особым драматизмом выразил центральную, с точки зрения писательницы, проблему духовного бытия человека — проблему духовного страдания и последующего нравственного очищения.

Главный герой нового произведения Мюриэл Спарк — Харви Готтам, канадский миллионер, обосновавшийся во Франции. Он посвятил свою жизнь созданию комментария к одной из частей Ветхого завета — «Книге Иова».

В структуре, а главное, в идейном замысле романа, отмечает рецензент журнала «Букс энд букмен» Себастьян Фоукс, важную роль играет притча об Иове, которого Бог в один прекрасный день лишил всего — богатства, детей, здоровья, подверг мучительным физическим и нравственным испытаниям. Харви Готтам не раз сравнивает себя с Иовом. Он тоже страдалец: расстался с женой — красавицей Эффи, которая, томясь от скуки, вступила в террористическую организацию и вскоре погибла в перестрелке. Дом, где живет Харви Готтам, расставшись с женой, превращается в своеобразный «центр Иова». Сюда, совсем как в библейской притче к Иову, стекаются многочисленные утешители: сестра Эффи Руфь, адвокат Готтама, тетка из Канады.

Харви сторонится всех этих людей. Единственным утешением для него стали размышления над текстом «Книги Иова».

Английские рецензенты, высоко оценивая профессиональное мастерство Мюриэл Спарк, виртуозный диалог, составляющий основу этого лаконичного, динамичного текста, затрудняются определить жанр книги. Может быть, это семейный роман, повествующий о падении нравственности? А может быть, это социальное произведение о современном терроризме? Или же это детектив — ведь полицейские засады, допросы, расследования играют в книге немалую роль?

Скорее всего, пишет рецензент «Таймс литерари сапплмент» Г. Джозиповичи, это притча, в которой библейские аллюзии создают своеобразный иронический фон. В самом деле, задает вопрос критик, ну какой Харви Готтам страдалец? Миллионер, которому ничего не стоит купить замок по соседству с лачугой, где он пишет свои комментарии. Сходное суждение высказывает и критик Д. А. Н. Джоунз из журнала «Листнер». В отличие от библейского Иова, Харви — человек без чувств, как, впрочем, замечает он, и другие участники этой бессмысленной человеческой драмы. Каждый из них, продолжает он, ищет способ заслониться от реальных проблем: кто комментарием к «Книге Иова», в общем-то никому не нужным, кто любовными приключениями, не оставляющими в душе ничего, кроме тоски и уныния.

Несчастья, выпавшие на долю библейского Иова, стали испытанием его веры. Может быть, замечает Фоукс, реальные беды близких, смерть жены, а не умозрительное сострадание, возникающее от созерцания картины Жоржа де Латура, пробудят в Харви Готтаме спящее нравственное чувство?

ВЕНГРИЯ

Советским читателям хорошо знакомо творчество известного венгерского поэта Михая Бабича и по различным антологиям, вышедшим в СССР, и по публикациям журнала «Иностранная литература» (см. «ИЛ», 1982, № 6; 1983, № 11).

Вот почему представляется небезынтересной еще одна — и необычная — страница творческого наследия поэта.

Об истории создания воспроизведенных здесь трех портретов, один из которых принадлежит «кисти» Бабича, рассказала в интервью, опубликованном в журнале «Уй тюкёр», вдова художника-любителя, общественного деятеля, мецената Ференца Эйнцингера Юлия Эйнцингер.

В течение многих лет каждую весну и лето Бабич проводил в городе Эстергоме, где и познакомился с Ференцем Эйнцингером. В доме Эйнцингера собирались художники, актеры, литераторы, музыканты.

Однажды, вспоминает Юлия Эйнцингер, на одной из таких встреч возник диспут о живописи и литературе, и Михай Бабич шутливо предложил выяснить, что труднее: писать или рисовать? Состоялся своеобразный конкурс, в результате которого и появились три портрета — поэт Михай Бабич и критик Аурел Карпати нарисовали художника Гуго Шейберта, а Гуго Шейберт создал портрет Михая Бабича. Шейберт высоко оценил свой портрет «кисти» Бабича, но от написания поэтического экспромта отказался, признав себя побежденным.

В настоящее время этот рисунок Бабича, датированный 26 августа 1926 года, хранится в Государственной библиотеке имени Сечени.

На снимках (сверху вниз):
Михай Бабич. Портрет Гуго Шейберта.
Гуго Шейберт. Портрет Михая Бабича.
Аурел Карпати. Портрет Гуго Шейберта.

(Журнал «Уй тюкёр»)

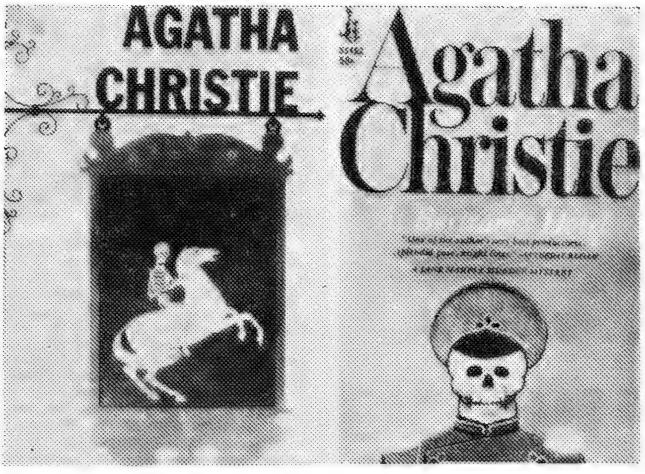
ГДР

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ИСТОРИЯ ДЕТЕКТИВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Если произведения детективной литературы исчисляются сейчас многими десятками тысяч, то работ по истории этого популярного жанра издано не так уж много. Одна из таких редких работ — «Иллюстрированная история детективной литературы», выпущенная издательством «Эдицьон Лейпциг». Автор книги Вальтрауд Вёллер очерчивает развитие «детектива» от античности и средневековья до его «золотого века», то есть до века двадцатого. При этом начиная с восемнадцатого века прослеживается и возникновение многочисленных жанровых ответвлений и разновидностей детективного романа. В книге даны творческие портреты классиков и ведущих представителей этого жанра (от Эдгара По, Артура Конан Дойла, Уилки Коллинза, Г. К. Честертона до Эдгара Уоллеса, Агаты Кристи, Жоржа Сименона и вплоть до Георгия Адамова и братьев Вайнеров), рассматриваются наиболее значительные для развития жанра произведения.

Но книга Вальтрауд Вёллер не просто «история» — это «иллюстрированная история». Она снабжена большим количеством интересного изобразительного материала, портретов, фотографий, фрагментов из кинофильмов, снятых по знаменитым детективным романам.

Рецензент журнала «Нойе дойче литератур» Клаус Вальтер отмечает, что, хотя работа Вальтрауд Вёллер и не свободна от недостатков, тем не менее книга, несомненно, привлечет к себе внимание многих любителей «детектива».



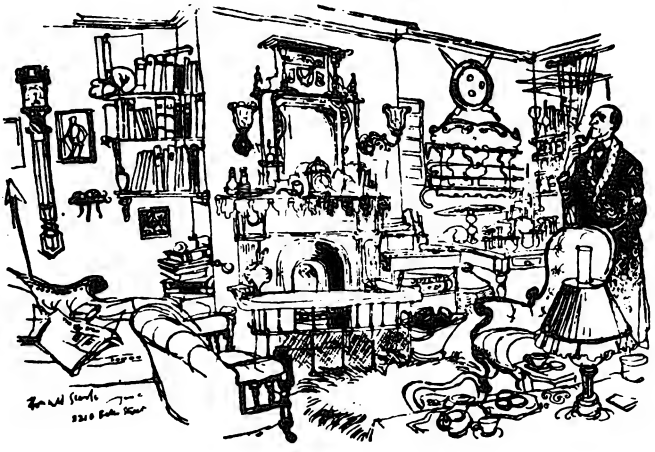
КНИГА О СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЯХ

Издательство «Фольк унд виссен» выпустило очередной том серии «Литература социалистических стран» — «Многонациональная литература Советского Союза». Книга охватывает два последних десятилетия советской литературы. Ее составители — Курт Бётхер и Герхард Цигенгайст, автор предисловия — Александр Овчаренко.

Большие содержательные статьи советских литературоведов и критиков Германской Демократической Республики рассказывают о творчестве самых разных писателей: Георгия Маркова, Александра Чаковского, Юрия Бондарева, Юрия Трифонова, Чингиза Айтматова, Василия Шукшина, Андрея Вознесенского, Евгения Евтушенко, Валентина Распутина, Александра Вампилова, Михаила Стельмаха, Расула Гамзатова, Нодара Думбадзе и других. В конце книги помещена подробная библиография.

«Мы стремились показать, — говорится в издательской аннотации, — картину литературной жизни Советского Союза шестидесятых — восьмидесятых годов, представить «военную» прозу, «городскую» и «деревенскую» прозу, а также поэзию и драматургию этого двадцатилетия. Целый ряд статей посвящен литературам, получившим «право на гражданство» только после Октябрьской революции».

На снимках иллюстрации из «Истории детективной литературы»:
Кабинет Шерлока Холмса на Бейкер-стрит 221 Б.
Обложки книг Агаты Кристи.



ГРЕЦИЯ

АРИСТОФАН В ЭПИДАВРЕ

Широкий отклик получила в прессе новая постановка бессмертной комедии Аристофана «Плутос», осуществленная Национальным театром Греции. Драматическое наследие классиков не сходит со сцен греческих театров, но этот спектакль привлек к себе особое внимание.

Для работы в Эпидавре, в театре, сохранившемся со времен античности и знаменитом своей акустикой, был приглашен известный итальянский режиссер Лука Ронкони, он же стал художником-постановщиком. Как отмечает греческая газета «Элефтеротипия», «Ронкони — один из самых оригинальных режиссеров современности. Ему удалось создать впечатляющий, новаторский спектакль, соединивший в себе реальность и фантастику; постановке предшествовал большой кропотливый труд по изучению многочисленных трактовок древних текстов».

Итальянский режиссер выступает против «модерниза-

На снимке: сцена из спектакля «Плутос».

(Газета «Элефтеротипия»)

ции» произведений классики — приема, который довольно часто используется в театрах Запада. Актуальность идей Аристофана подчеркивается у Ронкони трактовкой образов, декорациями, костюмами, режиссерским решением. Персонажей спектакля легко узнают современные греки, а декорации, созданные из природных материалов — камней, камыша,— позволяют представить, что действие может происходить в любой стране.

Греческие газеты подчеркивают, что эта режиссерская работа обогатила Национальный театр и стала событием в культурной жизни Греции.

Театральный критик Никос Фенек-Микелидис пишет о необыкновенном успехе спектакля: «В дни представлений казалось, что все афиняне покидают город» (Эпидавр расположен в двух часах езды от Афин).

В числе зрителей, аплодировавших постановке Ронкони в Эпидавре, были президент Республики Кипр Спирос Киприану, министр культуры Греции Мелина Меркури, известный кинорежиссер Тодорос Ангелопулос и другие.

Музыку к спектаклю написал Дионисий Саввопулос, один из самых популярных в Греции композиторов и исполнителей.

ИТАЛИЯ

ПОЛУВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ АНТИФАШИСТСКОГО КОНГРЕССА

В 1935 году в парижском зале «Мютюалите» состоялся Международный конгресс писателей в защиту культуры, в котором приняли участие представители сорока стран. Обвинением «коричневой чуме» прозвучали здесь выступления Бертольта Брехта, Анны Зегерс, Иоганнеса Р. Бехера, Э. М. Форстера, Олдоса Хаксли, Мартина Андерсена-Нексё, Луи Арагона, Поля Элюара, Леона Муссинака. Советский Союз представляли М. Кольцов, Б. Пастернак, Г. Табидзе, И. Бабель, А. Щербаков, А. Корнейчук, а также один из активнейших организаторов конгресса И. Эренбург (в то время корреспондент газеты «Известия» в Париже). В президиум созданной конгрессом Ассоциации писателей вошли Ромен Роллан, М. Горький, Бернард Шоу, Томас и Генрих Манны, Синклер Льюис, Анри Барбюс и другие.

Еженедельник итальянских коммунистов «Ринашита» опубликовал большой материал, посвященный пятидесятилетию антифашистского форума. «Конгресс 1935 года — яркий пример политической борьбы оружием культуры, а не просто торжественная церемония или громкий призыв под знамена»,— подчеркивает обозреватель «Ринашиты». Деятели культуры выразили единую точку зрения: «Чтобы спасти Европу и весь мир от губительной власти фашизма, необходим прочный союз представителей культуры с пролетариатом, хотя и временно ослабленным в Германии и особенно в Италии, но сильным во Франции, Испании и других странах».

Конгресс работал в сложной исторической обстановке, и в своих выступлениях его участники по-новому поставили проблемы национального культурного наследия, места писателя в жизни общества, соотношения традиций и новаторства в литературе тридцатых годов.

По инициативе Французского культурного центра в Риме силами ученых ФРГ, Италии и Франции был проведен коллоквиум, который изучил исторический опыт работы конгресса и наметил пути расширенного исследования его материалов в политическом аспекте.

КАНАДА

«ЛЕД И ПЛАМЕНЬ»

Под таким названием профессор кафедры современного языкознания и литературы университета Оттавы Дуглас Клейтон опубликовал в этом году книгу статей, посвященных «Евгению Онегину» А. С. Пушкина.

Рецензент журнала «Нью пабликейшнз» отмечает, что автор стремился не только представить критические работы русских и советских литературоведов о «Евгении Онегине», но и соотнести каждую из работ с общими тенденциями в развитии общественной и эстетической мысли в России. Клейтон предлагает и свой «вариант прочтения» романа — он обращает внимание читателя на нравственно-эстетический пафос произведения, в котором, по его мнению, впервые стало очевидным отличие основ русской и западной этики. Д. Клейтон обнаруживает, по мнению рецензента, великолепное знание русского языка и понимание законов поэтики, умело анализирует пушкинский текст, в котором «гармонично сочетаются поэзия и дидактика, красота слова и глубина мысли».

ЛИВАН

«БЕЙРУТ, ПЛАЧ В НОЧИ»

Арабская пресса сообщает о выходе в свет книги под названием «Бейрут, плач в ночи» (составитель Шауки Абд аль-Хаким). В книге собраны воспоминания людей, переживших кошмарные дни осады Бейрута израильскими войсками в 1982 году. Эти воспоминания дополнены документами и материалами прессы того времени.

МАЛИ

ГРИОТ-ПИСАТЕЛЬ МАСА МАКАН ДЬЯБАТЕ

Журнал «Агекоп-льезон» сообщает о выходе в свет нового романа малийского писателя М. М. Дьябате «Мясник из Кута». Этой книгой Дьябате завершает трилогию («Лейтенант из Кута», 1979, и «Парикмахер из Кута», 1980), рассказывающую о трех десятилетиях в жизни Мали — от конца колониального периода до наших дней. Хотя место действия в трилогии не названо, более того, оно представляется одновременно реально существующим и вымышленным, Мали тем не менее легко узнать и в описании местности, и в целой галерее персонажей, которые «один другого занятнее». В журнале дана высокая оценка и новому роману Дьябате, и всему его творчеству, а сам писатель назван «основателем подлинной малийской литературы, сумевшим удачно соединить в своих произведениях традиционное наследие, влияние ислама и кипение современного мира». Романы Дьябате — «специфически малийская литература».

Действительно, Маса Макан Дьябате весьма оригинален как личность и как писатель. Он выходец из семьи гриотов-сказителей, хранителей народной мудрости, фольклора, традиций, где знания передаются от отца к сыну. Получив прекрасное филологическое образование во Франции, Дьябате посвятил жизнь исследованию, охране и популяризации фольклора своей родины. Его первая книга «Если погаснет огонь» (1967) — перевод на французский язык многочисленных эпических сказаний о Сундьяте, основателе империи мандингов (XII в.), снабженный прекрасным комментарием. Обычно свои собственные произведения, как и обработанные им народные песни, сказания, мифы, М. М. Дьябате публикует на двух языках одновременно — на французском и языке бама-

ра, считая, что французский в данном случае лишь средство для передачи и распространения информации. Известнейший исследователь гриотского эпоса Западной Африки Джибриль Тамсир Ниань (Гвинея) сказал о Дьябате: «Он не старается приспособиться к вкусам и привычкам европейской публики... Корни его произведений уходят в самые чистые традиции африканской литературы, он не отступает от ее канонов и моделей, он преданно и влюбленно перелагает на современный язык прекрасные африканские песни и предания».

МОЗАМБИК

СКУЛЬПТУРЫ АЛБЕРТУ ЧИССАНУ

В Риме состоялась выставка работ скульптора по дереву из Мозамбика Алберту Чиссану. Он, по свидетельству газеты «Унита», один из оригинальнейших художников Африки.

Чаще всего Чиссану вырезает трагически безутешные лики и скорбные фигуры людей разного возраста, от подростков до стариков. Особенно поражают, пишет корреспондент «Унита», скульптуры, сделанные в полный рост. Среди них он выделяет работу 1957 года «Старуха» — высохшую, сгорбленную фигуру старой женщины с полными отчаяния и безысходного горя глазами. Подлинными шедеврами Чиссану «Унита» называет вырезанные из дерева головы, маски, лица, закрытые громадными руками (пластика рук передана необычайно выразительно).

«Чиссану — современный скульптор, творчество которого глубоко связано с историей его народа, и в то же время это автор совершенно самостоятельный, создающий самобытные, удивительные по художественной выразительности скульптуры»,— заключает газета.

МОНГОЛИЯ

ЛУЧШИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ К 40-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Газета «Утга зохиол урлаг» сообщает о подведении итогов конкурса на лучшее произведение художественной литературы, посвященное 40-летию Победы над германским фашизмом и японским милитаризмом.

В числе лучших были названы повести известных прозаиков: С. Пурэва — «Солнечный день», С. Эрдэнэ — «В глубоком тылу», Б. Нямы — «Характер», рассказывающие о героизме Советской Армии, самоотверженном труде советского и монгольского народов в годы войны, боевом братстве народов двух стран, совместно боровшихся с японским агрессором на Халхин-Голе и сопках Маньчжурии.

Рассказ Ж. Лхагвы «Никогда не забуду тебя, Флажок», завоевавший первое место, воспроизводит события, происшедшие спустя двадцать лет после войны в небольшом украинском селе Васильково. Как известно, в годы Великой Отечественной войны в Монголии развернулось движение помощи Советской Армии. В те годы братскому советскому народу были отправлены тысячи лучших монгольских коней. Как раз один из этих коней, Дарцаг-Флажок, и попал в 1943 г. в село Васильково. Его, раненного, нашли в лесу ребятишки, вылечили. Флажок был единственной в селе лошадью, он делил с людьми все тяготы и невзгоды, помогая восстановить разрушенное хозяйство. Благодарные сельчане поставили на месте его захоронения памятник. Обо всем этом и узнал приехавший в Васильково по приглашению друга-однокурсника монгольский юноша.

Рассказ Ж. Лхагвы сразу завоевал популярность у монгольских читателей.

На конкурсе были отмечены также рассказы Л. Чойжилсурэна, П. Баярсайхана, Н. Надмида, Т. Баасансурэна, поэмы Д. Пурэвдоржа, Ш. Сурэнжава, Б. Лхагвасурэна.

НОРВЕГИЯ

«НУРДАЛЬ ГРИГ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ»

Так называется книга, вышедшая недавно в Норвегии. Она написана на основе документальных материалов видным норвежским критиком и поэтом Мартином Нагом. В нее включены также ранее не публиковавшиеся документы и выступления Нурдаля Грига.

Мартин Наг называет свой труд кратким социально-биографическим исследованием, цель которого — показать многогранность личности Грига, рассказать о нем как об общественном и политическом деятеле, как об активном борце Сопротивления.

«Социальный оптимизм Грига, его идея Единого фронта особенно актуальны сегодня, когда людям всей планеты так необходимо сплотиться в борьбе за мир»,— сказал в интервью коммунистической газете «Фрихетен» Мартин Наг.

США

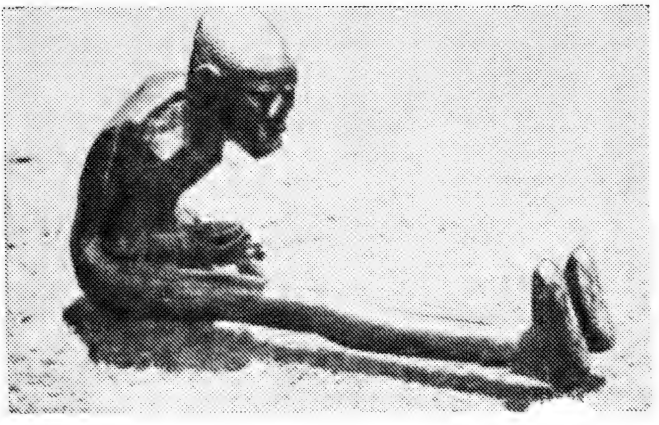
«ПОЗНАВШИЕ УЛИЦУ»

Стоит ли выносить документальные фильмы на широкий экран, если телевидение и без того буквально «закормило» ими зрителя? Такой вопрос задает журнал «Тайм» и сам же отвечает на него: да, стоит, так как есть такие авторы и такие документальные сюжеты, которые требуют сосредоточенного внимания зрителя, достижимого только в кинозале.

Доказывая свою точку зрения, «Тайм» помещает рецензии на несколько художественно - документальных картин, особое внимание уделяя фильму, название которого можно перевести и как «Уличная премудрость», и как «Познавшие улицу». Рецензент Ричард Шикель пишет, что фильм с такой ужасающей достоверностью рассказывает о судьбах подростков из американского города Сиэтла, слишком рано познавших нравы улицы, что порой хочется крикнуть авторам фильма: «Не будьте же кинокамерой, будьте людьми!» — хотя с точки зрения документального кино картина сделана мастерски. Необыкновенно сильное впечатление, продолжает Шикель, оставляют кадры, где одна из главных героинь фильма Ирин рассказывает врачу, как стала проституткой, еще не достигнув поло-

На снимке: скульптура Алберту Чиссану «Старуха».

(Газета «Унита»)



вой зрелости, а мать девочки, алкоголичка, спокойно рассуждает о том, что «уличная жизнь» Ирин — всего лишь переходный период на пути к взрослости. Злой пародией на родительские чувства выглядит и разговор юного карлика де Вейна, навестившего отца в тюрьме. Через стеклянную стенку, через специальное переговорное устройство отец разговаривает с сыном, то громко жалея себя, то отчитывая сына за плохое поведение.

В рецензии отмечается блестящая работа Мартина Белла, режиссера и оператора фильма, который стремится проявить себя прежде всего как документалист, однако — что и ставится ему рецензентом в вину — слишком увлекается эффектными съемками. «Любую сцену при любом освещении Белл может отснять так, как если бы съемки производились в первоклассном павильоне,— пишет Шикель.— И это отдаляет зрителя от происходящего на экране». Страшная реальность превращается в нечто театральное, искусственное, фильм словно подтверждает расхожую истину: жизнь-де слишком часто напоминает «плохое кино».

Рецензент считает, что фильм, снятый просто, «без избыточной артистичности», мог бы вызвать у зрителя более сложные и сильные чувства, среди которых на одном из первых мест, несомненно, был бы гнев.

«ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ РОМАН»

Как сообщает американский журнал «Эсквайр», один из идеологов движения хиппи в 60-е годы, Тимоти Лири, вместе со своими друзьями — писателями Уильямом Бэрроузом и Терри Саутерном — организовал фирму по производству «полупроводниковых романов». С помощью личного компьютера читатель может читать и сам создавать романы, в которых возможны соответствующие его желанию повороты сюжета. Так, например, дочитав версию знаменитого «Гекльберри Финна» Марка Твена в переложении Энн Вэйл до того места, где читатель хотел бы изменить привычный ход событий, он может задать компьютеру новые обстоятельства и посмотреть, что же произойдет в таком случае с его любимыми героями. При подготовке своих вариантов «романа взаимодействия», как еще называют эту новую разновидность «литературы», заявляет Энн Вэйл, «нужно придерживаться традиции». Однако пока еще трудно судить о том, что вкладывается в эти слова.

Особенно активно идет переработка произведений А. Кларка и Р. Брэдбери. А известный американский писатель М. Крайтон, знакомый и советскому читателю, сам потратил год на создание «романа взаимодействия» под названием «Амазонки», в котором читателя ждут приключения, связанные с поисками легендарного города в Южной Америке.

Как полагает журнал «Эсквайр», сегодня, как и в начале века, когда телевидение делало свои первые шаги, человечество стоит на пороге новой эры, которую откроет грядущее распространение «полупроводникового романа».

ТУНИС

ПРЕМИИ ПИСАТЕЛЯМ И УЧЕНЫМ

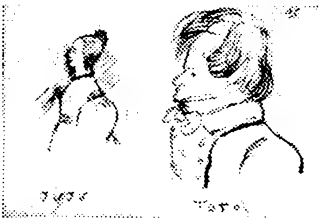
Как сообщает журнал «Альхаят ас-сакафийя», министерство культуры Туниса устроило торжественный вечер, на котором группе тунисских писателей и ученых были вручены поощрительные премии. Перед участниками вечера с приветственной речью выступил министр культуры, известный публицист и писатель Бешир Бен Слама.

Поощрительных премий удостоены два известных тунисских прозаика — Омар Бен Салем за роман «Круг удушья» и Мухаммед Салех аль-Джабри за роман «Одна ночь за десять лет», а также молодой новеллист Саси Хамам за сборник рассказов «Запыхавшиеся в беге», поэт Мустафа Лахбиб Бахри за сборник стихов «Танец на вулкане» и известный поэт и критик Нуреддин Самуд за книгу «Критические исследования поэзии». Среди ученых, удостоенных премии,— музыковед Салех аль-Махди, автор книги «Арабские музыкальные лады».

ФРАНЦИЯ

ГОД ВИКТОРА ГЮГО

1985 год объявлен во Франции «годом Виктора Гюго». «Франция опьянена сегодня Виктором Гюго»,— пишет газета «Юманите». В Париже выходит пятнадцатитомное собрание сочинений писателя. Специальный выпуск энциклопедического словаря «Ларусс» — «Гюго. Гений без границ» — посвящен жизни и творчеству великого француза. Переиздается роман Андре Моруа «Олимпио, или Жизнь Виктора Гюго». Выпущена книга Пьера Гамарра «Необыкновенная жизнь Виктора Гюго», опубликованы другие литературные исследования. Увидел свет сборник для юношества «Факел века», в котором собраны отрывки из романов, пьес, поэм Гюго. В популярной серии «Великие писатели мира» вышел том его избранных произведений. Журнал «Эроп» посвящает Гюго специальный номер.



В течение пятидесяти лет Виктор Гюго вел переписку с актрисой Жюльетт Друэ. Согласно воле писателя, эти письма хранятся в Национальной библиотеке в Париже. Но Гюго, надо полагать, не был против опубликования их в будущем. В одном из своих писем к Жюльетт Друэ он писал: «Я не хочу, чтобы след твоей жизни в моей стерся навсегда. Я хочу, чтобы его обнаружили, когда мы оба станем прахом, и такое откровение уже не сможет разбить ничье сердце». Эти письма впервые увидели свет в 1962 году. В «год Гюго» они были переизданы.

На снимке: рисунок Виктора Гюго, запечатлевший образы двух корреспондентов, и подпись: «Жюжю» и «Тото».

(Газета «Юманите диманш»)

Среди культурных мероприятий в рамках «года Гюго» — театральные постановки во многих городах Франции. В парижском театре Шайо идет пьеса «Эрнани». В университетском городке французской столицы зрители увидели малоизвестную пьесу Гюго «Тысяча франков в награду». Жители городов Сошо и Нанси смогли посмотреть драму «Анжело, тиран Падуанский», а в Па-де-Кале театралы познакомились с постановкой «93-й год», созданной по одноименному роману.

«Свой монумент к столетию со дня смерти Гюго «воздвигает» и французское телевидение, предлагая вниманию зрителей специальные программы»,— пишет «Юманите». В их числе — шестичасовой телевизионный фильм «Отверженные» режиссера Робера Оссейна.

Цикл передач, посвященных жизни семьи Гюго, предлагает телезрителям журналист Деко. По известной переписке писателя с актрисой Жюльетт Друэ создана часовая телепрограмма.

«Никогда еще творчество Гюго не было так популярно во Франции, как сегодня»,— пишет журнал «Кайе дю коммунисм».

Во многих городах Франции, и прежде всего в Париже, организованы выставки, посвященные литературной, политической и общественной деятельности Виктора Гюго. Специальная экспозиция подготовлена и в музее писателя в доме № 6 на площади Вогезов, где Гюго прожил с 1838 по 1842 год.

11 октября 1985 года исполнилось сто лет со дня рождения Франсуа Мориака, одного из самых читаемых сегодня во Франции писателей. Французское телевидение подготовило к этой дате экранизацию романа «Подросток былых зремен», последнего из опубликованных при жизни автора.
На снимке: актеры Мадлен Робинсон и Жан-Пьер Клейн, исполняющие роли мадам Гажак и ее сына Алена в новом телефильме «Подросток былых времен».

(Газета «Драпо руж»)

39-й АВИНЬОНСКИЙ

С 6 по 31 июля нынешнего года проходил очередной Авиньонский фестиваль, собравший на этот раз более ста тысяч зрителей. Под звуки фанфар и барабанную дробь на площадь перед Папским дворцом вышли актеры театра «Комеди франсэз», чтобы открыть этот ежегодный театральный праздник новой постановкой — «Трагедией Макбета» по пьесе Шекспира. «Холодом ада веет от круговорота, в котором оказывается Макбет в прочтении режиссера Жан-Пьера Венсана.— пишет обозреватель «Юманите» Жан-Пьер Леонардини, внимательно следивший за ходом фестиваля и постоянно информировавший об этом читателей.— Трудно придумать лучшую сцену для спектакля, чем эта великолепная площадь перед старинным дворцом».

Обозреватель отмечает и мастерство режиссера из Кракова Тадеуша Кантора, который привез в Авиньон спектакль «Как умирают артисты!». Как всегда, на высоком профессиональном уровне поставлена французским режиссером Антуаном Витезом (он известен советским зрителям как постановщик комедии Мольера «Тартюф» на сцене Театра сатиры в Москве) драма Виктора Гюго «Лукреция Борджиа».

Удовольствие любителям театра доставила также «Эмилия Галотти» Лессинга. Но настоящим событием фестиваля, по мнению зрителей и критики, отмечает Ж.-П. Леонардини, стал спектакль «Махабхарата» по мотивам замечательного памятника древнеиндийского эпоса. «Питер Брук, режиссер-постановщик этого спектакля, показал, что и сегодня театр может стать местом исключительных по своему накалу переживаний».

Отмечая, что 39-й Авиньонский фестиваль, ставший апофеозом мастерства признанных режиссеров, прошел с большим успехом, Жан-Пьер Леонардини выражает сожаление в том, что театральный праздник 1985 года не подарил зрителям радости открытия молодых талантов.

ШВЕЦИЯ

«ПУШЕЧНАЯ ПЬЕСА»

Молодой шведский режиссер Петер Оскарссон, в конце 1984 г. посетивший нашу страну,— одна из самых заметных фигур в театральном мире Скандинавии. Являясь главным режиссером профессионального Евлеборгского народного театра, Оскарссон много внимания уделяет работе с самодеятельными актерами, которая, по его собственным словам, необычайно его обогащает.

Недавно Оскарссон вместе с членами театрального кружка небольшого промышленного поселка Норсундет поставил спектакль по пьесе шведской журналистки Анетты Кулленберг «Пушечная пьеса». Пьеса, действие которой тоже происходит в небольшом поселке (он называется Бофорс), близка, по мнению режиссера участникам спектакля.

Герои «Пушечной пьесы» выступают за свертывание в Бофорсе военного производства, несмотря на то что они сами там работают. Жители Норсундета заняты на лесопильном и сульфатно-целлюлозном заводах, загрязняющих окружающую среду и ухудшающих климатические условия в поселке. И в пьесе, и в жизни складывается трагическая ситуация: люди вынуждены бороться за закрытие предприятий, где они зарабатывают на жизнь.

Режиссер не ставил перед собой цель решить эти проблемы и дать зрителям ответ на вопрос, как они должны поступать. Главным для него было вынести острый, наболевший вопрос на суд общественности.

Режиссерские находки Оскарссона, а также актуальность темы способствовали, судя по восторженным отзывам центральной и местной шведской прессы, успеху спектакля.

НОВАЯ ВОЛНА ИНТЕРЕСА К СТРИНДБЕРГУ

Телевизионный фильм о жизни Августа Стриндберга вызвал у стокгольмцев новую волну интереса к творчеству их великого соотечественника.

Последнее жилище Стриндберга — Голубая Башня на улице Дротнинггатан — стало местом паломничества телезрителей. А в том доме, где раньше был Интимный театр Стриндберга, было решено устраивать летние фестивали в честь писателя. Огромным успехом пользуется пьеса «Кредиторы», поставленная на сцене бывшего театра Стриндберга профсоюзом графиков совместно с труппой «Фриа Протеатерн».

«Телевидение пробудило интерес к современным постановкам пьес Стриндберга, к местам, где он жил, но было бы гораздо лучше, если бы шведы вновь перечитали то, что написано Стриндбергом, вновь взяли в руки его книги», — пишет газета «Дагенс нюхетер».

◆

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА» за 1985 год № 1—12

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ

Альмансар Хосе Алькантара — История в стиле пастиччо и др. рассказы (Перевод с испанского Н. Булгаковой), № 4.

Андрушка Петер — Саженцы и др. рассказы (Перевод со словацкого А. Машковой, И. Ивановой. Вступление автора), № 2.

Антониони Микеланджело — Тот кегельбан над Тибром (Фрагменты книги. Вступление Георгия Товстоногова. Послесловие Паскуале Кессы. Перевод с итальянского Ф. М. Двин), № 7, 8.

Баллек Ладислав — Конь из Орландо (Глава из романа «Акации». Перевод со словацкого Н. Замошкиной. Вступление Н. Шульгиной), № 9.

Бенедетти Марио — Ближний берег. Слушать Моцарта (Рассказы. Перевод с испанского Ю. Грейдинга), № 8.

Бландиана Ана — За городом. Подделка под кошмар. Птица потребительская (Рассказы. Перевод с румынского Анастасии Старостиной. Послесловие Михаила Рощина), № 3.

Брезан Юрий — Каменотес и граф (Рассказ. Перевод с немецкого Н. Литвинец), № 5.

Брейтуэйт Эдвард Рикардо — Учителю — с любовью (Роман. Перевод с английского М. Загота), № 2, 3.

Голубович Предраг — Короткая летняя ночь (Новелла. Перевод с сербскохорватского и вступление М. Черненко), № 10.

Кармиггелт Симон — Сегодня хорошая погода? и др. рассказы (Перевод с нидерландского Е. Любаровой, И. Волевич, Ю. Сидорина и И. Братуся), № 6.

Кофиньо Мануэль — Любовь в тени и под солнцем (Роман. Перевод с испанского Юрия Павлова), № 11, 12.

аль-Куни Ибрагим — Новые дали. Куда ты, бедуин? (Рассказы. Перевод с арабского И. Ермакова), № 12.

Ладлэм Роберт — Бумага Мэтлока (Роман. Перевод с английского Михаила Брука. Вступление Юлиана Семенова), № 1, 2.

Мальц Альберт — Однажды в январе (Повесть. Перевод с английского С. Митиной), № 5.

Нарайан Р. К.— Бог и уличный сапожник (Рассказ. Перевод с английского И. Бернштейн), № 7.

Ойен Ханс ван — Цветы на могиле (Рассказ. Перевод с немецкого М. Федорова), № 5.

Олдридж Джеймс — Правдивая история Лилли Стьюбек (Роман. Перевод с английского Ларисы Огульчанской), № 12.

Оляча Младен — Лес. Сын (Рассказы. Перевод с сербскохорватского Александра Романенко), № 5.

Павлик Петр — Река (Повесть. Перевод с чешского Веры Петровой), № 8.

Паниц Эберхард — Трамвай моего отца (Повесть. Перевод с немецкого М. Федорова), № 1.

Радичков Йордан — Автострада и др. рассказы (Перевод с болгарского Н. Глен), № 7.

Радноти Миклош — Из дневников (Перевод с венгерского и вступление Елены Малыхиной), № 4.

Роблес Эммануэль — Венеция зимой (Роман. Перевод с французского Н. Брандис и А. Тетеревниковой). № 4.

Рундберг Арвид — Путешествие в Новый Орлеан (Роман. Перевод со шведского З. А. Буловской), № 3.

Сориано Освальдо — На зимних квартирах (Роман. Перевод с испанского Валерия Будылдина), № 6.

Тайлер Энн — Обед в ресторане «Тоска по дому» (Роман. Перевод с английского Ф. Лурье. Послесловие Виктора Розова), № 9, 10.

Твен Марк — Три тысячи лет среди микробов (К 150-летию со дня рождения. Фрагменты повести. Перевод с английского Людмилы Биндеман. Вступление Ю. Ковалева), № 11.

Турсен Лайла и Тур — Через границу с Россией (Фрагменты романа. Перевод с норвежского Т. Доброницкой. Вступление Генриха Анохина), № 5.

Хаяси Кёко — Встреча однокурсниц (Рассказ. Перевод с японского Б. Раскина), № 8.

Хэнсон Майк — Найди свое! (Повесть. Перевод с английского Оксаны Кириченко. Послесловие Джона Крофорда), № 7.

Чешко Богдан — Солдат-хозяин и др. рассказы (Перевод с польского Г. Аксеновой, С. Попковой, М. Зубкова), № 5.

Чжан Канкан — Северное сияние (Повесть. Перевод с китайского А. Желоховцева под редакцией С. Хохловой. Вступление В. Ф. Сорокина), № 6.

Чопич Бранко — Горькая трава забвения. Книги и воины (Рассказы. Перевод с сербскохорватского Александра Романенко), № 5.

Шрайби Дрисс — Расследование на месте (Роман. Перевод с французского Валерия Орлова), № 10, 11.

СТИХИ

Ай Цин — Стихи разных лет (Перевод с китайского Л. Черкасского), № 3.

Аква Кобена Эви — Братья мои, наше странствие будет долгим (Поэма. Перевод с английского и вступление Е. Витковского), № 12.

Больё Мишель — Из книги «Калейдоскоп» (Перевод с французского и вступление И. Кузнецовой), № 9.

Вадер Ханнес — Крысолов. Оглядываясь назад. Добрые времена (Перевод с немецкого и вступление Б. Хлебникова), № 6.

Варма Шрикант — Третий путь и др. стихи (Перевод с хинди Роберта Рождественского и Александра Сенкевича. Составление и послесловие М. Салганик), № 6.

Вёреш Шандор — Ожидание весны и др. стихи (Перевод с венгерского Давида Самойлова. Вступление Елены Малыхиной), № 1.

Геров Александр — «Ах, жизнь...» и др. стихи (Перевод с болгарского Лорины Дымовой), № 9.

Гроховяк Станислав — Totentanz in Polen (Перевод с польского Асара Эппеля. Послесловие Льва Гинзбурга), № 11.

Дамянов Дамян — Вечер и др. стихи (Перевод с болгарского Лорины Дымовой), № 9.

ИЗ БОЛГАРСКОЙ ПОЭЗИИ, № 9.

ИЗ ПОЭЗИИ ГАНЫ, № 12.
«КАК ТЫ, НИЧЕМ НЕУКРОТИМ...». Из поэзии Канарских островов (Перевод с испанского и вступление Сергея Гончаренко), № 8.
Кронин Джереми — Шаги по воздуху (Поэма. Перевод с английского Е. Витковского. Вступление Аполлона Давидсона), № 4.
Марко Хоакин — Стихи разных лет (Перевод с испанского и вступление Сергея Гончаренко), № 1.
Окай Атуквей — Увертюра (Поэма. Перевод с английского и вступление Е. Витковского), № 12.
Рицос Яннис — Хозяйка виноградников (Главы из поэмы. Перевод с новогреческого Виктора Лунина. Вступление Виктора Соколюка. Послесловие Александра Межирова), № 5.
Сааритса Пентти — Стихи разных лет (Перевод с финского Павла Грушко), № 2.
Скала Иван — Дети-сироты и др. стихи (Перевод с чешского Юрия Кузнецова), № 5.
Слободник Влодзимеж — Образ правды и др. стихи (Перевод с польского Давида Самойлова, В. Британишского, Натальи Астафьевой, Асара Эппеля. Вступление В. Британишского), № 7.
Стефанов Пырван — Похолодание и др. стихи (Перевод с болгарского Лорины Дымовой), № 9.

ИЗ КЛАССИКИ XX ВЕКА

Лорка Федерико Гарсиа — Сонеты темной любви (Вступление и перевод с испанского А. Гелескула). Четыре интервью (Перевод с испанского Н. Малиновской, с итальянского Е. Костюкович), № 7.
Фрост Роберт — Гора и др. стихи (Перевод с английского и послесловие Андрея Сергеева), № 2.

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Барбье Огюст — Собачий пир (Перевод с французского Геннадия Русакова. Вступление А. Михайлова), № 4.
Ронсар Пьер де (К 400-летию со дня смерти. Перевод с французского Веры Потаповой), № 3.
Цвейг Стефан — Кристина Хофленер (Роман. Перевод с немецкого Н. Бунина. Вступление Н. Л.), № 7, 8, 9.
ЧЕЛОВЕК В КИТАЙСКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ (Перевод с китайского, вступление и комментарий Л. Эйдлина), № 10.

КРИТИКА

Брок Алек — Размышления о каталонской литературе последних десятилетий (Вступление и перевод Н. Матяш), № 6.
ВСТУПАЯ В НОВОЕ ПОЛУСТОЛЕТИЕ. Фаиз Ахмад Фаиз. Джеймс Олдридж. Эктор Мухика. Ганга Прасад Вимал. Василе Никорович. Ярмила Фромкова. Душан Слободник (Переводы Н. Степановой, С. Прохоровой, Г. Вержховской, М. Салганик, А. Ковача), № 1.
Гаков Вл. — Ночь, которая не наступила (Тема фашизма в англоязычной фантастике вчера и сегодня), № 9.
Делюсин Л. — Добро и зло в очерках Лю Биньяня, № 10.
ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ БОРЬБА И ЛИТЕРАТУРА, № 11.
К СТОЛЕТИЮ ЭДУАРДА ВЭНСА ПАЛМЕРА. Беспокойный свет искусства (Предисловие и перевод с английского О. Зернецкой), № 9.
Кирай Иштван — Литература общечеловеческого воздействия (Перевод с венгерского О. Громова), № 6.
Крус Мэри — Куба и Хемингуэй (Перевод с испанского и вступление Юрия Папорова), № 1.
Левчев Любомир — Литература исторического оптимизма, № 5.
Млечина Ирина — От Джеймса Бонда до Джорджа Смайли, № 5.
Мулярчик А. — Путь к пониманию (По поводу издания американской литературы в СССР), № 4.
НАШ ДРУГ ФАИЗ АХМАД ФАИЗ. Вступление Олжаса Сулейменова. Стихи последних лет (Перевод с урду Натэллы Горской). Круги бытия художника (Публикацию подготовила М. Салганик), № 5.
Прожогина С. — В поисках настоящего времени (О творчестве Дрисса Шрайби), № 11.
Рехо К. — Суд памяти (Хиросима и современная японская литература), № 8.
Степанян Е., Степанян К. — Между Гамлетом и Дон Кихотом (Размышления над книгами Мартина Вальзера и Грэма Грина), № 2.
Тугушева М. — Замыкание разомкнутого круга? (К вопросу о «женской» литературе), № 12.
Федосеева Л. — А все-таки она читается! (Заметки о том, кто и как читает сегодня на Западе советскую литературу), № 11.
Чаковский С. — Фолкнер в Москве, № 8.
Челышев Е. — Шрикант Варма. Традиции и поиски, № 6.
Черкасский Л. — Ай Цин — поэт и гражданин, № 3.
Шишкин А. — Плодотворная традиция и бесплодные спекуляции (О некоторых явлениях в английской сатирической прозе 80-х годов), № 10.
Яковлева Н. — Соизмеряя с историей (Современная югославская проза о народно-освободительной борьбе), № 4.

ЗАМЕТКИ ПИСАТЕЛЯ

Дангулов Савва — В доме на Пятницкой, № 7.
Суньига Хуан Эдуардо — Годы наедине с русской книгой (Перевод с испанского Вероники Спасской), № 3.
Сыс Карел — Поэт и К° (Главы из книги. Перевод с чешского и вступление С. Шерлаимовой), № 2.
Федоренко Николай — Махатма Ганди: жизнь и судьба, № 6.
Федоренко Николай — Реальность и художественное воображение (О творчестве Йордана Радичкова), № 11.

ОТКЛИКИ, ВСТРЕЧИ, ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Веселицкий А. — С любовью к России (Заметки к «Дневникам Монделло» Франческо Лентини). № 6.
Гао Ман — Поездка в Москву (Перевод с китайского), № 6.
Ильинский М. — От сердца к сердцу, № 9.
ПАРИЖ, 9 МАЯ 1985 года... Веркор, Эммануэль Роблес, Ален Боске, Жан Руссело, Ив Бруссар, Жан-Лу Трассар, Роллан Десне (Вступление и перевод с французского Тамары Балашовой), № 12.
ПОЛЕЗНЫЙ РАЗГОВОР В БРАТИСЛАВЕ. Олерини Владимир — Вклад в сокровищницу культуры других народов (Вступление К. Чугунова), № 10.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ

Васильева Лариса — Джеймс Олдридж — сын своего века, № 12.
Литвинец Н. — Наш друг Отто Штайгер, № 8.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

КАРЛОС ФУЭНТЕС И НАШИ ДНИ. Далия Мендоса — Юрий Папоров, № 4.

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

Селимович Меша — Воспоминания (Фрагменты книги. Вступление и перевод с сербскохорватского Александра Романенко), № 11.

СУБЪЕКТИВНАЯ ХРОНОЛОГИЯ ЮДОРЫ УЭТЛИ.

Иоаким Бэр — Голос памяти. **Юдора Уэлти** — Из книги «Истоки одной писательской жизни» (Перевод с английского И. Дороннной. Послесловие Н. Анастасьева), № 12.

ТРИБУНА ПЕРЕВОДЧИКА

Апт С. — Время и переводчик, № 9.
Левин Ю. — Искусство перевода и жизнь литературы, № 2.

ПИСЬМА ИЗ-ЗА РУБЕЖА

Гравина Альфредо — Слово, неподвластное мраку (Перевод с испанского М. Андреевской), № 3.
Уэлдон Фэй — О необходимости феминистской литературы (Перевод с английского М. Кан). **Васильева Лариса** — ...С точки зрения человека и его времени, № 6.

НАШ КАЛЕНДАРЬ

Пристли Дж. Б. — Жизнь, литература и школа (К 90-летию писателя. Перевод с английского М. Лорие. Вступление Е. Гениевой), № 1.
Федоренко Н. — Гордость турецкой литературы (К 70-летию Азиза Несина), № 3.
Челышев Е. — «Мне ближе всего горьковский гуманизм...» (К 80-летию Мулка Раджа Ананда), № 12.

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Суслова Г. — Георгиос Вакиртзис — мастер-солдат, № 5.

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Ванников Ю. — На пороге больших перемен, № 1.
Григорьев Алексей — В начале было Слово, № 8.
Ерофеев Вик. — Комиксы для взрослых: опасности успеха, № 4.
Иванов В. — Не стоять в стороне..., № 5.
Кацура А. — Мистические культы и экологический пессимизм, № 6.
КОМИКС СЕГОДНЯ, № 4
Корзухин А. — На пути к Пикассо, № 2.
Митта А. — «Ужасный комикс», № 4.
Переверзев Л. — Клуб культуры или церковь отравленных умов?, № 1.
Переверзев Л. Б. — Школа в кризисе: нужен еще один спутник?, № 9.
Петрова Г. — За фасадом видеобума, № 4.
Ротенберг В. С. — Биология и культура, № 2.
Т. Р. — «...Войны каждую субботу-воскресенье», № 5.
Фесюн А. — Рисованная культура, № 4.
Фесюн А. — «Поколение ленивцев» и «Япония XXI века», № 6.

ПУБЛИЦИСТИКА

Березовский Максимилиан — Непременно скандал (Главы из книги. Перевод с польского и вступление А. Ермонского), № 1, 2.
Блечич Михаило — Последнее эхо (Перевод с сербскохорватского Александра Данилова), № 5.
Борский Карел — С автоматом и фотокамерой... (Главы из книги. Перевод с чешского Наталии Васильевой), № 5.
Зечевич Влада — Рассветает свобода (Перевод с сербскохорватского Александра Данилова), № 5.
Злобин Георгий — Из уст очевидцев (Заметки на полях книги С. Теркела), № 11.
Зомбори Аттила — Дело о похищении картин (История расследования. Фрагменты книги. Перевод с венгерского Ф. Лукьянова и В. Сергеева), № 11.
Каграманов Ю. — Кто готовит апокалипсис, № 8.
Казинс Норман — Врачующее сердце (Отрывки из книги. Предисловие Бернарда Лаун а. Перевод с английского М. Салганик), № 7.
Майлз Брюс — «Ночные ведьмы» (Монтаж по книге. Перевод с английского И. Истратовой), № 5.
Мяло Ксения — Молодежь Запада в 80-е годы: контрасты стиля и бытия, № 6.
Олдридж Джеймс — Девятое мая (Перевод с английского М. Загота), № 5.
ПАМЯТЬ... В строке документальной записи, № 5.
Пиляцкин Борис — Легендарная птица Зимбабве, № 9.
Плахов Андрей — Мы живем в одном доме... (Заметки о XIV Московском кинофестивале), № 12.
Познер Владимир — Нисхождение в ад (Фрагменты книги. Перевод с французского В. Ровинской. Предисловие Даниила Гранина), № 2.
Разлогов К., Соколов М. — Горизонты тревог (Темы войны и антивоенного протеста в современном искусстве Запада), № 4.
Твен Марк — Из эссеистики (К 150-летию со дня рождения. Перевод с английского А. Дурново, М. Загота. Вступление А. Зверева), № 1.
Теркел Стадс — «Хорошая война». Устная история второй мировой войны (Фрагменты книги. Перевод с английского С. Литвиновой, И. Востоковой, И. Гуровой), № 5, 10.
Тодорова Л. — Против информационной агрессии, № 12.
Федоренко Николай — Норман Казинс: силой личного опыта, № 7.
Фесуненко Игорь — Закон гармонии (Набросок портрета Оскара Нимейера), № 4.
Хитгинботэм Джей — Дорога жизни (Перевод с английского В. И.), № 5.
ШЛА ВЕЛИКАЯ ВОЙНА... Из писем и телеграмм военного времени: Эрнест Хемингуэй, Теодор Драйзер, Эптон Синклер, Лион Фейхтвангер, Томас Манн, Альберт Эйнштейн, № 5.
Щербаненко Элла — Потери на пути к себе (Современная женщина Запада в жизни и литературе), № 3.
Янгдей Бидди — Берлин, 1944, 1945... (Перевод с английского Т. Жуковой), № 5.

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА

Бёль Генрих — Письмо моим сыновьям, или Четыре велосипеда (Перевод с немецкого Е. Кацевой), № 12.

АНТИРУБРИКА

Бенчли Роберт — Способны ли насекомые мыслить? (Рассказ. Перевод с английского С. Митиной), № 4.
Бретнор Реджиналд — Корень зла (Рассказ.

Перевод с английского Анатолия Мельникова), № 11.
Вейс Ярослав — День на Каллисто стоит года на Земле (Рассказ. Перевод с чешского Е. Ц. Аронович), № 11.
Камалешвар — Памятник (Рассказ. Перевод с хинди Б. И. Шуршалина), № 10.
Кампаниле Акилле — Сократ и др. рассказы (Перевод с итальянского Николая Живаго), № 8.
Карик Шара — Тибор Каян — карикатурист-философ, № 7.
НАУЧНО-ФАНТАСТИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ, № 11.
Ногалес Хосе — Визит дьявола (Рассказ. Перевод с испанского Александра Балжи), № 3.
Парсаи Харишанкар — Ад в раю и др. рассказы (Перевод с хинди Н. Солнцевой), № 10.
РАССКАЗЫ ИНДИЙСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ, № 10.
Родари Джанни — Первая Покупка (Рассказ. Перевод с итальянского Ирины Константиновой), № 4.
Салливен Фрэнк — Нет, нет и еще раз нет! и др. рассказы (Перевод с английского Сергея Белова), № 12.
Сахни Бхишам — Ритуальная процессия (Рассказ. Перевод с хинди В. А. Чернышева), № 10.
СЛОВО, БЬЮЩЕЕ В ЦЕЛЬ. Страницы немецкой антифашистской сатиры. Эрих Вайнерт, Бертольт Брехт, Луи Фюрнберг, Франц Карл Вайскопф, Вальтер Меринг, Гюнтер Вайзенборн, Петер Братт, Фридрих Вольф (Вступление Т. Михайловой. Перевод И. Болычева, Вальдемара Вебера, Павла Френкеля, Е. Кащеевой, А. Солянова), № 5.
Тонкабони Ф. — Похвала лености. Жизнь (Рассказы. Перевод с персидского Дж. Дорри), № 1.
Уилсон Ричард — Подвижник Гарри — виновник «утечки умов» (Рассказ. Перевод с английского Анатолия Мельникова), № 11.
Хок Эдвард Д. — Самый лучший зоопарк (Рассказ. Перевод с английского Анатолия Мельникова), № 11.
Шекли Роберт — Загвоздка (Рассказ. Перевод с английского Н. Евдокимовой), № 3.

НАШИ ГОСТИ

Васильева Л. — Костас Асимакопулос (Греция), № 11.
Д-р Хиссам аль-Хатыб (Сирия), № 5.
Завьялова Л. — Ив Бруссар (Франция), № 6.
Киямова Н. — Эдуард Глиссан (Мартиника), № 6.
Ковач А. — Мирча Динеску, Костаке Олэряну, Мирча Неделчу, Раду Ф. Александру (Румыния), № 3.
Кузнецова И. — Мадлен Уэллетт-Михальска (Канада), № 4.
Николаевская А. — Маргарет Дрэббл, Фрэнсис Кинг, Пенелопа Лайвли, Фэй Уэлдон, Майкл Холройд, Мэтью Эванс (Великобритания), № 2.
Питер Устинов (Великобритания). Запись беседы К. Кабановой, № 9.
Ротенберг Т. — Норман Мейлер (США), № 1.
Редакцию «ИЛ» посетили..., № 12.

К НАШИМ ИЛЛЮСТРАЦИЯМ

Парникель Б. — Лики Малайзии, № 8.
Светлов И. — Целеустремленность, № 4.
Ткачев Мариан — Солнечное жизнеощущение, № 2.
Херсонская Е. — Женщина в искусстве, № 3.

ГОВОРЯТ СОВЕТСКИЕ ИЗДАТЕЛИ

Анджапаридзе Г. — «Радуга»: литературная карта мира, № 10.
Машовец Н. — О выпуске зарубежной литературы в издательстве «Молодая гвардия» в 1985—1986 годах, № 6.
Осипов В. — Углубляя сотрудничество, расширяя круг чтения..., № 9.
Седых В. — Служить взаимопониманию народов, № 8.

СРЕДИ КНИГ

Издано в СССР

Анашенков Б. — Тоска до цельности (Томмазо Ди Чаула. Голубая спецовка), № 10.
Архипова Ирина — Певец и его книга (Николай Гедда. Дар не дается бесплатно), № 6.
Богословский Никита — Искусство или суррогат? (Франсуаза Малле-Жорис. Дикки-Король), № 6.
Бочаров А. — Бессмертие смертных (Я жил в суровый век. Писатели Западной Европы о годах антифашистского Сопротивления), № 5.
Вольпе М. — Сага о трагическом времени (Алекс Ла Гума. Скитания в ночи. И нитка, втрое скрученная. Каменная страна. В конце сезона туманов. Время сорокопута), № 8.
Зверев А. — Необычно быть обычным? (Гилберт Кит Честертон. Писатель в газете), № 3.
Кивель И. — Экспериментальное поле жизни (Клаус Хёпке. Литература и жизнь. Классика и современность в восприятии читателя), № 8.
Молчанов Владимир — Электронная мечта («Американская модель»: с будущим в конфликте), № 3.
Мотылева Т. — Жан-Ришар Блок и добровольное служение (Жан-Ришар Блок. Ответственность таланта), № 2.
Налепин А. — Дальний Запад без легенд (Каньон. Американская проза о Дальнем Западе. Я связан добром с землей. Из современной литературы индейцев США), № 8.
Николаевская А. — Беспощадность и великодушие Мюриэл Спарк (Мюриэл Спарк. Избранное), № 6.
Новикова Марина — Шотландии кровавая луна (Джеймс Макферсон. Поэмы Оссиана), № 4.
Огнев Владимир — Югославский рассказ сегодня (Набросок сценария со счастливым концом), № 12.
Озеров Лев — Андрей Германов и его поэзия (Андрей Германов. Избранная лирика), № 2.
Павлова Н. — Швейцарская повесть в движении лет (Современная швейцарская повесть), № 12.
Попова Н. — «Я, ты, alter ego...» (Ален Боске. Избранные стихотворения). № 1.
Стеженский В. — Непреодоленное прошлое (Бернт Энгельман. Спустившаяся петля), № 5.
Урнов Д. — Итоги больших ожиданий (Николай Анастасьев. Обновление традиции. Реализм XX века в противоборстве с модернизмом), № 9.
Фоняков Илья — Знаки вдоль дороги (Иво Андрич. ...Человеку и человечеству), № 4.
Фоняков Илья — Японские «целинники» и «промышленный клуб» (Такэси Кайко. С высоты Токийской башни), № 10.

Хосе Солер Пуиг о себе и о своих книгах, № 9.
Черненко Мирон — В зеркале театра (Н. М. Вагапова. Формирование реализма в сценическом искусстве Югославии), № 2.
Чугров С.— Что скрыто под листьями? (Сэйити Моримура. Контейнеры смерти. Кухня дьявола) № 5.
Шемякин А.— Чтобы ожил край... (Б. Хайнс. Цена угля. Р. Уильямс. Вокруг Манода), № 1.
Эберг Юхан — Рене-Виктор Пий о себе и о своих книгах (Рене-Виктор Пий. Обличитель), № 4.
Яковлев А.— Аравия старая и новая (Я. Яхлюф. Наджран в час испытаний. Ветры Залива), № 3.

Издано за рубежом

Апт С.— Впервые — так (Томас Манн. Статьи. Речи. Очерки), № 2.
Белов Сергей — Серьезна ли «серьезная литература»? (Дэвид Уэлдон. Виадук), № 9.
Бернштейн И. — Древо желания (Яромира Коларова. Хочу это дерево), № 12.
Буачидзе Гастон — На встречу с Лафонтеном (Сулхан-Саба Орбелиани. Мудрость вымысла), № 1.
Ваксмахер Морис — Свет надежды (Мулуд Маммери. Через пустыню), № 4.
Варас Хосе Мигель — Книга о Чили с выводами для Испании (Хуан Перес Гомес. Зеркало для путчистов), № 4.
Волевич И.— «Это Ленинград...» (Клара Хасарт, Даниэл ван Рейсел. Фламандские поэты о Ленинграде), № 5.
Гусев Ю.— Перспективы и тупики (Обзор венгерской поэзии последних лет), № 2.
Гусев Ю.— Мештерхази — о времени и о себе (Лайош Мештерхази. Воспоминания), № 10.
Зверев А.— Импровизаторы из Дельты (Уильям Феррис. Блюзы Дельты. Местный колорит), № 8.
Здоровов Ю.— Поиск исторических корней (Фрэнсис Эбеджер. Прыжок мальтийских дельфинов), № 4.
Злобина Е.— Смысл слова «свобода» (Франсуа Масперо. Улыбка Котенка), № 10.
Каграманов Ю.— Совращение с отточием (Джан Пьеро Бона Прогулка с дьяволом), № 10.
Левидова И.— Баллада на два голоса (Уильям Тревор. Игралища судьбы), № 4.
Литвинец Нина — Современные сказки современной Шехерезады (Ангелика Мехтель. Бог и сказительница), № 3.
Малевич Олег — Пятое время года (Зденек Вольный. Пятое время года), № 5.
Масоливер Хуан Рамон — Venetia, Venecia..., № 12.
Матяш Н.— Венеция, Венеция... (Пере Жимфере. Фортунь), № 12.
Мельников Анатолий — Лен Дейтон: «У меня много общего со шпионами» (Лен Дейтон. Берлинская игра), № 6.
Мотылева Т.— По заветам Петёфи (Выводы и проекты), № 8.
Николаева Н.— Рождение художника (Франсуа Вейерган. Плот Медузы), № 3.
Николаева Н.— Равнодушие преступно (Иветт З'Граген. Годы умолчания), № 5.
Петриковская А.— Последняя книга Алана Маршалла (Бойцы Алана Маршалла), № 6.
Попова Н.— Тень Иудушки Головлева (Катрин Лепрон. Обход владения), № 6.
Тугушева М.— Женщины и Диккенс (Майкл Слейтер. Диккенс и женщины), № 3.
Фесуненко Игорь — Все смешалось в «Токайя Гранде» (Жоржи Амаду. Токайя Гранде. Темная сторона), № 8.
Хорев В.— Судьба польского крестьянина (Веслав Мысливский. Камень на камне), № 9.
Шерлаимова С.— Как жить завтра? (Вера Адлова. Горький запах осени), № 1.

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА В СССР, № 10.

СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ЗА РУБЕЖОМ, № 4, 8, 10.

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ, № 1—12

◆

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
О. С. ВАСИЛЬЕВ (зам. главного редактора), **Л. А. ГВИШИАНИ-КОСЫГИНА**, **Ю. В. ДАШКЕВИЧ**, **Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ**, **Г. П. ЗЛОБИН**, **И. Ф. ЗОРИНА**, **Т. П. КАРПОВА**, **Е. Ф. КНИПОВИЧ**, **А. А. КОСОРУКОВ**, **Т. Л. МОТЫЛЕВА**, **П. В. ПАЛИЕВСКИЙ**, **А. Н. СЛОВЕСНЫЙ**, **Е. В. СТОЯНОВСКАЯ**, **М. Г. ФЕДОРОВ** (отв. секретарь), **К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **Л. З. ЭЙДЛИН.**

Художественный редактор **Е. Н. Черняев.** Технический редактор **Е. П. Поляков.**

Адрес редакции: 109017. Москва, Пятницкая ул., д. 41, телефон 233-51-47.

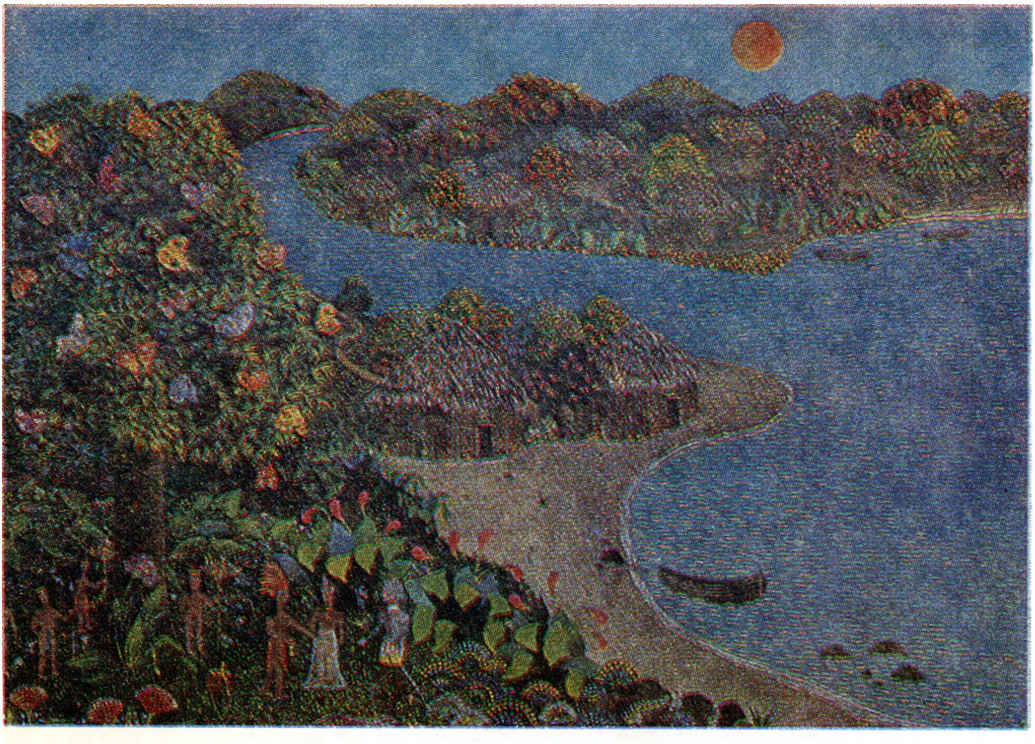
Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 03.10.85. Подписано в печать 12.11.85. А 00201. Формат 70×108 1/16
Печать высокая 22.4 усл. п. л., уч-изд. л. 26,94.

Тираж 405. 000 экз. Зак. 3675.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.



МЕРСЕДЕС ГРЭЕМ. «Синева»

Цена 1 руб. 80 коп.

ИНДЕКС 70394